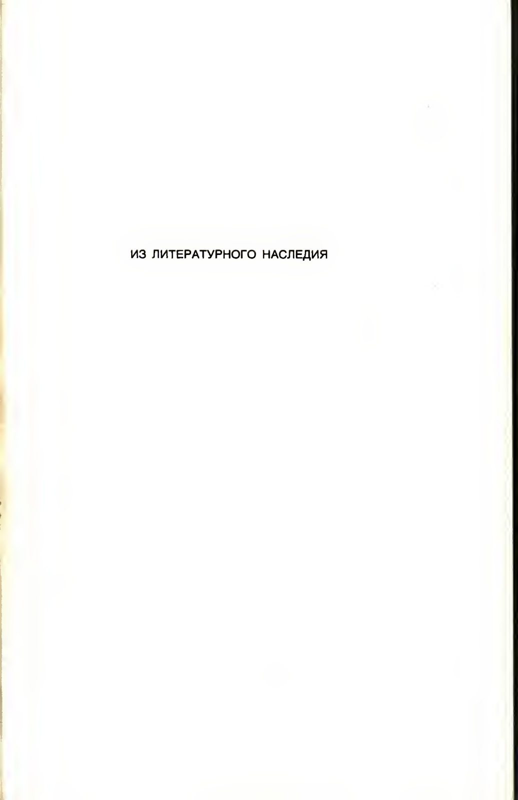

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«КНИГА»



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ



ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ТРЕТИЙ РИМ

РОМАН

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗИМЫ

МЕМУАРЫ

КИТАЙСКИЕ ТЕНИ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

МОСКВА «КНИГА» 1989

ББК 84Р
И 20

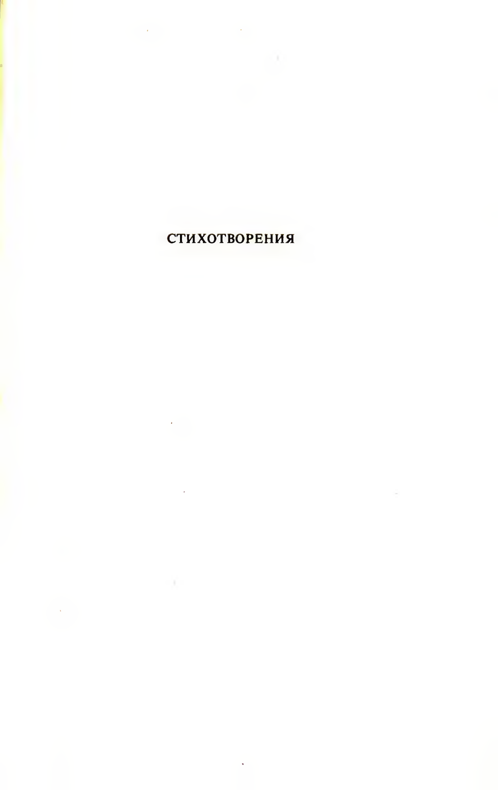
РАЗРАБОТКА СЕРИЙНОГО ОФОРМЛЕНИЯ
А. Т. ТРОЯНКЕРА, Г. Б. МАРКЕВИЧА
РИСУНОК НА ПЕРЕПЛЕТЕ
А. Т. ТРОЯНКЕРА, Н. А. ЯЩУКА

СОСТАВЛЕНИЕ, ПОСЛЕСЛОВИЕ,
КОММЕНТАРИИ
Н. А. БОГОМОЛОВА
МАКЕТ
Г. Б. МАРКЕВИЧА

И $\frac{4702010106-055}{002(01)-89}$ Без объявл.

ISBN 5-212-00189-7

СОДЕРЖАНИЕ



СТИХОТВОРЕНИЯ

Стихотворения печатаются по изданиям:
Отплытье на о. Цитеру, 1912; Вереск, 1923; Сады, 1923; Лампада, 1922; Розы, 1931; Отплытие на остров Цитеру, 1937; Портрет без сходства, 1950; 1943—1958, Стихи, 1958.

ОТПЛЫТЬЕ НА о. ЦИТЕРУ

МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ ПАСТУХ

ПРОЛОГ

Мне тело греет шкура тигровая,
Мне светит нежности звезда.
Я, гимны томные наигрывая,
Пасу мечтательно стада.

Когда Диана станет матовою
И сумрак утренне-глубок,
Мечтою бережно разматываю
Воспоминания клубок.

Иду тогда тропинкой узенькою
К реке, где шепчут тростники,
И, очарован сладкой музыкою,
Плету любовные венки.

И, засыпая, вижу пламенные
Сверканья гаснущей зари...
В пруды, платанами обраменные,
Луна роняет янтари.

И чьи-то губы целомудренные
Меня волнуют слаще роз...
И чьи-то волосы напудренные
Моих касаются волос...

Проснусь — в росе вся шкура тигровая,
Шуршит тростник, мычат стада...
И снова гимны я наигрываю
Тебе, тебе, моя звезда!

НА ОСТРОВЕ ЦИТЕРЕ

Волны кружевом обшиты
Сладко-пламенной луны.
Золотые хризолиты
Брызжут ввысь из глубины.

На прибрежиях зеленых
Ждут влюбленных шалаши.
О желаньях утоленных
Напевают камыши.

Смуглый отрок, лиру строя,
На красавиц целит глаз.
Не успела глянуть Хлоя,
Как стрела ей в грудь впилась...

Волны, верные Венере,
Учат шалостям детей.
Не избегнуть на Цитере
Купидоновых сетей!

РАННЯЯ ВЕСНА

Зима все чаще делала промахи,
Незаметно растаяли снега и льды.
И вот уже радостно одеты сады
Пахучими цветами черемухи.

В зелени грустит мраморный купидон
О том, что у него каменная плоть.
Девушка к платью спешит приколоть
Полураспустившийся розовый бутон.

Ах, ранняя весна, как мила мне ты.
Какая неожиданная радость для глаз:
Проснувшись утром, увидеть тотчас
Залитые веселым солнцем цветы.

ОТТЕПЕЛЬ

Снегом наполнена урна фонтана,
Воды замерзшие больше не плачут.
Нимфа склонилась в тоске у бассейна,
С холодом зимним бороться не в силах.

Всплыло печальное светлое солнце,
Белую землю стыдливо пригрело.
Вспомнила нимфа зеленые листья,
Летнее солнце в закатной порфире,

Брызги фонтана в прозрачности милой,
Лунную негу и вздохи влюбленных...
Слезы из глаз у нее полилися,
Тихо к подножью стекая.

1910

ПЕСНЯ О ПИРАТЕ ОЛЕ

РАЗВИНЧЕННАЯ БАЛЛАДА

Кто отплыл ночью в море
С грузом золота и жемчугов
И стоит теперь на якоре
У пустынных берегов?

Это тот, кого несчастье
Помянуть три раза вряд.
Это Оле — властитель моря,
Это Оле — пират.

Царь вселенной рдяно-алый
Зажег тверди и моря.
К отплытью грянули сигналы
И поднялись якоря.

На высоких мачтах зоркие
Неподкупные дозорные,
Бриг блестит, как золото,
Паруса надулись черные.

Солнце ниже, солнце низится,
Солнце низится усталое;
Опустилось в воду сонную
И темнеют дали алые.

Налетели ветры,
Затянуло небо тучами...
Буря близится. У берега
Брошен якорь между кручами.

Вихри, вихри засвистали,
Судно — кинули на скалы;
Громы — ужас заглушали,
С треском палуба пылала...

Каждой ночью бриг несется
На огни маячных башен;
На носу стоит сам Оле —
Окровавлен и страшен.

И дозорные скелеты
Качаются на мачтах.
Но лишь в небе встанут зори,
Призрак брига тонет в море.

СТАНСЫ

1

Ах, небосвод светлее сердолика:
Прозрачен он, и холоден, и пуст.
Кровавится среди полей брусника,
Как алость мертвых уст.

Минорной музыкой звучат речные струи,
Скользят над влагой тени лебедей,
А осени немые поцелуи
Все чаще, все больней.

2

Маскарад был давно, давно окончен,
Но в темном зале маски бродили,
Только их платья стали тоньше:
Точно из дыма, точно из пыли.

Когда на рассвете небо оплыло,
Они истаяли, они исчезли.
Осеннее солнце, взойдя, озарило
Бледную девочку, спящую в кресле.

* * *

М. Кузмину

Вот — письмо. Я его распечатаю
И увижу холодные строки,
Неприветливые и далекие,
Как осенью — статуи...

Разрываю конверт... Машинально
Синюю бумагу перелистываю.

Над озером заря аметистовая
Отцветает печально.

Тихая скорбь томительная
Душу колышет.
Никогда не услышит
Милого голоса обитель моя.

* * *

Вновь сыплет осень листьями сухими
На мерзлую землю.
Вновь я душой причастен светлой схиме
И осени внемлю.
Душа опять златой увита ложью,
И радостна мука.
Душа опять, стремясь по бездорожью,
Ждет трубного звука.
Вновь солнце Божие плывет, деля туманы,
К обманному раю.
Вновь солнце Божие мои открыло раны,
И я — умираю.

ГОРНИЦА

* * *

В небе над дымными долами
Вечер растаял давно,
Тихо закатное полымя
Пало на синее дно.

Тусклое золото месяца
Голые ветки кропит.
Сердцу спокойному грезится
Белый, неведомый скит.

Выйдет святая затворница,
Небом укажет пути.
Небо, что светлая горница,
Долго ль его перейти!

* * *

Я не любим никем! Пустая осень!
Нагие ветки средь лимонной мглы,
А за киотом дряхлые колосья
Висят, пропылены и тяжелы.

Я ненавижу полумглу сырую
Осенних чувств и бред гоню, как сон.
Я щеточкою ногти полирую
И слушаю старинный полифон.

Фальшивит нежно музыка глухая
О счастии несбыточных людей
У озера, где, вод не колыхая,
Скользят стада бездушных лебедей.

* * *

Поблекшим золотом, холодной синевой
Осенний вечер светит над Невой.
Кидают фонари на волны блеск неяркий
И зыблются слегка у набережной барки.

Угрюмый лодочник, оставь свое весло!
Мне хочется, чтоб нас течение несло,
Отдаться сладостно вполне душою смутной
Заката блеклого гармонии минутной.

И волны плещутся о темные борта.
Слилась с действительностью легкая мечта.
Шум города затих. Тоски распались узы.
И чувствует душа прикосновенье Музы.

ИЗ ЦИКЛА «КНИЖНЫЕ УКРАШЕНИЯ»

1

ПЕТР В ГОЛЛАНДИИ

Анне Ахматовой

На грубой синеве крутые облака
И парусных снастей под ними лес узорный.
Стучит плетеный хлыст о кожу башмака,
Прищурен глаз. Другой — прижат к трубе подзорной.

Поодаль, в стороне — веселый ротозей,
Спешащий куафер, гуляющая дама.
А книзу у воды — таверна «Трех Друзей»,
Где стекла пестрые с гербами Амстердама.

Знакомы так и верфь, и кубок костяной
В руках сановника, принесшего напиток,
Что нужно ли читать по небу развитой
Меж труб и гениев колеблющийся свиток?

2

ЗАСТАВКА

Венецианское зеркало старинное,
Разноцветными розами увитое...
Что за мальчик с улыбкою невинною
Расправляет крылышки глянцевитые

Перед ним? Нетрудно проказливого
Узнать Купидона милого,—
Это он ранил юношу опасливого,
Как ни плакал тот, как ни просил его.

Юноша лежит, стрелою раненный,
Девушка напротив — улыбается.
Оба — любовью отуманены...
Розы над ними сгибаются.

ОСОБНЯК

Стучат далекие копыта,
Ночные небеса мертвы,
Седого мрамора, сердито
Застыли у подъезда львы.
Луны отвесное сиянье
Играет в окнах тяжело,
И на фронтоне изваянья
Белеют груди, меч, крыло...
Но что за свет блеснул за ставней,
Чей сдавленный пронесся стон?
Огонь мелькнул поочередно
В широких окнах, как свеча.
Вальс оборвался старомодный,
Неизъяснимо прозвучав.
И снова ничего не слышно —
Ночные небеса мертвы.
Покой торжественный и пышный
Хранят изваянные львы.

Но сердце тонет в сладком хладе,
Но бледен серп над головой,
И хочется бежать, не глядя,
По озаренной мостовой.

БОЛТОВНЯ ЗАЗЫВАЮЩЕГО В БАЛАГАН

Да, размалевана пестро
Театра нашего афиша:
Гитара, шляпа, болеро,
Девица на летучей мыши.
Повесить надобно повыше,
Не то — зеваки оборвут.
Спешите к нам. Под этой крышей —
Любовь, веселье и уют!

Вот я ломака, я Пьеро.
Со мною Арлекин. Он пышет
Страстями, клянчит серебро.
Вот принц, чей плащ узорно вышит,
Вот Коломбина, что не дышит,
Когда любовники уснут.
Паяц — он вздохами колышет
Любовь, веселье и уют!

Пляши, фиглярское перо,
Неситесь в пламенном матчише
Все те, кто хочет жить пестро:
Вакханки, негры, принцы, мыши,
Порой быстрей, порою тише,
Вчера в Париже, нынче тут...
Всего на этом свете выше
Любовь, веселье и уют!

ПОСЫЛКА

О кот, блуждающий по крыше,
Твои мечты во мне поют!

Кричи за мной, чтоб всякий слышал:
Любовь, веселье и уют!

ФИГЛЯР

Я храбрые марши играю,
Скачу на картонном коне,
И, если я умираю,
Все звонко хлопают мне.

Мои представленья неплохи,
Понравятся, коль поглядишь.
Ученые прыгают блохи,
Танцует умная мышь.

А то, если милые гости
Хотят, мы в дальнем углу
Отыщем ржавые гвозди,
Особенную пилу.

Приятно тела восковые
Гвоздем раскаленным колоть:
Трепещут они, как живые,
Нежны, как живая плоть.

Я сердце когда-то измучил,
И стало негодным оно,
А пытки для глупых чучел
Выдумывать — так смешно.

Я детские песни играю,
В карманах ношу леденцы,
И, если я умираю,
Звенят мои бубенцы.

* * *

Я кривляюсь вечером на эстраде,
Пьеро-двойник,
А после, ночью, в растрепанной тетради
Веду дневник.

Записываю, кем мне подарок обещан,
Обещан только,
Сколько получил я за день затрещин
И улыбок сколько.

Что было на ужин: горох, картофель,—
Все ем, что ни дашь!
...А иногда и Пьеретты профиль
Чертит карандаш.

На шее — мушка, подбородок поднят,
Длинна ресница.
Рисую и думаю: а вдруг сегодня
Она приснится!

Запись окончу любовными мольбами,
Вздохнув не раз.
Утром проснусь с пересохшими губами,
Круги у глаз.

УЛИЧНЫЙ ПОДРОСТОК

Ломающийся голос. Синева
У глаз, и над губою рыжеватый
Пушок. Вот — он, обычный завсегдатай
Всех закоулков. Пыльная ль трава

Столичные бульвары украшает,
Иль мутным льдом затянута Нева —
Все в той же куртке он, и голова
В знакомой шляпе. Холод не смущает

И вялая жара не истомит
Его. Под воротами постоит,
Поклянчит милостыню. И с цветами

Пристанет дерзко к проходящей даме.
То наглый, то трусливый примет вид,
Но финский нож за голенищем скрыт

И с каждым годом темный взор упрямей.

АКТЕРКА

Дул влажный ветер весенний,
Тускнела закатная синева,
А я на открытой сцене
Говорила прощальные слова.

И потом печально, как надо,
Косу свою расплела,
Приняла безвредного яду,
Вздохнула — и умерла.

Хлопали зрители негромко,
Занавес с шуршаньем упал.
Я встала. На сцене — потемки;
Звякнул опрокинутый бокал.

Подымаюсь по лестнице скрипучей,
Дома ждет за чаем мать.
Боже мой, как смешно, как скучно
Для ужина — воскресать.

* * *

Письмо в конверте с красной прокладкой
Меня пронзило печалью сладкой.

Я снова вижу ваш взор величавый,
Ленивый голос, волос курчавый.

Залита солнцем большая мансарда,
Ваш лик в сияньи, как лик Леонардо.

И том Платона развернут пред вами,
И воздух полон золотыми словами.

Всегда ношу я боль ожиданья,
Всегда томлюсь, ожидая свиданья.

И вот теперь целую украдкой
Письмо в конверте с красной прокладкой.

* * *

Горлица пела, а я не слушал.
Я видел звезды на синем шелку
И полумесяц. А сердце все глуше,
Все реже стучало, забывая тоску.

Порою казалось, что милым, скучным
Дням одинаковым потерян счет
И жизнь моя — ручейком незвучным
По желтой глине в лесу течет.

Порою слышал дальние трубы,
И странный голос меня волновал.
Я видел взор горящий и губы,
И руки узкие целовал...

Ты понимаешь — тогда я бредил.
Теперь мой разум по-прежнему мой.
Я вижу солнце в закатной меди,
Пустое небо и песок золотой!

ВЕРЕСК

* * *

Мы скучали зимой, влюблялись весною,
Играли в теннис мы жарким летом...
Теперь летим под медной луною,
И осень правит кабриолетом.

Уже позолота на вялых злаках,
А наша цель далека, близка ли?..
Уже охотники в красных фраках
С веселыми гончими — проскакали...

Стало дышать трудней и слаще...
Скоро, о, скоро падешь бездыханным
Под звуки рогов в дубовой чаще
На вереск болотный — днем туманным!

ЛИТОГРАФИЯ

Америки оборванная карта
И глобуса вращающийся круг.
Румяный шкипер спорит без азарта,
Но горячится, не согласен, друг.

И с полюса несется на экватор
Рука и синий выцветший обшлаг,
А солнца луч, летя в иллюминатор,
Скользит на стол, на кресло и на флаг.

Спокойно все. Слышна команда с рубки,
И шкипер хочет вымолвить: «Да брось...»
Но спорит друг. И вспыхивают трубки.
И жалобно скрипит земная ось.

* * *

Растрепанные грозами — тяжелые дубы
И ветра беспокойного — осенние мольбы,
Над Неманом клокочущим — обрыва желтизна —
И дымная и плоская — октябрьская луна.

Природа обветшалая пустынна и мертва...
Ступаю неуверенно, кружится голова...
Деревья распростертые и тучи при луне —
Лишь тени, отраженные на дряхлом полотне.

Пред тусклою, огромною картиною стою
И мастера старинного как будто узнаю,—
Но властно прорывается в видения и сны
Глухое клокотание разгневанной волны!

* * *

Как я люблю фламандские панно,
Где овощи, и рыбы, и вино,
И дичь богатая на блюде плоском —
Янтарно-желтым отливает лоском.

И писанный старинной кистью бой —
Люблю. Солдат с блистающей трубой,

Клубы пороховые, мертвых груду
И вздыбленные кони отовсюду!

Но тех красот желанней и милей
Мне купы прибережных тополей,
Снастей узор и розовая пена
Мечтательных закатов Клод Лоррена.

* * *

О, празднество на берегу, в виду искусственного моря,
Где разукрашены пестро причудливые корабли.
Несется лепет мандолин, и волны плещутся, им вторя,
Ракета легкая взлетит и рассыпается вдали.

Вздыхает рослый арлекин. Задира получает вызов,
Спешат влюбленные в ладье — скользить в таинственную даль...
О, подражатели Ватто, переодетые в маркизов,—
Дворяне русские,— люблю ваш доморощенный Версаль.

Пусть голубеют вечера, вздыхают легкие свирели,
Пусть колыхаются листы под розоватою луной,
И воскресает этот мир, как на поблекшей акварели,—
Запечатлел его поэт и живописец крепостной.

* * *

Кудрявы липы, небо сине,
Застыли сонно облака.
На урне надпись по-латыни
И два печальных голубка.

Внизу безмолвствует цевница,
А надпись грустная гласит:
«Здесь друга верного гробница»,
Орфей под этим камнем спит.

Все обвил плющ, на хмель похожий,
Окутал урну темный мох.
Остановись пред ней, прохожий,
Пошли поэту томный вздох.

И после с грацией неспешной,
Как в старину — слезу пролей:
Здесь госпожою безутешной
Поставлен мопсу мавзолей.

* * *

Все в жизни мило и просто,
Как в окнах пруд и боскет,
Как этот в халате пестром
Мечтающий поэт.

Рассеянно трубку курит,
Покачиваясь слегка.
Глаза свои он щурит
На янтарные облака.

Уж вечер. Стада пропылили,
Проиграли сбор пастухи.
Что ж, ужинать,— или
Еще сочинить стихи?

Он начал: «Любовь — крылата...»
И строчки не дописал.
На пестрой поле халата
Узорный луч — погасал...

* * *

Визжат гудки. Несется ругань с барок —
Уже огни в таверне зажжены.
И, вечера июльского подарок,
Встает в окошке полукруг луны.

Как хорошо на пристани в Марселе
Тебя встречать, румяная луна.
Раздумывать, какие птицы сели
На колокольню, что вдали видна.

Глядеть, как шумно роются колеса
«Септимии», влачащие ее,
Как рослая любовница матроса
Полощет в луже — грубое белье.

Шуршит прибой. Гудки визжат упрямо,
Но все полно — такою стариной,
Как будто палисандровая рама
И дряхлый лист гравюры предо мной.

И кажется — тяжелой дверью хлопнув,
Сэр Джон Ферфакс — войдет сюда сейчас —
Закажет виски — и, ногою топнув,
О странствиях своих начнет рассказ.

* * *

Шотландия, туманный берег твой
И пастбища с зеленою травой,
Где тучные покоятся стада,
Так горестно покинуть навсегда!

Ужель на все гляжу в последний раз,
Что там вдали скрывается от глаз,
И холм отца меж ивовых ветвей,
И мирный кров возлюбленной моей...

Прощай, прощай! О, вереск, о, туман...
Тускнеет даль и ропщет океан,
И наш корабль уносит, как ладью...
Храни Господь Шотландию мою!

* * *

Все образует в жизни круг —
Сиянье уст, пожатье рук,

Закату вслед встает восход,
Роняет осень зрелый плод.

Танцуем легкий танец мы,
При свете ламп — не видим тьмы.

Равно — лужайка иль паркет —
Танцуй, монах, танцуй, поэт.

А ты, амур, стрелами рань —
Везде сердца — куда ни глянь.

И пастухи, и колдуны
Стремленью сладкому верны.

Весь мир — влюбленные одни,
Гасите медленно огни...

Пусть образует тайный круг —
Слиянье уст, пожатье рук!..

* * *

Уж рыбаки вернулись с ловли
И потускнели валуны,
Лег на соломенные кровли
Розово-серый блеск луны.

Насторожившееся ухо
Слушает медленный прибой:
Плещется море мерно, глухо,
Словно часов старинных бой.

И над тревожными волнами
В воздухе гаснущем, бледна,
За беспокойными ветвями —
Приподнимается луна.

* * *

Как древняя ликующая слава,
Плывут и пламенеют облака,
И ангел с крепости Петра и Павла
Глядит сквозь них — в грядущие века.

Но ясен взор — и неизвестно, что там,—
Какие сны, закаты, города —
На смену этим блеклым позолотам —
Какая ночь настанет навсегда!

* * *

Закат золотой. Снега
Залил янтарь.
Мне Гатчина дорога
Совсем как встарь.

Томительнее тоски
И слаще — нет,
С вокзала слышны свистки,
В окошке — свет.

Обманчивый свет зари
В окне твоем,
Калитку лишь отвори,
И мы — вдвоем.

Все прежнее: парк, вокзал...
А ты — на войне,

Ты только «прости» сказал,
Улыбнулся мне.

Улыбнулся в последний раз
Под стук колес,
И не было даже слез
У веселых глаз.

* * *

Никакого мне не нужно рая,
Никакая не страшна гроза —
Волосы твои перебирая,
Все глядел бы в милые глаза.

Как в источник сладостный, в котором
Путник, наклонившийся страдой,
Видит с облаками и простором
Небо, отраженное водой.

* * *

Оттепель. Похоже
Точно пришла весна,
Но легкий мороз по коже
Говорит: нет, не она.

Запах фабричной сажи,
И облака легки.
Рождественских елок даже
Не привезли мужики.

И все стоит в «Привале»
Невыкачанной вода...
Вы знаете? Вы бывали?
Неужели никогда?

На западе вьются ленты,
Невы леденеет гладь.
Влюбленные и декаденты
Приходят сюда гулять.

И только нам нет удачи,
И красим губы мы,
И деньги без отдачи
Выпрашиваем взаймы.

* * *

О расставаньи на мосту
И о костре и ночном тумане
Вздохнул. А на окне в цвету
Такие яркие герани.

Пылят стада, пастух поет...
Какая ясная погода.
Как быстро осень настает
Уже пятнадцатого года.

* * *

Пустынна и длинна моя дорога,
А небо лучезарнее, чем рай,
И яхонтами на подоле Бога
Сквозь дым сияет горизонта край.

И дальше, там, где вестницею ночи
Зажглась шестиугольная звезда,
Глядят на землю голубые очи,
Колышется седая борода.

Но кажется, устав от дел тревожных,
Не слышит старый и спокойный Бог,
Как крылья ласточек неосторожных
Касаются его тяжелых ног.

* * *

Беспокойно сегодня мое одиночество,
У портрета стою — и томит тишина...
Мой прапрадед Василий — не вспомню я отчества —
Как живой, прямо в душу — глядит с полотна.

Темно-синий камзол отставного военного,
Арапчонок у ног и турецкий кальян.
В заскорузлой руке — серебристого пенного
Круглый ковш. Только видно,— помещик не пьян.

Хмурит брови седые над взорами карими,
Опустились морщины у темного рта.
Эта грудь, уцелев под столькими ударами
Неприятельских шашек,— тоской налита.

Что ж? На старости лет с сыновьями не справиться,
Иль плечам тяжелы прожитые года,
Иль до смерти мила крепостная красавица,
Что завистник-сосед не продаст никогда?

Нет, иное томит. Как сквозь полог затученный
Прорезается белое пламя луны,—
Тихий призрак встает в подземелье замученной
Неповинной страдалицы — первой жены.

Не избыть этой муки в разгуле неистовом,
Не залить угрызения влагой хмельной...
Запершись в кабинете, покончил бы выстрелом
С невеселою жизнью,— да в небе темно.

И теперь, заклейменный семейным преданием,
Как живой, как живой, он глядит с полотна,
Точно нету прощенья его злодеяниям,
И загробная жизнь, как земная,— черна.

* * *

Веселый ветер гонит лед,
А ночь весенняя — бледна,
Всю ночь стоять бы напролет
У озаренного окна.

Глядеть на волны и гранит
И слышать этот смутный гром,
И видеть небо, что сквозит
То синевой, то серебром.

О, сердце, бейся волнам в лад,
Тревогой вешнею гори...
Луны серебряный закат
Сменяют отблески зари.

Летят и тают тени птиц
За крепость — в сумрак заревой,
И все светлее тонкий шпиц
Над дымно-розовой Невой.

САДЫ

* * *

Эоловой арфой вздыхает печаль,
И звезд восковых зажигаются свечи,
И дальний закат,— как персидская шаль,
Которой окутаны нежные плечи.

Зачем без умолку свистят соловьи,
Зачем расцветают и гаснут закаты,
Зачем драгоценные плечи твои
Как жемчуг нежны и как небо покаты!

О, если бы стать восковою свечой,
О, если бы стать бездыханной звездою,
О, если бы тусклой закатной парчой
Бессмысленно таять над томной водою!

1921

* * *

Не о любви прошу, не о весне пою,
Но только ты одна послушай песнь мою.

И разве мог бы я, о, посуди сама,
Взглянуть на этот снег и не сойти с ума.

Обыкновенный день, обыкновенный сад,
Но почему кругом колокола звонят,

И соловьи поют, и на снегу цветы,
О, почему, ответь, или не знаешь ты?

И разве мог бы я, о, посуди сама,
В твои глаза взглянуть и не сойти с ума?

Не говорю «поверь», не говорю «услышь»,
Но знаю: ты теперь на тот же снег глядишь,

И за плечом твоим глядит любовь моя
На этот снежный рай, в котором ты и я.

1921

* * *

Легкий месяц блеснет над крестами забытых могил,
Томный луч озарит разрушенья унылую груду,
Теплый ветер вздохнет: я травою и облаком был,
Человеческим сердцем я тоже когда-нибудь буду.

Ты влюблен, ты грустишь, ты томишься в прохладе ночной,
Ты подругу зовешь и Марией ее называешь,
Но настанет пора, и над нашей кудрявой землей
Пролетишь, и не взглянешь, и этих полей не узнаешь.

А любовь — семицветною радугой станет она,
Кукованьем кукушки, иль камнем, иль веткою дуба,
И другие влюбленные будут стоять у окна,
И другие в мучительной нежности сблизятся губы...

Теплый ветер вздыхает, деревья шумят у ручья,
Легкий серп отражается в зеркале северной ночи,

И, как ризу Господню, целую я платья края,
И колени, и губы, и эти зеленые очи...

1921

* * *

Оттого и томит меня шорох травы,
Что трава пожелтеет и роза увянет,
Что твое драгоценное тело, увы,
Полевыми цветами и глиною станет.

Даже память исчезнет о нас... И тогда
Оживет под искусными пальцами глина,
И впервые плеснет ключевая вода
В золотое, широкое горло кувшина.

И другую, быть может, обнимет другой
На закате, в условленный час, у колодца...
И с плеча обнаженного прах дорогой
Соскользнет и, звеня, на куски разобьется!

1921

* * *

Глядит печаль огромными глазами
На золото осенних тополей,
На первый треугольник журавлей
И взмахивает слабыми крылами.
Малиновка моя, не улетай,
Зачем тебе Алжир, зачем Китай?

Трубит рожок, и почтальон румяный,
Вскочив в повозку, говорит: «Прощай».
А на террасе разливают чай
В большие неуклюжие стаканы.
И вот струю крутого кипятка
Последний луч позолотил слегка.

Я разленился. Я могу часами
Следить за перелетом ветерка
И проплывающие облака
Воображать большими парусами.
Скользит галера. Золотой грифон
Колеблется, на запад устремлен...

А школьница-любовь твердит прилежно
Урок. Увы — лишь в повтореньи он!
Но в этот час, когда со всех сторон
Осенние листы шуршат так нежно,
И встреча с вами дальше, чем Китай,
О, грусть влюбленная, не улетай!

1920

* * *

Тяжелые дубы, и камни, и вода,
Старинных мастеров суровые виденья,
Вы мной владеете. Дарите мне всегда
Все те же смутные, глухие наслажденья!

Я словно в сумерки из дома выхожу,
И ветер, злобствуя, срывает плащ дорожный,
И пена бьет в лицо. Но зорко я гляжу
На море, на закат, багровый и тревожный.

О, ветер старины, я слышу голос твой,
Взволнован, как матрос, надеждою и болью,
И знаю, там, в огне, над зыбью роковой,
Трепещут паруса, пропитанные солью.

* * *

Прекрасная охотница Диана
Опять вступает на осенний путь,
И тускло светятся края колчана,
Рука и алебастровая грудь.

А воды бездыханны, как пустыня...
Я сяду на скамейку близ Невы,
И в сердце мне печальная богиня
Пошлет стрелу с блестящей тетивы.

1920

* * *

Уже бежит полночная прохлада,
И первый луч затрепетал в листах,
И месяца погасшая лампада
Дымится, пропадая в облаках.

Рассветный час! Урочный час разлуки!
Шумит влюбленных приютивший дуб,
Последний раз соединились руки,
Последний поцелуй холодных губ.

Да! Хороши классические зори,
Когда валы на мрамор ступеней
Бросает взволновавшееся море,
И чайки вьются, и дышать вольней!

Но я люблю лучи иной Авроры,
Которой расцветать не суждено:
Туманный луч, позолотивший горы,
И дальний вид в широкое окно.

Дымится роща от дождя сырая,
На кровле мельницы кричит петух,
И, жалобно на дудочке играя,
Бредет за стадом маленький пастух.

* * *

Кровь бежит по томным жилам
И дарит отраду нам,

Сладкую покорность милым,
Вечно новым именам.

Прихотью любви, пустыней
Станет плодородный край,
И взойдет в песках павлиний,
Золотой и синий рай.

В чаще нежности дремучей
Путник ощупью идет,
Лютнею она певучей,
Лебедем его зовет.

— Ты желанна! — Ты желанен!
— Я влюблен! — Я влюблена!
Как Гафиз магометанин,
Пьяны, пьяны без вина!

И поем о смуглой коже,
Розе в шелковой косе,
Об очах, что непохожи
На другие очи все.

1921

* * *

В середине сентября погода
Переменчива и холодна.
Небо, точно занавес. Природа
Театральной нежности полна.

Каждый камень, каждая былинка,
Что раскачивается едва,
Словно персонажи Метерлинка,
Произносят странные слова:

— Я люблю, люблю и умираю...
— Погляди — душа как воск, как дым...

— Скоро, скоро к голубому раю
— Лебедями полетим...

Осенью, когда туманны взоры,
Путаница в мыслях, в сердце лед,
Сладко слушать эти разговоры,
Глядя в празелень стоячих вод.

С чуть заметным головокруженьем
Проходить по желтому ковру,
Зажигать рассеянным движеньем
Папиросу на ветру.

1921

* * *

Зеленою кровью дубов и могильной травы
Когда-нибудь станет любовников томная кровь,
И ветер, что им шелестел при разлуке: «Увы»,
«Увы»,— прошумит над другими влюбленными вновь.

Прекрасное тело смешается с горстью песка,
И слезы в родной океан возвратятся назад...
— Моя дорогая, над нами бегут облака,
Звезда зеленеет, и черные ветки шумят!

Зачем же тогда веселее играет вино
И женские губы целуют хмельней и нежней
При мысли, что вскоре рассеяться нам суждено
Летучею пылью, дождем, колыханьем ветвей...

1921

* * *

Вновь губы произносят: «Муза»,
И жалобно поет волна,
И улыбаясь, как медуза,
Показывается луна.

Чу! Легкое бряцанье меди!
И гром из озаренных туч.
Персей слетает к Андромеде,
Сжимая в длани лунный луч.

И паруса вздыхают шумно
Над гребнями пустынных вод.
Она — прекрасна и безумна —
То проклинает, то зовет.

«Дева! Я пронзил чудовище
Сталью верного клинка!
Я принес тебе сокровище,
Ожерелья и шелка!»

Вся роскошь Азии напрасна
Для Андромеды, о Персей!
Она, безумна и прекрасна,
Не слышит жалобы твоей.

Что жемчуг ей, что голос музы,
Что страсть, и волны, и закат,
Когда в глаза ее глядят
Ужасные зрачки медузы!

1920

* * *

Из облака, из пены розоватой,
Зеленой кровью чуть оживлены,
Сады неведомого халифата
Виднеются в сиянии луны.

Там меланхолия, весна, прохлада
И ускользающее серебро.
Все очертания такого сада,
Как будто страусовое перо.

Там очарованная одалиска
Играет жемчугом издалека,
И в башню к узнику скользит записка
Из клюва розового голубка.

Я слышу слабое благоуханье
Прозрачных зарослей и цветников,
И легкой музыки летит дыханье
Ко мне, таинственное, с облаков.

Но это длится только миг единый:
Вот снова комнатная тишина,
В горошину кисейные гардины
И Каменноостровская луна.

1920

* * *

Как вымысел восточного поэта,
Мой вышитый ковер, затейлив ты,
Там листья малахитового цвета,
Малиновые, крупные цветы.

От полураспустившихся пионов
Прелестный отвела лица овал
Султанша смуглая. Галактионов
Такой Зарему нам нарисовал.

Но это не фонтан Бахчисарая,
Он потаеннее и слаще бьет,
И лебедь романтизма, умирая,
Раскинув крылья, перед ним поет.

* * *

Дитя гармонии — александрийский стих,
Ты мед и золото для бедных губ моих.

Я истощил свой дар в желаньях бесполезных.
Шум жизни для меня, как звон цепей железных...

Где счастие? Увы — где прошлогодний снег...
Но я еще люблю стихов широкий бег,

Вдруг озаряемый, как солнцем с небосклона,
Печальной музыкой четвертого пэона.

1921

* * *

Облако свернулось клубком,
Катится блаженный клубок,
И за голубым голубком
Розовый летит голубок.

Это угасает эфир!
Ты не позабудешь, дитя,
В солнечный, сияющий мир
Крылья, что простерты, летя...

Именем любовь назови!
Именем назвать не могу!
Имя моей вечной любви
Тает на февральском снегу!

1920

* * *

Погляди: бледно-синее небо покрыто звездами,
А холодное солнце еще над водою горит,
И большая дорога на запад ведет облаками
В золотые, как поздняя осень, сады Гесперид.

Дорогая моя, проходя по пустынной дороге,
Мы, усталые, сядем на камень и сладко вздохнем,

Наши волосы спутает ветер душистый, и ноги
Предзакатное солнце омоет прохладным огнем.

Будут волны шуметь, на песчаную мель набегая,
Разнесется вдали заунывная песнь рыбака...
Это все оттого, что тебя я люблю, дорогая,
Больше теплого ветра, и волн, и морского песка.

В этом томном, глухом и торжественном мире — нас двое.
Больше нет никого. Больше нет ничего. Погляди:
Потемневшее солнце трепещет, как сердце живое,
Как живое влюбленное сердце, что бьется в груди.

1921

* * *

Меня влечет обратно в край Гафиза,
Там зеленел моей Гюльнары взор,
И полночи сафировая риза
Над нами раскрывалась, как шатер.

И память обездоленная ищет
Везде, везде приметы тех полей,
Где лютня брошенная ждет, где свищет
Над вечной розой вечный соловей.

1921

* * *

В меланхолические вечера,
Когда прозрачны краски увяданья,
Как разрисованные веера,
Вы раскрываетесь, воспоминанья.

Деревья жалобно шумят, луна
Напоминает бледный диск камеи,
И эхо повторяет имена
Елизаветы или Саломеи.

И снова землю я люблю за то,
Что так торжественны лучи заката,
Что легкой кистью Антуан Ватто
Коснулся сердца моего когда-то.

1920

* * *

От сумрачного вдохновенья
Так сладко выйти на простор.
Увидеть море в отдаленьи,
Деревья и вершины гор.

Солоноватый ветер дышит,
Зеленоватый серп встает,
Насторожившись, ухо слышит
Согласный хор земли и вод.

Сейчас по голубой пустыне,
Поэт, для одного тебя,
Промчится отрок на дельфине,
В рожок серебряный трубя.

И тихо, выступив из тени,
Плащом пурпуровым повит,
Гость неба встанет на колени
И сонный мир благословит.

1921

ПЕТЕРГОФ

Опять заря! Осенний ветер влажен,
И над землею, за день не согретой,
Вздыхает дуб, который был посажен
Императрицею Елизаветой.

Как холодно! На горизонте дынном
Трепещет диск тускнеющим сияньем...
О, если бы застыть в саду пустынном
Фонтаном, деревом иль изваяньем!

Не быть влюбленным и не быть поэтом
И, смутно грезя мучившим когда-то,
Прекрасным рисоваться силуэтом
На зареве осеннего заката...

1920

* * *

Нищие, слепцы и калеки
Переходят горы и реки,
Распевают песни про Алексия,
А кругом широкая Россия.

Солнце подымается над Москвою,
Солнце садится за Волгой,
Над татарской Казанью месяц
Словно пленной турчанкой вышит.

И летят исправничьи тройки,
День и ночь грохочут заводы,
Из Сибири доходят вести,
Что Второе Пришествие близко.

Кто гадает, кто верит, кто не верит,
Солнце всходит и заходит...
Вот осилим страдное лето,
Ясной осенью видно будет.

* * *

Еще молитву повторяют губы,
А ум уже считает барыши.

Закутавшись в енотовые шубы,
Торговый люд по улицам спешит.

Дымят костры по всей столице царской,
Визжат засовы и замки гремят,
И вот рассыпан на заре январской
Рог изобилия, фруктовый ряд.

Блеск дыни, винограда совершенство,
Румянец яблок, ананасов спесь!..
За выручкой сидит его степенство,
Как Саваоф, распоряжаясь здесь.

Читает «Земщину». Вприкуску с блюдца
Пьет чай, закусывая калачом,
И солнечные зайчики смеются
На чайнике, как небо голубом.

А дома, на пуховиках, сырая,
Наряженная в шелк, хозяйка ждет
И, нитку жемчуга перебирая,
Вздохнет, зевнет да перекрестит рот.

* * *

В Кузнецовской пестрой чашке
С золочеными краями,
Видно, сахару не жалко —
Чай и сладок, и горяч.

Но и пить-то неохота,
И натоплено-то слишком,
И перина пуховая
Хоть мягка, а не мила.

Лень подвинуть локоть белый,
Занавеску лень откинуть,

Сквозь высокие герани
На Сенную поглядеть.

На Сенной мороз и солнце,
Снег скрипит под сапогами,
Громко голуби воркуют
На морозной мостовой.

Да веселый, да румяный,
Озорной и чернобровый,
На Демидов переулок
Не вернется никогда!

* * *

Есть в литографиях забытых мастеров
Неизъяснимое, но явное дыханье,
Напев суровых волн и шорохи дубов,
И разноцветных птиц на ветках колыханье.

Ты в лупу светлую внимательно смотри
На шпаги и плащи у старомодных франтов,
На пристань, где луна роняет янтари
И стрелки серебрит готических курантов.

Созданья легкие искусства и ума,
Труд англичанина, и немца, и француза!
С желтеющих листов глядит на нас сама
Беспечной старины улыбчивая муза.

* * *

Когда скучна развернутая книга,
И, обездоленные, мы мечтаем,
Кружки кармина, кубики индиго
Становятся затейливым Китаем.

На глянцевитой плоскости фарфора,
Дыша духами и шурша шелками,
Встает пятиугольная Аврора
Над буколическими островками.

И журавли, на север улетая,
Кричат над плоскогорьем цвета дыни,
Что знали о поэзии Китая
Лишь в Мейссене, в эпоху Марколини.

* * *

На западе желтели облака,
Легки, как на гравюре запыленной,
И отблеск серый на воде зеленой
От каждого ложился челнока.

Еще не глохнул улиц водопад,
Еще шумел Адмиралтейский тополь,
Но видел я, о влажный бог наяд,
Как невод твой охватывал Петрополь.

Сходила ночь, блаженна и легка,
И сумрак золотой сгущался в синий,
И мне казалось: надпись по латыни
Сейчас украсит эти облака.

* * *

Где отцветают розы, где горит
Печальное полночное светило,
Источник плещется и говорит
О том, что будет, и о том, что было.

Унынья вздохи, разрушенья вид,
В пустынном небе облаков ветрила...

Здесь, в черных зарослях, меж бледных плит
Твоей любви заветная могила.

Твоей любви, поэт, твоей тоски...
На кладбище, в Шотландии туманной,
Осенних роз лелея лепестки,
Ей суждено остаться безымянной

И только вздохам ветра передать
Невыплаканной песни благодать!

ТУЧКОВА НАБЕРЕЖНАЯ

Фонарщик с лестницей, карабкаясь проворно,
Затеплил желтый газ над черною водой,
И теплится она размерно и минорно,
И отблеск красных туч тускнеет чередой.

Там Бирона дворец и парусников снасти,
Здесь бледный луч зари, упавшей на панель,
Здесь ветер осени, скликающий ненастье,
Срывает с призрака дырявую шинель.

И вспыхивает газ по узким переулкам,
Где окна сторожит глухая старина,
Где с шумом городским, размеренным и гулким,
Сливает отзвук свой летейская волна.

ЛАМПАДА

* * *

Из белого олонецкого камня
Рукою кустаря трудолюбивой
Высокого и ясного искусства
Нам явлены простые образцы.

И я гляжу на них в тревоге смутной,
Как, может быть, грядущий математик,
В ребячестве еще не зная чисел,
В учебник геометрии глядит.

Я разлюбил созданья живописцев,
И музыка мне стала тяжким шумом,
И сон мои одолевает веки,
Когда я слушаю стихи друзей.

Но с каждым днем сильней душа томится
Об острове зеленом Валааме,
О церкви из олонецкого камня,
О ветре, соснах и волне морской.

* * *

Когда светла осенняя тревога
В румянце туч и шорохе листов,
Так сладостно и просто верить в Бога,
В спокойный труд и свой домашний кров.

Уже закат, одеждами играя,
На лебедях промчался и погас.
И вечер мглистый, и листва сырая,
И сердце узнают свой тайный час.

Но не напрасно сердце холодеет:
Ведь там, за дивным пурпуром богов,
Одна есть сила. Всем она владеет —
Холодный ветр с летейских берегов.

* * *

Цвета луны и вянущей малины —
Твои, закат и тление — твои,
Тревожит ветр пустынные долины
И, замерзая, пенятся ручьи.

И лишь порой, звеня колокольцами,
Продребезжит зеленая дуга.
И лишь порой за дальними стволами —
Собачий лай, охотничьи рога.

И снова тишь... Печально и жестоко
Безмолвствует холодная заря.
И в воздухе разносится широко
Мертвящее дыханье октября.

* * *

Вновь с тобою рядом лежа,
Я вдыхаю нежный запах
Тела, пахнущего морем
И миндальным молоком.

Вновь с тобою рядом лежа,
С легким головокруженьем
Я заглядываю в очи,
Зеленей морской воды.

Влажные целую губы,
Теплую целую кожу,
И глаза мои ослепли
В темном золоте волос.

Словно я лежу, обласкан
Рыжими лучами солнца,
На морском песке, и ветер
Пахнет горьким миндалем.

* * *

Улыбка одна и та же,
Сухой неподвижен рот.
Такие, как ты,— на страже
Стоят в раю у ворот.

И только если ресницы
Распахнутся, глянут глаза,
Кажется: реют птицы
И где-то шумит гроза.

* * *

Неправильный круг описала летучая мышь,
Сосновая ветка качнулась над темной рекой,

И в воздухе тонком блеснул, задевая камыш,
Серебряный камешек, брошенный детской рукой.

Я знаю, я знаю, и море на убыль идет,
Песок засыпает оазисы, сохнет река,
И в сердце пустыни когда-нибудь жизнь расцветет,
И розы вздохнут над студеной водой родника.

Но если синей в целом мире не сыщется глаз,
Как темное золото, косы, и губы, как мед,
Но если так сладко любить, неужели и нас
Безжалостный ветер с осенней листвой унесет?

И, может быть, в рокоте моря и шорохе трав
Другие влюбленные с тайной услышат тоской
О нашей любви, что погасла, на миг просияв
Серебряным камешком, брошенным детской рукой.

* * *

Еще горячих губ прикосновенье
Я чувствую, и в памяти еще
Рисуется неясное виденье,
Улыбка, шарф, покатое плечо.

Но ветер нежности, печалью вея
И так успокоительно звеня,
Твердит, что мне пригрезилась Психея,
Во сне поцеловавшая меня.

* * *

Видел сон я: как будто стою
В золотом и прохладном раю,

И похож этот рай и закат
На тенистый Таврический сад.

Только больше цветов и воды,
И висят золотые плоды

На ветвистых деревьях его,
И кругом — тишина, торжество.

Я проснулся и вспомнил тотчас
О морях, разделяющих нас,

О письме, что дойдет через год
Или вовсе к тебе не дойдет.

Отчего же в душе, отчего
Тишина, благодать, торжество?

Словно ты прилетала ко мне
В этом солнечном лиственном сне,

Словно ты прилетала сказать,
Что не долго уже ожидать.

* * *

Снег уже пожелтел и обтаял,
Обвалились ледяшки с крыльца.
Мне все кажется, что скоротаю
Здесь нехитрую жизнь до конца.

В этом старом помещичьем доме,
Где скрипит под ногами паркет,
Где все вещи застыли в истоме
Одинаковых медленных лет.

В сердце милые тени воскресли,
Вспоминаю былые года,—
Так приятно в вольтеровском кресле
О былом повздыхать иногда

И, в окно тихим вечером глядя,
Видеть легкие сны наяву,
Не смущаясь сознанью, что ради
Мимолетной тоски — я живу.

* * *

Однажды под Пасху мальчик
Родился на свете,
Розовый и невинный,
Как все остальные дети.

Родители его были
Не бедны и не богаты,
Он учился, молился Богу,
Играл в снежки и солдаты.

Когда же подрос молодчик,
Пригожий, румяный, удалый,
Стал он карманным вором,
Шулером и вышибалой.

Полюбил водку и женщин,
Разучился Богу молиться,
Жил беззаботно, словно
Дерево или птица.

Сапоги «Скороход», бриолином
Напомаженный, на руку скорый...
И в драке во время дележки
Его закололи воры.

В Калинкинскую больницу
Отправили тело,
А душа на серебряных крыльях
В рай улетела.

Никто не служил панихиды,
Никто не плакал о Ване,
Никто не знает, что стал он
Ангелом в Божьем стане.

Что ласкова с ним Божья Матерь,
Любит его Спаситель,
Что, быть может, твой или мой он
Ангел-хранитель.

* * *

Чем больше дней за старыми плечами,
Тем настоящее отходит дальше:
За жизнью ослабевшими очами
Не уследить старухе-генеральше.

Да и зачем? Не более ли пышно
Прошедшее? — Там двор Екатерины,
Сменяются мгновенно и неслышно
Его великолепные картины.

Усталый ум привык к заветным цифрам,
Былых годов воспоминанья нижет,
И, фрейлинским украшенная шифром,
Спокойно грудь, покашливая, дышит.

Так старость нетревожимая длится —
Зимою в спальне,— летом на террасе...
...По вечерам — сама Императрица,
В регалиях и в шепчущем атласе,

Является старухе-генеральше,
Беседует и милостиво шутит...
А дни летят, минувшее — все дальше,
И скоро ангел спящую разбудит.

* * *

Прохладно... До-ре-ми-фа-соль
Летит в раскрытое окно.
Какая грусть, какая боль!
А впрочем, это все равно!

Любовь до гроба, вот недуг
Страшнее, чем зубная боль.
Тебе, непостоянный друг,
Тяну я до-ре-ми-фа-соль.

Ты королева, я твой паж,
Все это было, о юдоль!
Ты приходила в мой шалаш
И пела до-ре-ми-фа-соль.

Что делать, если яд в крови,
В мозгу смятенье, слезы — соль,
А ты заткнула уши и
Не слышишь... до-ре-ми-фа-соль.

РОЗЫ

* * *

Над закатами и розами —
Остальное все равно —
Над торжественными звездами
Наше счастье зажжено.

Счастье мучить или мучиться,
Ревновать и забывать.
Счастье, нам от Бога данное,
Счастье наше долгожданное,
И другому не бывать.

Все другое — только музыка,
Отраженье, колдовство —
Или синее, холодное,
Бесконечное, бесплодное
Мировое торжество.

1930

* * *

Глядя на огонь или дремля
В опьяненьи полусонном —

Слышишь, как летит земля
С бесконечным, легким звоном.

Слышишь, как растет трава,
Как жаз-банд гремит в Париже,—
И мутнеющая голова
Опускается все ниже.

Так и надо. Голову на грудь
Под блаженный шорох моря или сада.
Так и надо — навсегда уснуть,
Больше ничего не надо.

* * *

Синий вечер, тихий ветер
И (целуя руки эти)
В небе розовом до края,—
Догорая, умирая...

В небе розовом до муки
Плыли птицы или звезды,
И (целуя эти руки)
Было рано или поздно —

В небе розовом до края,
Тихо кануть в сумрак томный,
Ничего, как жизнь, не зная,
Ничего, как смерть, не помня.

1930

* * *

Душа черства. И с каждым днем черствей.
— Я гибну. Дай мне руку. Нет ответа.
Еще я вслушиваюсь в шум ветвей,
Еще люблю игру теней и света...

Да, я еще живу. Но что мне в том,
Когда я больше не имею власти
Соединить в создании одном
Прекрасного разрозненные части.

* * *

Не было измены. Только тишина.
Вечная любовь, вечная весна.

Только колыханье синеватых бус,
Только поцелуя солоноватый вкус.

И шумело только о любви моей
Голубое море, словно соловей.

Глубокое море у этих детских ног,
И не было измены — видит Бог.

Только грусть и нежность, нежность вся до дна,
Вечная любовь, вечная весна!

* * *

Напрасно пролита кровь,
И грусть, и верность напрасна —
Мой ангел, моя любовь,
И все-таки жизнь прекрасна.

Деревья легко шумят,
И чайки кружат над нами,
Огромный морской закат
Бросает косое пламя...

* * *

Перед тем, как умереть,
Надо же глаза закрыть.
Перед тем, как замолчать,
Надо же поговорить.

Звезды разбивают лед,
Призраки встают со дна —
Слишком быстро настает
Слишком нежная весна.

И касаясь торжества,
Превращаясь в торжество,
Рассыпаются слова
И не значат ничего.

1930

* * *

Я слышу — история и человечество,
Я слышу — изгнание или отечество.

Я в книгах читаю — добро, лицемерие,
Надежда, отчаянье, вера, неверие.

И вижу огромное, страшное, нежное,
Насквозь ледяное, навек безнадежное.

И вижу беспамятство или мучение,
Где все навсегда потеряло значение.

И вижу,— вне времени и расстояния,—
Над бедной землей неземное сияние.

1930

* * *

Теплый ветер веет с юга,
Умирает человек.
Это вьюга, это вьюга,
Это вьюга крутит снег.

«Пожалей меня, подруга,
Так ужасно умирать!»
Только ветер веет с юга,
Да и слов не разобрать.

— Тот блажен, кто умирает,
Тот блажен, кто обречен.
В миг, когда он все теряет,
Все приобретает он.

«Пожалей меня, подруга!»
И уже ни капли сил.
Теплый ветер веет с юга,
С белых ка́мней и могил.

Заметает быстро вьюга
Все, что в мире ты любил.

1930

* * *

Балтийское море дымилось
И словно рвалось на закат,
Балтийское солнце садилось
За синий и дальний Кронштадт.

И так широко освещало
Тревожное море в дыму,
Как будто еще обещало
Какое-то счастье ему.

* * *

Черная кровь из открытых жил,
И ангел, как птица, крылья сложил...

Это было на слабом, весеннем льду
В девятьсот двадцатом году.

Дай мне руку, иначе я упаду —
Так скользко на этом льду.

Над широкой Невой догорал закат,
Цепенели дворцы, чернели мосты —

Это было тысячу лет назад,
Так давно, что забыла ты.

* * *

Как в Грецию Байрон, о, без сожаленья,
Сквозь звезды, и розы, и тьму,
На голос бессмысленно-сладкого пенья...
— И ты не поможешь ему.

Сквозь звезды, которые снятся влюбленным,
И небо, где нет ничего,
В холодную полночь — платком надушенным...
— И ты не удержишь его.

На голос бессмысленно-сладкого пенья,
Как Байрон за бледным огнем,
Сквозь полночь и розы, о, без сожаленья...
— И ты позабудешь о нем.

* * *

Это только синий ладан,
Это только сон во сне,
Звезды над пустынным садом,
Розы на твоем окне.

Это то, что в мире этом
Называется весной,
Тишиной, прохладным светом
Над прохладной глубиной.

Взмахи черных весел шире,
Чище сумрак голубой...
Это то, что в этом мире
Называется судьбой.

1930

* * *

В сумраке счастья неверного
Смутно горит торжество.
Нет ничего достоверного
В синем сияньи его.
В пропасти холода нежного
Нет ничего неизбежного,
Вечного нет ничего.

Сердце твое опечалили
Небо, весна и вода.

Легкие тучи растаяли,
Легкая встала звезда.

Легкие лодки отчалили
В синюю даль навсегда.

1930

* * *

Увяданьем еле тронут
Мир печальный и прекрасный,
Паруса плывут и тонут,
Голоса зовут и гаснут.

Как звезда — фонарь качает,
Без следа — в туман разлуки,
Навсегда? — не отвечает,
Лишь протягивает руки

Ближе к снегу, к белой пене,
Ближе к звездам, ближе к дому...

...И растут ночные тени,
И скользят ночные тени
По лицу уже чужому.

1930

* * *

Прислушайся к дальнему пенью
Эоловой арфы нежней —
То море широкою тенью
Ложится у серых камней.

И голос летит из тумана:
— Я все потерял и забыл,
Печальная дочь океана,
Зачем я тебя полюбил?

* * *

Начало небо меняться,
Медленно месяц проплыл,
Словно быстрее подняться
У него не было сил.

И розоватые звезды,
На розоватой дали,
Сквозь холодеющий воздух
Ярче блеснуть не могли.

И погасить их не смела,
И не могла им помочь,
Только тревожно шумела
Черными ветками ночь.

* * *

Когда-нибудь и где-нибудь,
Не все ль равно?
Но розы упадут на грудь,
Звезда блеснет в окно
Когда-нибудь...

Летит зеленая звезда
Сквозь тишину.
Летит зеленая звезда,
Как ласточка к окну —
В счастливый дом.

И чье-то сердце навсегда
Остановилось в нем.

* * *

Злой и грустной полоской рассвета,
Угольком в догоревшей золе,
Журавлем перелетным на этой
Злой и грустной земле...

Даже больше — кому это надо —
Просиять сквозь холодную тьму...
И деревья пустынного сада
Широко шелестят: «Никому».

* * *

Закроешь глаза на мгновенье
И вместе с прохладой вдохнешь
Какое-то дальнее пенье,
Какую-то смутную дрожь.

И нет ни России, ни мира,
И нет ни любви, ни обид —
По синему царству эфира
Свободное сердце летит.

* * *

Хорошо, что нет Царя.
Хорошо, что нет России.
Хорошо, что Бога нет.

Только желтая заря,
Только звезды ледяные,
Только миллионы лет.

Хорошо — что никого,
Хорошо — что ничего,
Так черно и так мертво,
Что мертвее быть не может
И чернее не бывать,

Что никто нам не поможет
И не надо помогать.

1930

* * *

В тринадцатом году, еще не понимая,
Что будет с нами, что нас ждет,—
Шампанского бокалы подымая,
Мы весело встречали — Новый Год.

Как мы состарились! Проходят годы,
Проходят годы — их не замечаем мы...
Но этот воздух смерти и свободы,
И розы, и вино, и счастье той зимы
Никто не позабыл, о, я уверен...

Должно быть, сквозь свинцовый мрак
На мир, что навсегда потерян,
Глаза умерших смотрят так.

* * *

Россия, Россия «рабоче-крестьянская» —
И как не отчаяться! —
Едва началось твое счастье цыганское,
И вот уж кончается.

Деревни голодные, степи бесплодные...
И лед твой не тронется —
Едва поднялось твое солнце холодное,
И вот уже клонится.

1930

* * *

Холодно бродить по свету,
Холодней лежать в гробу.
Помни это, помни это,
Не кляни свою судьбу.

Ты еще читаешь Блока,
Ты еще глядишь в окно,
Ты еще не знаешь срока —
Все неясно, все жестоко,
Все навек обречено.

И, конечно, жизнь прекрасна,
И, конечно, смерть страшна,
Отвратительна, ужасна,
Но всему одна цена.

Помни это, помни это
Каплю жизни, каплю света...

«Донна Анна! Нет ответа.
Анна, Анна! Тишина».

1930

* * *

По улицам рассеянно мы бродим,
На женщин смотрим и в кафе сидим,
Но настоящих слов мы не находим,
А приблизительных мы больше не хотим.

И что же делать? В Петербург вернуться?
Влюбиться? Или Опера́ взорвать?
Иль просто — лечь в холодную кровать,
Закрыть глаза и больше не проснуться...

* * *

Для чего, как на двери небесного рая,
Нам на это прекрасное небо смотреть,
Каждый миг умирая и вновь воскресая
Для того, чтобы вновь умереть.

Для чего этот легкий торжественный воздух
Голубой средиземной зимы
Обещает, что где-то — быть может, на звездах —
Будем счастливы мы.

Утомительный день утомительно прожит,
Голова тяжела, и над ней
Розовеет закат —о, последний, быть может,—
Все нежней, и нежней, и нежней...

* * *

Страсть? А если нет и страсти?
Власть? А если нет и власти
Даже над самим собой?

Что же делать мне с тобой?

Только не гляди на звезды,
Не грусти и не влюбляйся,
Не читай стихов певучих
И за счастье не цепляйся —

Счастья нет, мой бедный друг.

Счастье выпало из рук,
Камнем в море утонуло,
Рыбкой золотой плеснуло,
Льдинкой уплыло на юг.

Счастья нет, и мы не дети.
Вот и надо выбирать —
Или жить, как все на свете,
Или умирать.

1930

* * *

Как грустно, и все же как хочется жить,
А в воздухе пахнет весной.
И вновь мы готовы за счастье платить
Какою угодно ценой.

И люди кричат, экипажи летят,
Сверкает огнями Конкорд —
И розовый, нежный парижский закат
Широкою тенью простерт.

* * *

Так тихо гаснул этот день. Едва
Блеснула медью чешуя канала,
Сухая, пожелтевшая листва
Предсмертным шорохом затрепетала.

Мы плыли в узкой лодке по волнам,
Нам было грустно, как всегда влюбленным,
И этот бледно-синий вечер нам
Казался существом одушевленным.

Как будто говорил он: я не жду
Ни счастия, ни солнечного света —
На этот бедный лоб немного льду,
Немного жалости на сердце это.

* * *

Грустно, друг. Все слаще, все нежнее
Ветер с моря. Слабый звездный свет.
Грустно, друг. И тем еще грустнее,
Что надежды больше нет.

Это уж не романтизм. Какая
Там Шотландия! Взгляни: горит
Между черных лип звезда большая
И о смерти говорит.

Пахнет розами. Спокойной ночи.
Ветер с моря, руки на груди.
И в последний раз в пустые очи
Звезд бессмертных — погляди.

* * *

Как лед, наше бедное счастье растает,
Растает, как лед, словно камень, утонет,
Держи, если можешь,— оно улетает,
Оно улетит, и никто не догонит.

* * *

Январьский день. На берегу Невы
Несется ветер, разрушеньем вея.
Где Олечка Судейкина, увы!
Ахматова, Паллада, Саломея?
Все, кто блистал в тринадцатом году —
Лишь призраки на петербургском льду.

Вновь соловьи засвищут в тополях,
И на закате, в Павловске иль Царском,
Пройдет другая дама в соболях,
Другой влюбленный в ментике гусарском...
Но Всеволода Князева они
Не вспомнят в дорогой ему тени.

* * *

Синеватое облако
(Холодок у виска)
Синеватое облако
И еще облака...

И старинная яблоня
(Может быть, подождать?)
Простодушная яблоня
Зацветает опять.

Все какое-то русское —
(Улыбнись и нажми!)

Это облако узкое,
Словно лодка с детьми

И особенно синяя
(С первым боем часов...)
Безнадежная линия
Бесконечных лесов.

* * *

В глубине, на самом дне сознанья,
Как на дне колодца — самом дне —
Отблеск нестерпимого сиянья
Пролетает иногда во мне.

Боже! И глаза я закрываю
От невыносимого огня.
Падаю в него...
                    и понимаю,
Что глядят соседи по трамваю
Странными глазами на меня.

* * *

Утро было как утро. Нам было довольно приятно.
Чашки черного кофе были лилово-черны,
Скатерть ярко-бела, и на скатерти рюмки и пятна.

Утро было как утро. Конечно, мы были пьяны.
Англичане с соседнего столика что-то мычали —
Что-то о испытаньях великой союзной страны.

Кто-то сел за рояль и запел, и кого-то качали...
Утро было как утро — розы дождливой весны
Плыли в широком окне, ледяном океане печали.

* * *

Медленно и неуверенно
Месяц встает над землей.
Черные ветки качаются,
Пахнет весной и травой.

И отражается в озере,
И холодеет на дне
Небо, слегка декадентское,
В бледно-зеленом огне.

Все в этом мире по-прежнему.
Месяц встает, как вставал,
Пушкин именье закладывал
Или жену ревновал.

И ничего не исправила,
Не помогла ничему
Смутная, чудная музыка,
Слышная только ему.

* * *

От синих звезд, которым дела нет
До глаз, на них глядящих с упованьем,
От вечных звезд — ложится синий свет
Над сумрачным земным существованьем.

И сердце беспокоится. И в нем —
О, никому на свете незаметный —
Вдруг чудным загорается огнем
Навстречу звездному лучу — ответный.

И надо всем мне в мире дорогим
Он холодно скользит к границе мира,
Чтобы скреститься там с лучом другим,
Как золотая тонкая рапира.

* * *

Даль грустна, ясна, холодна, темна,
Холодна, ясна, грустна.

Эта грусть, которая звезд полна,
Эта грусть и есть весна.

Голубеет лес, чернеет мост,
Вечер тих и полон звезд.

И кому страшна о смерти весть,
Та, что в этой нежности есть?

И кому нужна та, что так нежна,
Что нежнее всего — весна?

* * *

Все розы, которые в мире цвели,
И все соловьи, и все журавли,

И в черном гробу восковая рука,
И все паруса, и все облака,

И все корабли, и все имена,
И эта, забытая Богом, страна!

Так черные ангелы медленно падали в мрак,
Так черною тенью Титаник клонился ко дну,
Так сердце твое оборвется когда-нибудь — так
Сквозь розы и ночь, снега и весну...

ОТПЛЫТИЕ НА ОСТРОВ ЦИТЕРУ

* * *

О, высок, весна, высок твой синий терем,
Твой душистый клевер полевой.
О, далек твой путь за звездами на север,
Снежный ветер, белый веер твой.

Вьется голубок. Надежда улетает.
Катится клубок... О, как земля мала.
О, глубок твой снег, и никогда не тает.
Слишком мало на земле тепла.

* * *

Это месяц плывет по эфиру,
Это лодка скользит по волнам,
Это жизнь приближается к миру,
Это смерть улыбается нам.
Обрывается лодка с причала,
И уносит, уносит ее...
Это детство и счастье сначала,
Это детство и счастье твое.

Да,— и то, что зовется любовью,
Да,— и то, что надеждой звалось,
Да,— и то, что дымящейся кровью
На сияющий снег пролилось.
...Ветки сосен — они шелестели:
«Милый друг, погоди, погоди...»
Это призрак стоит у постели
И цветы прижимает к груди.

Приближается звездная вечность,
Рассыпается пылью гранит,
Бесконечность, одна бесконечность
В леденеющем мире звенит.
Это музыка миру прощает
То, что жизнь никогда не простит,
Это музыка путь освещает,
Где погибшее счастье летит.

* * *

Россия счастие. Россия свет.
А, может быть, России вовсе нет.

И над Невой закат не догорал,
И Пушкин на снегу не умирал,

И нет ни Петербурга, ни Кремля —
Одни снега, снега, поля, поля...

Снега, снега, снега... А ночь долга,
И не растают никогда снега.

Снега, снега, снега... А ночь темна
И никогда не кончится она.

Россия тишина. Россия прах.
А, может быть, Россия — только страх.

Веревка, пуля, ледяная тьма
И музыка, сводящая с ума.

Веревка, пуля, каторжный рассвет
Над тем, чему названья в мире нет.

* * *

Только всего — простодушный напев,
Только всего — умирающий звук,
Только свеча, нагорев, догорев...
Только. И падает скрипка из рук.

Падает песня в предвечную тьму,
Падает мертвая скрипка за ней...

И, неподвластна уже никому,
В тысячу раз тяжелей и нежней,
Слаще и горестней в тысячу раз,
Тысячью звезд, что на небе горит,
Тысячью слез из растерянных глаз —

Чудное эхо ее повторит.

* * *

Слово за словом, строка за строкой —
Все о тебе ослабевшей рукой.

Розы и жалобы — все о тебе.
Полночь. Сиянье. Покорность судьбе.

Полночь. Сиянье. Ты в мире одна.
Ты тишина, ты заря, ты весна.

И холодна ты, как вечный покой...
Слово за словом, строка за строкой,

Капля за каплей — кровь и вода —
В синюю вечность твою навсегда.

* * *

Музыка мне больше не нужна.
Музыка мне больше не слышна.

Пусть себе, как черная стена,
К звездам подымается она,

Пусть себе, как черная волна,
Глухо рассыпается она.

Ничего не может изменить,
И не может ничему помочь,

То, что только плачет и звенит,
И туманит, и уходит в ночь...

* * *

Звезды синеют. Деревья качаются.
Вечер как вечер. Зима как зима.
Все прощено. Ничего не прощается.
Музыка. Тьма.

Все мы герои и все мы изменники,
Всем одинаково верим словам.
Что ж, дорогие мои современники,
Весело вам?

* * *

Ни светлым именем богов,
Ни темным именем природы!

...Еще у этих берегов
Шумят деревья, плещут воды...

Мир оплывает, как свеча,
И пламя пальцы обжигает.
Бессмертной музыкой звуча,
Он ширится и погибает.
И тьма — уже не тьма, а свет.
И да — уже не да, а нет.

...И не восстанут из гробов
И не вернут былой свободы —
Ни светлым именем богов,
Ни темным именем природы!

Она прекрасна, эта мгла.
Она похожа на сиянье.
Добра и зла, добра и зла
В ней неразрывное слиянье.
Добра и зла, добра и зла
Смысл, раскаленный добела.

* * *

Только звезды. Только синий воздух,
Синий, вечный, ледяной.
Синий, грозный, сине-звездный
Над тобой и надо мной.

Тише, тише. За полярным кругом
Спят, не разнимая рук,
С верным другом, с неразлучным другом,
С мертвым другом мертвый друг.

Им спокойно вместе, им блаженно рядом...
Тише, тише. Не дыши.
Это только звезды над пустынным садом,
Только синий свет твоей души.

* * *

Сиянье. В двенадцать часов по ночам,
Из гроба.
Все — темные розы по детским плечам.
И нежность, и злоба.

И верность. О, верность верна!
Шампанское взоры туманит...
И музыка. Только она
Одна не обманет.

О, все это шорох ночных голосов,
О, все это было когда-то —
Над синими далями русских лесов,
В торжественной грусти заката...
Сиянье. Сиянье. Двенадцать часов.
Расплата.

* * *

Замело тебя, счастье, снегами,
Унесло на столетья назад,
Затоптало тебя сапогами
Отступающих в вечность солдат.

Только в сумраке Нового Года
Белой музыки бьется крыло:
— Я надежда, я жизнь, я свобода,
Но снегами меня замело.

* * *

О, душа моя, могло ли быть иначе.
Разве ты ждала, что жизнь тебя простит?
Это только в сказках: Золушка заплачет,
Добрый лес зашелестит...

Все-таки, душа, не будь неблагодарной,
Все-таки не плачь...
Над темным миром зла
Высоко сиял венец звезды полярной,
И жестокой, чистой, грозной, лучезарной
Смерть твоя была.

* * *

Так иль этак. Так иль этак.
Все равно. Все решено
Колыханьем черных веток
Сквозь морозное окно.

Годы долгие решалась,
А задача так проста.
Нежность под ноги бросалась,
Суетилась суета.

Все равно. Качнулись ветки
Снежным ветром по судьбе.
Слезы медленны и едки
Льются сами по себе.

Но тому, кто тихо плачет,
Молча стоя у окна,
Ничего уже не значит,
Что задача решена.

* * *

Только темная роза качнется,
Лепестки осыпая на грудь.
Только сонная вечность проснется
Для того, чтобы снова уснуть.

Паруса уплывают на север,
Поезда улетают на юг,
Через звезды, и пальмы, и клевер,
Через горе и счастье, мой друг.

Все равно — не протягивай руки,
Все равно — ничего не спасти.
Только синие волны разлуки,
Только синее слово «прости».

И рассеется дым паровоза,
И плеснет, исчезая, весло...
Только вечность, как темная роза,
В мировое осыпется зло.

* * *

Я тебя не вспоминаю,
Для чего мне вспоминать?
Знаю только то, что знаю,
Только то, что можно знать.

Край земли. Полоска дыма
Тянет в небо, не спеша.
Одинока, нелюдима,
Вьется ласточкой душа.

Край земли. За синим краем
Вечности пустая гладь.
То, чего мы не узнаем,
То, чего не надо знать.

Если я скажу, что знаю,
Ты поверишь. Я солгу.
Я тебя не вспоминаю,
Не хочу и не могу.

Но люблю тебя, как прежде,
Может быть, еще нежней,
Бессердечней, безнадежней
В пустоте, в тумане дней.

* * *

Над розовым морем вставала луна,
Во льду зеленела бутылка вина

И томно кружились влюбленные пары
Под жалобный рокот гавайской гитары.

— Послушай. О, как это было давно,
Такое же море и то же вино.

Мне кажется, будто и музыка та же...
Послушай, послушай,— мне кажется даже...

— Нет, вы ошибаетесь, друг дорогой.
Мы жили тогда на планете другой,

И слишком устали, и слишком мы стары
Для этого вальса и этой гитары.

* * *

Это звон бубенцов издалека,
Это тройки широкий разбег,
Это черная музыка Блока
На сияющий падает снег.

...За пределами жизни и мира,
В пропастях ледяного эфира
Все равно не расстанусь с тобой!

И Россия, как белая лира,
Над засыпанной снегом судьбой.

1930

* * *

В шуме ветра, в детском плаче,
В тишине, в словах прощанья
«А могло бы быть иначе»
Слышу я, как обещанье.

Одевает в саван снежный
Всю тщету, все неудачи —
Тень надежды безнадежной
«А могло бы быть иначе».

Заметает сумрак снежный
Все поля, все расстоянья.
Тень надежды безнадежной
Превращается в сиянье.

Все сгоревшие поленья,
Все решенные задачи,
Все слова, все преступленья...

А могло бы быть иначе.

Сентябрь 1936

* * *

Душа человека. Такою
Она не была никогда.
На небо глядела с тоскою,
Взволнованна, зла и горда.

И вот умирает. Так ясно,
Так просто сгорая дотла —

Легка, совершенна, прекрасна,
Нетленна, блаженна, светла.

Сиянье. Душа человека,
Как лебедь, поет и грустит,
И крылья раскинув широко,
Над бурями темного века
В беззвездное небо летит.

Над бурями темного рока
В сиянье. Всего не успеть...
Дым тянется... След остается...

И полною грудью поется,
Когда уже не о чем петь.

* * *

Жизнь бессмысленную прожил
На ветру и на юру.
На минуту — будто ожил.
Что там. Полезай в дыру.

Он, не споря, покорился
И теперь в земле навек.
Так ничем не озарился
Скудный труд и краткий век.
Но... тоскует человек.

И ему в земле не спится
Или снится скверный сон...
В доме скрипнет половица,
На окошко сядет птица,
В стенке хрустнет. Это — он.

И тому, кто в доме, жутко,
И ему — ох! — тяжело.
А была одна минутка.
Мог поймать. Не повезло.

ПОРТРЕТ БЕЗ СХОДСТВА

* * *

Что-то сбудется, что-то не сбудется...
Перемелется все, позабудется...

Но останется эта вот, рыжая,
У заборной калитки трава.

...Если плещется где-то Нева,
Если к ней долетают слова —
Это вам говорю из Парижа я
То, что сам понимаю едва.

* * *

Все неизменно и все изменилось
В утреннем холоде странной свободы.
Долгие годы мне многое снилось,
Вот я проснулся — и где эти годы!

Вот я иду по осеннему полю,
Все как всегда, и другое, чем прежде:
Точно меня отпустили на волю
И отказали в последней надежде.

1

Друг друга отражают зеркала,
Взаимно искажая отраженья.

Я верю не в непобедимость зла,
А только в неизбежность пораженья.

Не в музыку, что жизнь мою сожгла,
А в пепел, что остался от сожженья.

2

Игра судьбы. Игра добра и зла.
Игра ума. Игра воображенья.
«Друг друга отражают зеркала,
Взаимно искажая отраженья...»

Мне говорят — ты выиграл игру!
Но все равно. Я больше не играю.
Допустим, как поэт, я не умру,
Зато, как человек, я умираю.

* * *

Маятника мерное качанье,
Полночь, одиночество, молчанье.

Старые счета перебираю.
Умереть? Да вот не умираю.

Тихо перелистываю «Розы» —
«Кабы на цветы да не морозы»!

* * *

Где прошлогодний снег, скажите мне?..
Нетаявший, почти альпийский снег,
Невинной жертвой отданный весне,
Апрелем обращенный в плеск и бег,
В дыханье одуванчиков и роз,
Взволнованного мира светлый вал,
В поэзию,
    В бессмысленный вопрос,
Что ей Виллон когда-то задавал?

* * *

Воскресают мертвецы,
Наши деды и отцы,
Пращуры и предки.

Рвутся к жизни, как птенцы,
Из постылой клетки.

Вымирают города,
Мужики и господа,
Старички и детки.

И глядит на мир звезда
Сквозь сухие ветки.

* * *

Мертвый проснется в могиле,
Черная давит доска.
Что это? Что это? — Или
И воскресенье тоска?

И воскресенье унынье?
Скучное дело — домой.

...Тянет Волынью, полынью,
Тянет сумой и тюрьмой.

И над соломой избенок,
Сквозь косогоры и лес,
Жалобно плачет ребенок,
Тот, что сегодня воскрес.

* * *

Он спал, и Офелия снилась ему
В болотных огнях, в подвенечном дыму.

Она музыкальной спиралью плыла,
Как сон, отражали ее зеркала,

Как нимб, окружали ее светляки,
Как лес, вырастали за ней васильки...

...Как просто страдать! Можно душу отдать
И все-таки сна не уметь передать.
И зная, что гибель стоит за плечом,
Грустить ни о ком, мечтать ни о чем...

* * *

День превратился в свое отраженье,
В изнеможенье, головокруженье.

В звезды и музыку день превратился.
Может быть, мир навсегда прекратился?

Что-то похожее было со мною,
Тоже у озера, тоже весною,

В синих и розовых сумерках тоже...
...Странно, что был я когда-то моложе.

* * *

Рассказать обо всех мировых дураках,
Что судьбу человечества держат в руках?

Рассказать обо всех мертвецах-подлецах,
Что уходят в историю в светлых венцах?

Для чего?
        Тишина под парижским мостом.
И какое мне дело, что будет потом?

* * *

А люди? Ну на что мне люди?
Идет мужик, ведет быка.
Сидит торговка: ноги, груди,
Платочек, круглые бока.

Природа? Вот она, природа —
То дождь и холод, то жара.
Тоска в любое время года,
Как дребезжанье комара.

Конечно, есть и развлеченья:
Страх бедности, любви мученья,
Искусства сладкий леденец,
Самоубийство, наконец.

* * *

Образ полусотворенный,
Шепот недоговоренный,
Полужизнь, полуусталость —
Это все, что мне осталось.

Принимаю, как награду,
Тень, скользящую по саду,
Переход апреля к маю,
Как подарок, принимаю.

«Тот блажен, кто забывает»,—
Мудрость, хоть и небольшая!..
...И забвенье наплывает,
Биться сердцу не мешая.

* * *

В награду за мои грехи,
Позор и торжество,
Вдруг появляются стихи —
Вот так... Из ничего.

Все кое-как и как-нибудь,
Волшебно на авось:
Как розы падают на грудь...
— И ты мне розу брось!

Нет, лучше брось за облака —
Там рифма заблестит,
Коснется тленного цветка
И в вечный превратит.

* * *

Холодно... В сумерках этой страны
Гибнут друзья, торжествуют враги.
Снятся мне в небе пустом
Белые звезды над черным крестом.
　　И не слышны голоса и шаги,
　　Или почти не слышны.

Синие сумерки этой страны...
Всюду, куда ни посмотришь,— снега.
Жизнь положив на весы,
Вижу, что жизнь мне не так дорога.
И не страшны мне ночные часы
Или почти не страшны.

* * *

Тихим вечером в тихом саду
Облака отражались в пруду.

Ангел нес в бесконечность звезду
И ее уронил над прудом...

И стоит заколоченный дом,
И молчит заболоченный пруд,
Скоро в нем и лягушки умрут.

И лежишь на болотистом дне
Ты, сиявшая мне в вышине.

* * *

Каждой ночью грозы
Не дают мне спать.
Отцветают розы
И цветут опять.
Точно в мир спустилась
Вечная весна.
Точно распустилась
Розами война.

Тишины всемирной
Голубая тьма.
Никогда так мирны
Не были дома.

И такою древней
Не была земля...

...Тишина деревни,
Тополя, поля.

Вслушиваясь в слабый,
Нежный шум ветвей,
Поджидают бабы
Мертвых сыновей:
В старости опора
Каждому нужна,
А теперь уж скоро
Кончится война!

* * *

Был замысел странно-порочен,
И все-таки жизнь подняла
В тумане — туманные очи
И два лебединых крыла.

И все-таки тени качнулись,
Пока догорала свеча.
И все-таки струны рванулись,
Бессмысленным счастьем звуча...

* * *

Потеряв даже в прошлое веру,
Став ни это, мой друг, и ни то,—
Уплываем теперь на Цитеру
В синеватом сияньи Ватто...

Грусть любуется лунным пейзажем,
Смерть, как парус, шумит за кормой...
...Никому ни о чем не расскажем,
Никогда не вернемся домой.

* * *

Отражая волны голубого света,
В направленьи Ниццы пробежал трамвай.
— Задавай вопросы. Не проси ответа.
Лучше и вопросов, друг, не задавай.

Улыбайся морю. Наслаждайся югом.
Помни, что в России — ночь и холода,
Помни, что тебя я называю другом,
Зная, что не встречу нигде и никогда...

* * *

Ничего не вернуть. И зачем возвращать?
Разучились любить, разучились прощать,
Забывать никогда не научимся...

Спит спокойно и сладко чужая страна,
Море ровно шумит. Наступает весна
В этом мире, в котором мы мучимся.

* * *

На грани таянья и льда
Зеленоватая звезда.

На грани музыки и сна
Полузима, полувесна.

К невесте тянется жених
И звезды падают на них.

Летят сквозь снежную фату
В сияющую пустоту.

Ты — это я. Я — это ты.
Слова нежны. Сердца пусты.

Я — это ты. Ты — это я
На хрупком льду небытия.

* * *

Лунатик в пустоту глядит,
Сиянье им руководит,
Чернеет гибель снизу.
И даже угадать нельзя,
Куда он движется, скользя,
По лунному карнизу.

Расстреливают палачи
Невинных в мировой ночи —
Не обращай вниманья!
Гляди в холодное ничто,
В сияньи постигая то,
Что выше пониманья.

* * *

Летний вечер прозрачный и грузный.
Встала радуга коркой арбузной,
Вьется птица — крылатый булыжник...

Так на небо глядел передвижник,
Оптимист и искусства подвижник.

Он был прав. Мы с тобою не правы.
Берегись декадентской отравы:
«Райских звезд», искаженного света,

Упоенья сомнительной славы,
Неизбежной расплаты за это.

* * *

Стоило ли этого счастье безрассудное?
Все-таки возможное? О, конечно, да.
Птицей улетевшее в небо изумрудное,
Где переливается вечерняя звезда.

Будьте легкомысленней! Будьте легковернее!
Если вам не спится — выдумывайте сны.
Будьте, если можете, как звезда вечерняя,
Так же упоительны, так же холодны.

* * *

Ветер тише, дождик глуше,
И на все один ответ:
Корабли увидят сушу,
Мертвецы увидят свет.

Ежедневной жизни муку
Я и так едва терплю.
За ритмическую скуку,
Дождик, я тебя люблю.

Барабанит, барабанит,
Барабанит,— ну и пусть.
А когда совсем устанет,
И моя устанет грусть.

В самом деле — что я трушу:
Хуже страха вещи нет.
Ну и потеряю душу,
Ну и не увижу свет.

* * *

По дому бродит полуночник —
То улыбнется, то вздохнет,
То ослабевший позвоночник
Над письменным столом согнет.

Черкнет и бросит. Выпьет чаю,
Загрезит чем-то наяву.
...Нельзя сказать, что я скучаю.
Нельзя сказать, что я живу,

Не обижаясь, не жалея,
Не вспоминая, не грустя.
...Так труп в песке лежит, не тлея,
И так рожденья ждет дитя.

* * *

Если бы жить... Только бы жить...
Хоть на литейном заводе служить.

Хоть углекопом с тяжелой киркой,
Хоть бурлаком над Великой Рекой.

«Ухнем, дубинушка!..»
Все это сны.
Руки твои ни на что не нужны.

Этим плечам ничего не поднять.
Нечего, значит, на Бога пенять:
Трубочка есть. Водочка есть.
Всем в кабаке одинакова честь!

* * *

С бесчеловечною судьбой
Какой же спор? Какой же бой?
Все это наважденье.

Но этот вечер голубой
Еще мое владенье.

И небо. Красно меж ветвей,
А по краям жемчужно...
Свистит в сирени соловей,
Ползет по травке муравей —
Кому-то это нужно.

Пожалуй, нужно даже то,
Что я вдыхаю воздух,
Что старое мое пальто
Закатом слева залито,
А справа тонет в звездах.

* * *

В дыму, в огне, в сияньи, в кружевах,
И веерах, и страусовых перьях!..
В сухих цветах, в бессмысленных словах,
И в грешных снах, и в детских суеверьях —

Так женщина смеется на балу,
Так беззаконная звезда летит во мглу...

* * *

Восточные поэты пели
Хвалу цветам и именам,
Догадываясь еле-еле
О том, что недоступно нам.

Но эта смутная догадка,
Полумечта, полухвала,
Вся разукрашенная сладко,
Тем ядовитее была.

Сияла ночь Омар Хайяму,
Свистел персидский соловей,
И розы заплетали яму,
Могильных полную червей.

Быть может, высшая надменность:
То развлекаться, то скучать,
Сквозь пальцы видеть современность,
О самом главном — промолчать.

* * *

У входа в бойни, сквозь стальной туман,
Поскрипывая, полз подъемный кран,
И ледяная чешуя канала
Венецию слегка напоминала...

А небо было в розах и в огне
Таких, что сердце начинало биться...
Как будто все обещанное мне
Сейчас должно осуществиться.

* * *

В конце концов судьба любая
Могла бы быть моей судьбой.
От безразличья погибая,
Гляжу на вечер голубой.

Домишки покосились вправо
Под нежным натиском веков,
А дальше тишина и слава
Весны, заката, облаков...

1

Я не стал ни лучше и ни хуже.
Под ногами тот же прах земной,
Только расстоянье стало уже
Между вечной музыкой и мной.

Жду, когда исчезнет расстоянье,
Жду, когда исчезнут все слова
И душа провалится в сиянье
Катастрофы или торжества.

2

Что ж, поэтом долго ли родиться...
Вот сумей поэтом умереть!
Собственным позором насладиться,
В собственной бессмыслице сгореть!

Разрушая, снова начиная,
Все автоматически губя,
В доказательство, что жизнь иная
Так же безнадежна, как земная,
Так же недоступна для тебя.

* * *

Шаг направо. Два налево.
И опять стена.
Смотрит сквозь окошко хлева
Белая луна.

Шаг налево. Два направо.
На соломе — кровь...
Где они, надменность, слава,
Молодость, любовь?..

Все слила пустого хлева
Грязная стена.
Улыбнитесь, королева,
Вечность — вот она!

Впереди палач и плаха,
Вечность вся, в упор!
Улыбнитесь. И с размаха —
Упадет топор.

* * *

Остановиться на мгновенье,
Взглянуть на Сену и дома,
Испытывая вдохновенье,
Почти сводящее с ума.

Оно никак не воплотится,
Но через годы и века
Такой же луч зазолотится
Сквозь гаснущие облака,

Сливая счастье и страданье
В неясной прелести земной...
И это будет оправданье
Всего, погубленного мной.

RAYON DE RAYONNE

1

В тишине вздохнула жаба.
Из калитки вышла баба
В ситцевом платке.

Сердце бьется слабо, слабо,
Будто вдалеке.

В светлом небе пусто, пусто.
Как ядреная капуста,
Катится луна.

И бессмыслица искусства
Вся, насквозь, видна.

2

Портной обновочку утюжит,
Сопит портной, шипит утюг,
И брюки выглядят не хуже
Любых обыкновенных брюк.

А между тем они из воска,
Из музыки, из лебеды,
На синем белая полоска —
Граница счастья и беды.

Из бездны протянулись руки...
В одной цветы, в другой кинжал...
Вскочил портной, спасая брюки,
Но никуда не убежал.

Торчит кинжал в боку портного,
Белеют розы на груди.
В сияньи брюки Ивановá
Летят и — вечность впереди...

3

Все чаще эти объявленья:
Однополчане и семья
Вновь выражают сожаленья...
«Сегодня ты, а завтра я!»

Мы вымираем по порядку —
Кто поутру, кто вечерком,
И на кладбищенскую грядку
Ложимся, ровненько, рядком.

Невероятно до смешного:
Был целый мир — и нет его...

Вдруг — ни похода ледяного,
Ни капитана Ивановá,
Ну абсолютно ничего!

4

Где-то белые медведи
На таком же белом льду
Повторяют «буки-веди»,
Принимаясь за еду.

Где-то рыжие верблюды
На оранжевом песке
Опасаются простуды,
Напевая «бре-ке-ке».

Все всегда, когда-то, где-то
Время глупое ползет.
Мне шестериком карета
Ничего не привезет.

5

А от цево? Никто не ведает притцыны.
Фонвизин

По улице уносит стружки
Ноябрьский ветер ледяной.
— Вы русский? — Ну понятно, *рушкий.*
Нос бесконечный. Шарф смешной.

Есть у него жена и дети,
Своя мечта, своя беда...
Как скучно жить на этом свете,
Как неуютно, господа!

Обедать, спать, болеть поносом.
Немножко красть.— А кто не крал?
...Такой же Гоголь с длинным носом
Так долго, страшно умирал...

6

Зазеваешься мечтая,
Дрогнет удочка в руке —
Вот и рыбка золотая
На серебряном крючке.

Так мгновенно, так прелестно,
Солнце, ветер и вода —
Даже рыбке в речке тесно,
Даже ей нужна беда:

Нужно, чтобы небо гасло,
Лодка ластилась к воде,
Чтобы закипало масло
Нежно на сковороде.

7

Снова море, снова пальмы,
И гвоздики, и песок,
Снова вкрадчиво-печальный
Этой птички голосок.

Никогда ее не видел
И не знаю, какова.
Кто ее навек обидел,
В чем, своем, она права?

Велика иль невеличка?
Любит воду иль песок?
Может, и совсем не птичка,
А из ада голосок?

8

Добровольно, до срока
(Все равно — решено),
Не окончив урока,
Опускайтесь на дно.

С неизбежным не споря
(Волноваться смешно),
У лазурного моря
Допивайте вино!

Улыбнитесь друг другу
И снимайтесь с земли,
Треугольником, к югу,
Как вдали журавли...

9

В пышном доме графа Зубова
О блаженстве, о Италии
Тенор пел. С румяных губ его
Звуки, тая, улетали и

За окном, шумя полозьями,
Пешеходами, трамваями,
Гаснул, как в туманном озере,
Петербург незабываемый.

...Абажур зажегся матово
В голубой, овальной комнате.
Нежно гладя пса лохматого,
Предсказала мне Ахматова:
«Этот вечер вы запомните».

10

Имя тебе непонятное дали,
Ты забытье.
Или — точнее — цианистый калий
Имя твое.

Георгий Адамович

Как вы когда-то разборчивы были,
О, дорогие мои.
Водки не пили, ее не любили,
Предпочитали Нюи.

Стал нашим хлебом — цианистый калий,
Нашей водой — сулема.
Что ж? Притерпелись и попривыкали,
Не посходили с ума.

Даже напротив — в бессмысленно-злобном
Мире — противимся злу:
Ласково кружимся в вальсе загробном
На эмигрантском балу.

11

Голубизна чужого моря,
Блаженный вздох весны чужой
Для нас скорей эмблема горя,
Чем символ прелести земной.

...Фитиль, любитель керосина,
Затрепетал, вздохнул, потух —
И внемлет арфе Серафима
В священном ужасе петух.

12

Вот более иль менее
Приехали в имение.
Вот менее иль более
Дорожки, клумбы, поле и
Все то, что полагается,
Чтоб дачникам утешиться:
Идет старик — ругается,
Сидит собака — чешется.

И более иль менее —
На всем недоумение.

13

Что мне нравится — того я не имею,
Что хотел бы делать — делать не умею.

Мне мое лицо, походка, даже сны
Головокружительно скучны.

— Как же так? Позволь... Да что с тобой такое?
— Ах, любезный друг, оставь меня в покое!..

14

На полянке поутру
Веселился кенгуру —
Хвостик собственный кусал,
В воздух лапочки бросал.

Тут же рядом камбала
Водку пи́ла, ром пила́,
Раздевалась догола,

Напевала «тра-ла-ла»,
Любовалась в зеркала...

— Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла,
Я флакон одеколону,
Не жалея, извела,
Вертебральную колонну
Оттирая добела!..

15

Художников развязная мазня,
Поэтов выспренняя болтовня...

Гляжу на это рабское старанье,
Испытывая жалость и тоску:

Насколько лучше — блеянье баранье,
Мычанье, кваканье, кукуреку.

ДНЕВНИК

* * *

Торжественно кончается весна,
И розы, как в эдеме, расцвели.
Над океаном блеск и тишина,
И в блеске — паруса и корабли...

...Узнает ли когда-нибудь она,
Моя невероятная страна,
Что было солью каторжной земли?

А впрочем, соли всюду грош цена.
Просыпали — метелкой подмели.

* * *

Калитка закрылась со скрипом,
Осталась в пространстве заря
И к благоухающим липам
Приблизился свет фонаря.

И влажно они просияли
Курчавою тенью сквозной,

Как отблеск на одеяле
Свечей сквозь дымок отходной.

И важно они прошумели,
Как будто посмели теперь
Сказать то, чего не умели,
Пока не захлопнулась дверь.

* * *

Теперь, когда я сгнил и черви обглодали
До блеска остов мой и удалились прочь,
Со мной случилось то, чего не ожидали
Ни те, кто мне вредил, ни кто хотел помочь.

Любезные друзья, не стоил я презренья,
Прелестные враги, помочь вы не могли.
Мне исковеркал жизнь талант двойного зренья,
Но даже черви им, увы, пренебрегли.

* * *

Смилостивилась погода,
Дождик перестал.
Час от часу, год от года,
Как же я устал!

Даже не отдать отчета,
Боже, до чего!
Ни надежды. Ни расчета.
Просто — ничего.

Прожиты тысячелетья
В черной пустоте.
И не прочь бы умереть я,
Если бы не «те».

«Те» иль «эти»? «Те» иль «эти»?
Ах, не все ль равно,
(Перед тем, как в лунном свете
Улететь в окно).

* * *

«Желтофиоль» — похоже на виолу,
На меланхолию, на канифоль.
Иллюзия относится к Эолу,
Как к белизне — безмолвие и боль.
И, подчиняясь рифмы произволу,
Мне все равно — пароль или король.

Поэзия — точнейшая наука:
Друг друга отражают зеркала,
Срывается с натянутого лука
Отравленная музыкой стрела
И в пустоту летит, быстрее звука...

«...Оставь меня. Мне ложе стелит скука»!

* * *

Этой жизни нелепость и нежность
Проходя, как под теплым дождем,
Знаем мы — впереди неизбежность,
Но ее появленья не ждем.

И проснувшись от резкого света,
Видим вдруг — неизбежность пришла,
Как в безоблачном небе комета,
Лучезарная вестница зла.

* * *

Мелодия становится цветком,
Он распускается и осыпается,
Он делается ветром и песком,
Летящим на огонь весенним мотыльком,
Ветвями ивы в воду опускается...

Проходит тысяча мгновенных лет
И перевоплощается мелодия
В тяжелый взгляд, в сиянье эполет,
В рейтузы, в ментик, в «Ваше благородие»,
В корнета гвардии — о, почему бы нет?..

Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу.
— Как далеко до завтрашнего дня!..

И Лермонтов один выходит на дорогу,
Серебряными шпорами звеня.

* * *

Владимиру Маркову

Полутона рябины и малины,
В Шотландии рассыпанные втуне,
В меланхоличном имени Алины,
В голубоватом золоте латуни.
Сияет жизнь улыбкой изумленной,
Растит цветы, расстреливает пленных,
И входит гость в Коринф многоколонный,
Чтоб изнемочь в объятьях вожделенных!

В упряжке скифской трепетные лани —
Мелодия, элегия, эвлега...
Скрипящая в трансцендентальном плане,
Немазанная катится телега.

На Грузию ложится тьма ночная.
В Афинах полночь. В Пятигорске грозы.

...И лучше умереть, не вспоминая,
Как хороши, как свежи были розы.

* * *

Солнце село и краски погасли.
Чист и ясен пустой небосвод.
Как сардинка в оливковом масле,
Одинокая тучка плывет.

Не особенно важная штучка,
И притом не нужна никому,
Ну, а все-таки, милая тучка,
Я тебя в это сердце возьму.

Много в нем всевозможного хлама,
Много музыки, мало ума,
И царит в нем Прекрасная Дама,
Кто такая — увидишь сама.

* * *

Стало тревожно-прохладно,
Благоуханно в саду.
Гром прогремел... Ну и ладно,
Значит, гулять не пойду.

...С детства знакомое чувство,—
Чем бы бессмертье купить,
Как бы салазки искусства
К летней грозе прицепить?

* * *

Так, занимаясь пустяками —
Покупками или бритьем,—
Своими слабыми руками
Мы чудный мир воссоздаем.

И поднимаясь облаками
Ввысь — к небожителям на пир,—
Своими слабыми руками
Мы разрушаем этот мир.

Туманные проходят годы,
И вперемежку дышим мы
То затхлым воздухом свободы,
То вольным холодом тюрьмы.

И принимаем вперемежку —
С надменностью встречая их,—
То восхищенье, то насмешку
От современников своих.

* * *

Роману Гулю

Нет в России даже дорогих могил,
Может быть, и были — только я забыл.

Нету Петербурга, Киева, Москвы —
Может быть, и были, да забыл, увы.

Ни границ не знаю, ни морей, ни рек.
Знаю — там остался русский человек.

Русский он по сердцу, русский по уму,
Если я с ним встречусь, я его пойму.

Сразу, с полуслова... И тогда начну
Различать в тумане и его страну.

* * *

Еще я нахожу очарованье
В случайных мелочах и пустяках —
В романе без конца и без названья,
Вот в этой розе, вянущей в руках.

Мне нравится, что на ее муаре
Колышется дождинок серебро,
Что я нашел ее на тротуаре
И выброшу в помойное ведро.

* * *

Полу-жалость. Полу-отвращенье.
Полу-память. Полу-ощущенье,
Полу-неизвестно что,
Полы моего пальто...

Полы моего пальто?
Так вот в чем дело!

Чуть меня машина не задела
И умчалась вдаль, забрызгав грязью.
Начал вытирать, запачкал руки...

Все еще мне не привыкнуть к скуке,
Скуке мирового безобразья!

* * *

Как обидно — чудным даром,
Божьим даром обладать,

Зная, что растратишь даром
Золотую благодать.

И не только зря растратишь,
Жемчуг свиньям раздаря,
Но еще к нему доплатишь
Жизнь, погубленную зря.

* * *

Иду — и думаю о разном,
Плету на гроб себе венок,
И в этом мире безобразном
Благообразно одинок.

Но слышу вдруг: война, идея,
Последний бой, двадцатый век...
И вспоминаю, холодея,
Что я уже не человек,

А судорога идиота,
Природой созданная зря —
«Урра!» из пасти патриота,
«Долой!» из глотки бунтаря.

* * *

Свободен путь под Фермопилами
На все четыре стороны.
И Греция цветет могилами,
Как будто не было войны.

А мы — Леонтьева и Тютчева
Сумбурные ученики —
Мы никогда не знали лучшего,
Чем праздной жизни пустяки.

Мы тешимся самообманами,
И нам потворствует весна,
Пройдя меж трезвыми и пьяными,
Она садится у окна.

«Дыша духами и туманами,
Она садится у окна».
Ей за морями-океанами
Видна блаженная страна:

Стоят рождественские елочки,
Скрывая снежную тюрьму.
И голубые комсомолочки,
Визжа, купаются в Крыму.

Они ныряют над могилами,
С одной — стихи, с другой — жених...
...И Леонид под Фермопилами,
Конечно, умер и за них.

* * *

Я хотел бы улыбнуться,
Отдохнуть, домой вернуться...
Я хотел бы так немного,
То, что есть почти у всех,
Но что мне просить у Бога —
И бессмыслица и грех.

* * *

Все на свете не беда,
Все на свете ерунда,
Все на свете прекратится —
И всего верней — проститься,
Дорогие господа,
С этим миром навсегда.

Можно и не умирая,
Оставаясь подлецом,
Нежным мужем и отцом,
Притворяясь и играя,
Быть отличным мертвецом.

* * *

Я научился понемногу
Шагать со всеми — рядом, в ногу,
По пустякам не волноваться
И правилам повиноваться.

Встают — встаю. Садятся — сяду.
Стозначный помню номер свой.
Лояльно благодарен Аду
За звездный кров над головой.

* * *

Уплывают маленькие ялики
В золотой междупланетный омут.
Вот уже растаял самый маленький,
А за ним и остальные тонут.

На последней самой утлой лодочке
Мы с тобой качаемся вдвоем:
Припасли, дружок, немного водочки,
Вот теперь ее и разопьем...

* * *

Сознанье, как море, не может молчать,
Стремится сдержаться, не может сдержаться,
Все рвется на все и всему отвечать,
Всему удивляться, на все раздражаться.

Головокруженье с утра началось,
Всю ночь продолжалось головокруженье,
И вот — долгожданное счастье сбылось:
На миг ослабело Твое притяженье.

...Был синий рассвет. Так блаженно спалось,
Так сладко дышалось...
                                        И вновь началось
Сиянье, волненье, броженье, движенье.

* * *

Стоят сады в сияньи бело-снежном,
И ветер шелестит дыханьем влажным.

— Поговорим с тобой о самом важном,
О самом страшном и о самом нежном,
Поговорим с тобой о неизбежном:

Ты прожил жизнь, ее не замечая,
Бессмысленно мечтая и скучая —
Вот, наконец, кончается и это...

Я слушаю его, не отвечая,
Да он, конечно, и не ждет ответа.

* * *

Все туман. Бреду в тумане я
Скуки и непонимания.
И — с ученым или неучем —
Толковать мне, в общем, не о чем.

Я бы зажил, зажил заново
Не Георгием Ивановым,
А слегка очеловеченным,
Энергичным, щеткой вымытым,

Вовсе роком не отмеченным,
Первым встречным-поперечным —
Все равно, какое имя там...

* * *

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем.
О. Мандельштам

Четверть века прошло за границей
И надеяться стало смешным.
Лучезарное небо над Ниццей
Навсегда стало небом родным.

Тишина благодатного юга,
Шорох волн, золотое вино...

Но поет петербургская вьюга
В занесенное снегом окно,
Что пророчество мертвого друга
Обязательно сбыться должно.

* * *

Овеянный тускнеющею славой,
В кольце святош, кретинов и пройдох,
Не изнемог в бою Орел Двуглавый,
А жутко, унизительно издох.

Один сказал с усмешкою: «Дождался!»
Другой заплакал: «Господи, прости...»
А чучела никто не догадался
В изгнанье, как в могилу, унести.

* * *

Голубая речка,
Зябкая волна.
Времени утечка
Явственно слышна.

Голубая речка
Предлагает мне
Теплое местечко
На холодном дне.

* * *

Луны начищенный пятак
Блеснул сквозь паутину веток,
Речное озаряя дно.

И лодка — повернувшись так,
Не может повернуться этак,
Раз все вперед предрешено.

А если не предрешено?
Тогда... И я могу проснуться —
(О, только разбуди меня!),

Широко распахнуть окно
И благодарно улыбнуться
Сиянью завтрашнего дня.

* * *

Звезды меркли в бледнеющем небе,
Все слабей отражаясь в воде.
Облака проплывали, как лебеди,
С розовеющей далью редея...

Лебедями проплыли сомнения,
И тревога в сияньи померкла,
Без следа растворившись в душе,

И глядела душа, хорошея,
Как влюбленная женщина в зеркало,
В торжество, неизвестное мне.

* * *

Белая лошадь бредет без упряжки.
Белая лошадь, куда ты бредешь?
Солнце сияет. Платки и рубашки
Треплет в саду предвесенняя дрожь.

Я, что когда-то с Россией простился,
(Ночью навстречу полярной заре),
Не оглянулся, не перекрестился
И не заметил, как вдруг очутился
В этой глухой европейской дыре.

Хоть поскучать бы... Но я не скучаю.
Жизнь потерял, а покой берегу.
Письма от мертвых друзей получаю
И, прочитав, с облегчением жгу
На голубом предвесеннем снегу.

* * *

Нечего тебе тревожиться,
Надо бы давно простить.
Но чудак грустит и божится,
Что не может не грустить.

Нам бы, да в сияньи шелковом,
Осен-весен поджидая,
На Успенском или Волковом,

Под песочком Голодая,
На ступеньках Исаакия
Или в прорубь на Неве...

...Беспокойство. Ну, и всякие
Вожделенья в голове.

* * *

Цветущих яблонь тень сквозная,
Косого солнца бледный свет,
И снова — ничего не зная,
Как в пять или в пятнадцать лет,—

Замученное сердце радо
Тому, что я домой бреду,
Тому, что нежная прохлада
Разлита в яблонном саду.

* * *

Тускнеющий вечерний час,
Река и частокол в тумане...
Что связывает нас? Всех нас? —
Взаимное непониманье.

Все наши беды и дела,
Жизнь всех людей без исключенья...
Века, века она текла
И вот я принесен теченьем —

В парижский пригород, сюда,
Где мальчик огород копает,
Гудят протяжно провода
И робко первая звезда
Сквозь светлый сумрак проступает.

* * *

На границе снега и таянья,
Неподвижности и движения,
Легкомыслия и отчаянья —
Сердцебиение, головокружение...

Голубая ночь одиночества —
На осколки жизнь разбивается,
Исчезают имя и отчество
И фамилия расплывается...

Точно звезды встают пророчества,
Обрываются!.. Не сбываются!..

* * *

Закат в полнеба занесен,
Уходит в пурпур и виссон
Лазурно-кружевная Ницца...

...Леноре снится страшный сон —
Леноре ничего не снится.

* * *

Я твердо решился и тут же забыл,
На что я так твердо решился.
День влажно-сиренево-солнечный был,
И этим вопрос разрешился.

Так часто бывает: куда-то спешу
И в трепете света и тени
Сначала раскаюсь, потом согрешу
И строчка за строчкой навек запишу
Благоуханье сирени.

* * *

Насладись, пока не поздно,
Ведь искать недалеко,
Тем, что в мире грациозно,
Грациозно и легко.

Больше нечему учиться,
Прозевал и был таков: —
Пара медных пятаков,
«Без речей и без венков»
(Иль с речами — как случится).

* * *

Поэзия: искусственная поза,
Условное сиянье звездных чар,
Где, улыбаясь, произносят — «Роза»
И с содроганьем думают: «Анчар».

Где, говоря о рае, дышат адом
Мучительных ночей и страшных дней,
Пропитанных насквозь блаженным ядом
Проросших в мироздание корней.

* * *

Мне весна ничего не сказала —
Не могла. Может быть — не нашлась.
Только в мутном пролете вокзала
Мимолетная люстра зажглась.

Только кто-то кому-то с перрона
Поклонился в ночной синеве,
Только слабо блеснула корона
На несчастной моей голове.

* * *

Почти не видно человека среди сиянья и шелков —
Галантнейший художник века, галантнейшего из веков.

Гармония? Очарованье? Разуверенье? Все не то.
Никто не подыскал названья прозрачной прелести Ватто.

Как роза вянущая в вазе (зачем Господь ее сорвал?),
Как русский Демон на Кавказе, он в Валансьене тосковал...

* * *

Ветер с Невы. Леденеющий март.
Площадь. Дворец. Часовые. Штандарт.

...Как я завидовал вам, обыватели,
Обыкновенные люди простые:
Богоискатели, бомбометатели,
В этом дворце, в Чухломе ль, в каземате ли
Снились вам, в сущности, сны золотые...

В черной шинели, с погонами синими,
Шел я, не видя ни улиц, ни лиц,
Видя, как звезды встают над пустынями
Ваших волнений и ваших столиц.

* * *

Просил. Но никто не помог.
Хотел помолиться. Не мог.
Вернулся домой. Ну, пора!
Не ждать же еще до утра.

И вспомнил несчастный дурак,
Пощупав, крепка ли петля,
С отчаяньем прыгая в мрак,

Не то, чем прекрасна земля,
А грязный московский кабак,
Лакея засаленный фрак,
Гармошки заливистый вздор,
Огарок свечи, коридор,
На дверце два белых нуля.

* * *

Бредет старик на рыбный рынок
Купить полфунта судака.
Блестят мимозы от дождинок,
Блестит зеркальная река.

Провинциальные жилища.
Туземный говор. Лай собак.
Все на земле — питье и пища,
Кровать и крыша. И табак.

Даль. Облака. Вот это — ангел,
Другое — словно водолаз,
А третье — совершенный Врангель,
Моноклем округливший глаз.

Но Врангель — это в Петрограде,
Стихи, шампанское, снега...
О, пожалейте, Бога ради:
Склероз в крови, болит нога.

Никто его не пожалеет,
И не за что его жалеть.
Старик скрипучий околеет,
Как всем придется околеть.

Но все-таки... А остальное,
Что мне дано еще, пока —
Сады цветущею весною,
Мистраль, полфунта судака?

* * *

Жизнь пришла в порядок
В золотом покое.
На припеке грядок
Нежатся левкои.

Белые, лиловые,
И вчера, и завтра.
В солнечной столовой
Накрывают завтрак.

...В озере купаться
— Как светла вода! —
И не просыпаться
Больше никогда.

* * *

Меняется прическа и костюм,
Но остается тем же наше тело,
Надежды, страсти, беспокойный ум,
Чья б воля изменить их ни хотела.

Слепой Гомер и нынешний поэт,
Безвестный, обездоленный изгнаньем,
Хранят один — неугасимый! — свет,
Владеют тем же драгоценным знаньем.

И черни, требующей новизны,
Он говорит: «Нет новизны. Есть мера,
А вы мне отвратительно-смешны,
Как варвар, критикующий Гомера!»

* * *

Волны шумели: «Скорее, скорее!»
К гибели легкую лодку несли,
Голубоватые стебли порея
В красный туман прорастали с земли.

Горы дымились, валежником тлея,
И настигали их с разных сторон,—
Лунное имя твое, Лорелея,
Рейнская полночь твоих похорон.

...Вот я иду по осеннему саду
И папиросу несу, как свечу.
Вот на скамейку чугунную сяду,
Брошу окурок. Ногой растопчу.

* * *

Я люблю безнадежный покой,
В октябре — хризантемы в цвету,
Огоньки за туманной рекой,
Догоревшей зари нищету...

Тишину безымянных могил,
Все банальности «Песен без слов»,
То, что Анненский жадно любил,
То, чего не терпел Гумилев.

* * *

О нет, не обращаюсь к миру я
И вашего не жду признания.
Я попросту хлороформирую
Поэзией свое сознание.

И наблюдаю с безучастием,
Как растворяются сомнения,
Как боль сливается со счастием
В сияньи одеревенения.

* * *

Если бы я мог забыться,
Если бы, что так устало,
Перестало сердце биться,
Сердце биться перестало,

Наконец — угомонилось,
Навсегда окаменело,
Но — как Лермонтову снилось —
Чтобы где-то жизнь звенела...

...Что любил, что не допето,
Что уже не видно взглядом,
Чтобы было близко где-то,
Где-то близко было рядом...

* * *

Мне больше не страшно. Мне томно.
Я медленно в пропасть лечу
И вашей России не помню
И помнить ее не хочу.

И не отзываются дрожью
Банальной и сладкой тоски
Поля с колосящейся рожью,
Березки, дымки, огоньки...

* * *

То, что было, и то, чего не было,
То, что ждали мы, то, что не ждем,
Просияло в холодное небо,
Прошумело коротким дождем.

Это все. Ничего не случилось.
Жизнь, как прежде, идет не спеша.
И напрасно в сиянье просилась
В эти четверть минуты душа.

* * *

Здесь в лесах даже розы цветут,
Даже пальмы растут — вот умора!
Но как странно — во Франции, тут,
Я нигде не встречал мухомора.

Может быть, просто климат не тот —
Мало сосен, березок, болотца...
Ну, а может быть, он не растет,
Потому что ему не растется

С той поры, с той далекой поры —
...Чахлый ельник, Балтийское море,
Тишина, пустота, комары,
Чья-то кровь на кривом мухоморе...

* * *

Не станет ни Европы, ни Америки,
Ни Царскосельских парков, ни Москвы —
Припадок атомической истерики
Все распылит в сияньи синевы.

Потом над миром ласково протянется
Прозрачный, всепрощающий дымок...
И Тот, кто мог помочь и не помог,
В предвечном одиночестве останется.

* * *

Все на свете пропадает даром,
Что же Ты робеешь? Не робей!
Разможжи его одним ударом,
На осколки звездные разбей!

Отрави его горчичным газом
Или бомбами испепели —
Что угодно — только кончи разом
С мукою и музыкой земли!

* * *

Листья падали, падали, падали
И никто им не мог помешать...
От гниющих цветов, как от падали,
Тяжело становилось дышать.

И неслось светозарное пение
Над плескавшей в тумане рекой,
Обещая в блаженном успении
Отвратительный вечный покой.

* * *

Ну мало ли что бывает?..
Мало ли что бывало —
Вот облако проплыв<а>ет,
Проплыв<а>ет, как проплывало,

Деревья, автомобили,
Лягушки в пруду поют.
...Сегодня меня убили.
Завтра тебя убьют.

* * *

Все представляю в блаженном тумане я:
Статуи, арки, сады, цветники.
Темные волны прекрасной реки...

Раз начинаются воспоминания,
Значит... А может быть, все пустяки.

...Вот вылезаю, как зверь, из берлоги я,
В холод Парижа, сутулый, больной...
«Бедные люди» — пример тавтологии,
Кем это сказано? Может быть, мной.

* * *

Не обманывают только сны.
Сон — всегда освобожденье: мы
Тайно, безнадежно влюблены
В рай за стенами своей тюрьмы.

Мильонеру — снится нищета.
Оборванцу — золото рекой.
Мне — моя последняя мечта,
Неосуществимая — покой.

* * *

На юге Франции прекрасны
Альпийский холод, нежный зной.
Шипит суглинок желто-красный

Под аметистовой волной.
И дети, крабов собирая,
Смеясь медузам и волнам,
Подходят к самой двери рая,
Который только снится нам.

Сверкает звездами браслета
Прохлады лунная рука,
И фиолетовое лето
Нам обеспечено — пока
В лучах расцвета-увяданья,
В узоре пены и плюща
Сияет вечное страданье,
Крылами чаек трепеща.

* * *

Т. Г. Терентьевой

А еще недавно было все, что надо,—
Липы и дорожки векового сада,
Там грустил Тургенев...
Было все, что надо,
Белые колонны, кабинет и зала —
Там грустил Тургенев...

И ему казалась
Жизнь стихотвореньем, музыкой, пастелью,
Где, не грея, светит мировая слава,
Где еще не скоро сменится метелью
Золотая осень крепостного права.

* * *

— Когда-нибудь, когда устанешь ты,
Устанешь до последнего предела...
— Но я и так устал до тошноты,

До отвращения...

— Тогда другое дело.
Тогда — спокойно, не спеша проверь
Все мысли, все дела, все ощущенья
И, если перевесит отвращенье —

Завидую тебе: перед тобою дверь
Распахнута в восторг развоплощенья.

* * *

Мы не молоды. Но и не стары.
Мы не мертвые. И не живые.
Вот мы слушаем рокот гитары
И романса «слова роковые».

О беспамятном счастье цыганском,
Об угарной любви и разлуке,
И — как вызов — стаканы с шампанским
Подымают дрожащие руки.

За бессмыслицу! За неудачи!
За потерю всего дорогого!
И за то, что могло быть иначе,
И за то — что не надо другого!

* * *

И разве мог бы я, о посуди сама,
В твои глаза взглянуть и не сойти с ума.
«Сады». 1921 г.

И. О<доевцевой>

Ты не расслышала, а я не повторил.
Был Петербург, апрель, закатный час,
Сиянье, волны, каменные львы...

И ветерок с Невы
Договорил за нас.

Ты улыбалась. Ты не поняла,
Что будет с нами, что нас ждет.
Черемуха в твоих руках цвела...
Вот наша жизнь прошла,
А это не пройдет.

* * *

И. О<доевцевой>

Распыленный мильоном мельчайших частиц
В ледяном, безвоздушном, бездушном эфире,
Где ни солнца, ни звезд, ни деревьев, ни птиц,
Я вернусь — отраженьем — в потерянном мире.

И опять, в романтическом Летнем Саду,
В голубой белизне петербургского мая,
По пустынным аллеям неслышно пройду,
Драгоценные плечи твои обнимая.

* * *

И. О<доевцевой>

Вся сиянье, вся непостоянство,
Как осколок погибшей звезды,—
Ты заброшена в наше пространство,
Где тебе даже звезды чужды.

И летишь — в никуда, ниоткуда —
Обреченная вечно грустить,
Отрицать невозможное чудо
И бояться его пропустить.

* * *

И. О<доевцевой>

Отзовись, кукушечка, яблочко, змееныш,
Веточка, царапинка, снежинка, ручеек.
Нежности последыш, нелепости приемыш,
Кофе-чае-сахарный потерянный паек.

Отзовись, очухайся, пошевелись спросонок,
В одеяльной одури, в подушечной глуши,
Белочка, метелочка, косточка, утенок,
Ленточкой, веревочкой, чулочком задуши.

Отзовись, пожалуйста. Да нет — не отзовется.
Ну и делать нечего. Проживем и так.
Из огня да в полымя. Где тонко, там и рвется.
Палочка-стукалочка, полушка-четвертак.

* * *

...Мне всегда открывается та же
Залитая чернилом страница.

И. Анненский

И. О<доевцевой>

Может быть, умру я в Ницце,
Может быть, умру в Париже,
Может быть, в моей стране.
Для чего же о странице
Неизбежной, черно-рыжей
Постоянно думать мне!

В голубом дыханьи моря,
В ледяных стаканах пива
(Тех, что мы сейчас допьем) —
Пена счастья — волны горя,
Над могилами крапива,
Штора на окне твоем.

Вот ее колышет воздух
И из комнаты уносит
Наше зыбкое тепло,

То, что растворится в звездах,
То, о чем никто не спросит,
То, что было и прошло.

* * *

И. О<доевцевой>

Как туман на рассвете — чужая душа.
И прохожий в нее заглянул не спеша,
Улыбнулся и дальше пошел...

Было утро какого-то летнего дня.
Солнце встало, шиповник расцвел
Для людей, для тебя, для меня...

Можно вспомнить о Боге и Бога забыть,
Можно душу свою навсегда погубить,
Или душу навеки спасти —

Оттого, что шиповнику время цвести
И цветущая ветка качнулась в саду,
Где сейчас я с тобою иду.

* * *

И. О<доевцевой>

Поговори со мной о пустяках,
О вечности поговори со мной.
Пусть, как ребенок, на твоих руках
Лежат цветы, рожденные весной.

Так беззаботна ты и так грустна.
Как музыка, ты можешь все простить.
Ты так же беззаботна, как весна,
И, как весна, не можешь не грустить.

* * *

Зима идет своим порядком —
Опять снежок. Еще должок.
И гадко в этом мире гадком
Жевать вчерашний пирожок.

И в этом мире слишком узком,
Где все потеря и урон,
Считать себя с чего-то русским,
Читать стихи, считать ворон.

Разнежась, радоваться маю,
Когда растаяла зима...
О, Господи, не понимаю,
Как все мы, не сойдя с ума,

Встаем-ложимся, щеки бреем,
Гуляем или пьем-едим,
О прошлом-будущем жалеем,
А душу все не продадим.

Вот эту вянущую душку —
За гривенник, копейку, грош.
Дороговато? — За полушку.
Бери бесплатно! — Не берешь?

* * *

Скучно, скучно мне до одуренья!
Скушал бы клубничного варенья,
Да потом меня изжога съест.

Хоть в раю у Бога много мест,
Только все расписаны заране.

Мне бы прогреметь на барабане,
Проскакать на золотом баране,
Позевать на Индию в окно.
Мне бы рыбкой в море-океане
Сигануть на мировое дно!

Скучно от несбыточных желаний...

...Вечный сон: забор, на нем слова.
Любопытно — поглядим-ка.
Заглянул. А там трава, дрова,
Вьется та же скука-невидимка.

* * *

Накипевшая за годы
Злость, сводящая с ума,
Злость к поборникам свободы,
Злость к ревнителям ярма,
Злость к хамью и джентльменам —
Разномастным специменам
Той же «мудрости земной»,
К миру и стране родной.

Злость? Вернее, безразличье
К жизни, к вечности, к судьбе.
Нечто кошкино иль птичье,
Отчего не по себе
Верным рыцарям приличья,
Благонравным А и Б,
Что уселись на трубе.

* * *

Туман. Передо мной дорога,
По ней привычно я бреду.
От будущего я немного,
Точнее — ничего не жду.
Не верю в милосердье Бога,
Не верю, что сгорю в аду.

Так арестанты по этапу
Плетутся из тюрьмы в тюрьму...
...Мне лев протягивает лапу
И я ее любезно жму.

— Как поживаете, коллега?
Вы тоже спите без простынь?
Что на земле белее снега,
Прозрачней воздуха пустынь?

Вы убежали из зверинца?
Вы — царь зверей. А я — овца
В печальном положеньи принца
Без королевского дворца.

Без гонорара. Без короны.
Со всякой сволочью на «ты».
Смеются надо мной вороны,
Царапают меня коты.

Пускай царапают, смеются,
Я к этому привык давно.
Мне счастье поднеси на блюдце —
Я выброшу его в окно.

Стихи и звезды остаются,
А остальное — все равно!

* * *

Отвлеченной сложностью персидского ковра,
Суетливой роскошью павлиньего хвоста
В небе расцветают и темнеют вечера,
О, совсем бессмысленно, и все же неспроста.

Голубая яблоня под кружевом моста
Под прозрачно призрачной верленовской луной —
Миллионнолетняя земная красота,
Вечная бессмыслица — она опять со мной.

В общем, это правильно, и я еще дышу.
Подвернулась музыка: ее и запишу.
Синей паутиною (хвоста или моста),
Линией павлиньей. И все же неспроста.

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В КНИГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ах, как сладко читать объявления
В какой-нибудь столичной газете:
Лучшего средства для усыпления
Не найти на целом свете.
«Ежедневно свежие пирожные...
Большой выбор дешевых граммофонов.
Электричеством болезни накожные
Излечивает доктор Семенов.
Получена японская парфюмерия...
Замечательное средство даром...
В кинематографе необычайная феерия:
Похищение одалиски гусаром.
Молодая дама интересная
На все за пять рублей готова...
Вдова из себя полновесная
Экономкой хочет быть у пожилого...
«Крем Реформ»... Голова опускается...
«Для мужчин»... Сладко ломит спину...
«Высылаю»... Веки смыкаются
И глаза уж не видят — «Угрина».

* * *

Луна — как пенящийся кубок,
Среди летящих облаков.
Тоска томит не зло, не грубо,
Но легких не разбить оков.

Я пробовал — забыть томленье,
Портьерою закрыв луну,
Но знаю,— коль возьмусь за чтенье,—
Страницы не переверну.

Все помню: фонари на шторах...
Здесь — рот, глаза, дрожанье плеч
(И разноцветный писем ворох,
Напоминающий,— не сжечь!).

Вы где теперь — в Крыму ли, в Ницце!
Вы далеки от зимних пург,
А мне... мне каждой ночью снится
Ночной, морозный Петербург.

* * *

Еще с Адмиралтейскою иглой
Заря играет. Крашеные дамы
И юноши — милы и не упрямы,—
Скользя в тумане, темной дышат мглой.

Иду средь них, такой же, как они,
Развязен вид, и вовсе мне не дики
Нескромный галстук, красные гвоздики...
Приказываю глазу: «Подмигни».

Блестит вода за вычуром перил,
Вот — старый сноб со мной заговорил.
«Увы, сеньор,— моя специальность — дамы!»

Отходит он, ворча: «Какой упрямый!»
Но что скажу при встрече с дамой я? —
«Сударыня, специальность не моя!»

* * *

Поблекшим золотом и гипсовою лепкой
Здесь разукрашен невысокий потолок.
Прилавок с пальмами, с Венерою-калекой,
И стонет граммофон у выщербленных ног.

Олеографии отличные на стенах,—
От дыма вечного они старинный вид
Приобрели. Из разноцветных кружек пена
Через края на мрамор столиков бежит.

Все посетители пивной сегодня в сборе:
Пальто гороховые, в клетку пиджаки.
Галдеж неистовый кругом,— и в этом море
Я, за бутылкою, спасаюсь от тоски.

Здесь я не чувствую ее (непобедимой!),
Воображение туманно и пестро.
Не страшно мне среди бродяг, ругательств, дыма:
Ведь я не гость. Я свой. Я уличный Пьеро!

* * *

Ты томишься в стенах голубого Китая.
В разукрашенной хижине — скучно одной.
В небесах прозвенит журавлиная стая,
Пролепечет бамбук, осиянный луной.
Тихо лютню возьмешь, и простая, простая,
Как признанье, мольба потечет с тишиной.

Неискусный напев донесется ль на север
В розоватом сиянии майской луны!

Как же я, недоверчивый,— сердцу поверил,
Что опущены взоры и щеки бледны,
Что в прохладной руке перламутровый веер
Навевает с прохладою пестрые сны.

КИНЕМАТОГРАФ

Воображению достойное жилище,
Живей Террайля, пламенней Дюма!
О, сколько в нем разнообразной пищи
Для сердца нежного, для трезвого ума.

Разбойники невинность угнетают.
День загорается. Нисходит тьма.
На воздух ослепительно взлетают
Шестиэтажные огромные дома.

Седой залив отребья скал полощет.
Мир с дирижабля — пестрая канва.
Автомобили. Полисмены. Тещи.
Роскошны тропики, Гренландия мертва...

Да, здесь, на светлом трепетном экране,
Где жизни блеск подобен острию,
Двадцатый век, твой детский лепет ранний
Я с гордостью и дрожью узнаю.

Мир изумительный все чувства мне прельщает,
По полотну несущийся пестро,
И слабость собственная сердца не смущает:
Я здесь не гость. Я свой. Я уличный Пьеро.

СТИХИ О ПЕТРОГРАДЕ

⟨1⟩

На небе осеннем фабричные трубы,
Косого дождя надоевшая сетка.

Здесь люди расчетливы, скупы и грубы
И бледное солнце сияет так редко.

И только Нева в потемневшем граните,
Что плещется глухо, сверкает сурово,
Да старые зданья — последние нити
С прекрасным и стройным сияньем былого.

Сурово желтеют старинные зданья,
И кони над площадью смотрят сердито,
И плещутся волны, слагая преданья
О славе былого, о том, что забыто.

Да в час, когда запад оранжево-медный
Тускнеет, в туман погружая столицу,
Воспетый поэтами всадник победный
Глядит с осужденьем в бездушные лица.

О, город гранитный! Ты многое слышал
И видел ты много и славы, и горя,
Теперь только трубы, да мокрые крыши,
Да плещет толпы бесконечное море.

И только поэтам, в былое влюбленным,
Известно Сезама заветное слово.
Им ночью глухою над городом сонным
Сияют туманные звезды былого...

2

Не время грозное Петра,
Не мощи царственной заветы
Меня пленяют, не пора
Державныя Елизаветы.

Но черный, романтичный сон,
Тот страшный век, от крови алый.
...Безвинных оглашает стон
Застенков дымные подвалы.

И вижу я Тучков Буян
В лучах иной, бесславной славы,
Где герцог Бирон, кровью пьян,
Творил жестоко суд неправый.

Анна Иоанновна, а ты
В дворце своем не видишь крови,
Ты внемлешь шуму суеты,
Измену ловишь в каждом слове.

И вот, одна другой черней,
Мелькают мрачные картины,
Но там, за рядом злобных дней,
Уж близок век Екатерины.

Година славы! Твой приход
Воспели звонкие литавры.
Наяды в пене Невских вод
Тебе несли морские лавры.

Потемкин гордый, и Орлов,
И сердце русских войск — Суворов...
Пред ними бледен холод слов,
Ничтожно пламя разговоров!

Забыты, как мелькнувший сон,
И неудачи, и обиды,
Турецкий флот испепелен,
Под русским стягом — герб Тавриды.

А после — грозные года...
Наполеона — Саламандра
Померкла! Вспыхнула звезда
Победоносца-Александра.

И здесь, над бледною Невой,
Неслись восторженные клики.
Толпа, портрет целуя твой,
Торжествовала день великий.

Гранитный город, на тебе
Мерцает отблеск увяданья...
Но столько есть в твоей судьбе
И черной ночи, и сиянья!

Пусть плещет вал сторожевой
Невы холодной мерным гимном,
За то, что стройный облик твой —
Как факел славы в небе дымном!

3

А люди проходят, а люди не видят,
О, город гранитный, твоей красоты,
И плещутся волны в напрасной обиде,
И бледное солнце глядит с высоты.

Но вечером бледным, когда за снастями
Закат поникает багровым крылом,
От камней старинными веет вестями
И ветер с залива поет о былом.

И тени мелькают на дряхлом граните,
Несутся кареты, спешат егеря...
А в воздухе гасит последние нити
Холодное пламя осенней зари.

* * *

Пушкина, двадцатые годы,
Императора Николая
Это утро напоминает
Прелестью морозной погоды,

Очертаниями Летнего Сада
И легким полетом снежинок...
И поверить в это можно с первого взгляда
Безо всяких ужимок.

Мог бы в двадцатых годах
Рисовать туманных красавиц,
Позабыв о своих летах,
Судейкин — и всем бы нравилось.

Конечно, автомобили,
Рельсы зеленой стали,
Но и тогда кататься любили,
А трамваи уже ходить перестали.

И мебель красного дерева,
Как и тогда, кажется красивой,
Как и тогда, мы бы поверили,
Что декабристы спасут Россию.

И, возвращаясь с лицейской пирушки,
Вспомнив строчку расстрелянного поэта,
Каждый бы подумал, как подумал Пушкин:
«Хорошо, что я не замешан в это...»

* * *

Я вспомнил тот фонтан. Его фонтаном слез
Поэты в старину и девы называли.
Но мне почудилось благоуханье роз
И отблеск янтаря на легком покрывале.

Блистательная ночь. Восточная луна.
В серале пленница, черкешенка младая,
Откинув занавес, в уныньи у окна
Следит, как водомет лепечет, ниспадая.

Лепечет и звенит о счастии тоски,
Которая, как ночь, блаженна и просторна,
И с розовой луны слетают голубки
Клевать холодные серебряные зерна.

* * *

Сейчас я поведаю, граждане, вам
Без лишних присказов и слов,
О том, как погибли герой Гумилев
И юный грузин Мандельштам.

Чтоб вызвать героя отчаянный крик,
Что мог Мандельштам совершить?
Он в спальню красавицы тайно проник
И вымолвил слово «любить».

Грузина по черепу хряснул герой,
И вспыхнул тут бой, гомерический бой.

Навек без ответа остался вопрос,
Кто выиграл, кто пораженье понес.

Наутро нашли там лишь зуб золотой,
Вонзенный в откушенный нос.

БАСНЯ

В Испании два друга меж собой
Поспорили, кому владеть арбой.
До кулаков у них дошло, до драки,
Грызутся озверело, как собаки.
Приятелю приятель
Кричит: «Мошенник ты, предатель,
И негодяй, и вор!»

А все им не закончить спор.
Во время этих перипетий
Юрк... И арбу увез испанец третий.
Теперь, как об арбе ни ной,
На ней катается другой.

БАЛЛАДА ОБ ИЗДАТЕЛЕ

На Надеждинской жил один
Издатель стихов,
Назывался он господин
Блох.
Всем хорош бы... Лишь одним он был
Плох:
Фронтисписы слишком полюбил
Блох.
Фронтиспис его и погубил,
Ох!

Труден издателя путь, и тяжел, и суров, и тернист,
А тут еще марка, ex-libris, шмуцтитул, и титул, и титульный лист.

Книгу за книгой Блох отправляет в печать,
Издал с десяток и начал смертельно скучать.

Добужинский, Чехонин не радуют взора его,
На Митрохина смотрит, а сердце, как камень, мертво.

И шепнул ему дьявол однажды, когда он ложился в постель:
— Яков Ноевич, есть еще Врубель, Бирдслей, Рафаэль.

Всю ночь Блох фронтисписы жег,
Всю ночь Блох ex-libris'ы рвал,
Очень поздно лег,
С петухами встал.
Он записки пишет, звонит в телефон —
На обед приглашает поэтов он.
И когда собрались за поэтом поэт,
И когда принялись они за обед,
Поднял Блох руку одну —*
Нож вонзил в бок Кузмину.
Дал Мандельштаму яда стакан —
Выпил тот и упал на диван.
Дорого продал жизнь Гумилев,
Умер, не пикнув, Жорж Иванов.

* «Поднимет лошадь ногу одну», И. Одоевцева. *Прим. Г. Иванова.*

И когда покончил со всеми Блох,
Из груди его вырвался радостный вздох:
Он сказал: «Я исполнил мечту свою,
Отделение издательства будет в раю.
Там Врубель, Ватто, Рафаэль, Леонардо, Бирдслей —
Никто не посмеет соперничать с фирмой моей!..»

* * *

Мы дышим предчувствием снега и первых морозов.
Осенней листвы золотая колышется пена,
А небо пустынно и запад томительно розов,
Как нежные губы, что тронуты краской Дорэна.

Желанные губы подкрашены розой заката,
И душные волосы пахнут о скошенном сене...
С зеленой земли, где друг друга любили когда-то,
Мы снова вернулись сюда — неразлучные тени.

Шумят золотые пустынные рощи блаженных,
В стоячей воде отражается месяц Эреба,
И в душах печальная память о радостях пленных,
О вкусе земных поцелуев, и меда, и хлеба...

Сентябрь, 1921 г.

* * *

Вздохни, вздохни еще, чтоб душу взволновать,
Печаль моя! Мы в сумерках блуждаем
И обреченные любить и умирать
Так редко о любви и смерти вспоминаем.

Над нами утренний пустынный небосклон,
Холодный луч дробится по льду...

Печаль моя, ты слышишь слабый стон:
Тристан зовет свою Изольду.

Устанет арфа петь, устанет ветер звать
И холод овладеет кровью...
Вздохни, вздохни еще, чтоб душу взволновать
Воспоминаньем и любовью.

Я умираю, друг! Моя душа черна,
И черный парус виден в море.
Я умираю, друг! Мне гибель суждена
В разувереньи и позоре.

Нам гибель суждена, и погибаем мы
За губы лживые, за солнце взора,
За этот свет, и лед, и розы, что из тьмы
Струит холодная Аврора...

* * *

Мы из каменных глыб создаем города,
Любим ясные мысли и точные числа,
И душе неприятно и странно, когда
Тянет ветер унылую песню без смысла.

Или море шумит. Ни надежда, ни страсть,
Все, что дорого нам, в них не сыщет ответа,
Если ты человек — отрицай эту власть,
Подчини этот хор вдохновенью поэта.

И пора бы понять, что поэт не Орфей,
На пустом побережьи вздыхавший о тени,
А во фраке, с хлыстом, укротитель зверей
На залитой искусственным светом арене.

1922

* * *

Пожалейте меня, сир!
Я давно позабыл мир,
Я скитаюсь двенадцать лет,
У меня ничего нет!

«Для того, чтоб таких жалеть,
У меня хороша плеть,
У меня молоток-гвоздь
Прямо в кость, дорогой гость».

1922

* * *

Мы живем на круглой или плоской
Маленькой планете. Пьем. Едим.
И, затягиваясь папироской,
Иногда на небо поглядим.

Поглядим, и вдруг похолодеет
Сердце неизвестно отчего,
Из пространства синего повеет
Холодом и счастием в него.

Хочешь что-то вспомнить — нету мочи,
Тянешься — не достает рука...
Лишь ныряют в синих волнах ночи,
Как большие чайки, облака.

1922

* * *

Ужели все мечтать, ужели все надеяться,
    И только для того,
Чтобы закрыть глаза и по ветру развеяться,
    Не помня ничего.

И некому сказать, как это называется.
    Еще шумит гроза,
Еще сияет день — но сами закрываются
    Усталые глаза.

1923

* * *

Мне грустно такими ночами,
Когда ни светло, ни темно,
И звезды косыми лучами
Внимательно смотрят в окно.

Глядят миллионные хоры
На мир, на меня, на кровать.
Напрасно задергивать шторы,
Не стоит глаза закрывать.

Глядят они в самое сердце,
Где усталость, и страх, и тоска,
И бьется несчастное сердце,
Как муха в сетях паука.

Когда же я стану поэтом
Настолько, чтоб все презирать,
Настолько, чтоб в холоде этом
Бесчувственным светом играть?

Март 1923

* * *

Закрыта жарко печка,
Какой пустынный дом.
Под абажуром свечка,
Окошко подо льдом.

Я выдумал все это
И сам боюсь теперь,
Их нету, нету, нету.
Не верь. Не верь. Не верь.

Под старою сосною,
Где слабый звездный свет —
Не знаю: двое, трое
Или их вовсе нет.

В оцепененьи ночи —
Тик-так. Тик-так. Тик-так.
И вытекшие очи
Глядят в окрестный мрак

На иней, иней, иней
(Или их вовсе нет),
На синий, синий, синий
Младенческий рассвет.

Март 1923

* * *

На старых могилах растут полевые цветы,
На нищих могилах стоят, покосившись, кресты,
И некому больше здесь горькие слезы ронять,
И бедной Жизель надмогильной плиты не поднять.

Мой милый, мой милый, о, как это было давно,
Сиял ресторан, и во льду зеленело вино,
И волны шумели всю ночь, и всю ночь напролет
Влюбленное сердце баюкал веселый фокстрот.

* * *

Это только бессмысленный рай,
Только песен растерянный лад —

Задыхайся, душа, и сгорай,
Как закатные розы горят.

Задыхайся от нежных утрат
И сгорай от блаженных обид —
Это только сияющий ад,
Золотые сады Гесперид.

Это — над ледяною водой,
Это — сквозь холодеющий мрак —
Синей розой, печальной звездой
Погибающим светит маяк.

РАЗРОЗНЕННЫЕ СТРОФЫ

I

И нет и да. Блестит звезда.
Сто тысяч лет — все тот же свет.
Блестит звезда. Идут года,
Идут века, а счастья нет...

В печальном мире тишина,
В печальном мире, сквозь эфир,
Сквозь вечный лед, летит весна
С букетом роз — в печальный мир!

II

...Облетают белила, тускнеют румяна,
Догорает заря, отступают моря —
Опускайся на самое дно океана,
Бесполезною, черною розой горя!

Все равно слишком поздно. Всегда слишком рано.
«Догорели огни, облетели цветы» —
Опускайся на дно мирового тумана,
В непроглядную ночь мировой пустоты...

III

Бессонница, которая нас мучит,
Бессонница, похожая на сон.
Бессмыслица, которая нас учит,
Что есть один закон — ее закон.

На бледном мареве абракадабры,
В мерцаньи фосфорического дна,
Больные рыбы раздувают жабры...

IV

Черные ветки, шум океана,
Звезды такие, что больно смотреть,
Все это значит — поздно иль рано
Надо и нам умереть...

V

Райской музыкой, грустной весной
Тишиной ты встаешь надо мной.

Твой торжественный шаг узнаю,
Вижу черную славу твою,
Узнаю твой блаженный полет,
Стосаженный, сквозь розы и лед!..

VI

В совершенной пустоте,
В абсолютной черноте —
Так же веет ветер свежий,
Так же дышат розы те же...

Те же, да не те.

1930

* * *

Гаснет мир. Сияет вечер.
Паруса. Шумят леса.
Человеческие речи,
Ангельские голоса...

Человеческое горе,
Ангельское торжество...
Только звезды. Только море.
Только. Больше ничего.

Без числа, сияют свечи.
Слаще мгла. Колокола.
Черным бархатом на плечи
Вечность звездная легла.

Тише... Это жизнь уходит,
Все любя и все губя.
Слышишь? Это ночь уводит
В вечность звездную тебя.

* * *

Я люблю эти снежные горы
На краю мировой пустоты.
Я люблю эти светлые взоры,
Где, как свет, отражаешься ты.
Но в бессмысленной этой отчизне
Я понять ничего не могу.
Только призраки молят о жизни;
Только розы цветут на снегу,
Только линия вьется кривая,
Торжествуя над снежно-прямой,
И шумит чепуха мировая,
Ударяясь в гранит мировой.

* * *

Обледенелые миры
Пронизывает боль тупая...
Известны правила игры.
Живи, от них не отступая:
Направо — тьма, налево — свет,
Над ними время и пространство.
Расчисленное постоянство...
А дальше?
Музыка и бред.
Дохнула бездна голубая,
Меж «тем» и «этим» — рвется связь,
И обреченный, погибая,
Летит, орбиту огибая,
В метафизическую грязь.

ЯМБЫ

I

Как туча, стала Иудея
И отвернулась от Христа...

Надменно кривятся уста,
И души стынут, холодея.
Нет ясной цели. Пустота.

А там — над Римом — сумрак млечный —
Ни жизнь ни смерть. Ни свет ни тьма.
Как музыка или чума,
Торжественно-бесчеловечный...

II

Все до конца переменилось,
Все ново для прозревших глаз.

Одним поэтам — в сотый раз —
Приснится то, что вечно снилось.

Но в мире новые законы,
И боги жертвы не хотят.
Напрасно в пустоту летят
Орфея жалобные стоны —

Их остановят электроны
И снова в душу возвратят.

* * *

Собиратели марок, эстеты,
Рыболовы с Великой реки,
Чемпионы вечерней газеты,
Футболисты, биржевики;

Все, кто ходят в кино и в театры,
Все, кто ездят в метро и в такси;
Хочешь, чучело, нос Клеопатры?
Хочешь быть Муссолини? — Проси!

И просили, и получали,
Только мы почему-то с тобой
Не словчились, не перекричали
В утомительной схватке с судьбой.

1948

* * *

Я не знал никогда ни любви, ни участья.
Объясни, что такое хваленое счастье,
О котором поэты толкуют века?
Постараюсь, хотя это здорово трудно:
Как слепому расскажешь о цвете цветка,
Что в нем ало, что розово, что изумрудно?

Счастье — это глухая, ночная река,
По которой плывем мы, пока не утонем,
На обманчивый свет огонька, светляка...
Или вот:
У всего на земле есть синоним,
Патентованный ключ для любого замка —
Ледяное, волшебное слово: *Тоска.*

1950

* * *

С пышно развевающимся флагом,
Точно броненосец по волнам,
Точно робот, отвлеченным шагом,
Музыка пошла навстречу нам.

Неохотно, не спеша, не сразу,
Прозревая, но еще слепа,—
Повинуется ее приказу
Чинно разодетая толпа.

Все спокойно. Декольте и фраки,
Сдержанно, как на большом балу,
Слушают в прозрачном полумраке
Смерти и бессмертию хвалу.

Только в ложе молодая дама
Вздрогнула — и что-то поняла.
Поздно... Мертвые не имут срама
И не знают ни добра, ни зла!

Поздно... Слейся с мировою болью.
Страшно жить, страшнее умереть...
Холодно. И шубкою собольей
Зябнущего сердца не согреть.

1950

* * *

История. Время. Пространство.
Людские слова и дела.
Полвека войны. Христианства
Двухтысячелетняя мгла.

Пора бы и угомониться...
Но думает каждый: постой,
А, может быть, мне и приснится
Бессмертия сон золотой!

1954

* * *

Мимозы солнечные ветки
Грустят в неоновом чаду,
Хрустят карминные креветки,
Вино туманится во льду.

Все это было, было, было...
Все это будет, будет, бу...

Как знать? Судьба нас не взлюбила?
Иль мы обставили судьбу?

И без лакейского почету
Смываемся из мира бед,
Так и не заплатив по счету
За недоеденный обед.

1955

* * *

Жизнь продолжается рассудку вопреки.
На южном солнышке болтают старики:

— Московские балы... Симбирская погода...
Великая война... Керенская свобода...
И — скоро сорок лет у Франции в гостях.

Жужжанье в черепах и холодок в костях.
— Масонский заговор... Особенно евреи...
Печатались? А где? В каком Гиперборее?

...На мутном солнышке покой и благодать,
Они надеются, уже недолго ждать —
Воскреснет твердый знак, вернутся ять с фитою
И засияет жизнь эпохой золотою.

1955

* * *

Паспорт мой сгорел когда-то
В буреломе русских бед.
Он теперь дымок заката,
Шорох леса, лунный свет.

Он давно в помойной яме
Мирового горя сгнил,
И теперь скользит с ручьями
В полноводный, вечный Нил.

Для непомнящих Иванов,
Не имеющих родства,
Все равно, какой Ива́нов,
Безразлично — трын-трава.

. . . .

Красный флаг или трехцветный?
Божья воля или рок?
Не ответит безответный
Предрассветный ветерок.

ПЕЙЗАЖ

Перекисью водорода
Обесцвечена природа.

Догорают хризантемы
(Отголосок старой темы).

Отголосок песни старой —
Под луной Пьеро с гитарой...

Всюду драма. Всюду убыль.
Справа Сомов. Слева Врубель.

И, по самой серединке,
Кит, дошедший до сардинки.

Отощавший, обнищавший,
Сколько в прошлом обещавший!

В — до чего далеком — прошлом,
То ли звездном, то ли пошлом.

1955

ПОСМЕРТНЫЙ ДНЕВНИК

I

Александр Сергеевич, я о вас скучаю.
С вами посидеть бы, с вами б выпить чаю.
Вы бы говорили, я б, развесив уши,
Слушал бы да слушал.

Вы мне все роднее, вы мне все дороже.
Александр Сергеевич, вам пришлось ведь тоже
Захлебнуться горем, злиться, презирать,
Вам пришлось ведь тоже трудно умирать.

II

Кошка крадется по светлой дорожке,
Много ли горя в кошачьей судьбе?
Думать об этой обмызганной кошке
Или о розах. Забыть о себе.

Вечер июльский томительно душен.
Небо в окне, как персидская шаль.
Даже к тебе я почти равнодушен,
Даже тебя мне почти уж не жаль.

III

Я жил, как будто бы в тумане,
Я жил, как будто бы во сне,
В мечтах, в трансцендентальном плане,
И вот пришлось проснуться мне.

Проснуться, чтоб увидеть ужас,
Чудовищность моей судьбы.
...О русском снеге, русской стуже...
Ах, если б, если б... да кабы...

IV

Мне уж не придется впредь
Чистить зубы, щеки брить.
«Перед тем, как умереть,
Надо же поговорить».

В вечность распахнулась дверь,
И «пора, мой друг, пора!»...
Просветлиться бы теперь,
Жизни прокричать ура!

Стариковски помудреть,
С миром душу помирить...
...Перед тем, как умереть,
Не о чем мне говорить.

V

В громе ваших барабанов
Я сторонкой проходил —
В стадо золотых баранов
Не попал. Не угодил.

А хотелось, не скрываю —
Слава, деньги и почет.
В каторге я изнываю,
Черным дням ведя подсчет.

Сколько их еще до смерти —
Три или четыре дня?
Ну, а все-таки, поверьте,
Вспомните и вы меня.

VI

Ночных часов тяжелый рой.
Лежу измученный жарой
И снами, что уже не сны.
Из раскаленной тишины
Вдруг раздается хрупкий плач.
Кто плачет так? И почему?
Я вглядываюсь в злую тьму
И понимаю не спеша,
Что плачет так моя душа
От жалости и страха.
— Не надо. Нет, не плачь.
...О, если бы с размаха
Мне голову палач!

VII

На барабане б мне прогреметь —
Само-убийство.

О, если б посметь!
Если бы сил океанский прилив!
Друга, врага, да и прочих простив.
Без барабана. И вовсе не злой.
Узкою бритвой иль скользкой петлей.
— Страшно?.. А ты говорил — развлечение.
Видишь, дружок, как меняется мнение.

VIII

Дымные пятна соседних окон,
Розы под ветром вздыхают и гнутся.
Если б поверить, что жизнь это сон,
Что после смерти нельзя не проснуться.

Будет в раю — рай совсем голубой —
Ждать так прохладно, блаженно-беспечно
И никогда не расстаться с тобой!
Вечно с тобой. Понимаешь ли? Вечно...

IX

Меня уносит океан
То к Петербургу, то к Парижу.
В ушах тимпан, в глазах туман,
Сквозь них я слушаю и вижу —
Сияет соловьями ночь,
И звезды, как снежинки, тают,
И души — им нельзя помочь —
Со стоном улетают прочь,
Со стоном в вечность улетают.

X

Зачем, как шальные, свистят соловьи
Всю южную ночь до рассвета?
Зачем драгоценные плечи твои...
Зачем?.. Но не будет ответа.

Не будет ответа на вечный вопрос
О смерти, любви и страданьи.
Но вместо ответа над ворохом роз,
Омытое ливнями звуков и слез,
    Сияет воспоминанье
О том, чем я вовсе и не дорожил,
Когда на земле я томился. И жил.

XI

Все розы увяли. И пальма замерзла.
По мертвому саду я тихо иду
И слышу, как в небе по азбуке Морзе
Звезда выкликает звезду,
И мне — а не ей — обещает беду.

XII

В зеркале сутулый, тощий,
Складки у бессонных глаз.
Это все гораздо проще,
Будничнее во сто раз.

Будничнее и беднее —
Зноен опаленный сад,
Дно зеркальное. На дне. И
Никаких путей назад:

Я уже спустился в ад.

XIII

«Побрили Кикапу в последний раз,
Помыли Кикапу в последний раз!
Волос и крови полный таз,
    Да-с».

Не так... Забыл... Но Кикапу
Меня бессмысленно тревожит,

Он больше ничего не может,
Как умереть. Висит в шкапу —
Не он висит, а мой пиджак —
И все не то. И все не так.

Да и при чем бы тут кровавый таз?
«Побрили Кикапу в последний раз...»*

XIV

В ветвях олеандровых трель соловья.
Калитка захлопнулась с жалобным стуком.
Луна закатилась за тучи. А я
Кончаю земное хожденье по мукам,

Хожденье по мукам, что видел во сне —
С изгнаньем, любовью к тебе и грехами.
Но я не забыл, что обещано мне
Воскреснуть. Вернуться в Россию — стихами.

XV

«...И Леонид под Фермопилами,
Конечно, умер и за них»

Строка за строкой. Тоска. Облака.
Луна освещает приморские дали.
Бессильно лежит восковая рука
В сиянии лунном, на одеяле.

Удушливый вечер бессмысленно пуст,
Вот так же, в мученьях дойдя до предела,
Вот так же, как я, умирающий Пруст
Писал, задыхаясь. Какое мне дело
До Пруста и смерти его? Надоело!
Я знать не хочу ничего, никого!

* Стихотворение художника Н. К. Чурляниса (1875—1911).— *Прим. Г. Иванова*

...Московские елочки,
Снег. Рождество.
И вечер,— по-русскому,— ласков и тих...
«И голубые комсомолочки...»
«Должно быть, умер и за них».

XVI

А что такое вдохновенье?
— Так... Неожиданно, слегка
Сияющее дуновенье
Божественного ветерка.

Над кипарисом в сонном парке
Взмахнет крылами Азраил —
И Тютчев пишет без помарки:
«Оратор римский говорил...»

XVII

За столько лет такого маянья
По городам чужой земли
Есть от чего прийти в отчаянье,
И мы в отчаянье пришли.

— В отчаянье, в приют последний,
Как будто мы пришли зимой
С вечерни в церковке соседней,
По снегу русскому, домой.

XVIII

Для голодных собак понедельник,
А для прочего общества вторник.
И гуляет с метелкой бездельник,
Называется в вечности дворник.

Если некуда больше податься
И никак не добраться домой,
Так давай же шутить и смеяться,
Понедельничный песик ты мой.

Август 1958

XIX

Теперь бы чуточку беспечности,
Взглянуть на Павловск из окна.
А рассуждения о вечности...
Да и кому она нужна?

Не избежать мне неизбежности,
Но в блеске августовского дня
Мне хочется немного нежности
От ненавидящих меня.

XX

Вечер. Может быть, последний
Пустозвонный вечер мой.
Я давно топчусь в передней,—
Мне давно пора домой.

В горле тошнотворный шарик,
Смерти вкус на языке,
Электрический фонарик,
Как звезда, горит в руке.

Как звезда, что мне светила,
Путеводно предала,
Предала и утопила
В Средиземных волнах зла.

Август 1958

XXI

Если б время остановить,
Чтобы день увеличился вдвое,
Перед смертью благословить
Всех живущих и все живое.

И у тех, кто обидел меня,
Попросить смиренно прощенья,
Чтобы вспыхнуло пламя огня
Милосердия и очищенья.

XXII

Ликование вечной, блаженной весны,
Упоительные соловьиные трели
И магический блеск средиземной луны
Головокружительно мне надоели.

Даже больше того. И совсем я не здесь,
Не на юге, а в северной царской столице.
Там остался я жить. Настоящий. Я — весь.
Эмигрантская быль мне всего только снится —
И Берлин, и Париж, и постылая Ницца.

...Зимний день. Петербург. С Гумилевым вдвоем,
Вдоль замерзшей Невы, как по берегу Леты,
Мы спокойно, классически просто идем,
Как попарно когда-то ходили поэты.

XXIII

Поговори со мной еще немного,
Не засыпай до утренней зари.
Уже кончается моя дорога,
О, говори со мною, говори!

Пускай прелестных звуков столкновенье,
Картавый, легкий голос твой
Преобразят стихотворенье
Последнее, написанное мной.

Август 1958

ТРЕТИЙ РИМ

РОМАН

Роман «Третий Рим» печатается по журналу
«Современные записки» № 39—40 за 1929 год (первая часть),
журналу «Числа» № 2—3 за 1931 год (вторая часть).

...Подумай — на руках у матерей
Все это были розовые дети!

Иннокентий Анненский

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Было начало октября 1916 года. Желтый циферблат на думской каланче в холодном ночном воздухе напоминал луну. Стрелки показывали половину одиннадцатого, когда мимо этой каланчи пролетел по Невскому рысак под голубой сеткой и кучер крикнул кому-то: «Берегись!»

В санях сидел молодой человек. Звали его Юрьев, Борис Николаевич...

...С детства для Юрьева понятие «Россия» целиком покрывалось понятием «Петербург».

Изредка щурясь сквозь окно вагона на унылые ландшафты «с березками», кривые станции, скирды в поле, трусцой плетущиеся куда-то телеги — он вспоминал вдруг, что это и есть Россия, его страна. Мысль эта вызывала в нем смешанные чувства.

Прежде всего чувство досады, что он при всей своей благовоспитанности и тонком понимании новейшей музыки — все-таки русский, т. е. не совсем то, что настоящий европеец, француз или англичанин,— все-таки какой-то второй сорт европейца. Это ощущение сейчас же являлось у Юрьева в присутствии каждого иностранца, и особенно неприятным было сознание, что и иностранец догадывается о нем и разделяет его.

Кто был иностранец, барин или лакей, особенной роли не играло,— тайное почтение ощущалось и к лакею. В любезности какого-нибудь атташе посольства и в болтовне бреющего его у Молле француза-парикмахера Юрьеву одинаково чудился оттенок снисходительности первого сорта ко второму. И теперь, когда началась война, любезность иностранцев утроилась, и эту Россию с березками и телегами они иначе как «le pays merveilleux»* не называли, и за утроенной любезностью Юрьеву слышалось то же самое: merveilleux-то merveilleux, а сорт все-таки второй.

Но была и другая сторона в том, что русский,— приятная. Прожить до двадцати шести лет, не имея ни денег, ни серьезных связей, ни громкого имени, ничего не делая, не умея и не желая делать, причем прожить как-никак недурно — это относилось к положительной стороне того, что он родился русским. Единственное, что Юрьев получил от отца, глуховатого, важного и, должно быть, очень глупого тайного советника (тот сорок лет попечительствовал над какими-то приютами и оставил после себя пенсию и три выигрышных билета),— единственное, чем отец помог сыну,— это определив его в Училище Правоведения. Тут Юрьев отдавал должное памяти презираемого им глуховатого тайного советника — услуга была действительно важной. При одной мысли, что его могли вместо Правоведения отдать в гимназию, Юрьев ежился. Конечно, он бы не пропал. При полной неспособности что-нибудь «делать», как-нибудь, в общепринятом смысле, «работать» — дар цепкости, приспособляемости, уменья устроиться, легко и изящно соскочив с одной «шеи» «сесть» на другую, был развит в нем чрезвычайно. Но Юрьев отлично понимал, насколько труднее ему жилось бы без права говорить: «Когда я был в Правоведении... Мой товарищ по Училищу... У нас...»

То, что учение в Правоведении так подымало его (как раз в глазах нужных ему людей) над другими, учившимися в гимназиях и реальных училищах,— тоже относилось к приятным сторонам России...

Извозчик завернул на Французскую набережную. Юрьев остановил его. «Приедешь за мной,— он наморщил лоб,— к часу,

* Удивительная страна (*фр.*).

нет — к четверти второго. Рассчитаюсь, брат, рассчитаюсь»,— недовольно проговорил он на улыбочку рыжебородого Якова — дать «хоть полсотни, за овес надо платить, зарез».— «На той неделе отдам, пристал, как татарин. Так, к четверти второго...»

Юрьев последнее время, против воли, взял с Яковом неприятный для себя, какой-то слишком фамильярный тон: помимо долга за езду, он перебрал у лихача десятками и двадцатипятирублевками больше четырехсот рублей и все не мог отдать.— «Хамеет,— думал он раздраженно, звоня у белых, свежеотлакированных ворот особняка.— Как только получу, пошлю его к черту, возьму Петра — у того и выезд шикарней».

Особняк принадлежал Ванечке Савельеву, эстету, поэту, композитору, недавно получившему после папеньки-мукомола многомиллионное наследство и переселившемуся из постылой Самары в столицу для занятий искусством и светской жизни.

Лакей распахнул дверь. В лицо Юрьева ударил очень яркий свет и пахнуло душистым жаром оранжереи: Ванечка вычитал в английском руководстве хорошего тона, очень авторитетном, что изысканное жилище должно быть ярко освещено и полно цветов. По контрасту с темноватыми самарскими покоями, увешанными портретами архиереев и царей, в которых так долго изнывала его эстетическая душа,— этот совет пришелся Ванечке особенно по вкусу. Он им и злоупотреблял теперь, ослепляя и одурманивая собиравшееся в его доме пестрое общество.

В груде шуб, развешанных и разложенных по всем углам сияющей люстрами и олеандрами швейцарской,— знакомого sortie de bal * на белой, расшитой золотом подкладке не было видно.— «Еще не приехала? Впрочем, рано — ведь у ней обед с этими дурацкими москвичами... А вдруг совсем не приедет»,— беспокойно думал Юрьев, ладонями поправляя пробор и сам удивляясь остроте этого внезапного беспокойства.

В самом деле, казалось бы — о чем беспокоиться? Вера Александровна Золотова была дамой из богемы, актрисой, нигде не играющей, женой без мужа. Если бы она и не приехала, застряв в «Аквариуме» или в «Вилле Роде» в веселой и денежной компании,— никакого труда не составляло увидеть ее завтра, даже сегодня, пожалуй,— позвонить по телефону и приехать

* Манто (*фр.*).

«на огонек», если только удастся поймать время между ее возвращением домой и минутой, когда с телефонного аппарата на ночь снимается трубка — (довольно, впрочем, продолжительное время, пока Вера Александровна бродит, вздыхая или рассеянно улыбаясь, по комнатам, или варит себе чай на спиртовке, или читает с конца глупый, уже не раз перечитанный роман).

Десятки других женщин, нравившихся Юрьеву до Золотовой, нравились ему одна сильней, другая меньше, но, в основе, его чувство к каждой из них было одинаковым. Юрьев очень любил женщин. Среди лошадей, балетных спектаклей, шелкового белья, галстуков, французской кухни и других отличных вещей, составляющих приятность жизни и (следовательно) смысл ее,— женщины по праву занимали первое место. Но все-таки это было место в одном ряду с другими развлечениями, и возможность потерять из-за женщины голову всегда казалась Юрьеву такой же дикой, как возможность потерять голову из-за галстука или хорошего ужина.

Так смотрел на женщин он, так смотрели все его друзья, так уж, вероятно, придумал Бог, когда создавал мир, Петербург, женщин, шампанское, Училище Правоведения и самого Юрьева. И вот, встретившись с Золотовой, Юрьев, впервые в жизни, с неприятным удивлением чувствовал, что начинает терять голову.

Они познакомились две недели тому назад. Золотова была ветрена, мила, безразлична. К ней можно было ездить когда угодно, говорить о чем угодно, можно было трогать ее за колени или протягивать ей в двери ванной халат. Но дальше... дальше шла глупая путаница. Впервые в жизни он, как мальчишка, робел, заливался то нежностью, то раздражением и не знал, что делать. И Золотова, как мальчишку (так он с раздражением думал), водила его за нос.

Это было дико, непонятно; это было похоже на чувства влюбленного, как они описываются в романах. Чувства, которые Юрьев искренно считал вымышленными и, читая, всегда пропускал вместе с описаньями природы.

— Ну и не приедет, увижу завтра. Что за сантименты,— думал Юрьев, как от мухи, отмахиваясь от назойливого ощущения тревоги. Кланяясь и целуя ручки дамам, он стал проби-

раться через толпу гостей в угол залы, где стоял хозяин, розовый молодой человек в жилетке персикового цвета и в визитке. Ванечка тоже заметил Юрьева и двинулся ему навстречу, глядя в золотую лорнетку (с простыми стеклами — зрение у Ванечки было отличное) и улыбаясь приятною, несколько телячьей улыбкой.

II

Гостей было много — человек сорок. Большинство толпилось в овальной зале, где был на заграничный манер устроен буфет с сандвичами и сладостями и бритый, лысый, слегка косой и поэтому напоминавший китайца дворецкий разливал шампанское.

Общество, толпившееся на фоне желтых атласистых стен, выглядело совершенно так же, как выглядит в любой стране, на любом приеме изящное и благовоспитанное общество.

Это был мир, который люди, стоящие или считающие себя стоящими выше него, называли богемой, и богема, та богема, которой с выигранных в железку или перехваченных «до завтра» сотенных перепадали иногда трехрублевки: «Не стесняйтесь, мой дорогой, очень рад»,— считала светским, особый мир, оказавшийся бы, пожалуй, центральным на карте петербургского общества, если бы кто-нибудь вздумал ее нарисовать.

В самом деле, от Зимнего дворца — до «двенадцати лет с лишением всех прав», от редакторского стола могущественной газеты, веленевый экземпляр которой разворачивает утром сам император,— до крапленой колоды в ласковых пухлых ловких пальцах; от вершин успеха до кокаина, ночлежки, смерти под забором — можно было бы, где зигзагами, где и по линейке, провести воображаемые линии. Здесь они как раз перекрещивались. До дворца и до каторги, до собиновских триумфов и до ночлежки здесь было приблизительно одинаковое расстояние.

Молодые люди в изящных жилетах и смокингах, господа постарше, бюрократического вида, дамы, несколько гвардейцев, два-три благосклонных им насупленных старца, сдержанные улыбки, учтивый говор, дым египетских папирос — все, словом, гости и обстановка — ничем не отличались от тех собраний,

к которым вечера Ванечки относились как подражание относится к оригиналу. Пожалуй, подражание выглядело даже блестящей, чем следовало. Пожалуй, набивший глаз наблюдатель (им мог быть и был, должно быть, похожий на китайца дворецкий, недавно переманенный Ванечкой из одного чрезвычайно «хорошего» дома),— не зная, кто эти люди, не заглядывая ни в их карманы, ни в их мысли,— заподозрил бы подлинность картины именно вследствие ее блеска: в нем было что-то ненатуральное. И если дворецкий действительно занимался наблюдениями, он припоминал, вероятно, что гости его прежнего хозяина неуклюжей кланялись, громче сморкались, костюмы на них сидели мешковатей и проборы были приглажены хуже.

Не все, конечно, из гостей Ванечки (он искренно считал, что собирает у себя самые «сливки») были вполне мошенниками. Напротив, таких можно было пересчитать по пальцам. Седоватый господин, породистого и высокомерного вида с рубцом на лбу, чистивший грушу, был матерым шулером: рубец, похожий на след от сабли, был следом от подсвечника. Старичок в очках, похожий на сенатора, пивший мелкими глотками чай, за много лет практики достиг редкого опыта в сводничестве. Еще два-три персонажа были того же приблизительно полета. Несколько больше, чем жуликов, находилось здесь людей вполне порядочных, но тоже немного. Большинство же было вроде Юрьева: чем станет любой из них лет через десять — вице-губернатором или арестантом — зависело целиком от случая.

Дам было меньше, тип их однообразнее. Все они были как-то на одно лицо. Некоторые были красивы, иные почти уродливы. Уроды, впрочем, все держались под красавиц, и эта манера, у иных очень искусная, действительно, не то что уменьшала, но как-то отодвигала на второй план, делала несущественным уродство. Почти все были одеты с причудливостью, на которой тоже был налет однообразия, несмотря на различие туалетов и их цены. И дорогое, впервые надетое платье, и подозрительное, видавшее виды, купленное ношеным, не бывшее даже в чистке, пахнувшее еще чужими духами и чужой кожей,— выглядели как-то одинаково, может быть, потому, что в каждой, одетой сегодня у Бризак, чувствовалось, как она вчера, пока ей еще не посчастливилось,— рылась в лавке старьевщика, в душно пахнущем ворохе, отыскивая такие же чужие тряпки,

и так же надевала их, не испытывая ни стыда, ни отвращения, только досаду, что «вот везет же другим».

Общее у этих молодых и полумолодых женщин было и еще «что-то» в выражении лица, манерах, походке, что-то неуловимое, но явное, что роднило их всех между собою и, напротив, должно было (также неуловимо и явно) отличать каждую в театре, в уличной толпе, в любом нейтральном человеческом сборище. Иные были (или назывались) актрисами или ученицами балетных студий. О некоторых, если спросить, говорилось: «Эта? Это королева бриллиантов.»

Юрьев допил вино и, пробравшись через толпу, вошел в голубую гостиную, за которой начинался ряд других — розовых, зеленых, китайских, убранных со всевозможной затейливостью и тоже сверх меры уставленных цветами и освещенных. Юрьев был недоволен собой. Неожиданно на него нашло вдохновение. Денег не было, деньги были ужасно нужны. Глядя на розовую телячью улыбку Ванечки, он вдруг придумал спросить у него тысячу рублей (благоразумие говорило, что тысяча слишком много и вернее просить пятьсот, но пятисот не хватало даже, чтобы расплатиться с Яковом). Теперь по той легкости, даже торопливости, с которой Ванечка, услышав просьбу, увел его в кабинет и, извиняясь, что нет наличными, выписал чек,— было видно, что он дал бы и полторы, пожалуй, даже две, и деньги эти Юрьев проворонил. К раздражению, что спросил мало, примешивалось все то же беспокойство, связанное с Золотовой, запахом ее духов, ее коленями, тем, что она не приехала. Первый час — не стоит и ждать. Ну и черт с ней. Деньги есть, завтра повезу ее ужинать и... Хватит валять дурака,— рассуждал Юрьев нарочно, с удовольствием, думая о Золотовой самыми грубыми мужицкими словами.

В зеленой гостиной пудрилась какая-то «королева бриллиантов». Юрьев вошел в розовую. Там было пусто. В соседней китайской слышны были два голоса — мягкий, чуть шепелявый, хорошо Юрьеву знакомый, и другой, отрывистый, произносивший русские слова как-то по-иностранному. Юрьев заглянул за портьеру. Разговаривали Снетков, его сослуживец по элегантной канцелярии (тоже сюда за чеками лазит, устрица, подумал Юрьев. Снетков действительно чем-то напоминал устрицу), и важный барин, дипломат,— светлейший князь Вельский.

Удобный случай — подойти, попросить Снеткова представить, мелькнуло в голове Юрьева. Он давно хотел познакомиться с Вельским. Но каким образом князь тут, в этом ералаше?..

— Все-таки, князь, у меня нет уверенности в победе Германии. Доблесть немцев, согласен, неслыханная. Однако могущество союзников,— тихо говорил Снетков.

— Жалкое могущество,— перебил отрывистый голос Вельского.— Они торгаши и плуты. Один император Вильгельм, истинный рыцарь, истинный апостол церкви, может...

Королева бриллиантов, кончив пудриться, прошла, волоча мех, мимо Юрьева в китайскую комнату. Разговаривавшие замолчали.

— Подойти? Неудобно, пожалуй. И потом здесь, в доме Савельева...— соображал Юрьев.— Лучше пусть в среду в посольстве меня Снетков представит. Я и не знал, что он хорош с князем,— всюду вотрется. Непременно пусть познакомит — этот Вельский может в два счета выхлопотать камер-юнкера. И о чем это они толковали,— думал Юрьев, идя обратно в залу.— Вильгельм... Апостол церкви... баобабы какие-то.— «Баобабами» он про себя называл все отвлеченное, не имеющее отношения к реальной жизни, т. е. к шампанскому, женщинам, лихачам и способам раздобыть на это деньги.

Мысли о Вельском, о Снеткове, о камер-юнкерстве развлекли Юрьева. Ему захотелось есть. Он наклонился над блюдом, выбирая сандвич.

— Ох, злость моя,— вдруг услышал он за спиной любимую фразу Золотовой.

III

Она стояла у входа в зал, розовая от холода, возбуждения и выпитого вина. Она только что приехала — в левой руке она еще держала расшитый блестками капор, накидка была полуспущена с плеч, и лакей ждал сзади, чтобы подхватить накидку. Но она медлила сделать это легкое движение. Прислонясь к стене, улыбаясь, она глядела на гостей, на Юрьева с таким выражением, точно всматривалась в темноту.

Рассеянно улыбаясь накрашенными губами, она глядела на гостей, на Юрьева — так, точно не видела никого. И, должно быть, от холода, возбуждения, вина глаза ее казались сейчас больше, синей, блестящей, чем были на самом деле. Какой-то холодный свет шел сейчас (Юрьев на секунду физически ощутил это) от ее головы, рук, улыбки, от выреза ее узкого, голубого, напоминающего лед платья.

— Ох, злость моя,— повторила она, протягивая Юрьеву холодные, надушенные пальцы.— Ну? Ох, мне весело. Вы что же, давно здесь? Ох, что за сброд,— кивнула она на гостей.— Скоро взломщики сюда станут ходить. Ведите меня куда-нибудь в угол, где тихо, и принесите шампанского. Только не бокал — целую бутылку тащите. И едем потом кататься. Ох, мне весело, Юрьев. Вы думаете, я пьяна?

Со второго этажа слышался рояль и томные вопли модного мелодекламатора. Нижние комнаты понемногу пустели — гости подымались наверх, привлекаемые не столько концертом, сколько хотя и холодным, но очень обильным и изысканным ужином, сервированным à la fourchette в парадной, с зимним садом, столовой. Усадив Золотову, Юрьев пошел распорядиться насчет шампанского. Возвращаясь, он встретил Вельского. Тот шел к прихожей — ужин его, должно быть, не соблазнял. На полплеча сзади князя, почтительно что-то бормоча, шел Снетков.— «Bonsoir, Boris, * — помахал Снетков ручкой Юрьеву, блеснув моноклем и преждевременной лысиной. Темные, холодноватые глаза Вельского мимолетно-внимательно задержались на Юрьеве, и ему показалось, что, пройдя, Вельский тихо спросил у Снеткова о нем.

Золотова разом выпила бокал.

— Пейте, Юрьев! Мне весело, а вы кислый. Что? Соскучились, ожидая? Так ведь я приехала же. Господи, и он тут,— я говорю, скоро бýдут ходить взломщики,— здравствуйте, граф,— улыбнулась она очень любезно господину со следом от подсвечника, изящно изогнувшему стан в ее сторону. (Шулер был действительно польским графом, фамилия его была двойная — Пшисецкий-Пшипецкий).

От гиацинтов на низком столике шел сильный, сладкий запах, немного похожий на запах хлороформа. Наверху вопли мело-

* Добрый вечер, Борис (*фр.*).

декламатора прекратились, теперь оттуда слышалась только негромкая музыка, сопровождаемая стуком ножей о тарелки и говором закусывающих.

Золотова закрыла глаза и молчала, опустив голову. Юрьев внимательно смотрел на нее.

Он уже знал ее свойство быстро меняться, вдруг молодеть и стареть на глазах, переходить неожиданно от оживления к равнодушной усталости. Но на этот раз перемена все-таки была поразительна. Такой он ее еще никогда не видал.

Она сидела, закрыв глаза, подперев руками голову. Щеки побледнели, углы рта опустились. Всего несколько минут назад, стоя в дверях, она казалась почти девочкой — и вот теперь, сколько ей было лет? Двадцать девять, как она говорит? Да, пожалуй, женские двадцать девять лет, тянущиеся столько, сколько их можно тянуть, пока это не станет окончательно жалким и окончательно смешным. Значит, сколько же на самом деле? Тридцать четыре? Тридцать шесть?

Она сидела не двигаясь, как будто не дыша. Юрьев слышал, как от нее пахнет вином, сигарами, рестораном. Платье помято, прическа растрепана... москвичи ее напоили. Откуда взялись эти москвичи? Откуда она сама взялась, эта женщина, немолодая, почти стареющая? Актриса без театра, жена без мужа... Откуда она, о чем она сейчас думает, какую жизнь она прожила?

Юрьев знал, что вот это парижское платье только что куплено и стоило четыреста рублей. Откуда взялись эти четыреста рублей? Москвичи? Дело было, конечно, не в платье и не в москвичах. В чем было дело, Юрьев сам не совсем понимал. Может быть, в том, что впервые в жизни он глядел на женщину и думал не о том, как ее увлечь или как от нее отделаться,— а вот о таких вещах. И мысли эти почему-то вызывали в нем острую нежность и еще более острую жалость.

Где-то рядом зазвонил телефон. Лакей пробежал мимо, громко о чем-то переспрашивал, ушел, вернулся доложить, что «их нет, изволили уехать». Золотова сидела все так же, не двигаясь. Может быть, она заснула? Или умерла, может быть? Если бы оказалось, что она умерла, кажется, Юрьев не удивился бы,— так безжизненны были ее лицо, руки, ее измятое парижское платье.

«Господи, я и не знал, что она так некрасива...»,— подумал Юрьев стихами какого-то поэта, с все возрастающей, непонятной нежностью глядя в это лицо, действительно некрасивое, почти старое, почти мертвое.

— Борис Николаевич,— вдруг громко сказала Золотова, открыв глаза и выпрямившись. Она вдруг переменилась вся, сразу. Снова ей было двадцать лет, не больше. Глаза сияли, щеки розовели. Жизнь и прелесть вдруг точно брызнули вокруг нее.

— Борис Николаевич,— сказала она громким, молодым, веселым голосом.— Знаете что? Ведь я — погибла.

IV

Воспоминания этой ночи путались в памяти. Конечно, в церковь они приехали под утро. Юрьев запомнил синий отблеск рассвета на спине отъезжающего Якова. Яков отъезжал шагом — лошадь была совсем замучена сумасшедшей гонкой по островам.

Да, в церковь они приехали уже под утро, после всего. Но почему-то воспоминания начинались с церкви: Золотова стояла на коленях, по ее совершенно белому лицу медленно текли слезы. Это была Знаменская церковь. Какие-то старушонки шептались, глядя на них: вид у них был, должно быть, странный, и, должно быть, от них еще сильно пахло эфиром.

Когда Золотова придавила его лицо холодной, тяжелой, пропитанной эфиром ватой,— Юрьеву показалось, что он умирает. Он мотнул головой, стараясь сбросить мерзкую маску, но рука крепко ее прижимала, и свистящий голос шептал на ухо: «Дыши, дыши». Он глубоко вздохнул, желая перевести дыхание,— и все сразу перестало существовать.

Больше не было ни комнаты, ни кровати, ни их тел, лежащих рядом. Сознание Юрьева было совершенно ясным. Он отлично знал свой возраст, знал, сколько он должен Якову или какого цвета платье Золотовой, брошенное тут же на полу. Но ни возраста, ни Якова, ни цвета платья больше не существовало. Было только ледяное, сияющее пространство, в котором неслись куда-то их души.

— Я люблю тебя. Это рай...— сказала ее душа, и голос ее души был таким же льдом и сияньем, как то, в чем они

неслись.— Все-таки — я погибла,— дохнула она сиянием и льдом и опять повторила: Рай.

Все время, пока в большой плетеной бутыли был эфир (иногда приходилось вынырнуть изо льда и звезд, чтобы плеснуть еще эфиру на высыхающую вату — тогда, на мгновенье, все кругом тяжелело, проступали смутные очертания комнаты, сладкий вкус во рту и томительный звон в ушах),— все время этого полета в ледяном пространстве сознание Юрьева было совершенно ясным. Он хорошо помнил Якова, себя, цвет платья, помнил все, что ему раньше, еще на островах, рассказала Золотова. Какие-то бумаги (она говорила так сбивчиво, что он не понял, какие), от которых зависела ее судьба, честь, жизнь,— были в руках одного человека, и тот требовал за них десять тысяч. Человека звали Адам Адамович Штейер. Десять тысяч надо было достать...

Может быть, воспоминания этой ночи потому и начинались с церкви, что там, перед образом, Юрьев обещал Золотовой достать деньги.

Эта ночь прошла. Поздно, с головной болью, со звоном в ушах Юрьев вышел на улицу. Он шел к Штальбергу, своему другу. Штальберг был ему очень нужен. Штальберг мог...

Штальберг, конечно, мог, если бы захотел, дать Юрьеву эти десять тысяч. Он мог заложить драгоценности своей матери. Его мать по месяцам не жила в Петербурге. Вещи лежали в шифоньерке. К шифоньерке легко было подобрать ключ.

Штальберг сам говорил как-то об этом. В том, что он захочет это сделать, никакой уверенности у Юрьева не было. Впрочем, сейчас у него не было уверенности ни в чем, даже в том, что эта ночь прошла. Может быть, она все еще продолжается. И все — Фурштадтская, фонари, снег, он сам — только проступили на мгновение, пока на вату, обжигая холодом пальцы, льется эфир.

Штальберг зажег папиросу. Штальберг налил в желтоватую узкую рюмку мадеры. Штальберг слушал и улыбался, немного насмешливо, немного грустно. Потом он сам говорил, что, конечно, ключ легко подобрать, но что так огорчить бедную maman — нет, он не может так ее огорчить.— Потом Штальберг молча смотрел в камин — молча смотрел в камин и Юрьев.

Угли были ярко-красные, медь вокруг них утомительно-ярко блестела. Потом Штальберг сказал, что Пшисецкий-Пшипецкий вряд ли сам согласится (он очень осторожен теперь, ведь он почти миллионер — и в голосе Штальберга звучало уважение), но, наверное, не откажется дать совет. Потом в телефонной книге искали телефон...

— Едем, он нас ждет,— сказал Штальберг, вставая. Юрьев тоже встал. Машинально он допил свою мадеру. В мадере не было решительно никакого вкуса — ни сладости, ни горечи, ни холода, ни тепла. Нисколько не удивляясь этому, Юрьев это заметил.

V

Назар Назарович Соловей сидел дома в своей квартире из трех комнат с цинковой ванной и большим трехстворчатым окном «фонарем» в столовой. Квартира была в пятом этаже, и из «фонаря» открывался широкий, «веселый», как говорил Назар Назарович, вид на всю Петербургскую Сторону. За веселый вид да еще за ванну (Назар Назарович был чрезвычайно чистоплотен) он и соблазнился три года тому назад, когда квартир в городе было еще сколько угодно, нанять эту, о чем теперь сожалел. Для теперешнего его благополучия — квартира оказалась тесновата.

Конечно, время было военное, и посещавшие его новые, благородные знакомые — о. диакон, генеральша Крымова, Вейс — биржевой маклер, разные «интеллигентные барышни» — понимали и кивали сочувственно на жалобы Назара Назаровича, что «вот как приходится жить — кошка ляжет, хвостом покроет». «Купил, представьте, по случаю шикарную гостиную, в стиле Людовиков, обивка двойного шелка — и приходится гноить на складе — негде поставить».

О гостиной Назар Назарович не врал, гостиная действительно была. Да и что же гостиная: почти каждый день Назар Назарович привозил на извозчике (случалось и на ломовике) что-нибудь новенькое, купленное по случаю. То пару кожаных кресел «министерских», то «настоящего Маковского», то мраморные часы, фирмы Буре, недельный завод. От вещей в квартире мало-помалу становилось действительно не повернуться,

и предметы попроще, например недавно еще доставлявший столько удовольствия декадентский зеркальный шкап, переезжали на кухню — благо кухня была не нужна. Холостяк Назар Назарович придерживался и холостяцких обычаев, дома только закусывал холодным: ветчинкой, икоркой, жареной курочкой, обедал же или по соседству в трактире первого разряда с музыкой — Лувен, или в городе в чистых ресторанах — у Лейнера, у Черепенникова, в польской кухмистерской.

Назар Назарович Соловей сидел дома. Ему было приятно, но скучновато.

Было три часа дня, идти было некуда, делать было нечего. Все новые покупочки уже были заново любовно осмотрены. С часов стерта пыль, забытая приходящей старухой-уборщицей (своей прислуги Назар Назарович не держал — к чему, только обворовывать будет). Кресла передвинуты. Шелковый коврик над тахтой осторожно пощупан короткими пальцами: *удивительная* работа. При взгляде на Маковского в животе засосало: а вдруг надули? Но сейчас же и отлегло — белозубая румяная боярыня была как живая: разве так подделаешь? Да и Вейс, понимающий человек, сразу определил,— музейная вещь.— «Теперь вам, коллега,— сказал Вейс (почему-то он звал Назара Назаровича коллегой, что и льстило, и чуть-чуть обижало),— под пару Айвазовского необходимо, какой-нибудь „Штиль“ или „Шквал“». Назар Назарович сам чувствовал, что голая стена над пианолой так и просит Айвазовского (картинку «Олени на водопое», висевшую там прежде, он давно убрал, как чересчур простую). Да, хорошо было бы — средней величины в фигурной раме... Но на Айвазовского цены были прямо бешеные, не подступиться, а из частных рук все не представлялось случая.

Все уже было осмотрено, пощупано, передвинуто, где надо потерто чистой тряпочкой, где надо замшей. Канарейкам задано корму, попугаю тоже. И бриллиант уже доставался из заветного места и рассматривался на свет и в лупу. Сколько раз уж рассматривал Назар Назарович свой бриллиант, и всякий раз сердце падало: вдруг обнаружится незамеченный раньше брак — трещина, перышко... Но брака не было: камень сиял всеми своими шестью каратами, как божий ангел.

Назар Назарович взялся было за газеты, но сейчас же отложил их. И в «Петербургской», и в «Листке» писали только

про войну, а о войне читать было неприятно. «Рвут людям руки, ноги, бьют людей, какой же тут интерес, один страх и жалость»,— думал Назар Назарович. Он был очень добрым, жалостливым человеком (даже блох не любил давить, когда можно — выпускал в форточку) и войну ненавидел. Ненавидел исключительно по доброте сердца — лично ему на войну не приходилось жаловаться. Как раз благодаря затянувшейся войне у многих заводились шалые, легкие, несчитанные деньги, и почти каждый вечер у Вейса, у о. диакона, у генеральши Крымовой шла шалая, крупная игра в двадцать одно или железку.

Зевая, Назар Назарович подошел к буфету, налил полстопки, выпил. От настойки сразу повеселело на душе и захотелось музыки. Назар Назарович сел на круглый табурет и робко, широко расставляя пальцы, тронул клавиши. В пианоле забурчало, потом плавно полилось «На сопках Манчжурии». Как всегда, играть было приятно и жутковато — то, что машина слушается его,— отдавало слегка чертовщинкой. На грустную музыку из чулана вылез толстый кот Турок и, горбя спину, щурился на хозяина. Назар Назарович вдруг вспомнил рассказ о том, как коты шалеют от валерианки. Не попробовать ли на Турке? Эта мысль Назару Назаровичу понравилась. Бросив играть, он стал пристегивать воротничок, чтобы идти на угол в аптеку за валериановыми каплями.— «Говорят, прямо до потолка прыгают, как черти, надо осторожно, чтобы не испортил чего»,— соображал он, с интересом поглядывая на кота. В это время на парадной позвонили.

Удивляясь, кто бы это мог быть, и, как всегда, слегка труся (вдруг бандиты, полиция...), Назар Назарович пошел открывать. В дверях стоял Юрьев.— Господин Соловей? — спросил Юрьев, краснея и отводя глаза от круглого недоумевающего лица Назара Назаровича.— Я к вам... Меня прислал... граф...— Юрьев вдруг почувствовал, что начисто забыл проклятую двойную фамилию приславшего его Пшисецкого-Пшипецкого.— Граф,— снова запнулся он, совсем теряясь.

Но в фамилии не было никакой надобности. Услышав «граф», Назар Назарович сейчас же снял цепочку, лицо его из недоумевающего стало любезным и даже каким-то игривым.

— Заходите, заходите,— заторопился он.— Позвольте пальтишко. Сюда прошу...— говорил он, впуская Юрьева.

Услышав «граф», Назар Назарович сразу, совершенно точно, сообразил, в чем дело. Граф знакомый ему был только один на свете. Поручения от него были только одного рода, по их общей специальности. И этот робеющий, шикарно одетый молодой человек мог прийти только с одной, единственной целью.

— Сюда прошу,— повторил он, не переставая улыбаться и пропуская Юрьева в гостиную.— Желаете кофейку? Или, может, водочки с мороза? Тесновато у меня, извиняюсь — кошка ляжет, хвостом покроет...

— У вас, что же, хорошая компания намечается? — перешел он прямо к делу (с человеком, присланным графом, нечего было разводить церемонии).— Главное, чтобы картишки были мои...

VI

Стрелка редкостных ампирных часов, изображающих «Торжество Цереры» (в выражении лица Цереры, как давно заметил князь Вельский, было что-то общее с выражением лица незабвенного Петра Аркадьевича Столыпина), доползла до девяти. Князь Вельский проснулся. Он всегда спал при открытой форточке, всегда на правом боку и просыпался всегда ровно в девять, как бы поздно ему ни пришлось лечь.

Светлейший князь Ипполит Степанович Вельский, проснувшись, обыкновенно не сразу понимал, кто он и где находится. Чтобы прийти в полное сознание, ему нужны были несколько секунд. Эти несколько секунд он проводил совершенно неподвижно, глядя перед собой, чуть щурясь. В голове в это время, бледнея, путаясь и теряя остатки смысла, проносились: чернильница, пролитая на зелень министерского стола — какая огромная лужа и нечем вытереть,— странный гусь, имеющий только половину туловища,— полклюва, одну лапку, одно крыло — с надписью: отдается внаймы, император Вильгельм в кивере с развевающимися перьями... Потом князь Вельский откашливался, брался за папиросу и звонил...

Ничего особенного не было заметно. Ничего особенного и не происходило. Но все-таки именно потому, что князь знал

это свое свойство не сразу приходить в себя,— он приучился просыпаться сам, и слугам было строго запрещено входить в спальню без зова. Вельский учитывал, поступая так, тысячную долю возможности сказать в неполном сознании что-то, чего говорить не следует, что-то открыть о себе, чего не следует открывать, хотя бы в обрывке полусонной фразы, хотя бы перед глуховатым, глупым, преданным камердинером.

Стрелка на циферблате, поддерживаемом Церерой, тронула цифру девять — Вельский проснулся. Вошедший на звонок слуга отдернул портьеры, поставил у кровати чашку чая и два поджаренных сухарика — (князь, боясь располнеть, был крайне умерен в еде) — и доложил, что «почты нет». Это значило, что среди груды писем и пакетов, приходивших каждое утро на частный адрес князя, его личный секретарь не нашел ничего такого, что следовало бы (по известным ему одному соображениям) подать князю, едва тот проснется. Остальное секретарь, встававший в половине седьмого, распечатывал и разбирал сам. Приблизительно треть он оставлял разложенной в величайшем порядке на письменном столе, в кабинете. Газеты «Новое Время», «Речь» и «Таймс» (очень неаккуратно начавший приходить во время войны) князь просматривал в ванной.

Выпив чашку крепкого, почти черного чая и раскрошив полсухарика, князь надел халат, чтобы идти в ванную комнату. Он проводил в ней каждое утро не меньше часу, никогда не пользуясь для мытья, бритья, одеванья ничьими услугами.

Он делал это отчасти по давней твердо усвоенной когда-то в Оксфорде привычке, отчасти по той же скрытности. Может быть, безотчетно все его существо противилось тому, что кто-то, хотя бы слуга, увидит его, блестящего князя Вельского, самого элегантного человека в Петербурге, самого умного человека в России — всклокоченного, голого, с короткими, не совсем прямыми ногами, с цепочкой образков на покрытой шерстью впалой груди.

Больше всего, пожалуй, князя смущали именно эти образки. Их было целое ожерелье, около десятка крестиков, иконок, ладанок (была даже какая-то шотландская заговоренная пуля). Каждый был связан с каким-нибудь случаем жизни, каждому приписывалась та или иная удача или предотвращение неудачи. И не то что потерять, просто снять это ожерелье на минуту

князь счел бы несчастьем: довольно равнодушный к религии (помимо официального, обязательного для человека его круга и положения благочестия) — Вельский был очень суеверен.

Он боялся сглаза, пятницы, вставанья с левой ноги, горбунов, закуриванья третьим, солдат с разноцветными глазами, шталмейстера государыни Марии Федоровны, Шервашидзе, известного петербургского «джетаторе», при встрече с которым обязательно надо было, прежде чем поздороваться, про себя трижды скороговоркой повторить навыворот его фамилию (получалось: ездишь-а-врешь, ездишь-а-врешь, ездишь-а-врешь)...

Голова светлейшего князя Ипполита Степановича Вельского с детства была полна противоречий.

В Вельском было достаточно чувства иронии, чтобы видеть слабые, смешные, лицемерные стороны тех (семейных, государственных, религиозных) традиций, в которых он был воспитан, и недостаточно характера, чтобы отказаться от них: он предпочитал, презирая их, им следовать. Вельский был умен, но той «статической» разновидностью ума, которая есть не столько сила, сколько изощренная способность ощущать чужое бессилие. Это с детства приучило его к постоянной иллюзии собственного превосходства. Между тем в обстоятельствах, где от ума требуется большее, чем насмешливая наблюдательность, где надо, например, из двух возможных решений выбрать одно — правильное, князь Вельский часто терялся и не знал, как поступить.

Он испытывал при этом чувство «скользкой» пустоты внутри и извне себя,— неприятное чувство, вроде головокружения или тошноты.

Все еще усложняла давняя привычка давать себе (или пытаться давать) отчет в каждом душевном движении, проверять природу и качество каждого своего поступка. И к сорока пяти годам своей жизни (третьему году вступления России в войну) князь Вельский вполне понимал, какой хаос, несмотря на все стремление к дисциплине и стройности, представляет

то, что называлось его «я», и все чаще испытывал неприятное «скользкое» чувство пустоты. К сорока пяти годам в характере князя Вельского вполне определились две основные его черты: честолюбие и скрытность. И параллельно, как бы являясь продолжением или отражением этих черт,— циническое презрение к людям и страх смерти.

Презрение к людям было не злое, скорей насмешливо-снисходительное. Все более укрепляясь, с годами оно становилось все более снисходительным, почти добродушным.

Человеческая глупость, конечно, порой раздражала, но князь знал, что раздражаться на глупость не следовало, раз именно она была тем основанием, на котором от века строились все великие и малые честолюбия. В этом князь Вельский, любивший во всем быть непохожим на других, допускал для себя исключение. Он слишком хорошо понимал, что честолюбцу опираться на «дураков», на «стадо» — такой же вечный закон, как родиться, есть, дышать, спать или умереть.

О необходимости умереть князь Вельский уже давно запретил себе думать. Он и перестал думать — ему всегда удавалось то, что он твердо решил. Но, конечно, это искусственное равнодушие к смерти было для его «я» тем же, что платье безукоризненного покроя для его некрасивого, плохо сложенного тела. Платье скрывало телесные недостатки, равнодушие к смерти — страх перед ней. Но под шедевром английского портного оставались, как были, кривоватые ноги и впалая грудь. И в душе, как был, оставался вечный, леденящий страх.

Из спальни одностворчатая дверка красного дерева вела в ванную. Спальня князя была когда-то спальной его матери, и Вельский, открывая дверь, всегда представлял (мимолетно — он не любил воспоминаний) — как он, маленьким мальчиком, приходя по утрам к матери, тянулся и не мог достать до дверной ручки — золоченого кольца в зубах длиннорогого и тонкомордого барана. Вельский не любил воспоминаний, и в комнатах для него все было переделано, но вот дверь осталась и каждый раз напоминала о том же — о кольце, до которого не дотянуться, о плеске воды за дверью и запахе «Royal Houbigant», которым душилась мать... Кажется, он очень любил когда-то свою мать, но теперь в памяти о ней все было начисто стерто, кроме вот этого случайного, связанного с дверью воспоминания.

В уборной, светлой, квадратной комнате, стены были уставлены раздвижными шкапами с платьем, обувью, галстуками, бельем — всего было очень много и все очень хорошее, шитое и сработанное самыми дорогими и изысканными лондонскими поставщиками. Раздвижные, белые, сияющие стеклом и лаком шкапы тоже были из Лондона, как и большой туалетный стол, и все вещи этой комнаты, вплоть до похожего на скрипку никелированного ящика, где на пару подогревались четыре одинаковых, плоских, с редким жестким волосом щет<ки>, необходимы<е> для приглаживанья пробора. На туалетном столе были приготовлены бритвы, слабо бурлила на притушенной спиртовке вода и стояло несколько срезанных роз на очень длинных стеблях (зная пристрастие князя, у Эйлерса отбирали для него самые длинные). Розы были и около ванны, на низком табурете, рядом с переносным телефонным аппаратом, пачкой газет и коробкой папирос.

Сидя в ванне, растираясь подогретой лохматой простыней, намыливая щеки для бритья или полируя ногти — князь Вельский не торопился.

Час — час с четвертью, проводимые Вельским за одеваньем, были единственными в течение дня, когда он свободно, со свежей головой, ничем не отвлекаемый, мог обдумать то, что ему необходимо было обдумать. Его всегда приятно успокаивала давно и до мелочей выработанная, медленно-сложная система «обрядностей туалета», и мысль о цвете галстука, возникая одновременно с мыслью о последней ноте румынского посланника, нисколько не мешали друг другу.

В это утро мысли князя Вельского были приподнято-тревожны. Ему предстояло сделать шаг, от которого зависела вся его судьба. Необходимость этого шага не была для князя неожиданной. Напротив, уже больше года, как перед Вельским была совершенно ясная цель. Письмо, полученное вчера из Швеции, было удачным результатом его долгих, осторожно-настойчивых усилий к этой цели приблизиться. Отступать теперь было бы и недостойно, и непоследовательно. И все-таки Вельский колебался.

Он всегда колебался в решительную минуту. Впрочем, на этот раз вопрос, который предстояло решить, был слишком важен. Письмо из Швеции было от одного господина. Господин

этот был голландцем, фамилия его была Фрей. В своем письме он просил предоставить ему место инженера на принадлежащих князю приисках. Письмо было написано по-английски и составлено в преувеличенно-почтительном тоне низшего к недосягаемо высшему, испещрено ссылками на прежние места, дипломы и рекомендации. Но Вельский хорошо знал, что Фрей — доверенное лицо германского канцлера и что предстоящий с ним разговор будет не о разработках марганца, а о сепаратном мире.

— Виза у Фрея есть... Жаль, что нельзя телеграфировать. Все равно — в пятницу, самое позднее в субботу... То, что я делаю, есть чистейшая государственная измена,— думал Вельский, проводя горячей жесткой щеткой по голове.— Тайные переговоры с неприятелем, отягчаемые...— Ну, а Меттерних, а Талейран? — Лисье лицо Оттенского епископа, на секунду возникнув в памяти, хитро и любезно улыбнулось.— Да, не нарубивши дров, не... как это там? Но все-таки измена...

Эта мысль, нисколько не испугав, неприятно удивляла его: впервые в жизни с его именем, с неотразимой очевидностью, сопоставлялось одно из низких, гадких, нечистоплотных понятий, понятий из того словаря, который, казалось бы, никогда и ни при каких обстоятельствах не мог быть применен к безукоризненному имени светлейшего князя Вельского.

Зазвонил телефон.— «Да, измена... надо заехать в посольство... надену синий костюм,— чтобы было пононшалантней — неофициальный визит и совершенно частная просьба... Виза у Фрея есть, и в контрразведке о нем знать не могут».— Слушаю,— сказал он строгим голосом и по привычке делая холодное лицо, как будто звонивший мог его увидеть.

— А, это вы, Павлик?..— голос князя вдруг стал мягким, слегка покровительственным.— Ничего, милый, ничего. Да, занят страшно. Ну конечно, буду очень рад, приезжайте прямо к обеду... Кстати — вам известен некто Юрьев, служащий у ...? Нетрудно узнать? Узнайте, узнайте, голубчик... Так до вечера.

Кончив одеваться, Вельский позвонил. Камердинер распахнул дверь и стал у нее навытяжку, не входя. Вельский, высоко неся голову и как-то особенно держа плечи (он перенял эту понравившуюся манеру у одной царствующей особы), быстро

прошел через парадные комнаты к швейцарской, где швейцар уже держал наготове шубу, и за стеклами подъезда у дверец двухместной кареты ждал без шапки выездной лакей.

VII

Вечер решено было устроить у Штальберга. Родители его как раз жили в деревне. Квартира была подходящая — барская и внушительная. Медная доска на обитых красным сукном дверях бельэтажа на Сергиевской: «Барон Александр Карлович Штальберг» была лишней гарантией, что если, не дай Бог, вечер пройдет не так гладко, как рассчитывали его устроители, подозрение вряд ли коснется сына и добрых знакомых видного петербургского бюрократа. Впрочем, опасаться неприятностей, кажется, не было оснований. Работа Назара Назаровича, в самом деле, была гениальна. Во время одного из совещаний (совещаний было несколько: надо было все обдумать, распределить роли, выработать список приглашенных, тщательно обсудив за и против каждой кандидатуры,— вообще, подготовиться) Назара Назаровича уговорили «показать игру». Он не любил этого делать — и по лени, и еще по тому чувству, по которому музыкант не любит играть перед концертом или оратор говорить на тему своей завтрашней речи. В работе Назара Назаровича, кроме выучки, был тоже элемент «вдохновения», и вдохновение это он оберегал. Но на последнем «распорядительном собрании» у Юрьева Назара Назаровича подпоили бенедиктином, и он, расплывшись, как кот на сало (при улыбке все его круглое, гладкое лицо вдруг покрывалось тысячью мелких морщинок, тотчас же исчезавших, едва он улыбаться переставал),— лениво взялся за карты.

Юрьев уже во всех подробностях знал, в чем заключалась шулерская работа, которую тот на его глазах производил. Колода была крапленая, и, сдавая, Назар Назарович, глядя на крап, выдергивал из середины колоды нужную карту — тройку для прикупа к сданной себе пятерке или «жир» к двойке партнера. Но отлично зная это и всматриваясь в каждое движение Назара Назаровича, внимательно, как мог (чтобы лучше было видно — зажгли лампу с рефлектором), Юрьев решительно ничего не замечал. Назар Назарович белыми пух-

лыми (на ночь он мазал руки глицерином «Велюр» и спал в перчатках), короткими пальцами сдавал карты. Его гладкое лицо расплывалось в тысяче морщинок; видно было, что дело свое он делает с удовольствием. На обрез карт, на крап он, казалось, и не смотрел вовсе — с добродушной улыбкой он глядел на партнера. Не было, разумеется, никакого сомнения, что он не сдавал карты, как они лежали, а дергал их из середины: посмеиваясь, он выигрывал, как машина. Из любопытства ему заказывали: «Сдайте жир и девять», или «прикупите к семи», и Назар Назарович сейчас же с точностью исполнял. Но каким образом он это делал,— разглядеть было невозможно. Конечно, заказанная девятка появлялась из середины колоды, но, как ни вглядываться, впечатление было такое, что Назар Назарович, небрежно и не торопясь, берет ее с самого верха. То же и крап: как ни рассматривали колоду, поднося ее к самой лампе, никто не мог разглядеть крапа.

Польщенный общим удивлением и еще выпив, Назар Назарович раскраснелся, развеселился, стал делать карточные фокусы и рассказывать глупые, похабные анекдоты.

Вечер предполагался музыкально-литературный и, главное, с хорошим ужином. Нужные люди так и приглашались на него, т. е. на ужин, законным предлогом к которому послужит пение довольно известной артистки, чья-то музыка и чтение поэмы начинающей входить в моду поэтессы Рыбацкой. Подразумевалось, что пения и стихов можно будет не слушать, шампанского же будет вдоволь, ну и Мартель, и свежая икра. О картах если кой-кому и говорилось, то неопределенно: «Может быть... Если соберется компания...»

Восемнадцать человек приглашенных образовывали несколько неравных, казалось, вполне самостоятельных групп. Однако каждая из этих групп была тщательно пригнанной частью одного механизма, предназначение которого было известно только устроителям вечера. Поэтесса Рыбацкая шла, чтобы читать поэму. Музыкант шел играть. Лицеист Курдюмов поесть, выпить и, при случае, перехватить двадцать пять рублей. Товарищ прокурора Павлов — поесть, выпить и, при случае, завести любовную интрижку. Каждый собирался на вечер к Штальбергу с вполне ясной для себя целью и каждый, не подозревая этого, шел тем или иным образом способствовать

тому, чтобы после стихов и музыки, шампанского и икры все так само собой сложилось, чтобы богач Ванечка Савельев сел играть в макао или железку с Назаром Назаровичем.

В квартире барона Штальберга, темноватой, просторной и несколько нежилой, такой именно, какой и полагалось быть квартире старомодного петербургского чиновника,— делались последние приготовления к приему гостей. В зале расставлялись золоченые стулья, в столовой наводился последний лоск на стол с закусками, в китайском будуаре баронессы (здесь, по выбору Назара Назаровича, по высшим соображениям распределения света и тени, должна была состояться игра) Юрьев поправлял цветы в вазах, рассыпал по хрустальным стаканчикам египетские папиросы и думал, сказать или не сказать Назару Назаровичу, чтобы тот переменил галстук. Галстук был ярко-голубой, с замысловатым узором и нельзя сказать, чтобы подходил, на петербургский вкус, к черному жакету да и вообще к зимнему времени. К тому же Назар Назарович воткнул в него бриллиантовую булавку (другой бриллиант сиял на коротком белом пальце его правой руки). Конечно, Назар Назарович должен был изображать случайно попавшего на вечер сибирского купца, миллионера и покровителя искусств, но галстук был слишком лазоревым даже для сибирского миллионера. «Хоть булавку уговорить его спрятать»,— Юрьев двинулся было к Назару Назаровичу, но раздумал: Назар Назарович и так заметно нервничал перед игрой, как артист перед выходом на сцену.

Пробило девять. Через полчаса могли начать съезжаться приглашенные. Юрьев напомнил Назару Назаровичу, что ему пора уйти во внутренние комнаты, чтобы появиться так, как будто он только что приехал, когда соберется несколько человек. Назар Назарович покорно улыбнулся (он был сильно припудрен и, должно быть, от пудры в морщинках, разбежавшихся по его лицу, на этот раз проглянуло что-то гнусное) и покорно пошел за Юрьевым по коридору в дальний кабинет. Тут он улегся под увешанной оружием стеной на жесткий кожаный диван (на этом диванчике ежедневно в течение тридцати лет старик Штальберг после обеда дремал или размышлял о судьбах России). Оставшись один, Назар Назарович вынул зубочистку и поковырял в зубах; потом, достав пилку для ногтей,

подпилил ногти. Когда с зубами и ногтями было кончено, он вытащил из кармана пачку неприличных открыток и стал их внимательно рассматривать. Это занятие всегда наилучшим образом действовало на его нервы, когда он был взволнован.

Как ни тщательно, во всех подробностях, ни был обдуман план вечера, как все заранее ни было взвешено и предусмотрено, когда вечер начался, оказалось, что на практике все выходит не так или не совсем так, как выходило в теории. Назар Назарович, хоть и не пил, как обещал, но в обществе стал неожиданно и досадно развязным, начал ухаживать за дамами, хвастая своим бриллиантом и намекая, что при случае не прочь такой же бриллиант подарить. Музыкант, некстати оказавшийся сибиряком, завел с Назаром Назаровичем разговор о Сибири, и тот, никогда в Сибири не бывавший, начал врать и путать. К счастью, остальные знали о «русской Америке», как называл свою родину музыкант, еще меньше Назара Назаровича, и странности, что сибирский купец не слыхал о существовании Омска, никто не заметил, кроме музыканта, птицы неважной, которая могла, конечно, думать, что ей угодно, без вреда для успеха вечера. Глупой оплошностью было и то, что по немецкой экономии Штальберга часть шампанского было русское «Абрау-Дюрсо» и, как назло, дурак лакей налил его Ванечке Савельеву. Тот глотнул, поморщился, выпил (в английском руководстве хорошего тона, которому Ванечка во всем следовал, говорилось, что не допивать вино — невежливо), но от второго бокала отказался, хотя наливали ему уже не «Дюрсо», а «Кордон Руж». Этот и разные другие промахи взвинчивали и без того взвинченные нервы Юрьева. Впрочем, понемногу все уладилось. Назара Назаровича отсадили от музыканта. Ванечку удалось уговорить попробовать портвейн, тот попробовал, одобрил и стал быстро хмелеть, что от него и требовалось. Таким образом, первоначальная «стройность замысла» понемногу восстанавливалась, и Юрьев вздохнул свободнее. О главной же допущенной оплошности он не подозревал, да и не мог подозревать. Главная оплошность заключалась в том, что на вечер была приглашена поэтесса Рыбацкая.

Дело было, конечно, не в самой Рыбацкой. Ни она, довольно хорошенькая женщина, с «испуганными» глазами и старомод-

ным черепаховым гребнем в высокой прическе, ни ее стихи о «Самофракийской победе» (во время чтения самый любознательный из слушателей шепотом осведомился у соседа, на каком фронте была одержана эта победа: — сосед не знал) никакой опасности в себе не заключали. Но у Рыбацкой был муж, какой-то мобилизованный инженер. Никто его не звал на вечер, мало кто знал, что он вообще существует. Но муж был и как раз недавно приехал в Петербург с фронта.

В первом часу, в начале ужина, позвонили, и лакей доложил, что это «за госпожой Рыбацкой». Со стороны хозяина — Штальберга было жестом обыкновенной вежливости выйти в прихожую и просить инженера не увозить так рано «очаровательную, доставившую всем нам столько наслаждения» и кстати посидеть самому. Инженер, крупный, обветренный, в походной форме, несколько стесняясь непривычной обстановки и своего френча, уступил, с намерением через десять минут уехать. Но, осмотревшись, он это намерение переменил. Причиной, заставившей инженера остаться ужинать в неприятном ему обществе, было то, что в столовой среди незнакомых лиц «аристократических хлыщей» он с удивлением заметил знакомое круглое лицо Назара Назаровича.

Назар Назарович не узнал инженера. Да ему и трудно было бы его узнать. Во время их единственной встречи, года четыре тому назад, на волжском пароходе, позиция инженера Рыбацкого была более удобной для того, чтобы наблюдать и запоминать. Он спокойно сидел в стороне, ел раков и пил вино, в то самое время, когда Назара Назаровича, пойманного с поличным, били бутылками, салфетками, стулом и чем попало.

Садясь за карты, Юрьев в первую минуту испытал ту блаженную смесь страха и смелости, неуверенности и надежды, которую испытывает каждый игрок и в особенности игрок, для которого вопрос выигрыша не ограничен спортивным удовлетворением или неудачей, а имеет еще острый насущный смысл потери или приобретения «до зарезу» нужных денег. Вскоре ощущение это сменилось чувством тупой скуки. В самом деле, выиграет он или проиграет, никакого значения не имело: его обязанности соучастника в шулерской игре были несложны; играть широко, подавая пример остальным, охотно «крыть» и «отвечать»; продавать банк, когда Назар Назарович возьмется

за брелок, или покупать, когда он почешет ухо... Получалось что-то нудное, вроде ожидания пересадки на глухой провинциальной станции. Но с течением игры Юрьева понемногу все сильнее стала мучить мысль, что вечер неминуемо должен кончиться провалом.

«Техника» Назара Назаровича была по-прежнему выше похвал. Но «психологическая сторона» его игры казалась Юрьеву чем дальше, тем ужасней по неосторожной и хамской («хамской», именно так со злобой думал Юрьев) грубости. Юрьев не мог себя упрекнуть в том, что не предусматривал заранее этой стороны дела. Он с самого начала, как мог, старался внушить Назару Назаровичу, что общество, которое ему предстоит обыграть («взять на карту», как выражался Назар Назарович),— несколько иное, чем общество пьяных купцов на Нижегородской ярмарке, и что обращение с ним требуется тоже несколько иное. Назар Назарович соглашался: «Известно, что купцы, серость, иной толстосум, миллионщик, а поскреби...» Юрьев настаивал, чтобы денег для оборота было достаточно (принести деньги входило в обязанности Назара Назаровича), игра велась «по-джентльменски» — проектировалось даже проиграть в конце ее часть наигранного, чтобы получилось впечатление «переменного счастья». Назар Назарович соглашался с этим: «Чего проще — буду перевод делать. Чтобы не было видно, будто я один загребаю. Выиграю и спущу вам, а вы барону, а барон опять мне, а я опять вам. У кого деньги останутся, когда кончим, у того и ладно. Ведь компания своя, друг друга не обманем»,— прибавлял он с хитрой улыбкой, и чувствовалось при этом, что он уж обязательно так устроит, чтобы надуть «свою компанию» при дележе.

И вот, по мере игры, Юрьев с беспокойством и злобой убеждался, что все обещания Назаром Назаровичем забыты. Он бил подряд пятнадцать карт, снова покупал тот же банк и бил еще десять. С дурацким притворством, удивляясь: «Опять девяточка, скажите пожалуйста? — он кричал изящному эстету Ванечке Савельеву.— Теперь твои деньги, отдаю, крой, борода!» — и вновь открывал девятку.

И все остальное было так же грубо, безобразно, ужасно. Денег Назар Назарович принес мало, и те, что принес, держал при себе (так же, как и выигранные,— никаких «переводов»

он и не думал делать). Сообщников своих он ставил этим в невозможное положение: надо было «поддерживать игру», «крыть» и «отвечать», а денег не было. Заметив, что Юрьеву или Штальбергу вовсе нечем играть, Назар Назарович, наконец, выручал их, но делал это тоже с удручающей бесцеремонностью.— «Получите должок»,— швырял он им, не считая, пачку двадцатипятирублевок — не заботясь о том, что игра велась на наличные, и всякий легко мог заметить странность таких передач.

Были минуты, когда Юрьеву казалось: кончено! Все понимают. Но никто ничего не понимал.

Полковник генерального штаба, которого пригласили больше «для декорации», оказавшийся страстным игроком и при больших деньгах, проиграл все, что с ним было, и теперь играл на запись с довольно нелюбезного (хам, опять злился Юрьев) согласия Назара Назаровича, считавшего игру на запись напрасной потерей времени,— «все равно не отдаст». Ванечка, сильно пьяный, подписал два чека на восемь и четыре тысячи и, не унывая, собирался подписывать третий, бормоча: «Malheureux au jeu — heureux en amour»*.

Игра длилась уже несколько часов и должна была скоро кончиться сама собой: ни у кого не оставалось больше денег — деньги из всех бумажников грудой лежали перед Назаром Назаровичем. Но никто ничего не замечал.

Юрьев, много раз дававший себе слово, что никогда в жизни не повторит сегодняшнего опыта, теперь, успокоившись, готов был взять это слово обратно.— «Конечно, мерзко, грубо... но в конце концов... Раз люди так глупы... Завтра же отнести ей столько денег!.. Жаль, что Штальберг в компании, если бы делить пополам...»

Чувство обычной веселой самоуверенности возвращалось, к нему примешивалось чувство победы: сказал, что достану, и достал! Еще одна такая игра... Тысяч по пяти на человека, не меньше, подсчитывал он. Как бы только этот Назар не обокрал.

Тут Юрьев почувствовал на себе взгляд мужа поэтессы Рыбацкой, инженера. Инженер, «проставив» в самом начале несколько сот рублей, не играл больше. Теперь он сидел непо-

*Не везет в картах — везет в любви (*фр.*).

далеку от Назара Назаровича, курил толстую папиросу и спокойным, неприятно пристальным взглядом смотрел на Юрьева.

VIII

Инженер Рыбацкий, выйдя от Штальберга, домой на Офицерскую пошел пешком. Было часов пять утра. Инженер был взволнован и недоволен собой и нарочно пошел пешком и кружным путем по набережной (жену он отвез сейчас же после ужина, она ни о чем не знала и, конечно, теперь спокойно спала) — чтобы обдумать и разобраться в том, что произошло.

То, что произошло, было отвратительно. Попав случайно на карточную игру в незнакомый дом, он заметил, что игра производилась нечисто. Заметил также (человек бывалый, подолгу живший среди мастеровых, мелких купцов, вообще простонародья, Рыбацкий не впервые сталкивался с подобными вещами), что профессиональный шулер работал не один. С ним заодно были — (наверное) хлыщеватый молодой человек Юрьев, приятель хозяина, и, кажется (тут у Рыбацкого было легкое колебание), хозяин — женоподобный титулованный мальчишка.

И вот теперь, идя по пустой подмерзшей набережной, Рыбацкий перебирал в уме подробности происшедшего и спрашивал себя, правильно ли он поступил, вмешавшись в это чужое, отвратительное и грязное дело.

Дело было чужим не только потому, что Рыбацкий не знал никого из принимавших участие в игре. Чужим оно было еще (и главным образом) потому, что все они, и обыгрывающие, и обыгрываемые, были людьми того круга, интересов, образа жизни, которые всегда (а особенно теперь, во время войны) возбуждали в Рыбацком враждебное и презрительное недоумение.

Увидев в чинной столовой барона Штальберга круглое, крепко битое когда-то в его присутствии лицо Назара Назаровича, Рыбацкий очень удивился. Но теперь, шагая домой, куря папиросу за папиросой, он думал, что удивляться, в сущности, было нечего. В сущности, ничего странного не было

в том, что нуждающиеся в деньгах хлыщи, бездельники, тунеядцы отнимали, при помощи шулера, деньги у тунеядцев и хлыщей богатых. Странным было бы, напротив, предполагать почему-то, что они на это неспособны.— «Во времена Александра Первого даже, кажется, молодечеством считалось передергивать среди гвардейской молодежи, у Толстого что-то есть об этом...» — с усмешкой думал Рыбацкий.— Так что, в своем роде, воскрешение славных традиций. «„Дней Александровых прекрасное начало“,— вспомнил он неизвестно чью, неизвестно откуда запомнившуюся строчку, снова усмехнувшись.— И причем я тут, зачем мне было ввязываться!».

Он возражал себе: если в трамвае вор лезет в чужой карман — естественно вмешаться, хотя и вор, и тот, чей кошелек он тянет, ему незнакомы, безразличны, и, может статься, вор лучше, честней, заслуживает большего сочувствия, чем владелец кошелька. В чем же разница?

Разницы как будто действительно не было. Но как ни желал Рыбацкий убедить себя, что, отведя Юрьева в сторону и сказав ему то, что им было сказано,— он поступил правильно, поступил так, как на его месте поступил бы всякий разумный и порядочный человек,— все-таки мысль, что лучше было бы не вмешиваться, не покидала Рыбацкого.

Лучше было бы не вмешиваться потому, что не вмешавшись в грязное дело, касающееся чуждых ему и все равно отпетых людей,— он мог бы просто заставить себя забыть о нем (как можно заставить себя забыть о случайно встреченном мерзком и отвратительном,— ну, о падали, попавшейся на дороге под ноги). Теперь же, вмешавшись, он волей-неволей должен был продолжать начатое и тратить, без смысла, нервы и силы, которых и так недоставало для мучительно-трудной жизни на фронте и мучительно-трудной работы там. И, кроме того...

Инженер-технолог Николай Николаевич Рыбацкий был одним из тех людей, которых уважают окружающие, ценят друзья и начальство, которые держат слово, никогда не поступаются с детства твердо усвоенными понятиями о долге,— словом, одним из тех, на кого от века опираются порядок, законность и уважение к человеческому достоинству. Люди такого склада по большей части по-настоящему честны, несколько ограниченны и вполне лишены воображения.

Николай Николаевич Рыбацкий, должно быть, имел этот недостаток, путающий людям жизнь и сбивающий их с толка. Он старался и не мог, никак не мог забыть бледное, перекошенное лицо Юрьева, не мог, шагая по подмерзшей набережной, отделаться от мысли, что, может быть, этот чужой и неприятный ему человек теперь отравится или застрелится.

IX

Снотворное действовало. Юрьев спал крепко и долго. Когда он проснулся, в комнате было уже совсем темно, и в щель между портьерами тянулся по столу, ковру и краю кровати узкий луч уличного фонаря.

Юрьев открыл глаза с чувством человека, которого мучил кошмар и который, проснувшись, облегченно думает: это был сон. Он потянулся к ночному столику за папиросой и тут сразу вспомнил все: игру, Назара Назаровича, инженера... Он откинулся на подушку и слабо застонал от сверлящего, как зубная боль, ощущения позора и непоправимости того, что случилось.

Когда Юрьев в конце игры почувствовал на себе взгляд инженера Рыбацкого и, подняв голову от карт, встретился с ним глазами,— он в одно мгновение понял значение этого пристального, неприятно-спокойного взгляда.

Ничего особенного во взгляде Рыбацкого не было. Встретившись с глазами Юрьева и задержавшись на них безо всякого вызова или подозрения, инженер медленно и равнодушно перевел взгляд на пепельницу, стоявшую перед ним, и больше на Юрьева не смотрел. Но с той минуты, как их глаза встретились, Юрьев с неумолимой ясностью знал, что Рыбацкий все видел и все понял.

Последние десять дней прошли для Юрьева как в тумане. Он завтракал и обедал, заходил в канцелярию и болтал там со Снетковым; одеваясь тщательно, как всегда, подбирал галстук под полоску рубашки и носки под цвет галстука; совещался со Штальбергом, делал с Назаром Назаровичем репетиции и приглашал на игру гостей — но все это делалось почти механически, не вызывая отчета и не оставляя следа в сознании. Единственное, чем и для чего он жил,— были ночи с Золотовой.

И только теперь, впервые за эти десять дней, Юрьев ощутил себя отдельно от страсти к Золотовой, от эфира, блаженства, головокружения — отдельно от той мутной, блаженной волны, которая, подхватив, несла его вплоть до этой минуты.

Волна принесла его к невозможному и непоправимому,— он вдруг это понял. Невозможное и непоправимое в образе инженера Рыбацкого сидело перед ним, куря толстую папиросу и уставившись пристальным, неприятно-спокойным взглядом на пепельницу. Пепельница изображала гондолу, которой правил серебряный гондольер. И пепельница, и гондольер, и пухлые пальцы Назара Назаровича, собирающие наигранные деньги,— были тоже тем же, что Рыбацкий,— образом невозможного и непоправимого.

Игра кончилась. Назар Назарович собрал деньги и, позевывая и игриво улыбаясь, встал. Штальберг приглашал гостей остаться пить кофе. Кое-кто оставался, большинство благодарили и прощались. Юрьев стоял у стены, безучастно на все это глядя. Лакей открыл форточку,— в ней обозначился бледный квадрат светающего зимнего неба, и, должно быть, от холодного воздуха Юрьева слегка зазнобило... Уговаривая остаться, Штальберг подошел и к Рыбацкому.— «Если он уйдет...» — подумал Юрьев с внезапной (бессмысленной, он сам это знал) надеждой.

Но инженер, по-военному щелкнув каблуками, ответил Штальбергу, что с удовольствием выпьет кофе. Идя в столовую, он будто бы мимоходом спросил Юрьева: — «Вы тоже остаетесь? — и, немного тише, прибавил.— Мне надо с вами поговорить...»

Лежа в кровати и с невыносимой, сверлящей, как зубная боль, тоской глядя на зеленую полоску от фонаря («... И я горю, как горел, и мир тот же, и эта комната, и все, а ты — погиб, погиб...» — говорил ему этот узкий, холодный, обыкновенный луч), Юрьев думал, что об исполнении первого условия, поставленного Рыбацким,— возвратить всем проигравшим деньги (несколько сот рублей, проигранных лично им, Рыбацкий взять не захотел) — не стоит и заботиться, раз второе условие все равно неисполнимо. Вторым условием Рыбацкого было не позже завтрашнего дня записаться добровольцем и непременно в часть, отправляющуюся на фронт.

Назар Назарович, услышав о требовании инженера, свою часть, около четырех тысяч (по самому грубому подсчету было видно, что он по крайней мере столько же припрятал),— возвратить наотрез отказался, так яростно при этом брызгая слюной и ругаясь: «Знаем эти штучки, не на таковского напали, а еще благородные...»,— что оставалось только прогнать его, пригрозив, что если не уйдет сам, то выведут силой. Штальберг, совершенно растерянный, умолял Юрьева ехать сейчас же к инженеру и хоть на коленях уговорить его не делать скандала. Недостающие деньги он обещал завтра же пополнить, заложив те самые бриллианты, вместо которых предложил недавно обратиться за помощью к Пшисецкому. Штальберг, узнав, что Рыбацкий пока обвинял только Юрьева, был готов сделать что угодно, только бы остаться в стороне. Его красивое лицо было обезображено страхом, когда он, весь дрожа, уговаривал Юрьева не выдавать его: «Тебе это не может помочь... а я... а мне...»

Юрьев взял часть Штальберга. Но к инженеру денег он не отвез. Часть Штальберга, вместе со своей, он отвез в то же утро к Золотовой. Тогда еще ему казалось, что он любит ее.

Входя в то утро в ее спальню, отдавая ей деньги, ложась к ней в кровать, Юрьев еще думал, что любит ее. Но в кровати рядом с ним лежала чужая, стареющая, безразличная ему женщина. И не было больше никаких звезд и никакого льда,— просто кусок холодной ваты мерзко и пронзительно пахнул аптекой.

Днем Юрьев все-таки поехал к инженеру. Потом был у Штальберга. Штальберг уже взломал шифоньерку (где тут было подбирать ключ) и сидел, все такой же растерянный, над грудой старомодных колец и брошек. Юрьев успокоил его,— вещи закладывать незачем, ничего ему не грозит. Рыбацкий прямо обвинял только одного Юрьева, и неисполнимое, ужасное требование ехать на фронт относилось к нему одному...

Юрьев зажег электричество, надел халат, подошел к умывальнику. Из крана побежала горячая вода, и ему было странно, что вот умывальник на месте, и вода бежит, как всегда, такая же горячая, и что вот он сам, как всегда, будет мыться, бриться, одеваться — как будто нужно мыться и одеваться

человеку, жизнь которого кончена. А жизнь, в том виде, в каком она представляла смысл и интерес, разумеется, была кончена.

На фронт он не пойдет. Идти на фронт было не то что тяжело или страшно,— было просто физически неисполнимо, все равно что подняться на воздух или дышать под водой. На вшивый, грязный, пропитанный кровью и хамством фронт, почти на верную смерть, идти было притом просто глупо: выпить цианистого калия было и легче и проще. Но Юрьев сознавал, что и цианистого калия он никогда не решится выпить. Что же тогда? Завтра, самое позднее послезавтра Рыбацкий навсегда его обесчестит. Как Рыбацкий сделает это? Заявит в полицию? Напечатает в газетах? Не все ли равно как.

Или все-таки пойти на фронт? Говорят, война скоро кончится, можно пристроиться как-нибудь. Или бросить все, уехать из Петербурга, ну в Сибирь или Бухару. Но чем жить там? И для чего жить? Жить стоило только в Петербурге, в Москве на худой конец... Но ни в Петербурге, ни в Москве жить было нельзя.

Ожидая, пока подадут кофе, Юрьев взял со стола серую тетрадь «Аполлона». Книжка была сентябрьская.— «Когда этот номер вышел, я был еще свободен и счастлив,— подумал Юрьев, это было всего месяц тому назад.— И я мог бы быть так же свободен и счастлив и сегодня, и завтра...» Он стиснул зубы от внезапного, острого прилива отчаянья.

Горничная принесла кофе.— «Барин, давеча, пока вы спали»,— начала она. Юрьев махнул рукой.— «Оставьте меня в покое, Маша». Горничная ушла. Но через минуту она снова постучала.

— Вас спрашивают... Незнакомый господин. Говорят, по важному делу.

— Что еще ему нужно,— со злостью думал Юрьев, идя в прихожую.— Еще какие-нибудь условия? С лестницы бы его спустить, сволочь...— В том, что ожидающий был Рыбацкий, Юрьев почему-то не сомневался.

В передней стоял князь Вельский. На широких бобрах его николаевской шинели блестел снег...

— Позвольте представиться,— отрывисто сказал Вельский, не протягивая руки.— Простите, что не имея чести... Но дело касается вас.

— Я все знаю,— пояснил он, улыбнувшись одними концами губ.— Инженер Рыбацкий будет выслан и эта...— Вельский запнулся, подыскивая слово,— эта неприятность забыта. Но Золотовой вы больше не должны видеть. И вы перейдете на службу ко мне. Мой секретарь предупрежден, явитесь завтра к нему — его зовут Адам Адамович Штейер.

X

Одна из портьер в большой неосвещенной комнате была не задернута, и сквозь широкое зеркальное стекло видны были петербургские сумерки и красноватое небо над Летним садом. У окна этого, охватив колени и уставясь куда-то вдаль грустным и злым взглядом, сидел человек.

Личный секретарь князя Вельского, правая рука князя, перед которым, зная его влияние, заискивали очень многие, Адам Адамович Штейер — это он сидел у окна — был похож на птицу, точнее, на дятла.

Сейчас сходство было особенно заметно. Золоченое екатерининское кресло, в котором он сидел, было слишком пышно и поместительно для его щуплой фигуры. На малиновом шелке обивки покатые плечи Адама Адамовича выглядели совсем крылышками, и длинный, тонкий нос был так повернут к окну, точно собираясь долбить стекло. Он сидел не шевелясь (уже долго, должно быть, больше часу), охватив колени и очень сильно задумавшись.

Если бы кто-нибудь из знавших Адама Адамовича увидел бы его сейчас, он сделал бы неожиданное открытие: у секретаря князя Вельского, оказывается, были глаза. У глаз этих было выражение — злое и грустное, очень грустное и очень злое. Но заметить это можно было только вот так, когда Адам Адамович сидел один, в полутемной комнате, зная, что никто на него не смотрит. На людях наружность его сразу стушевывалась, отступала на второй план,— даже сходство с дятлом как-то бледнело. На первый план появлялись усердие, исполнительность, портфель, набитый бумагами, манера бес-

шумно входить, бесшумно кланяться, бесшумно садиться на кончик стула. И если бы князя Вельского спросили, каков из себя его секретарь, которого вот уже третий год он видит изо дня в день,— он бы, вероятно, ответил, что как будто Адам Адамович лыс, кажется, небольшого роста и, пожалуй, сутуловат. Да и это еще сделало бы честь наблюдательности князя — другой на его месте не вспомнил бы ничего.

Как всякий сильно задумавшийся человек — Адам Адамович, глядя, не мигая, в одну точку где-то над Летним садом, думал сразу о многом. Мысли его были невеселы. Он ясно понимал, что три года напряженной и опасной работы потрачены даром, или почти даром, и в его мыслях мучительно переплетались — грусть, злость, презрение, желание во что бы то ни стало исправить допущенные ошибки и боязнь, что исправлять их, пожалуй, поздно.

Ошибок было несколько. Главной из них была, разумеется, та, что три года были потрачены, чтобы войти в доверие к князю, и что в великом деле решительная ставка была сделана на этого пустого, чванного, самовлюбленного, нерешительного и глупого человека.

Адам Адамович признавал свою вину лишь в части допущенной ошибки — другая была непроизвольной. Когда в 1913 году он с блестящими рекомендациями явился к князю Вельскому — князь произвел на него совсем не то впечатление, которое Адам Адамович позже о нем составил. Во-вторых, выбора все равно не было — не всякий день русскому вельможе, близкому к важнейшим государственным тайнам, требуется секретарь, и не для каждого такого вельможи рекомендация атташе иностранной державы, хотя бы и самая горячая, является достаточной, чтобы с первых же месяцев службы секретарь этот был посвящен решительно во все, что знал в государственных делах сам князь. В-третьих, тогда, в 1913 году, он, Адам Адамович, был слишком маленьким винтиком в священном и великом механизме, и роль его была ничтожной (хотя и важной — все было важно в деле, которому он служил). Потом уже поле его деятельности сильно расширилось и само собой, благодаря начавшейся войне и благодаря той изобретательности, настойчивости, терпению и смелости, которые Адам Адамович проявил, чтобы понемногу, незаметно для него, превра-

тить важного русского дипломата, родовитого барина, богатого и, следовательно, неподкупного человека в то, чем князь Вельский в настоящее время был — в союзника Германии и врага России.

Превращение это было результатом трудной, долгой, тонкой работы, и вот теперь, добившись своего, Адам Адамович с грустью и злобой думал о князе, как художник думает о своем создании, которое должно было стать шедевром и оказалось неудачей.

Неудача была налицо. Да, в результате его долгих усилий в лице князя у России был враг, у Германии был союзник. Но это был слабый враг и ненадежный, очень ненадежный союзник. Теперь, когда пришло время действовать, он, капризный и слабый, нерешительный и упрямый, мог каждую минуту по глупости или по капризу испортить все с таким трудом налаженное дело.

Который раз за эти дни, после того как выяснился приезд Фрея и намерения князя действовать самостоятельно — самонадеянно и опрометчиво,— Адам Адамович перебирал в памяти все это, ища способов исправить, что можно, и спрашивал себя, как могло случиться, что такой умный человек, как он, Адам Адамович, не разгадал князя раньше и допустил, чтобы вся инициатива, все нити из Берлина в Петербург и обратно, ведущие к заветной цели сепаратного мира,— сосредоточились в его слабых и капризных руках.

Но как можно было предусмотреть! В этой стране, которую он с детства научился презирать и ненавидеть, все было шиворот-навыворот и ни на что нельзя было положиться. Казалось, все здесь — и люди, и природа, и события — существовали наперекор здравому смыслу, наперекор Богу и судьбе, повинуясь каким-то своим, особым, неправдоподобным законам, таким же рыхлым и лживым, хитрым и слабым — каким был князь, все окружающие, вся Россия.

Он с детства научился презирать и ненавидеть Россию. Сперва противопоставляя свою бедность, грустную жизнь, жалкую наружность — чужому богатству, веселью, здоровью, которые он видел в других и которые привык ощущать, как незаслуженные, несправедливые, словно украденные у себя. Потом (тут ему открылся смысл жизни) противопоставляя эту Россию — Германии.

О, как он любил Германию. Там тоже жили богатые и здоровые, непохожие на него люди, но они были счастливы по праву — они были первым народом мира. Как он любил Германию! Он никогда не был в ней, но знал ее всю, наизусть, до каждого камня на дороге, каждого листика в шварцвальдских лесах, каждой серебряной рыбки в заколдованных волнах Рейна. Он глядел на зеленоватый участок на карте, проводил пальцем по городам, рекам, горным хребтам, и с куска бумаги вставали перед ним эти реки, города, горы, вставала благословенная, великая, единственная в мире страна, которой он никогда не видел, но сыном которой он был.

Адам Адамович провел рукой по холодному, чуть влажному лбу, потеплевшие было глаза его стали снова грустными и злыми.— «Мечты... Zaubertraüme...— прошептал он, улыбнувшись неприятной, горькой улыбкой, которой улыбался, когда был один.— Zaubertraüme! А реальность... Непременно надо все сказать Фрею и предупредить, чтобы он требовал, категорически требовал...— Он снова горько улыбнулся, представив трудный и неприятный для своего самолюбия разговор.— А девчонка ведет двойную игру,— вдруг, с не меньшей злобой, чем о Вельском, подумал он, вспомнив Золотову.— Ну, это не опасно — просто жадная тварь, хочет еще денег. Можно ей бросить кусок, и дело с концом — *там* ей вряд ли больше дадут,— соображал он.— Но какая тварь, какие твари!»

Совсем стемнело. Адам Адамович чиркнул спичкой. Оставалось еще полтора часа до прибытия поезда, с которым приезжал из Финляндии Фрей. Сейчас должен был вернуться князь и дать последние указания, что сказать Фрею и как осветить перед ним положение дел.— «Непременно все, все объяснить, не щадя себя, даже преувеличить надо,— повторил с решимостью Адам Адамович и встал с кресла.— И чтобы Фрей требовал...»

Прислушавшись, он повернул выключатель. Свет большой люстры ослепительно залил комнату. Внизу, у подъезда, скрипнули полозья, топнули осаженные лошади, стукнула дверь. Узкие плечи Адама Адамовича сразу еще больше съежились, руки опустились по швам, глаза стали маленькими, тусклыми, ничего не выражающими. Мягко ступая по скользкому, сияющему паркету, он вышел из комнаты и стал спускаться навстречу

князю, осторожно, точно хрупкую драгоценность, прижимая к боку свой коричневый, потертый портфель.

XI

Если бы князю Вельскому сказали о любом человеке, знакомом ему или не знакомом, старом или молодом, занимающем одинаковое с ним общественное положение, или высшее, или бесконечно низшее,— словом, сказали безразлично о ком, что человек этот ему враг — Вельский не удивился бы. Не то чтобы он считал себя как-нибудь особенно располагающим других к злым чувствам. Просто с молодости он привык относиться к людям с недоверием и в каждом новом человеческом лице за маской любезности, дружбы или подобострастия искать (и находить), в разных формах и с разными оттенками, подтверждение того, что «человек человеку волк». С годами это ощущение перешло в уверенность, стало казаться чем-то несомненным, твердо усвоенным раз навсегда, вроде представления о форме земного шара или таблицы умножения. Жизненный опыт говорил, что люди злы, фальшивы, жадны и неблагодарны — это было правилом, редкие исключения из которого не меняли дела. Да и исключения эти...

Вельскому искренно казалось, что таким исключением были некоторые близкие ему люди, например его покойная мать или лицейский товарищ Долгоруков, рано и романтически погибший. Нарочно проверяя себя, он искал в образе матери или Долгорукова вульгарных и низменных черт, свойственных остальным людям,— и видел ясно: в них этих черт не было. Но тут же в голову приходила простая мысль, что вот почти каждый из числа тех именно вульгарных и низменных *остальных* людей считает свою мать святой, почти каждый имеет друга или дочь, или любовницу и приписывает им особые, возвышающие их над другими свойства... При всей простоте этой мысли, из нее нельзя было сделать никакого вывода,— она, как и всякая попытка заглянуть к себе в душу, вызывала лишь скользкое чувство одиночества и пустоты. Это было не только неприятно, это было хуже — бесплодно; было одним из кончиков того клубка, все перепутанные нити которого ведут

к одному — к сознанию бесмысленности жизни и неизбежности смерти. Спокойнее всего в таких случаях было — меланхолически улыбнуться, закурить папиросу и перевести мысли на службу или балет. Так и поступал неизменно светлейший князь Вельский.

Да, люди были злы, корыстны, неблагодарны и враждебны — это было правилом. Но исключения все-таки были. Одним из них Вельский считал Адама Адамовича. В собачьей преданности, в слепом обожании этого грустного, смирного, забитого человека (мой Акакий Акакиевич, говорил о нем Вельский) он давно уже не сомневался. Это, правда, не имело особенной цены — но все-таки это было приятно.

— Ну-с,— сказал Вельский, входя в кабинет, с шумом отодвигая кресло и встряхивая носовым платком, распространившим сладкий и душный запах Folle-arôme'a.— Ну-с, давайте прорепетируем еще раз. Итак, вы ему скажете...

— Сколько раз я вас просил, милый мой, садиться без спроса. Что за чинопочитание — мы не в министерстве,— перебил он сам себя, с мягкой улыбкой показывая Адаму Адамовичу на стул.— И курите, пожалуйста. Итак, прежде всего...

Говоря с Адамом Адамовичем, улыбаясь ему, предлагая ему папиросу или диктуя письмо — Вельский всегда немного рисовался перед своим секретарем. Это выходило само собой, было бессознательным кокетством, в ответ на то чувство обожания, которое — Вельский знал — питает к нему Адам Адамович.

XII

Поезд медленно подошел к затоптанному перрону. Пассажиров было немного. Адам Адамович сразу узнал Фрея: на нем было широкое верблюжье пальто, за ремнями его желтого чемодана торчала сложенная углом газета — условный знак.

— Monsieur l'ingenieur? * — подходя и неловко снимая шляпу, начал Адам Адамович, очень странно выговаривая,— он изучил французский язык сам, без учителя, по книжке с фонетической транскрипцией.

* Господин инженер? (*фр.*).

— Ja wohl! * — тихо ответил приезжий, блеснув из-под коротких усов очень белыми зубами. И сейчас же, точно сам осуждая свое озорство, прибавил громко и важно:

— Счастлив прибыть в вашу великую страну.

Эта фраза тоже была условной. Адам Адамович еще раз приподнял шляпу. Сердце его сильно стучало. Фонетическая транскрипция его подвела,— он не находил слов.

— Прошу,— с трудом пробормотал он, пропуская Фрея перед собой к выходу, дохнувшему на них сыростью оттепели и тьмой Выборгской стороны.

В номере Северной гостиницы, занятом голландским подданным Фреем, кипел на столе самовар, стояли закуски, ром, коробка сигар. Внизу, на площади, дребезжали трамваи, редкий, рыхлый снег падал на шапку Александра Третьего и на толстый зад его коня. Следя за снежинками, Фрей, не перебивая, слушал Адама Адамовича. Тот говорит по-немецки, очень тихо и очень быстро. По мере того как он говорил, спокойное румяное лицо Фрея все больше и больше темнело.

XIII

Штальберга опять не было дома. Юрьев взглянул на часы. «Буду ждать до семи в Астории»,— приписал он в конце записки, перечитывая ее и подчеркивая слова «очень нужно» и «приезжай».— «На Исаакиевскую»,— сказал он кучеру, запахивая полость.

Штальберга он искал с утра. Штальберг — Юрьев сознавал это — был умней его и, главное, проницательней. И предсказания Штальберга, кажется, начинали сбываться. Вчерашние слова князя, во всяком случае, были многозначительны.— «Вы привыкли ко мне? — неожиданно спросил князь, прощаясь после ужина,— и как странно он посмотрел при этом.— Это хорошо, и я к вам привык. Это хорошо,— повторил он и, помолчав, прибавил.— Мы как-нибудь... скоро... поговорим».

Вельский очень странно смотрел, говоря это,— пристально и как будто растерянно. И если сопоставить эти слова с обрывком подслушанного на днях разговора (как умно было, что я подошел к двери, мелькнуло в голове Юрьева, как ловко...),

* Так точно! (*нем.*).

пожалуй, выходило, что Штальберг прав.— «У тебя под ногами золотое дно, а ты тряпки покупаешь и счастлив»,— вспомнил Юрьев насмешливый голос Штальберга и улыбнулся.— «Что ж, тряпки не мешают, но если в самом деле золотое дно — не надо быть дураком. И не буду»,— с веселой самоуверенностью подумал он, подымая воротник (было очень холодно) своего нового щегольского пальто.

Пальто было новое, все на котиковом меху, такое именно, как Юрьеву давно хотелось иметь. За последнее время он завел много разных дорогих нужных и ненужных вещей и вообще жил широко. Времена, когда хотелось купить шляпу и было нельзя, портной отказывался шить в долг и даже вежеталь приходилось порой экономить,— теперь изменились. С удовольствием и удивлением (к ним понемногу начало примешиваться смутное беспокойство) Юрьев чувствовал себя в положении человека, которому незачем ломать голову, где достать денег. Деньги у него теперь были.

Деньги у него были, долги были заплачены, дело с инженером замято, к январю он ждал камер-юнкера. И деньги, и уплата долгов, и высылка инженера, и обещанное камерюнкерство, все это — шло от князя Вельского.

Все это с того памятного вечера, когда князь приехал к нему, шло и устраивалось само собой, устраивалось так незаметно, гладко, естественно и прилично, что при встречах с князем Юрьев почти забывал, что Вельский все-таки не богатый дядюшка, балующий племянника, а совершенно чужой ему человек, для чего-то нашедший нужным вмешиваться в его судьбу.

Князь держался с Юрьевым именно добрым дядюшкой: возил его завтракать, звал к себе, болтал с ним то о поэзии, то об охоте, то о фасоне воротничков — и это было все. Но при всем своем легкомыслии Юрьев понимал, что долгов не платят и из грязных историй не вытаскивают из одной неизвестно откуда взявшейся симпатии. Чтобы возиться с ним, у князя должны были быть какие-то важные основания. Но какие — на это Юрьев никак не мог подыскать разумного ответа, и понемногу это все сильней начинало его беспокоить.

На обрывок разговора, подслушанный случайно у дверей библиотеки, Юрьев не обратил особенного внимания. Но после

вчерашних слов князя разговор этот приобретал какой-то (какой — было по-прежнему неясно, поэтому Юрьев и искал Штальберга) новый смысл.

Дело было так. Юрьев заехал к князю. Князь был занят — Юрьева попросили подождать в библиотеке, комнате, смежной с кабинетом. Из кабинета слышались голоса, но слов из-за тяжелых портьер не было слышно. Лакей, проводив Юрьева, ушел, никого кругом не было. Подойдя к шкапу, стоявшему около двери в кабинет, Юрьев, делая вид, что рассматривает корешки книг,— прислушался. Но и здесь слов нельзя было разобрать. Тогда, оглянувшись, Юрьев осторожно отодвинул портьеру и приложил ухо к двери.

Страх быть застигнутым помешал ему дослушать до конца. Кроме того, разговор шел по-немецки (уже одно это было странно) — а по-немецки Юрьев плохо понимал. Но и то немногое, что он понял,— было тоже странно и удивительно. Князь говорил о желании видеть или иметь какую-то вещь, а собеседник возражал что-то о снеге и трудности перехода границы...— «Да, да, у меня есть человек, на которого я могу положиться», — была последняя фраза Вельского, которую Юрьев понял,— она была сказана в ответ на слова, смысл которых он не разобрал. Где-то сзади, через несколько комнат, послышались шаги — Юрьев быстро опустил портьеру и отошел в другой угол комнаты.

Да, пожалуй, Штальберг был прав: князь вел какую-то интригу, в этой интриге он, Юрьев, на что-то был ему нужен.— «Вы привыкли ко мне? Это хорошо... Мы скоро поговорим...» И этот разговор по-немецки о снеге, о границе... Да, что-то за всем этим было, все это было неспроста. Тут где-то заключалось объяснение и денег, и инженера, и камер-юнкерства, и всего. Но где, какое? И если действительно открываются большие возможности, золотое дно, как сделать, чтобы возможностей этих не пропустить? Чтобы посоветоваться обо всем этом, Юрьев и ехал в Асторию, где от пяти до семи, на чае, Штальберг часто бывал.

Швейцар повернул стеклянную дверь-вертушку и, улыбаясь, поклонился Юрьеву — его здесь хорошо знали. Спросив, здесь ли барон, и с неудовольствием услышав, что «еще не были-с»,— Юрьев, решив подождать,— было около шести, и Штальберг,

конечно, мог еще приехать,— прошел направо, в ту часть большого, устланного пестрыми восточными коврами холля, где в углу, в тесноте, за низкими модернизированными столиками пили чай, стояли, вежливо толкались, дымили египетскими папиросами, обменивались французскими фразами и недавно пущенными в ход остротами обычные посетители и посетительницы этого своеобразного места.

И в углу, где пили чай, и кругом шло всегдашнее оживление. С тех пор, как Астория, большая, роскошная, недавно отстроенная гостиница, была реквизирована и объявлена военной, в ее холле, салонах, ресторане, во всех ее шести этажах с утра до поздней ночи шла приподнятая, полувоенная, полукосмополитическая жизнь особого, несколько странного пошиба.

Гостиница была военной, и, само собой, в толпе, наполнявшей ее огромное здание, преобладали русские и союзные офицеры, военные чиновники, врачи, жены этих военных — вообще люди, так или иначе связанные с войной, приехавшие с фронта или отправляющиеся туда. Однако совсем не это обилие френчей защитного цвета, погон, шпор, разных значков, не разговоры о войне, упоминания участков фронта и воинских частей, слышавшиеся кругом, придавали холлю, салонам, всем шести этажам Астории — особое, только им присущее своеобразие.

И на Невском, и в театрах, и в ресторанах теперь, на третьем году войны, было полно русских и союзных офицеров, сестер милосердия, военных чиновников, офицерских жен. В помещении другой, не меньше, чем Астория, военной гостиницы в здании Армии и Флота была та же военная толпа, мелькало столько же френчей и погон — но картина выглядела совсем иначе. Самый воздух там был другой.

И в здании Армии и Флота, и на Невском, и в театрах — встречались *разные* офицеры, *разные* сестры, *разные* союзники. Но всех штабных героев, щеголяющих золотым оружием, всех чиновников интендантства с бумажниками, набитыми несчитанными пятисотрублевками, всех подкрашенных, томных, строящих глазки купчихам румынских лейтенантов, всех шансонетных певиц, надевших косынку, всех девок, выдающих себя за жен прапорщиков и ротмистров, и всех жен ротмистров и прапорщиков, похожих на девок,— словно по какому-то естественному

подбору привлекала Астория. Конечно, не из одних этих людей была составлена шумная, блестящая, повсюду снующая толпа, редеющая и утихающая только к ночи,— но они в ней преобладали, окрашивали ее собой, своими взглядами, манерами, говором — всем своим особым оперением, как всегда более ярким у хищников. Прогретый калориферами воздух Астории пахнул как-то томительно. Это была тонкая смесь, где было всего понемногу: Н. Герлен, и дух контрразведок, и египетский табак, и кровь...

Разумеется, особенность этого воздуха была заметна только постороннему человеку. Но «habitués»*, вроде Штальберга, Юрьева, вроде всех тех, кто в углу холля, в тесноте, пил за низкими модернизированными столиками чай, болтал, острил или устраивал свои дела,— находили, что все кругом пахнет, выглядит, устроено именно так, как должно пахнуть, выглядеть и быть устроено в приятном и модном месте, где собираются изящные и благовоспитанные люди.

Раскланиваясь со знакомыми (почти все здесь были ему знакомы), где целуя ручку, где небрежно помахивая: «Как поживаешь, mon cher», извиняясь перед кем-то, что давно не бывал, кого-то приглашая на среду завтракать,— Юрьев прошел в читальню, где было меньше народу, велел принести себе нарзану и развернул «Фигаро». Он не успел дочитать какой-то скучный пассаж о войне (теперь даже в прелестных, непохожих на наши, французских газетах писали почти исключительно об этой всем надоевшей войне) — как Штальберг, розовый с холода и улыбающийся, тронул его за плечо.

XIV

Кофе, вскипев, хлынуло в стеклянный купол машинки. Штальберг потушил ее и взглянул на Юрьева.— «Видишь ли...» — протянул он нерешительно, точно сомневаясь, стоит ли договаривать.

У Альберта, куда они зашли, было, как всегда вечером, пустовато. Ни нарумяненная немолодая дама, похожая на актрису, обедавшая через несколько столиков, ни бледнолицая барышня за стойкой, увлеченная «Ключами Счастья», ни лакеи, от нечего

* Завсегдатаи (*фр.*).

делать поправляющие пустые приборы и то поддающие, то уменьшающие электричества в разных концах зала,— не мешали им спокойно разговаривать. Но теперь, к концу обеда, разговаривать, в сущности, было не о чем. Штальберг разочаровал Юрьева. Проницательность его, оказывается, шла не так уж далеко — не дальше уже не новых советов не пропускать пресловутого «дна». Штальберг тоже находил многозначительными вчерашние слова князя и считал, что между ними и подслушанным разговором, пожалуй, есть связь — но где, какая — от полуторачасового сидения с ним Юрьеву не стало ясней. Чтобы скрасить неважный обед и настроение, ставшее кислым, Юрьев к кофе заказал коньяку — но и коньяк (крепкий и тоже неважный) что-то не подымал настроение.

— Видишь ли,— помолчав, повторил Штальберг.— Предположи на минутку, что мы не друзья, не товарищи по училищу, не люди одного круга. Мы только что встретились и не связаны между собой ничем, кроме одной вещи. А вещь это такая. У тебя есть, скажем, права — ну, на клад, на наследство, а у меня план или завещание, словом, нечто, без чего этот клад или наследство нельзя получить. Каждый знает о каждом, что один без другого ничего не добьется, каждый владеет половинкой целого. Спрашивается — как разумней всего нам обоим поступить?

— Сложить обе половинки. Но к чему ты это ведешь?

— Постой. Сложить половинки? Отлично. А еще что?

— И вырыть клад.

— А тебе не приходит в голову, что вместо того, чтобы рыть вдвоем и делиться, умней мне зарезать тебя, взять твой план и вырыть клад одному?

— Налей мне кофе, философ, прежде чем меня резать.

— С удовольствием. И еще минутку терпения. Ответь мне,— ты знаешь, что такое сентиментальность?

Юрьев пожал плечами.

— Знаешь? Тогда определи точно.

— Ты серьезно? Какой вздор... Ну, немки сентиментальны... Любовь к животным... Карамзин: «о щастливые, щастливые швейцары...» Кто же этого не знает?

— Хорошо. А я, как по-твоему, сентиментален?

Юрьев усмехнулся.

— Не думаю. Хотя ты и из немцев, но над мотыльком вряд ли всплакнешь.

— Ошибаешься, дорогой, всплакну.— Штальберг поднял руку.— И еще как всплакну... не хуже Карамзина. Не хуже любого холодного, бессердечного, никого не любящего и при этом обязательно, как правило, сентиментального человека. Всплакну над мотыльком и зарежу... хотя бы тебя.

— Чтобы отнять клад?

— Чтобы отнять этот галстук, если он мне понадобится.

— Мило! — усмехнулся Юрьев.— Буду теперь тебя остерегаться, ты как раз хвалил мою новую шубу. Что же, однако,— спросим счет?

Штальберг помолчал минуту.

— Нет, зарезать — никогда,— проговорил он задумчиво.— Зарезать? Значит, своими руками — вот этими? — он взглянул на свои худые, красивые руки.— Значит, кровь, хрипенье, искаженное лицо, труп, мерзость. Нет. Зарезать бы я никого не мог. Но сидеть с тобой вот так, болтать, вспоминать экзамены, подливать тебе вина (он подлил себе и Юрьеву коньяку и залпом выпил свой) — и знать, что, когда ты уйдешь, на улице тебя убьют и принесут мне твой галстук — это другое дело... Ты бы уходил, а я слушал твои шаги по лестнице и думал — что вот еще не поздно, еще я могу тебя остановить, вернуть... И плакал бы, поверь мне, не хуже Карамзина.

— Но не остановил бы?

— Как же,— а галстук?

— Приятно слышать. Хорошо, что галстуки мои тебе не нужны, а большего у меня нет — так что пока я в безопасности.

Штальберг постучал папиросой о крышку портсигара, поднял на Юрьева светлые, холодные глаза и с расстановкой сказал:

— Ты не в безопасности.

XV

Марья Львовна Палицына кончала обедать, когда ее позвали к телефону. Звонил Вельский. И хотя в том, что он звонил, не было ничего неожиданного — снимая трубку и слыша немного измененный в телефон отрывистый голос, она и сегодня, как всегда, почувствовала знакомый толчок где-то в груди над

сердцем, который чувствовала, встречая князя, говоря с ним по телефону или надрывая большой серый конверт с гербом, надписанный его острым, неразборчивым почерком.

Это ощущение сохранилось от тех, уже далеких времен, когда началось их знакомство. Равнодушная к людям и уверенная в себе — в своем уме, житейском опыте, уменьи держаться, как надо, с любым человеком — Марья Львовна, при первых встречах с князем, сама удивляясь этому, почувствовала легкое, несвойственное ей волнение, распространявшееся одинаково и на то, как она ответила Вельскому на его замечание о Шекспире, и на то, хорошо ли поджарены любимые князем к чаю toasts'ы. Теперь князь давно был ее самым близким и дорогим другом, и она знала, что и он, не меньше ее, дорожит отношениями, сложившимися за несколько лет их знакомства. Она знала, как высоко ставит Вельский ее ум, независимость мнений, характер, знала, что она единственный в мире человек, с которым Вельский во всем и до конца откровенен. Больше того — с годами Марья Львовна понемногу пришла к убеждению, что в их «умственном союзе», как любил называть их отношения князь, превосходство принадлежит ей. И все-таки и теперь она в обществе князя по-прежнему слегка терялась, по-прежнему испытывала тот самый толчок в грудь, который испытала впервые, когда в чьей-то гостиной ей представили: «Ипполит Степанович Вельский», и гладкий, слегка редеющий пробор мелькнул над ее рукой.

Князь говорил, что Фрей, по его мнению, вполне приличен и что пока не приедет наш друг (на слове «друг» князь сделал ударение, и Марья Львовна кивнула понимающе в трубку), пусть Фрей сидит с остальными гостями.— «Потом вы устроите так, чтобы нам троим было удобно — кто же устроит лучше вас. Ну, целую ручки, дорогая,— идите кушать, простите, что задержал. Да, кстати, я привезу сегодня того молодого человека... вы ничего не имеете против?»

Марья Львовна вдруг почувствовала новый тупой и сладкий толчок в грудь. (Ей показалось, что это от усталости.)

— Вы ничего не имеете против? — повторил князь, не получая ответа.

— Непременно привезите,— торопливо ответила Марья Львовна,— непременно — я буду ждать. Как его зовут? —

переспросила она и, отогнув висячий блокнот, записала: «Борис Николаевич Юрьев».

Теперь, когда Марье Львовне Палицыной было уже близко к пятидесяти, она почти с полным равнодушием думала о своей наружности. Но как плакала она когда-то по ночам, как кусала подушку! То, что она родилась наследницей всех палицынских богатств и старого, знатного имени, казалось ей тогда только лишней обидой, лишней насмешкой судьбы.— «К чему, к чему мне это, лучше бы я прачкой была»,— всхлипывала и сморкалась она в одиночестве пышной спальни, и обшитый валансьенами платочек вздрагивал, как пойманная бабочка, в ее красном, большом кулаке.

Но это было давно. В неуклюжем теле текла здоровая двадцатилетняя женская кровь, вальсы и полонезы сладко кружили бедную голову с модной прической, похожей на гофрированный конский хвост, и гладкие французские стихи вкрадчиво твердили о любви. Теперь Марья Львовна не плакала больше по ночам. Она читала Бергсона или Розанова или какую-нибудь политическую брошюру, потом тушила свет и тотчас же крепко засыпала. Иногда ей снилось, что произошла революция (о революции, как о чем-то неизбежном, часто говорилось в ее доме), а она не успела перевести денег в Англию. Это был только сон — деньги — и очень большие — в Англии на всякий случай давно лежали, но сон неприятный, вгонявший в сердцебиение и страх. Времена, когда Марья Львовна считала насмешкой судьбы доставшиеся ей миллионы, тоже давно прошли. Она давно по достоинству оценила все преимущества того, что она Палицына, очень богата, пользуется железным (тоже наследственным) здоровьем и что при всем этом Бог (в Бога, впрочем, она не верила) не дал ей сделать самой непоправимой глупости, которую она могла бы сделать — выйти замуж.

К пятидесяти годам ничто в Марье Львовне не напоминало той, двадцатилетней, «рыхлой дуры», как она сама о себе говорила. Та вздыхала над Альфредом де Виньи, эта интересовалась Эрфуртской программой. Та не находила себе места в мире от тоски и возвышенных чувств — эта свое место нашла и считала, что в сравнении с другими человеческими местами

оно не так уж дурно. Та, не задумываясь, дала бы сто тысяч, если бы кто-нибудь, особенно какой-нибудь униженный и оскорбленный, догадался их у нее попросить,— эта, как все пожилые, богатые люди, была искренно убеждена, что подать нищему рубль безнравственно, раз его можно пожертвовать на больницу, в которой этот нищий, может быть, когда-нибудь умрет. Кое-что от той Палицыной в этой все же осталось. Князю Вельскому, например, она не отказала бы и в миллионе. Впрочем, когда порой Марья Львовна размышляла о таких вещах — к приятному сознанию готовности принести какую угодно жертву для своего самого близкого, самого дорогого друга незаметно примешивалось другое, такое же приятное,— что князь сам богат и денег у нее не попросит.

Марья Львовна кончила обедать. Допив кофе и закурив папиросу, она подошла к окну и открыла одну из пестро застекленных створок. Створка эта никогда не заделывалась на зиму, нарочно для того, чтобы можно было вот так подышать воздухом после обеда. Марья Львовна кушала плотно и тонко, приправляя еду острыми заграничными соусами, выпивая стакан, а то и два, густого бургундского вина и чашку очень крепкого кофе, и после всего этого любила постоять на холоде, чтобы от лица отлила кровь. Простуды она не боялась.

Окно выходило в сад. Свет из столовой упал на кусты, сугробы, черную пасть бронзового тритона, широко раскрытую, словно глотающую холод и снег. Одно из чугунных садовых кресел со вчерашнего дня лежало перевернутым на снегу.— «Ничего не смотрит Андрей — упало, так и валяется, лень ему поднять,— с неудовольствием подумала Марья Львовна.— Надо будет ему сказать...»

Что́ надо будет сказать садовнику, она не успела подумать. Из окна вдруг повеяло на нее чем-то таким свежим, грустным и сладким, что дыханье замерло, и кресло, Андрей, выговор, который ему придется сделать, сразу пропали, точно их и не было никогда. Легкий гул, вроде гула телефонной проволоки, летел по ее телу, крови, коже и, с замершим дыханием, она слушала этот гул. Он был одновременно и блаженством и безнадежностью, он заполнял все. Потом в глазах потемнело, стало совсем душно. Князь Вельский в придворном мундире —

такой, как всего раз или два в жизни она его видела,— холодно улыбаясь, промелькнул сквозь это. Две звезды на его груди, ярко блеснув, исчезли.— «Так умирают от удара... так умер отец, так умру я»,— вспомнила Марья Львовна совсем без страха.

— Да, зажигай,— слабым голосом ответила она, открывая глаза и не сразу поняв, о чем говорит ей дворецкий. Тот спрашивал, не пора ли освещать парадные комнаты к приему гостей.

— Зажигай...— повторила Марья Львовна более уверенно.— Вот, полюбуйся, со вчерашнего дня как упало, так и лежит. Пришли ко мне завтра Андрея,— прибавила она уже своим обыкновенным, строгим голосом и пошла переодеваться.

XVI

Юрьев вошел в широкий, мрачный подъезд палицынского дома с тем чувством, с которым в детстве входил в развалины или спускался в подвал,— смесью страха и любопытства: дом этот внушал ему робость.

Он знал, что Палицына принадлежит к тому узкому слою высшей петербургской знати, к которому у Ванечки Савельева многие искренне причисляли его самого, но о котором на самом деле он ничего не знал, кроме двух-трех шапочных знакомств и доходивших через пятые руки перевранных сплетен.

В гостиных Ванечки Савельева Юрьев и сам себя чувствовал тем, чем его считали окружавшие, и не только от сознания превосходства своих манер, уменья носить костюм. На воображаемой карте петербургского общества, где все линии перекрещиваются, он, конечно, стоял ближе к Палицыной, ее отцу, знаменитому царедворцу, ее брату, другу покойного государя, чем хотя бы к мучным лабазам Ванечки. Юрьев не был кавалергардом, было очень мало шансов, что он женится на фрейлине и богачке, но, сложись обстоятельства иначе,— это могло бы и быть. Мысль же о том, что он, его отец или родственник мог торговать крупчаткой и получать от губернатора к празднику, как швейцар, медали,— была так же странна, неестественна, невозможна — как мысль, что он мог быть негром.

Большинство же людей, среди которых он вращался,— были в положении как раз обратном. Для изящного эстета Ванечки слова «генерал» или «князь» были полны первоначального, девственного блеска. При всем своем парижском воспитании, о том, что есть разные генералы и разные князья,— он еще не догадывался.

Если бы понятия Юрьева на этот счет были бы так же несложны — он бы, вероятно, отправляясь к Палицыной, не чувствовал никакой робости. В самом деле — он сам был сыном «штатского генерала» (как выражались у Ванечки), учился в Правоведении, был вот представлен к камер-юнкеру — чего же еще? Но к своему неудобству Юрьев знал не только, что генералы и князья бывают разные, он знал, что среди людей, казалось бы, вполне равных по имени, влиянию, близости ко двору, существуют оттенки и полутона почти неуловимые и как раз определяющие удельный вес каждого. Он знал, что чем выше подыматься по той общественной лестнице, у самого низа которой он стоял,— тем неуловимей эти оттенки, тем трудней они поддаются объяснению и тем большее значение имеют. Разница между ним и Вельским была проста, общепонятна, очевидна. Но почему тот же Вельский при всей своей «несомненности» был все-таки «не то», «ниже сортом», чем старуха Палицына, почему знакомство с ней было большой честью — объяснить Юрьев бы затруднился, хотя знал, что не ошибается.

Тут же обнаруживалась неопределенность, условность понятий о так называемом хорошем воспитании. Если бы он был одного круга с Палицыной и равными ей людьми — ему ничего не пришлось бы менять в своих манерах, уменьи пить чай, целовать руку или поддерживать разговор — он это знал. Но оттого, что он был неизмеримо ниже этих людей,— все его уменье рядом с ними пропадало, теряло цену, и любой из них, беря пальцами сахар или катая за столом хлебные шарики,— был и оставался изящней, безукоризненней, благовоспитанней его, Юрьева. Это тоже нельзя было объяснить, и тоже это было так.

Поправляясь перед огромным, мрачным трюмо, пока лакей ходил докладывать Вельскому о его приезде (так они позавчера

условились), Юрьев думал, что вычурные бра по бокам зеркала, вероятно, мельцеровские (нравилось же когда-то такое безобразие — все хвостики, амурчики!) и свечи в них потому так желты и мутны, что, должно быть, лет десять не менялись. Разглядывая бра и усмехаясь мельцеровскому рококо, он в то же время беспокойно соображал, как поступить, если швейцар ошибся и князя еще нет? Идти и представляться самому было, разумеется, невозможно, уезжать и опять возвращаться — тоже выходило глупо.

Однако лакей, появившись из-за красных драпировок (от желтого блеска старых лампочек лицо лакея было похоже на лицо покойника, да и все кругом выглядело как-то мертво), доложил, что «их светлость изволят ждать наверху», и Юрьев, последний раз проведя по волосам ладонью, стал с неожиданно забившимся сердцем подниматься по широкой лестнице, повторяя про себя, как следует поклониться Палицыной и что ей сказать.

Теперь со времени его приезда прошло уже около часу, и Юрьев, предоставленный самому себе, с усмешкой думал о своем недавнем волнении и с недоумением — о том, как непохоже то, что он видит, на то, что он себе представлял.

В доме Марьи Львовны в разные дни можно было встретить самых разных людей. За чайным столом, где вчера откровенничал, щурился и, произнося имя «Никки», скорбно пожимал плечами либеральный великий князь,— завтра сидел господин в очках, цитирующий Маркса или Плеханова и иногда, позабыв, где он, обращающийся к собеседнице: «товарищ», а послезавтра, там же, лепетала по-английски птица в скромном парижском тайере, залетевшая из того мира, которым Марья Львовна откровенно пренебрегала и звала камарильей, но с которым у нее оставались очень прочные, в любую минуту могущие быть приведенными в действие, связи, и, слушая птичью болтовню, Марья Львовна думала, что гостью пора как-нибудь выпроводить: сейчас должен был явиться один «мистический анархист» — человек очень умный, но производивший непрерывно сухой треск — он носил целлулоидовые манжеты.

Все эти разные люди, каждый по-разному, были приятны Марье Львовне; все они были ей одинаково безразличны. Как

всякий деятельный по природе человек, осужденный на праздность, она «убивала время» способом наиболее верным в ее положении: читала разные книги и встречалась с разными людьми. Кроме убиванья времени, в последнем она находила еще одно развлечение — старое, как мир, и безошибочное — отыскивать в других собственные слабости и (в зависимости от склада ума) посмеиваться над ними или осуждать их. В характере Марьи Львовны было мало желчи — она больше посмеивалась.

Общество, собиравшееся в палицынском особняке по пятницам, отчасти было синтезом этого пестрого и обширного знакомства. Но только отчасти. По пятницам гости приглашались по особому подбору. Подбор этот делал князь Вельский.

О пятницах этих не бывавшие на них говорили разное. Одни толковали об афинских ночах, другие о хлыстовских бдениях, третьи намекали, что есть вещи, за которые во время войны следует вешать, и что вещи эти не чужды иных великосветских гостиных. Как это часто бывает, самыми неопределенными сведениями о сути дела располагали как раз люди, стоявшие к нему ближе других, т. е. сами участники пятниц. Если у князя Вельского и была система, по которой он подбирал приглашенных, если в этом подборе и была какая-нибудь особая цель,— о ней можно было лишь строить неопределенные догадки. Ничего особенного на пятницах не происходило. Собирались разные люди, разговаривали и пили чай. Несколько странным могло показаться, что люди эти были как будто чересчур уж разные, да еще, что в их разговорах сквозило иногда не совсем обычное в стране, ведущей войну, отношение к этой войне как к злому, глупому и неправому делу.

Юрьеву было скучно. Он прохаживался по комнатам, рассматривал гостей, прислушивался к разговорам, и все одинаково ему не нравилось.

Старомодные люстры сотнями желтых свечей освещали штофные стены и китайские вазы по углам — может быть, и очень редкие, но на вид совершенно такие же, как в чайных магазинах. От этой вылинявшей роскоши веяло унынием и холодом (холодно было и в прямом смысле — особенно от окон заметно дуло). Гости были скучные, и все они выглядели

так же уныло и холодно, как комнаты, в которых они прогуливались и сидели. Некоторых Юрьев знал в лицо — это были люди с именем, связями и деньгами — но наметанным глазом он отлично видел, что все они из той породы, к которой не стоит и прислуживаться — все равно не попользуешься ничем. По его определению, все это были «крючки» или «масоны», что в переводе на обыкновенный язык обозначало людей черствых, уравновешенных, расчетливых, склонных к высоким материям и неизменно отказывающих, когда у них (как бы это грациозно ни делалось) просят в долг двадцать пять рублей. Вели они себя соответственно. В одной из унылых гостиных человек пятнадцать, собравшись кружком около какого-то хама в поддевке и высоких сапогах, внимательно слушали его болтовню о Книге Голубиной, Новом Иерусалиме и еще черт знает о чем. То, что люди с деньгами и именем не только не сторонились этого юродивого (и как он попал сюда — вот тебе и великосветский дом), но, напротив, глядя ему в рот, его слушают — подтверждало полностию мнение Юрьева, что все это скряги и крючки. В другой комнате сама Палицына вела общий разговор — это тоже был разговорчик! Когда Юрьева ей представили, она усадила его по соседству с собой, и пока не вышел счастливый случай уступить место какой-то даме, он чувствовал себя точно на уроке китайской грамоты. Хозяйка сыпала: «ревизионизм», «эмпиро-критицизм», «эксплоатация», гости приятно поддакивали: прибавочная стоимость.

И повсюду было приблизительно то же. Где кружком рассуждали о разных баобабах, где по двое, по трое шептались, должно быть, о том же, попивая чай, который на серебряных безобразных подносах разносили лакеи (лакеев было действительно много, точно на приеме в посольстве), вместе с пастилой, орехами, булочками, вообще разной дрянью. В довершение всего этого буфетчик в столовой так прямо и спрашивал — «какого изволите?», и, смотря по вкусу, разливал по желтым с гербами бокалам сухарный или клюквенный квас.

Юрьеву становилось все скучней. Он начинал злиться. Даже князь куда-то исчез. Юрьев рассчитывал уехать вместе с князем — это означало (он уже привык к этому) ужин у Донона, шампанское, сигары, сторублевку, а то и две, сунутые в жилетный карман с милой дружественностью дядюшки, балующего пле-

мянника, и теперь еще — возможность разговора, который все объяснит. Но князь исчез: от окон дуло, скука была адская, буфетчик спрашивал: «какого изволите», и от себя рекомендовал сухарный.— «И зачем князю понадобилось тащить меня сюда?» — с возрастающим раздражением думал Юрьев, беря от нечего делать с подноса тянучку.

Мысль, что князю это все-таки зачем-то понадобилось, ничего не объясняя, только усиливала нудность других таких же, на все лады уже передуманных мыслей, и Юрьев от нее отмахнулся.— «Но все-таки как глупо, что князь исчез. Впрочем, черт с ним — не сегодня, так завтра. Что же, удирать по-английски что ли? Подожду еще полчаса и марш,— решил он, заглядывая в длинную, плоскую, похожую на гроб витрину.— Неужели все настоящее,— со вспыхнувшей вдруг жадностью наклонился он ниже к стеклу, за которым на бархате лежали камеи, табакерки с бриллиантами, перстни, жемчужины, миниатюры, неоправленные драгоценные камни.— Неужели все?.. Тысяч на пятьдесят, если не больше. Надавить стекло, и...» — мелькнуло в голове тревожно и отчетливо, вместе с таким же тревожным и отчетливым сознанием, что сделать это немыслимо.

— Любуешься? — услышал Юрьев знакомый, сюсюкающий, протяжный голос и быстро обернулся, покраснев, точно пойманный в чем-то.

— Прелестные вещи, первоклассные... вот этот рубин принадлежал... а это...— подавая мягкую, точно без костей руку, шепелявил Снетков.— Какая встреча,— в политическом салоне! — улыбнулся он, внимательно оглядывая жакет Юрьева и переводя взгляд на его туфли.

XVII

Юрьев ошибался, думая, что Вельский уехал. Подведя Юрьева к Палицыной и представив ей «своего молодого друга» (при этих словах Палицына быстро подняла глаза на князя и какой-то свет промелькнул и погас в них), Вельский вспомнил, что надо позвонить по телефону, и вышел на лестницу. Сделав несколько шагов, он остановился, держась за перила: тоскливое, скользкое чувство пустоты вдруг его охватило. Он не раз испытывал это чувство в важные минуты жизни, но все-таки сила и неожиданность его поразила Вельского.— «Надо взять себя в

руки — так нельзя,— думал он, выливая на платок одеколон из карманного флакончика и медленно, с наслаждением проводя по лбу душистым, влажным батистом.— Так нельзя»,— внушал он себе, говоря по телефону со Штейером — (ничего нового не было, все было в порядке) и потом, ложась отдохнуть в рабочем кабинете Марьи Львовны и закрывая глаза.

Вельский лежал в неярко освещенной комнате, с закрытыми глазами. Коньяк с лимоном и льдом, который ему принесли, приятным, ласковым теплом расплывался по крови. Лежать на мягком, широком кресле было очень удобно. Тоскливое чувство пустоты ослабело, отступило, совсем исчезло. Собрав всю свою волю, Вельский старался не думать, и это ему удавалось. Из памяти постепенно пропадали вещи и люди, заботы и тайные мысли, то, что было десять лет назад, и то, что должно было произойти сегодня. Словно кто-то проводил по памяти, как губкой по грифельной доске: чем-то успокоительным и мягким, и все стиралось одно за другим. Губка медленно двигалась взад-вперед, черная зеркальная поверхность становилась все шире и чище... Потом из темноты проступило бледное, желанное лицо с серыми, немного наглыми глазами... Вельский слабо вздохнул во сне.

— Дорогой друг, мне так жалко вас будить,— сказала Палицына,— но уже одиннадцать, он должен сейчас приехать.

Юрьев не любил Снеткова, но, встретив его у Палицыной, очень обрадовался ему. Снетков хотя и был глуп, скуп, душился, как швейка, и в своих высоких воротничках выглядел настоящей устрицей,— все-таки он был своим человеком, с ним можно было поболтать на привычные темы, похвастаться перед ним запонками или портсигаром. В здешней унылой обстановке встреча со Снетковым была прямо находкой.

Сейчас же выяснилось, что Снетков бывает на пятницах давно и ему известны маленькие домашние секреты. Кроме кваса и пастилы, оказывалось, здесь в задних комнатах давали портвейн и даже коньяк.— «Для избранных,— пояснил в нос Снетков, сделав важную, глупую мину, и, действительно, через какие-то салоны и кабинетики привел Юрьева в просторную библиотеку, устланную коврами и уставленную мягкой «клуб-

ной» мебелью.— «Monsieur desire?»* — балаганя под метр д'отеля, расшаркался он у столика с рюмками, бутылками и блюдом поджаренных фисташек.

Еще по дороге в библиотеку Юрьеву пришла в голову понравившаяся ему мысль: Снетков был глуп, болтлив, любил поважничать. И он часто бывал у Палицыной, с Вельским был тоже давно знаком... Юрьев нарочно старался не думать о Вельском, обо всей путанице, которая его окружала,— чувствуя себя как перед отвесной стеной, на которую все равно не влезть. Но с помощью Снеткова на отвесной стене — как знать — могли отыскаться и ступеньки. Первая из них, пожалуй, была под ногами: политический салон,— сказал Снетков. Так это в политический салон ввел его зачем-то князь!..

Юрьев отпил липкого, жгучего шартрезу. Снетков рассказал, брызгая слюной, очередную придворную сплетню — «...et puis la colonelle, pique une crise de nerfs...»** (звать государыню «полковницей» только что вошло в моду — в шике блеснуть новинкой и заключалась суть дурацкого, неправдоподобного рассказа). Потом поболтали «о своем, о женском», как, хихикая, называл Снетков толки о картах и портных. Юрьев ждал, чтобы Снетков сам как-нибудь свернул на интересную ему тему, но тот все не сворачивал. Тогда, зевнув, Юрьев будто невзначай спросил: — «А ты тоже интересуешься политикой?»

Снетков удивленно прищурился: — «Тоже?»

— Ну да — ведь мы в политическом салоне?

— А, вот ты о чем,— засмеялся Снетков.— В той же степени, что и ты,— прибавил он двусмысленным тоном.

— В той же степени, что я?..

— Я хотел сказать, в той же области,— поправился Снетков и захохотал, точно сказав что-то крайне остроумное.

— Чему ты смеешься? — пожал плечами Юрьев.

— Дорогой,— возразил Снетков, хитро и сладко на него глядя.— Дорогой, нехорошо скрытничать с друзьями. Ты думаешь, я не слышал...— Он сделал паузу.— Думаешь, я не знаю, кто будет камер-юнкером в январе? — как-то выпалил он.

— Что ты мелешь, устрица,— рассердился Юрьев.— При чем тут мое камер-юнкерство? Что за чушь ты несешь!..

* Что вам угодно (*фр.*).

** А потом у полковницы наступил нервный криз (*фр.*).

В хитрых глазах Снеткова мелькнуло странное выражение:

— Не сердись,— вдруг быстро зашепелявил он, точно испугавшись чего-то.— Я пошутил, не сердись... Что ты... камер-юнкером... так я читал списки. Вольф тоже представлен — удивительная пролаза этот Вольф. Кстати, ты будешь поражен: его сестра...

— Он ничего не знает... какая была бы гаффа — князь бы мне не простил,— прочел бы Юрьев, если бы он умел читать мысли, то, что беспокойно проносилось в голове Снеткова, пока он, меняя разговор, болтал что-то наспех сочиненное о сестре Вольфа. Но мыслей Юрьев читать не умел. Он только почувствовал разочарование: глупая устрица оказалась еще глупей, чем он предполагал. Ничего она не знала, ничего рассказать не могла...

Разочарование ждало Юрьева и в парадных комнатах, когда он туда вернулся: Вельского по-прежнему нигде не было.

XVIII

Присутствие на вечере какого-то Фрея, голландского подданного, никого из посетителей пятниц не могло удивить. Иностранцы (разные мистики, пацифисты, проповедники слияния церквей и т. п.) бывали здесь часто. Фрея же вообще мало кто заметил. Приехал он поздно, когда собралось уже много народу, скромно посидел около хозяйки, скромно выпил чаю, скромно побродил по комнатам. Даже вынув сигару, он повертел ее в пальцах и, спрятав, закурил папиросу: сигар кругом никто не курил, сигара все-таки привлекала к себе внимание...

Вельский предупредил Фрея, что придется подождать, и Фрей ждал. С тех пор, как он сделался Фреем и голландским подданным, ожиданье стало для него чем-то вроде профессии. Ждать приходилось всюду: в Стокгольме, на границе, в номере Северной гостиницы, здесь, у Палицыной. Здесь ждать было даже не особенно скучно.

Побродив по комнатам, выпив чаю, выкурив папиросу, он так же скромно, не привлекая к себе ничьего внимания, сидел теперь в стороне, со спокойным любопытством заезжего туриста наблюдая за кружком, от которого недавно со скукой и недоумением отошел Юрьев. Несколько дам и пожилых господ

сановного вида слушали немолодого коренастого человека, который что-то им говорил, подпевая и временами даже приплясывая. То, что он говорил, очевидно, очень нравилось окружающим, судя по их внимательному виду, одобрительным кивкам и словам «charmant» и «delicieux» *, которые слышались, когда он на время читать и приплясывать переставал. Судя по внешности, человек, которого так внимательно слушали важные дамы и господа, был простым русским мужиком.

И поддевка, и косоворотка, и гребешок у пояса — все это было хорошо, еще с детства знакомо Фрею по таблицам в этнографических атласах, изображавших «великорусса». Сходство с картинкой из атласа усиливалось тем, что мужик этот — Фрей ясно видел — был подрумянен и напудрен, глаза его были подведены, волосы напомажены.— «Значит, есть такие именно мужики, как в атласах,— думал Фрей с некоторым удивлением: другие русские мужики, которых ему приходилось встречать, выглядели совсем иначе.— Или это артист, оттого он и нарумянен?..»

— ...Скоро, скоро, детушки, забьют фонтаны огненные, застрекочут птицы райские, вскроется купель слезная и правда Божья обнаружится,— читал нараспев мужик или артист, и Фрей, вслушиваясь в непонятную варварскую музыку витиеватой скороговорки, думал о том, какие странные глаза у чтеца. Они были маленькие, серые, почти бесцветные — выраженье их было одновременно хитрое и наивное, беспокойное и равнодушное. Человек с такими глазами, конечно, мог быть негодяем, но мог быть и подвижником, святым. Кто он на самом деле, нельзя было догадаться, и впечатление было такое (это и было удивительно), что и сам он об этом не догадывался.

— ...Русское, лживое, иррациональное...— вдруг вспомнился Фрею предостерегающий, тоскливый шепот Адама Адамовича, и ему почудилось, что не у одного нарумяненного мужика такой взгляд. Вот седоватый господин вынул портсигар и закурил. Вот немолодая, еще красивая дама в черном платье и жемчугах подняла лорнетку. Кто-то кашлянул; кто-то, наклонившись к соседу, что-то шепнул, и сосед в ответ улыбнулся. Все в этих людях было совершенно таким, как бывает всюду, в Бер-

* Очаровательно, восхитительно (*фр.*).

лине, в Лондоне, где угодно. Все в них, в их платье, манерах, улыбках, выраженьи лиц было изящно-обыкновенно, европейски нейтрально. И в то же время... Из-под седоватых бровей сановника, из-за стекол лорнета, который грациозно подняла дама, плыло (Фрею вдруг почудилось) то же самое, томительное, беспокойно-равнодушное, наивно-хитрое, русское, то самое, что светилось в глазах паясничающего, нарумяненного мужика, то самое, о чем с злобою и отвращением говорил Штейер...

Фрей вздрогнул.

— Слушаете? — улыбаясь, спрашивал Вельский, наклоняясь над ним.— Это наш известный поэт, большой талант, притом, как видите, самородок — un vrai paysan *. А я пришел показать вам здешние медали, ведь вы нумизмат?

В рабочем кабинете Марьи Львовны, где полчаса назад Вельский спал, было уже все готово. Горел камин; удобные кресла были подвинуты к огню, столик с вином, фруктами и сластями (очень много сластей, и вино тоже все сладкое и крепкое, мадера, малага, крымский ай-даниль) был тут же под рукой. Под рукой была и развернутая карта Европы. Перед образом, в углу, ярко светилась малиновая «архиерейская» лампадка — ее только что, нарочно, зажгли.

Когда князь с Фреем вошли — Марья Львовна молча кивнула им, не отходя от окна. Вельский потушил верхний свет и, усадив Фрея, тихо и наставительно что-то ему говорил. Марья Львовна, стоя у окна, всматривалась в черную точку в конце мутно освещенной улицы. Улица была совсем пуста, черная точка медленно приближалась. Она была еще очень далеко — ни извозчика, ни седока еще нельзя было рассмотреть, но Марья Львовна уже наверное знала, что это *тот самый* извозчик, *тот самый* седок... Она всматривалась и ждала. Вот, наконец, в свете фонаря мелькнула лысая морда лошади, вот сани, миновав главный подъезд, завернули к садовой калитке. Марья Львовна смотрела, немного скосив глаза, как из саней, не торопясь, выходил человек в шубе и боярской шапке, как навстречу ему бежал поджидавший его лакей, как лакей поспешно открывал калитку и низко, несколько раз поклонился. Марья Львовна смотрела на лакея, на лошадь, на боярскую

* Настоящий крестьянин (*фр.*).

шапку приехавшего, с необыкновенной ясностью понимая, что́ все они значат. И как это раньше не пришло ей в голову, раз все было так необыкновенно, так потрясающе ясно!

И лакей, и шапка, и лысая морда лошади значили одно — гибель России. И она, Палицына, должна в этой гибели участвовать из слепой, огромной и вполне безнадежной любви к человеку, тихий, отрывистый голос которого слышится сейчас за спиной...

— Приехал,— почти крикнула Марья Львовна и торопливо вышла.

Вельский, замолчав, встал. Лицо его сделалось каким-то торжественным. Встал и Фрей. Дверь отворилась. Придерживая ее, Марья Львовна почтительно пропустила перед собой приехавшего.

Фрей глядел с удивлением. В комнату входил мужик из атласа, в поддевке и сапогах, совсем как тот, которого он только что слушал. Этот был повыше ростом; рубашка на нем была ярко-голубая...

Мужик вошел не спеша. Не здороваясь, он долго, истово крестился на образ, потом, охнув, медленно, словно нехотя, обернулся. Медленно, словно нехотя, по его бородатому лицу расплылась улыбочка — грешная и детская. И Фрей с отвращением и холодком в сердце опять подумал: Россия!

ОТРЫВКИ ИЗ ВТОРОЙ ЧАСТИ РОМАНА

I

Вельский проснулся ровно в девять, как всегда. Как всегда, камердинер принес чай. Душистая вода так же дымилась в ванне, и на низком столике по-прежнему стояли розы. Вельский отдернул занавеску над ванной на уровне своей головы: за окном было обыкновенное небо, обыкновенная Фонтанка, обыкновенное петербургское утро. Но все это было только тенью. Тенью знакомых вещей, тенью когда-то сложившихся привычек, тенью прежней жизни. Просыпаясь, Вельский прежде всего вспоминал (равнодушно — за несколько недель он уже привык к этому), что все, или почти все, в его жизни — зачеркнуто, кончено и никогда не повторится.

От этого сознания все окружающее теперь казалось ему удивительным,— удивительным именно в своей обыкновенности. Все было как всегда. Лакей, услышав звонок, нес чай, и звонок звонил оттого, конечно, что пуговка, нажатая пальцем (тем же, что всегда, холеным, слегка подагрическим, с розоватым подпиленным ногтем, указательным пальцем правой руки светлейшего князя Ипполита Степановича Вельского),— кнопка эта что-то там замыкала, соединяла, и по проволоке бежала искра... Но все — и палец, и чай, и звонок, как во сне, были лишены реальной основы — звонок звонил, и лакей нес чай, но совершенно так же от прикосновения к звонку могла за-

играть музыка, или произойти взрыв, или вместо осторожно ступающего, старого, глупого, преданного камердинера мог въехать в комнату паровоз или вбежать та самая черная гончая, которая, удрав с привязи, унесла со стола приготовленное к завтраку масло, вместе с масленкой.

Это, то есть случай с маслом, было давно, очень давно — лет сорок тому назад, в Тверской губернии, летом.

В сущности, из всего окружающего это ощущение нереальности было достовернее всего — достовернее, во всяком случае, чем чай, палец или Фонтанка там, за окном. В сущности, недостоверно было все и всегда. Только раньше он не понимал этого, а теперь вот понял. Да, так было всегда, и сорок лет назад, и день, и год. Стеклянная масленка блестела в траве, начисто вылизанная жадным собачьим языком, Фрей приехал из Германии, Распутина убили, светлейший князь Вельский, свесив кривоватые ноги, держал простыню и думал о том, что все недостоверно, даже эти ноги, его ноги, голые, покрытые жидкой шерстью и капельками душистой воды, и все это, вместе взятое, было только видимостью, чепухой, тонкой пленкой, сквозь которую, все явственней с каждым днем, просвечивала бездушная, холодная пустота.

Пустота эта была нестрашной — напротив, она скорее успокаивала. Сознание, что все неважно и все одинаково, не имеет цены — смягчало остроту других мыслей, например, мысли о том, что Адам Адамович ушел из дому, неизвестно зачем и куда, ушел и больше не возвращался.

То, что Адам Адамович исчез, было чрезвычайно странно, обстановка его ухода была еще странней. Из опроса слуг выяснилось, что он очень долго, должно быть, до утра, сидел наверху, в кабинете,— свет там все время горел. В камине осталась груда пепла — Адам Адамыч жег какие-то бумаги. Какие, впрочем, Вельскому было совершенно ясно: тайник, где хранилось все, касающееся переговоров с Фреем, был пуст. Что же — сжечь было самое правильное, бумаги эти не годились больше ни на что, разве только чтобы послать светлейшего князя Вельского в крепость, попадись они в руки кому надо. Да, конечно, так и следовало,— сжечь. Но как решился на это Адам Адамович сам, по собственной воле — было непостижимо. И почему решился? Почему, уничтожив

бумаги, он на другой день с такой поспешностью, никого не предупредив, убежал из дому? Дворник из соседнего дома видел Адама Адамовича бежавшим в сторону Инженерного замка. Шапка у него была на боку, весь вид растерзанный и необыкновенный. Очень удивленный, он пошел узнать, что такое случилось в особняке князя,— налет? пожар? Но не было ни налета, ни пожара, все было спокойно; даже по телефону никто не звонил. И вышел Адам Адамович, должно быть, черным ходом — никто не видел, как он выходил.

Как всегда, Вельский, растираясь неторопливо мохнатой простыней, намыливая щеки или поливая голову золотистым, сильно пахнущим ромом лосьоном, обдумывал, взвешивал и припоминал разное, касающееся войны, политики, происшедших и происходящих в России событий: бунта или революции? (Вельский до сих пор затруднялся в выборе одного из этих определений. Переворот сделала Дума; во главе стояли цензовые либералы, профессора, общественные деятели, люди с крупными, известными даже в Европе именами; о революционной законности повторялось повсюду и на все лады,— все это было так; с другой стороны, от всего, вместе взятого, неуловимо попахивало Пугачевым), но, думая о положении на фронте или, с усмешкой, перебирая в памяти странные и противоречащие одно другому распоряжения нового демократического министра, он делал это почти механически, скорее следуя старой привычке обдумывать вот так, в одиночестве, со свежей головой, все, о чем не было времени подумать в течение занятого дня,— чем потому, что война, Дума или революция действительно его интересовали. Да, на фронте положение было грозное. Да, скорее все-таки бунт... И нам ли толковать о престиже в такой обстановке, с такими людьми!.. Все это, одно за другим, проносилось в голове князя Вельского, пока он расчесывал пробор, или тщательно, как всегда, повязывал галстук — и все это было одинаково неинтересно. Одинаковая холодная пустота, одинаковая скучная недостоверность просачивалась и сквозь это.

Зато к этим утренним мыслям теперь начало примешиваться что-то новое, и на это новое окружающее безразличие и пустота не распространялись. Сегодня князь Вельский с особенной

ясностью чувствовал присутствие этого нового «чего-то». Ощущение было по-прежнему безотчетным, по-прежнему нельзя было, даже приблизительно, сказать, в чем оно заключается — только одно было ясно — оно есть, оно существует, оно растет и именно в нем, смутном, новом, никак не определимом, заключается самое важное в жизни, самая суть ее.

Самое важное в жизни, самая суть ее (сегодня он с особенной остротой чувствовал это) была где-то тут, совсем близко, рядом. Надо было сделать только одно последнее усилие, может быть, совсем легкое, пустяшное,— чтобы поймать его. Оно было тут. Вельский закрывал глаза и чувствовал — как тепло или свет — его присутствие. Он ходил по комнатам, считая свои шаги, и ему казалось, что, досчитав до такого-то числа, он вдруг поймет все. Он всматривался в рисунок ковра, и где-то там, среди бесчисленных завитушек, ему мерещился сияющий волосок, тонкая шелковинка, запутанная в тысяче других, которая все объяснит, стоит только ее найти. И ночью ему снилось, что он смотрит на часы или открывает стол и вдруг понимает все.

Это началось недавно — Вельский знал, когда это началось. Сельтерская вода неожиданно, с размаху, плеснула ему в лицо колючим холодком, и Вельский закрыл глаза от неожиданности и позора. Вода еще стекала по его лицу за рубашку и на костюм, пузырьки газа, покалывая кожу и чуть уловимо потрескивая, еще лопались на его лице и шее,— когда он снова открыл их. Все было по-прежнему. Красные кресла отдельного кабинета стояли на своих местах, люстра под потолком сияла, из-за стены слышалась все та же глухая развеселая музыка. И рука, плеснувшая ему в лицо водой, еще держала пустой, нестерпимо сияющий стакан. Стакан, кисть руки и рукав пиджака, до локтя,— выделялись поразительно ясно — остальное было как в тумане.— «Прощайте, князь»,— сказал из тумана голос Юрьева, обыкновенный, нисколько не взволнованный голос.— «Прощайте!» — повторил за ним Вельский.

Да, «это» началось именно тогда. Было очень холодно, сани со свистом летели по пустым улицам, и Вельскому казалось, что это не мороз щиплет ему лицо, а проклятые пузырьки сельтерской все еще лопаются и трещат. Он вынимал платок и вытирал старательно лоб, щеки, шею и за воротником. Сани

мчались по льду, через Неву — Вельский велел кучеру ехать куда знает — берега казались черными и высокими, небо было все в звездах. Куранты с крепости жалобно заиграли вслед — сани выехали на Каменноостровский. Вельский опять вытер лицо, но ничего стереть было нельзя... Сани летели уже через какой-то новый мост, совсем черный, в сугробах.— «Вот тут, Ваша Светлость, как раз нашли Григория Ефимовича»,— сказал кучер и снял шапку.

. . . .
. . . .

Вечер был тихий и теплый, прохожих было немного. С первых же дней переворота центр Невского переместился. Чем ближе к Литейному, тем было оживленнее, уже у городской думы толпа заметно редела, здесь же, на еще недавно самом людном перекрестке, было совсем пустынно.

— У Снеткова, должно быть, уже все в сборе — одиннадцатый час, может быть, все-таки не ходить,— пронеслась, который раз за сегодняшний день, в голове Вельского все та же беспокойная мысль.— Может быть, все-таки?..— Он замедлил шаги и остановился в нерешительности у витрины издательства Главного штаба. Витрина была не освещена, только на край ее падал свет с улицы и была видна выставленная там учебная картинка. «Топор большой, возимый»,— прочел Вельский подпись.— «Топор малый, носимый». Тут же были изображены и самые топоры: возимый везла лошадь с такими глазами, как у черкешенок на иллюстрациях к Лермонтову; носимый, как ему и полагалось, нес молодцеватый сапер.

— Возимый, носимый — чепуха какая, канцелярщина,— подумал Вельский.— Может быть, все-таки не идти к Снеткову?.. То-по-р,— перечел он по складам, рассеянно-внимательно, как бы пробуя на вес каждую букву. Вдруг, на секунду, эти *т*, *о*, *п* и *р*, предназначенные, от века, вызывать своим сочетанием привычное представление о топоре, точно переключившись куда-то, дрогнули каким-то подспудным, глухим и угрожающим смыслом. Справа налево из тех же букв неожиданно составилось «ропот», и Вельскому вдруг почудились фигуры каких-то бородатых людей, блеск железа и гул голосов.— «„Идут мужики и несут топоры“,— вспомнил он.— Кто это там пророчествовал? — вот, сбывается...»

— Да, не ходить было бы благоразумнее. И чего я, в сущности, там не видал? Неудобно, Снетков ждет, да и развлечение все-таки... Посмотрим — так ли он действительно хорош — Снетков без ума, ну, да ему одной формы достаточно. И в самом деле, какая удивительная форма — всякий в ней красив. Марья Львовна и то была бы ничего,— Вельский улыбнулся, представив себе Палицыну в матросской куртке и бескозырке с ленточками.

Он свернул на площадь. Автомобиль с красным флажком, обогнав его, на сумасшедшем ходу промчался на Миллионную, хрипло протрубив какой-то метнувшейся в его огнях фигуре. Черная громада дворца, почти нигде не освещенная, казалась торжественней и выше, чем днем.— «В пышности русского двора есть что-то бутафорское»,— вспомнил Вельский слова одного иностранца, знавшего толк и в пышности, и в дворах.— «Что ж, пожалуй — потому так и поползло все сразу... Бутафорская мощь, бутафорская власть... Государь подписал отречение, точно ресторанный счет, и просится в Крым, разводить розы. Несчастный государь!..— Вельский вздохнул.— Да, бутафория. Этот матрос, который будет у Снеткова, мне важней и интересней, чем судьба России,— вдруг подумал он.— Ведь так? Важнее России матрос?»

Мысль об этом мелькнула отчетливо, мгновенно и неожиданно, и Вельскому показалось, что яркий мертвенный свет мгновенно и неожиданно осветил все кругом. Ему стало отвратительно и страшно.

Свет, как магний, вспыхнул и погас, и все так же мгновенно смешалось. Сердце быстро и тревожно стучало, голова кружилась, и уже ничего нельзя было понять: слева направо читалось «топор», справа налево читалось «ропот», слева направо была Россия, справа налево был матрос. Леденящий страх смерти покрывал все.

Потом, как на экране, проступило бледное желанное лицо с серыми, немного наглыми, глазами, и все, матрос, Россия, государь, разводящий розы, побледнело, отошло на задний план, растворилось в чувстве полной безнадежности, прохладной, похожей на лунный свет, скорее приятной. Бледное желанное лицо с серыми глазами глядело на Вельского, улыбалось

ему — и, как фон у портрета, прохладный лунный фон — вырисовывалась за ним тщетность всего — жизни и желаний, разочарований и надежд. И тут же, совсем близко, физически ощутимо, веяло главное, самое важное в жизни, самая суть ее... Вельский стоял на мосту, глядя на черную воду — сейчас он все поймет, все поймет! Собственно, он уже понял, только ему страшно признаться в этом, сладко и страшно, как перед тем, как броситься в воду с высоты,— вот в такую воду, с такой высоты. Может быть, в самом деле, броситься сейчас, зажмурившись, в эту черную воду — может быть, это и есть то последнее движение, которое надо сделать?

— Если, действительно, я...— начало складываться в уме что-то, чего Вельский, сделав над собой усилие, не додумал.— Тра-ла-ла-ла,— забарабанил он пальцами по перилам моста, повторяя вслух первое попавшееся, чтобы прогнать, не дать сложиться какому-то невероятному, немыслимому слову.— Тра-ла-ла-ла,— барабанил он.— Ла донна мобиле. Тигр и Евфрат. Тигр и Евфрат. Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, на утренней заре я видел Нереиду...

Нереида улыбнулась ему и плеснула чешуйчатым хвостом — по воде пошли круги. Вельский внимательно глядел, как они ширились, поблескивали, исчезали. Это было приятно и успокоительно.— «Леший, держи концы!» — успокоительно крикнул из темноты ленивый голос. Под мостом прошел буксир, зеленый фонарь успокоительно качнулся на его корме.

Бросив потухшую папиросу, Вельский пошел дальше. «Неврастения»,— думал он.

Квартира Снеткова была в третьем этаже. Раздевшись, по петербургскому обычаю, в швейцарской, гости поднимались по устланной красным ковром лестнице — лифта не было, дом был очень старый. Снимая с Вельского пальто, беря его шляпу и котелок, швейцар, признавший в нем по вещам и виду «настоящего» барина (в лицо Вельского он не знал),— сказал как-то таинственно: — «Без номерка будет, я к себе уберу, как бы не обменили»,— и Вельский, уже начав подниматься наверх, вдруг покраснел, поняв смысл сказанного швейцаром. Очевидно, общество, куда он шел, было такое, где могли обменять пальто или вытащить бумажник; очевидно, такие

случаи уже бывали, и швейцар говорил по опыту. Знал он, вероятно, и то, зачем в такое общество ходят солидные, хорошо одетые люди, вроде него, Вельского, и, зная это, должно быть, теперь смотрел ему вслед с равнодушным мужицким осуждением. Конечно, что бы ни думал швейцар, никакого значения не имело, и все-таки Вельскому стало немного не по себе: так или иначе, во всем этом была грязь, так или иначе, подымаясь сейчас к Снеткову, к этой грязи становился причастен и он.

Вельский впервые шел к Снеткову на вот такую вечеринку. Вечеринки эти начались давно, еще до войны, и, разумеется, Вельский знал во всех подробностях то, что на них происходит, как знал и многих завсегдатаев их. Он с интересом выслушивал на другой день отчет об этих собраниях, улыбаясь забавным или циническим подробностям, давая советы устроить то-то, пригласить того-то,— болтая обо всем этом в интимном кругу людей одинаковых с ним вкусов. Но идти самому? Правда, Снетков показал себя отличным организатором — ни разу за время существования вечеринок не было ни сериозного скандала, ни шантажа или чего-нибудь подобного; правда, иные люди того же круга и возраста, что Вельский, на вечеринках этих бывали, и это им вполне благополучно сходило с рук, но Вельский был всегда слишком осторожен, слишком дорожил своим покоем и репутацией, чтобы до революции позволить себе риск, пусть не особенно вероятный, но все-таки возможный, огласки того обстоятельства, что он, светлейший князь Вельский, посещает запросто сборища петербургских педерастов.

Кроме этих соображений осторожности, Вельского останавливало и другое. Он, например, не был уверен в том, найдет ли он, оказавшись в большом разношерстном обществе (у Снеткова собиралось человек по пятьдесят, по шестьдесят), обществе людей, объединенных только по одному специфическому признаку,— правильную манеру держаться. И он несколько терялся при мысли, что вот он окажется вдруг в разношерстной незнакомой ему толпе, отличающейся при этом от всякой другой толпы тем, что каждый в этой толпе, благодаря одному его, Вельского, присутствию в ней, заранее знает о его самом интимном, самом тщательно оберегаемом и, зная это, имеет на него, на его душу, на самое интимное,

самое тщательно оберегаемое в ней, какие-то права, похожие на права родства или дружбы.

В последнем была (в теории) большая доля приятного. Было волнующее представление о простоте, братской близости людей, считающих, так же как он, прекрасным и естественным то, что другим — огромному враждебному большинству — кажется отталкивающим и позорным; волнующее представление о свободе, хоть на несколько часов быть тем, что он есть, не притворяться и не играть роль; наконец, надежда на встречу, та надежда на ослепительную блаженную встречу, которая заложена Богом в душу каждого и которая — одинаково несбыточная для всех — в представлении слепого, или каторжника, или педераста, возрастает во столько раз в своей невозможности, во сколько их одиночество в мире страшней и шире одиночества обыкновенных людей.

Вельский, конечно, знал, что нигде действительность не расходится с воображением так резко, как в этой области. Конечно, эти его «братья по духу» и на вечеринках у Снеткова, и всюду были тем, чем они были... Смешливые, сюсюкающие, чувствительные, все как один скаредно-расчетливые, все как один поверхностно одаренные к искусству (особенно к музыке), не способные ни на что серьезное, но мелко, по-бабьи, восприимчивые ко всему, как на подбор глупые, как на подбор очень хитрые, робкие (и с налетом подловатости), под преувеличенной, приторной вежливостью скрывающие необыкновенно развитой, жестокий, ледяной эгоизм — «полулюди» или «четверть-люди»,— все они, за редкими исключениями, были одинаковы.

Вельский вообще не любил людей, не верил людям и презирал их, но ясно видел, что, если сравнивать, то люди просто, толпа, человеческая пыль, все-таки выиграют в сравнении с этими (сверху донесся визг, похожий на женский, дверь хлопнула), которые там, в квартире Снеткова, хлопают дверями и визжат. И в то же время... И в то же время между ним, князем Вельским, и этими людьми существовала кровная связь. Кровная, нерасторжимая, неодолимая — и связь эта (Вельский ясно видел) шла гораздо глубже и дальше того обстоятельства, что и ему, как им, встреченный на улице матрос или кавалер-

гардский солдат внушает те же чувства, которые обыкновенному человеку внушает встреча с хорошенькой женщиной. Ах, нет! Гораздо глубже шла эта связь, и там, в глубине, куда она уводила (Вельский твердо знал это), в глубине, где уже не было ни кавалергардских солдат, ни женщин, ни разницы между ними,— оставалась, как была, разница между всем миром и этими людьми, между всем миром и князем Вельским, блистательным, щедрым, умным, великодушным, совсем, казалось бы, непохожим на них, и все-таки в чем-то, неопределимом словами, но самом важном — единственно важном — таком же, как они, жалкие и смешные, чувствительные и бессердечные, пустоголовые, скупые, напудренные, сюсюкающие — полулюди или четверть-люди...

Сверху донесся визг, похожий на женский. Дверь хлопнула, скрипучая музыка заиграла тустеп. Вельский вдруг почувствовал слабость, стыд, неуверенное счастье — желание убежать и одновременно желание смешаться с толпой этих людей (пустоголовых, смешных и таких же, как он, таких же, как он), которые там, в квартире Снеткова, танцуют под граммофон, пристают к солдатам, паясничают и визжат. Он стал быстро подыматься по лестнице, испытывая необыкновенное удовольствие от легкости своей походки, своей элегантности, свежести своего шелкового белья и ловкости костюма, от сознания, что он еще не стар и выкупан в душистой ванне, что там, куда он сейчас войдет, его ждут как желанного, дорогого гостя.— «Как Китти на бал,— мельком подумал он.— Как правильно Толстой подметил все, как удивительно верно!»

Дверь сейчас же распахнулась, яркий свет, музыка, толчея — оглушили Вельского.— «Князенька»,— тонко, как комар, запищал Снетков, бросаясь к нему навстречу. Снетков был в расшитом блестками платье, в парике и с подкладным бюстом. Кто-то бросил Вельскому в лицо горсть конфетти, кто-то сунул бокал и, наливая шампанское, облил и обшлаг и руку. Дыша на него вином и шепча с налету какую-то чепуху, Снетков поволок Вельского через толпу в угол около рояля, где на тахте, окруженный со всех сторон, сидел уже полупьяный, но не потерявший еще смущенного вида молодой матрос, «гвоздь вечера», действительно, очень красивый, а за роялем известный поэт, подыгрывая сам себе, пел:

Меж женщиной и молодым мужчиной
Я разницы большой не нахожу —
Все только мелочи, все только мелочи...—

картавя, пришепетывая и взглядывая после каждой фразы с какой-то наставительной нежностью в голубые, немного чухонские глаза матроса.

II

Адам Адамович свернул с набережной Екатерининского канала и медленно побрел по темному и пустому Демидову переулку.

Ему было холодно. Ноги ныли от долгой ходьбы. Подтаявшая за день грязь (теперь ее некому было убирать) замерзла, и калоши скользили,— несколько раз Адам Адамович спотыкался.

Он ушел из дому еще днем — и вот, теперь который был час? Адам Адамович стянул с руки вязаную перчатку и, оглянувшись, точно делал что-то запретное, достал часы.

Было четверть первого. Значит, уже восемь или девять часов он бродил так по городу? Да, значит... Но хотя это было совершенно ясно, правильно, точно — в то же время эта правильная и простая мысль никак не укладывалась в его голове и, собственно, при всей своей правильности, не значила ровно ничего.

Да,— тогда был день, а теперь была ночь. Теперь было четверть первого. Часы Адама Адамовича отставали на три минуты. Следовательно, было восемнадцать минут первого... Да, действительно, он ходил по городу все это время. Только всё — часы, город, день и ночь — стали вдруг какими-то отвлеченными, механическими понятиями, какими-то номерками, по привычке выскакивающими еще в памяти, но не значащими уже ровно ничего.

Восемь или девять часов? В сознании эти слова обозначали кусок времени, равный другому такому же куску времени,— половине любого дня его жизни. Какая чепуха! Адам Адамович тихо рассмеялся. Половина обыкновенного дня — с перепиской бумаг, докладом князю, обедом, трубкой, которую он, Адам Адамович, курил у окна перед тем, как лечь спать.

Какая чепуха! А город? Что же? Или то страшное, ледяное, враждебное, где он пробродил без цели эти несколько часов, то страшное, ледяное, враждебное, что его кружило и несло, как океан кружит и уносит щепку,— что же — или это был тот самый Петербург, на сады и крыши которого, куря свою трубку, он смотрел в окно по вечерам?

...Калитка была открыта, никто ее не сторожил. Не рассуждая, еще не веря своей удаче, Адам Адамович быстро пошел в сторону Невского. Бежать было опасно, но все-таки, отойдя от дома шагов пятьдесят — он побежал. Вечернее солнце блеснуло ему в лицо сквозь ветки Летнего сада, и он, на бегу, глотнул этот свет, как воду — ртом. Перебежав мост, он остановился. Все было в порядке, никто его не преследовал. Тогда, поправив шапку, съехавшую на затылок, и стараясь так дышать, чтобы успокоилось мучительное сердцебиение, он свернул под деревья у Инженерного замка.

На Невском слышалась Марсельеза, мелькали флаги, с грузовиков разбрасывались какие-то летучки, и лица людей сияли одинаковой, бессмысленной, делавшей их похожими одно на другое, радостью. Дойдя до Невского и смешавшись с этой густой, возбужденной, поющей Марсельезу толпой, Адам Адамович понял, что здесь никто его не найдет, да и не будет искать, и почувствовав, что спасся от опасности, которая только что ему угрожала, он тут же понял, что все-таки, все равно, окончательно — он погиб.

Адам Адамович всю ночь работал — разбирал бумаги и жег их, и, когда пришли с обыском, спал. Топот солдатских ног в швейцарской и чужие грубые голоса, приказывавшие кому-то не выходить и кого-то куда-то вести,— разбудили его. Сквозь блаженное желание не просыпаться, не менять удобной позы, не отрывать от валика дивана сладко разогревшиеся щеки вдруг мелькнуло сознание смертельной опасности — не для себя (о себе он не успел подумать) — для дела, для пачки бумаг, которые он не сжег, которых нельзя было сжечь, бумаг, где было все самое важное, относившееся к переговорам о сепаратном мире, оборвавшимся после убийства Распутина и недавно опять, с каторжным трудом, с постоянной опасностью провала, ареста, виселицы начинавшим понемногу налаживаться,— небольшой пачки, которая, наспех завернутая в кусок

газеты, лежала сейчас в боковом кармане его пальто. Адам Адамович, снова оглянувшись, пощупал карман.

Надевая пальто и галоши, заворачивая документы и пряча их, взвешивая подробности мгновенно сложившегося плана, как скрыться от пришедших за ним солдат, Адам Адамович еще помнил обрывки чего-то, что только что ему снилось. И, спускаясь осторожно по черной лестнице, пробираясь вдоль стены к калитке, и дальше, на бегу, сквозь одышку, сердцебиение и мысль, что вот сейчас, сейчас его схватят, он еще помнил ощущение удивительной новизны, необыкновенного второго смысла, заключающегося в каком-то уже исчезнувшем из памяти слове, и еще безотчетно удивлялся гениальной простоте этого открытия...

В конце улицы блеснул свет, донесся какой-то шум, Адам Адамович прислушался. Сквозь людские голоса слышалась хриплая музыка: граммофон играл «китаяночку». Адам Адамович подошел ближе; над стеклянной дверью висел желтый фонарь, освещая грубо намалеванное блюдо с пирожками, и надписью: «Закуски разные». Это была ночная чайная.

Чай отдавал тряпкой, мелко наколотый сахар был серого цвета. Но все это было неважно. Даже, напротив, скорее это было приятно. И все окружающее скорее было приятно Адаму Адамовичу.

Чайная была полна простонародья, извозчиков, солдат, поденщиков с Сенной. Больше всего было солдат. Дверь на блоке поминутно открывалась, и входили все новые люди. От табаку, дыхания, пара, от начищенной медной кипятилки в воздухе стоял жирный туман, напоминавший баню, и, как в бане, было тепло, очень тепло, размаривающе тепло.

Адам Адамович сидел за длинным столом, в самом углу. Когда он сюда пришел, там уже пили чай два солидных, пожилых, неразговорчивых извозчика. Вскоре к ним подсел третий, помоложе, рябой.

— Со своим, со своим, милый,— тонким голосом пояснил он половому, и Адам Адамович с любопытством стал наблюдать, с чем это со своим будет извозчик пить чай. Оказалось, гость пришел со своим хлебом. Тогда внимание Адама Адамовича занял портрет царицы, вынутый из рамы (рама с короной

осталась висеть на стене) и прислоненный к стене, должно быть, для потехи. Сквозь наполнявший чайную мутный пар лицо царицы рисовалось не ясно, и только огромные черные глаза глядели в упор, как живые. Адам Адамович долго с недоумением всматривался в портрет, не понимая, почему так огромны эти глаза и почему же они черные? Кто-то, проходя мимо, качнул искусственную пальму, стоявшую рядом: яркий свет упал на лицо, и тогда Адам Адамович понял, что это не глаза, а две круглые штыковые дыры. Какой-то мучительный холодок пробежал по телу Адама Адамовича, какое-то воспоминание или предчувствие, и он быстро отвернулся от этих глаз-дыр. Но сейчас же, едва он отвернулся, смутное мучительное ощущение растворилось без остатка в чувстве покоя и тепла. Тут Адам Адамович заметил золотой цветочек.

В первое мгновение он показался Адаму Адамовичу простой завитушкой на дне чашки, грубой завитушкой, уже наполовину смытой бесчисленными порциями крутого кипятку. Но сейчас же он понял, что это первое впечатление было ошибкой.

Золотой цветочек был чудом. Он был живой, он дышал. То распускаясь, то свертываясь, он сиял таинственным, прекрасным и жалобным светом. Разумеется, он был чудом. И то, что он был тут, перед глазами, было невероятно и в то же время ошеломляюще, гениально просто.— «Я уже знаю это... Откуда? Ну, да, во сне, когда они пришли...» — смутно и радостно вспомнилось Адаму Адамовичу. Вместе с обрывками сна, переплетаясь с ними, промелькнули голоса в швейцарской, топот сапог и разогретый шелк дивана, от которого так не хотелось отрывать щеки.— «Значит, правда, все правда» — так же радостно и смутно отозвалось где-то далеко, на самом дне.

Золотой цветочек, сияя прекрасным и жалобным светом, плыл над тихим морем и островами. Над самым большим островом он остановился. Очертания острова напоминали «Апеннинский сапог», только он был у́же и на каблуке вилась тонкая, вычурная шпора.— «Боеспособность итальянской армии, вообще невысокая, к концу истекшего года...» Это было из докладной записки Фрея, которую он ночью жег; все сгорело, кроме этого отрывка, и Адам Адамович подтолкнул его кочергой...

А остров был розоватого цвета, отличаясь этим от остальных — пепельных и желтоватых. Это от борща — догадался Адам Адамович, еще ниже наклоняясь над скатертью. Ему вдруг очень захотелось сейчас же спросить себе борща — горячего, жирного, розового... Но золотой цветочек неожиданно рванулся с места, и Адам Адамович за ним. «Это тебе не вакса»,— донеслось им вдогонку откуда-то с самого дна.

— Это тебе не вакса! — сказал Егоров и окинул соседей веселыми, немного выкаченными глазами, ища поддержки разговору.

Егоров, молодой солдат из подмастерьев, всего неделю назад пригнанный из Липецка на Фонтанку в проходные казармы, целый день шлялся по улицам, был возбужден, весел и радостно озабочен. Он сильно промерз на холоду, сильно проголодался, и, придя в чайную, первое время только отогревался и ел, но теперь, закусив и согревшись, испытывал сильное желание поговорить с кем-нибудь по душам, завести дружбу, обсудить происходящие необыкновенные дела, и еще — этого ему хотелось больше всего, хотя этого он стыдился,— узнать, где тут имеются хорошие девочки.

Егоров был не прочь и угостить серьезного человека, если такой подвернется. Он был при деньгах. Нерушимая двадцатипятирублевка, хранившаяся до сегодняшнего дня в ладанке на груди,— сегодня была разменена. Двадцатипятирублевку эту Егоров берег, чтобы иметь деньги, когда попадет в плен. Но теперь было и дураку ясно, что ни воевать, ни сдаваться в плен не придется: царю дали по шапке и война была кончена.

Попасть в плен Егоров твердо решил с той самой минуты, как его забрили. Серьезные люди в Липецке уже давно поговаривали, что хотя в плену, конечно, тоже не сладко, но все-таки лучше сидеть в плену, чем кормить вшей на позициях, ожидая, пока тебя убьют.— «Тебе, малый, особенный расчет,— объяснял Иван Иванович, хозяин сапожной мастерской, где Егоров работал.— Только объявись, что сапожник — моментально тебе облегчение выйдет. И немцы тоже люди,— пояснял он, вертя, как фокусник, шилом.— И у немцев подметки снашиваются».

— Это тебе не вакса,— повторил Егоров, вызывая соседей на разговор. Но соседи в разговор не вступали. Извозчики пили

чай. Адам Адамович сидел, не шевелясь, закрыв глаза и втянув голову в узкие плечи. «Чухна,— решил Егоров, осмотрев его с головы до ног.— Финн или еще карел,— по штиблетам видать,— штиблеты, не иначе, выборгские».

Егоров зевнул. Ни с чухной, ни с извозчиками разговору было не завести; так сидеть было скучно. Зевнув еще раз и прищелкнув пальцами катыш хлеба, так, что тот, пролетев всю чайную, как пуля, ударил в зеркало и распластался на нем, Егоров собрался уже встать и перейти в другой угол, где какой-то флотский громко рассуждал о политике, когда к столу подошла и села, как раз напротив, какая-то интересная барышня. Полушалок на ней был весь в снегу,— барышня сняла полушалок, стряхнула снег и оказалась рыженькой — рыженькие Егорову всегда нравились. Потом рыженькая барышня вынула из сумки платок и, посмотрев в зеркальце, вытерла лицо. Лицо было чистое, городское, именно такие лица Егоров любил. Вытерев лицо, она подняла глаза от зеркальца, поглядела на Егорова внимательно и слегка усмехнулась. И глаза были именно такие, как надо,— спокойные, серые, чуть-чуть с празеленью, как стоячая вода. Половой принес заказанный барышней чай. Отпив, она снова подняла глаза на Егорова и усмехнулась снова. Егоров тоже усмехнулся, сам не зная чему, и с досадой почувствовал, что, как дурак, краснеет. «Беда с этими спичками — опять забыла»,— вполголоса, ни к кому не обращаясь, сказала барышня, вынимая шикарные, пажеские папиросы и надламывая длинный мундштук как раз посередине.

— Это Рейн,— понял Адам Адамович и засмеялся от счастья. Собрав все силы, он ударил руками, как крыльями, по воздуху, плотному, сияющему и голубому. Чашка опрокинулась, блюдце со звоном покатилось на пол.

— Бей мельче, собирать легче,— весело, скороговоркой крикнул в его сторону Егоров. Адам Адамович огляделся с недоумением. В чайной все было по-прежнему. Только портрет царицы был теперь совсем близко, рядом, за тем же столом. Две круглых штыковых дыры на его бледном лице светились теперь серо-зеленым светом и совсем не казались страшными. Молодой солдат, крикнувший только что «бей мельче», перегнувшись через стол, любезничал с ним.

— Так-с. Так и запишем,— говорил Егоров, улыбаясь и блестя зубами.— Ваша воля — наша доля. Но в котором случае, позвольте спросить — а тюльпан чем же не хорош?

И портрет отвечал:

— Не пахнет.

Совсем очнувшись, Адам Адамович подозвал полового и спросил, есть ли у них что-нибудь горячее. Горячее было: рубец и яичница из обрезков. Заказав яичницу, Адам Адамович внимательно оглядел женщину, которая, со сна, показалась ему портретом царицы. Женщина была совсем молода, миловидна, рот у нее был очень красный и слегка припухший. Заметив, что Адам Адамович смотрит на нее, женщина тоже на него поглядела — сперва мельком, потом, скользнув по его каракулевому воротнику и часовой цепочке,— пристально и многозначительно. Неожиданно Адам Адамович представил, какое должно быть у этой женщины твердое тело и какая белая, горячая кожа. Разумеется, она была проституткой, разумеется, не было ничего легче, если бы он захотел, пойти сейчас с ней. Да, это было просто и легко. Да, наверное, у нее была белая, горячая кожа и тело твердое и гладкое. Сам удивляясь своему спокойствию, Адам Адамович слегка улыбнулся женщине и показал глазами на дверь. Она поняла и встала. Любезничавший с ней солдат хотел удержать ее за рукав, но она выдернула руку и, покачав головой, пошла к двери. Адам Адамович расплатился. Прежде одна мысль об «этом» заливала ему душу сладким, тягучим, непреодолимым ужасом, и вот он расплачивался, повязывал шарф, надевал шубу и был совершенно спокоен. Прежде... впрочем, то, что было прежде, теперь и не касалось его: жалкие, мертвые остатки прежнего плыли теперь где-то далеко, по волнам тихого моря, мимо сияющих островов...

Женщина ждала его на улице. Адам Адамович нерешительно подошел к ней, не зная, с чего начать разговор. Но разговора и не пришлось начинать. Она сама тронула его за рукав и просто сказала: «За угол, вот сюда. Я с подругой живу».

Они пошли молча. Потеплело, ветер дул в лицо, подряд два раза стукнули где-то выстрелы. Женщина, держа под руку

Адама Адамовича, шла, тесно, должно быть, по привычке, прижимаясь к нему, и это Адаму Адамовичу было очень приятно. На ходу она немного переваливалась и бедром толкала Адама Адамовича — это тоже было приятно. Заметив, что идет не в ногу, он ногу переменил, слегка подпрыгнув на ходу, и женщина, откинув набок голову, посмотрела на него и улыбнулась. Как раз они проходили мимо фонаря — свет упал ей прямо в лицо,— и лицо ее показалось Адаму Адамовичу белым, как бумага, печальным и детским. Не останавливаясь и не замедляя шага, он притянул к себе это детское печальное лицо и быстро, жадно поцеловал.

Губы пахли снегом и ванилью. Голова Адама Адамовича вдруг блаженно помутнела. Ветер, налетев сильнее, закрутил сухими снежинками вокруг его помутневшей головы.

— Тебе не холодно, чертенок? — не отнимая губ, сказала женщина нежно.

Сквозь штору просвечивало утро. Женщина рядом сонно дышала, отвернувшись к стене. Комната, должно быть, выходила на двор — кругом было удивительно тихо.

Наступало утро — возвращалась реальная жизнь. Она оборвалась вчера, когда пришли с обыском, и вот — с синеватым утренним светом — она возвращалась. Хотелось курить; натертая нога немного ныла; бумаги, которых нельзя было сжечь и которые некому было передать, лежали вот тут, в кармане пиджака, на стуле, вместе с деньгами. Денег было около ста рублей — десять надо было оставить Маше.

То, что женщину, лежавшую рядом, зовут Маша,— было еще «оттуда», из вчерашнего — и за этим именем «Маша» тянулось еще в синеватом свете наступающего дня что-то страшное, жалобное, сладкое... Но это было вчера — теперь с этим было кончено. И о женщине, лежавшей рядом, Адам Адамович думал именно так, как теперь следовало думать: лучше уйти, пока проститутка не проснулась; десять рублей за проведенную с ней ночь можно положить на видное место — ну, на ночной столик.

Надо было вставать и уходить. Адам Адамович осторожно взялся за платье. Половица скрипнула, когда он ступил на ковер, и он обернулся испуганно, но женщина спала по-прежнему тихо, сонно дыша. Лицо ее на серой наволочке казалось

по-прежнему бледным и детским, и что-то шевельнулось в душе Адама Адамовича, что-то жалобное и нежное, при взгляде на это сонное, бледное лицо. «Маша»,— произнес он беззвучно, одними губами, стоя босыми ногами на коврике и глядя на нее. «Маша»,— повторил он беззвучно еще раз, и ему вдруг почудилось, что если сказать громко, разбудить ее, то, может быть, может быть...

Вчерашнее — страшное, жалобное, сладкое, вырвавшись откуда-то, залило на мгновение все — комнату, кровать, душу. Носки, которые Адам Адамович держал, упали на пол из его разжавшихся пальцев. «Маша». Что же, может быть, сказать «Маша»? Может быть, сказать громко, так, чтобы она проснулась?..

Это длилось только одну минуту, может быть, одну секунду. Это была последняя тень вчерашнего, сейчас же растаявшая без следа. Реальная жизнь вернулась. Адам Адамович поднял с пола носки и, осторожно, стараясь не шуметь, стал одеваться.

Флотский, ораторствовавший о политике в другом углу чайной, оказался человеком компанейским; компанейскими ребятами были и его слушатели: в чайниках у них был спирт, оттого они так и шумели. Спирт, оказывается, отпускали тут же в чайной — разумеется, надежным людям и по случаю бескровной революции. Выпив полчашки угощенья и узнав, что можно достать еще, Егоров, не жалея, вынул десятирублевку.

С первой же полчашки в голове сильно зашумело и стало очень весело — тут Егоров и поставил от себя спирту. Но теперь, выпив еще и еще, он чувствовал, что поступил глупо: веселье прошло, мутило, очень хотелось спать и было все сильней жаль зря истраченных береженных денег.

К жалости о деньгах примешивалась злость на рыженькую барышню, не пошедшую с ним и спавшую теперь с чухной где-нибудь под тепленьким одеялом. Обругать последними словами рыженькую барышню? Разбить ей морду? Узнать ее адрес, жениться и гулять с ней под ручку в Липецке в Дворянском саду? Егоров сам не знал, чего ему, собственно, хотелось — может быть, и того, и другого, и третьего. Но ни разбить морду рыженькой, ни жениться на ней было нельзя — можно

было идти в проходные казармы спать (спать очень хотелось) или сидеть тут и пить спирт. Спать очень хотелось, но проходные казармы были далеко, на улице была ночь, голова сильно кружилась. Пить было противно, но спирт был тут, и за спирт было заплачено его, Егорова, кровными, береженными деньгами...

Адам Адамович вышел из комнаты. Кухня была рядом, никого в ней не было. В двери на лестницу торчал ключ. Адам Адамович осторожно его повернул и снял с двери цепочку. С лестницы потянуло сырым холодом. Адам Адамович поднял руку, чтобы запахнуть воротник, и замер, не донеся до воротника руки: над его головой в сыром сумраке лестницы, тихо сияя, плыл золотой цветочек.

В одно мгновение Адам Адамович понял все. Даже сердце его не успело забиться сильней — так мгновенно он все понял. Все было удивительно, необыкновенно, гениально просто. Ни одиночества, ни страха, ни холода больше не существовало — золотой цветочек, сияя прекрасным и жалобным светом, плыл перед ним и надо было только его слушаться...

Хочешь — не хочешь, приходилось уходить: чайную закрывали. Покачиваясь, вслед за остальными, Егоров вышел на улицу. Первое ощущение от внезапного холода и блеска было совершенно такое, точно кто-то неожиданно, сплеча закатил ему звонкую, бодрящую оплеуху. Егоров даже отшатнулся, как отшатывался на ученьи от кулаков взводного. Некоторое время он простоял на улице, тупо глядя перед собой и плохо соображая, что и как. Потом, после духоты чайной, его быстро — и все быстрей и быстрей — начало развозить. Мысли, что война кончена и взводный больше не смеет драться, что деньги — дело наживное, что рыженькая спит теперь с чухной и ее не найти,— разные, и веселые, и щемящие, мысли, перемешавшись в одно, подкатили под ложечку — захотелось побежать, крикнуть, броситься куда-то вниз головой, сделать что-то необыкновенное, еще неизвестно что — но сейчас же, немедленно, во что бы то ни стало...

— Свобода! — неожиданно для самого себя крикнул Егоров громко, на всю улицу, и, усмехнувшись, качнул в синем блестящем воздухе синим блестящим стволом винтовки.

Золотой цветочек тихо плыл, задевая грязные ребра лестницы — надо было только его слушаться. Закинув голову, не отрывая от него глаз, не отставая от него и не перегоняя, Адам Адамович медленно, ступенька за ступенькой, спускался вниз.— Надо было только слушаться, только слушаться... У самого выхода цветочек остановился. Остановился и Адам Адамович, тяжело дыша, держась за дверную ручку. Над дверью было небольшое окошко. Неожиданно цветочек качнулся в его сторону, коснулся стекла и исчез, пройдя сквозь стекло, как сквозь воздух. В страшном возбуждении Адам Адамович выбежал на улицу, чтобы догнать его, схватить, накрыть, как бабочку, шапкой...

Как раз в ту секунду, когда он выбежал, Егоров, крикнув еще раз от полноты чувств: «Свобода!» — приложил винтовку к плечу и щелкнул затвором. И как раз на пути вылетевшей из синего блестящего ствола пули оказалась голова Адама Адамовича — остроносая измученная голова, запрокинутая на бегу в сторону исчезавшего где-то над крышами прекрасного и жалобного сияния.

III

Назар Назарович Соловей стасовал, причмокнул, мельком, с игривой улыбочкой, оглядел партнеров (партнеры были воображаемые — Назар Назарович сидел один. Лампа под оранжевым абажуром бросала на него приятный свет; дверь из предосторожности была заперта на ключ) и, щелкнув колодой, начал сдавать карты. Сдавая, он приговаривал: — «Наше было ваше — ваше будет наше — цоп, топ по болоту, шел поп на охоту.— Банко! — произнес он внушительно и открыл свои. Тотчас игривая улыбочка на его круглом лице превратилась в разочарованную.— Опять не вышел, проклятый волчок. Как же так? Скажите, пожалуйста, что за невезенье!»

С некоторых пор Назар Назарович, оставаясь один, не предавался больше приятному ничегонеделанью. С некоторых пор он даже несколько похудел. Теперь, оставаясь дома, хотя и хотелось порой прилечь, помечтать, повозиться с котом, побренчать на гитаре (недавно Назар Назарович приобрел по случаю великолепнейшую гитару — приобрел прямо за бесценок,

один перламутр в инкрустациях стоил дороже),— Назар Назарович сейчас же шел в кабинет, запирал дверь и принимался практиковаться. Мечтать и забавляться теперь у него не было времени — надо было изучать высшие науки, а науки эти Назару Назаровичу не особенно давались.

Высшие науки Назар Назарович начали изучать по совету и под руководством своего друга и покровителя Ивана Нестеровича, с которым он недавно познакомился у графа и для которого решил на графа начихать. Начихать на графа, как выяснилось, была прямая выгода: Иван Нестерович в ближайшее время собирался в турне в Харьков, в Крым, на Кавказ — на миллионные дела, обещая взять с собою Назара Назаровича, если тот подучится чему надо. И Назар Назарович учился.

— Цоп, топ по болоту, шел поп на охоту,— разложил Назар Назарович карты снова, сдавая медленно, с расстановкой, что-то высчитывая в уме и заглядывая в лежащую рядом бумажку с цифрами.— Где дама виней? — заволновался он.— Ага, тут. К даме виней идет туз трефей,— так, запишем. Желаете карточку? — игриво улыбнулся он воображаемому партнеру.— Извольте — даю заветную — теперь денежки ваши. Цоп, топ по болоту... Там четыре, здесь одно очко; у них тройка — при своих! — произнес он озабоченно, открывая шестерку.

— Неужели не вышло? Неужели опять ошибся?

Но на этот раз, слава Богу, ошибки не было,— волчок получился аккуратный, по всем правилам.— «Теперь пойдешь у меня, одолел,— с облегчением думал Назар Назарович, слегка потея от удовольствия.— Ну-с, проверим,— взялся он снова за карты.— Цоп, топ по болоту...»

Иван Нестерович, новый его друг и покровитель, объехавший, по слухам, весь свет, говоривший на языках, игравший в тысячную игру с первейшими банкирами и даже с генералитетом, при первом же знакомстве произвел очень сильное впечатление на Назара Назаровича. Внешностью он, без преувеличения, был орел, голос — труба, манеры, работал же так, что даже уму непостижимо. Глядя на игру Ивана Нестеровича, Назар Назарович первую минуту подумал, уж не нечистая ли тут сила (мало ли что бывает — он даже тихонько перекрестился под столом),— такая это была работа.

У графа, где они познакомились, все были свои, опытные, понимающие люди, и все только охали и качали головами, когда Иван Нестерович с завязанными глазами бил всех в лежку или, в момент, одной левой рукой делал такую накладку, какую не подберешь и в час у себя дома. Да, это был человек — Назар Назарович впервые видал такого — это был орел, не то что граф. Граф перед Иваном Нестеровичем, собственно говоря, просто был сопляком.

— Цоп, топ по болоту, шел поп на охоту,— продолжал Назар Назарович практиковаться, чувствуя приятное умиление при мысли, что такой человек обратил на него внимание, пригласил к себе и обласкал.

Иван Нестерович жил в гостинице Регина, в шикарнейшем номере с картинами во всю стену, телефоном и отдельным ватером. Он сидел в атласном халате за роскошным письменным столом, на руке его сиял голубой бриллиант, каратов в одиннадцать, в зубах дымилась сигара, должно быть, сумасшедшей стоимости.— «Добро, добро пожаловать»,— воскликнул он весело, как труба, вставая и протягивая обе руки робко входящему в номер Назару Назаровичу, и еще с большей силой Назар Назарович оценил и понял, с каким человеком свела его судьба.

Сразу же выпили какого-то необыкновенного коньяку, закусили икрой и опять выпили. Хоть коньяк был мягкий, как масло, и казался совсем не хмельным,— после четвертой рюмки (правда, рюмки были большие, граненые, чистого хрусталя) в голове Назара Назаровича приятно зашумело, и сердце еще сильней залило сладкое умиление от роскошного номера и сигары, от бриллианта и собственного ватера, от сознания счастливой судьбы, сведшей его с таким человеком, и от слов этого человека, летевших сквозь окружающий туман весело, как труба, прямо в сердце Назара Назаровича.

— У тебя талант,— говорил ему этот человек, знаменитость, игравший с генералитетом, загребавший сотни тысяч.— Ты, брат, Богом меченый, вот что. Ты, если тебя отполировать, Шаляпиным в нашем деле будешь, Короленкой, Шекспиром. Искорка в тебе есть. Но,— строго подымал Иван Нестерович палец, и солитер на пальце переливался так, что больно было

смотреть,— но, если не будешь учиться, заруби на носу — пропадешь! В наш век пара и электричества мало одного таланта, нужна наука.

Красный ковер лестницы мягко проваливался под ногами, швейцар, открывая дверь, поклонился и раскололся надвое. Назар Назарович дал ему, на радостях, трехрублевку, и швейцар, поклонившись снова, раскололся еще раз: усаживая Назара Назаровича в сани, застегивая полость, желая счастливо оставаться, вокруг саней захлопотали уже целых четыре швейцара, и Назар Назарович, вспомнив, что дал на чай только одному, порылся в кармане и сунул какую-то мелочь и остальным трем.

— Трогай! — крикнул весело, как труба, Иван Нестерович и обнял Назара Назаровича по-приятельски за талию.

Это было уже после обеда у Палкина, шикарнейшего обеда с массой закусок и шампанских вин,— так Назар Назарович еще никогда не обедал. О существовании некоторых блюд он прямо не подозревал: например, бляманже было из рыбы, даже, без сомнения, из севрюжки; потом эти, какие-то рябчиковые корешки... Нет, так он еще не обедал в жизни. Теперь они катили в Аквариум.— «Кутить так кутить»,— повторял все время, как труба, Иван Нестерович, и платил за все он один.

Умиление заливало сердце Назара Назаровича, ему было необыкновенно хорошо. Снег скрипел, голова кружилась, нежно, как зефир, отрыгалось севрюжное бляманже.— «Я сразу заметил, как ты дергаешь,— говорил ему Иван Нестерович, прижимая его к себе и дыша на него,— этому не научишься, это от Бога. Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил,— басом, на всю улицу, продекламировал он.— Знаешь, про кого это сказано? То-то и оно-то — ничего ты не знаешь — серость твоя тебя губит, неинтеллигентность твоя. В наш век пара и электричества хороший исполнитель все должен знать, и кто такой Державин, и что такое альтернатива. Ну, это потом наверстаешь, а пока чтобы выучил назубок американку, слышишь, чтобы назубок к следующему разу, а не то морду разобью — у меня это просто. Обними меня, друг сердечный,— неожиданно прибавил Иван Нестерович, размякнув на морозе, и они крепко расцеловались.

В этот чудный вечер произошло еще одно необыкновенное обстоятельство. В Аквариуме была масса народу, масса хорошеньких дамочек, и у Назара Назаровича, большого любителя на этот счет, прямо разбегались глаза. Но разбегались они только пока он не заметил дамочку, сидевшую около зеркала, направо. Увидев эту дамочку, глаза Назара Назаровича остановились. Музыка играла, но Назар Назарович больше не слушал музыки. Иван Нестерович рассказывал армянский анекдот — но Назар Назарович не слушал армянского анекдота. Он глядел на дамочку, сидевшую у зеркала, и чувствовал страх, восторг, удивление. Она была вся одета в какие-то белые перья и сама была похожа на белое легонькое перо, подуешь — улетит. Сквозь шум и музыку Назар Назарович слышал, как она смеялась легоньким серебристым смехом, и смех этот хватал Назара Назаровича прямо за сердце. Сквозь радужный туман, застилавший воздух, ясно были видны только ее легонькие бровки над белым, как у куклы, личиком, и эти бровки и личико до боли хватали Назара Назаровича за сердце. Назар Назарович глядел на дамочку у зеркала, ошалев, не отрываясь. Вдруг ему стало не по себе, томно, грустно. Таких женщин он еще не видал, такие женщины не встречались на улицах, не ходили по Невскому, по Пассажу или по Большой Морской. Они жили на набережной, в дворцах с оранжереями, ездили ко двору и питались блюдами вроде рыбного бламанже, только еще непонятней. Завести знакомство с ними было для него, Назара Назаровича, невозможно, было все равно, как слетать на луну. Даже если он заработает миллион и превзойдет Ивана Нестеровича в тройном вольте, все-таки было невозможно. Дамочка у зеркала смеялась серебряным тоненьким смехом, перья на ней покачивались, она подымала тоненькие бровки, смотрелась в зеркало, охорашивалась, и Назару Назаровичу становилось все грустней, безнадежней, хотелось плакать.

Тут произошло самое необыкновенное в этом необыкновенном, чудном вечере. Кавалер дамочки в перьях, сидевший к Назару Назаровичу спиной, подозвал лакея и, говоря ему что-то, повернулся в профиль. Кавалер этот был не великий князь или сенатор, как можно было предположить. Кавалер

этот — Назар Назарович сейчас же его узнал — был Борис Николаевич Юрьев, свой человек, наводчик, прощелыга, желавший (не на такого напал) надуть его у Штальберга при дележке.

. . . .

Через коридор, из ванной время от времени слышался легкий глухой звук: из плохо завинченного крана капала вода. Этот легкий изводящий звук мешал Юрьеву спать. Он поворачивался с боку на бок, закрывал голову подушкой, но и сквозь подушку слышалось проклятое капанье. Отвратительнее всего была его равномерность. В промежутке между двумя каплями было ровно сорок четыре удара — сорок четыре удара сердца, отдававшихся в левом ухе четко, как тиканье часов.

Юрьев, сквозь дремоту, понимал, что надо встать и завинтить кран, и мучение прекратится, но это представлялось ему таким сложным, громоздким, трудно выполнимым делом, что он все откладывал его.— Может быть, удастся уснуть и так, не вставая, не зажигая света, не выходя в коридор. Может быть, капля, только что звякнувшая, была последней. Ах, не надо прислушиваться, не надо считать, надо думать о другом, воображать что-нибудь...

Юрьев старался представить Петергоф, где он жил летом: вот Заячий Ремиз, вот пруд. Я иду мимо дачи Шуваловых и сворачиваю к Розовому Павильону... Но сердце продолжало отстукивать удары, и на сорок четвертом, по-прежнему с глухим звяканьем обрывалась капля. И голова, точно нарочно, отказывалась представить то, о чем Юрьев думал,— ни пруда, ни дачи никак нельзя было вообразить, и вместо Розового Павильона расплывалось и беспомощно таяло бесформенное, даже и не розовое пятно. Зато, неизвестно откуда взявшись, вдруг мелькал лакированный прилавок Фейка: красно-золотые сигарные пояски, плоские ящики, усы и мундиры южноамериканских генералов, тут же рассыпавшиеся на войско живчиков — серых, рыжих, бесцветных. Они мчались куда-то с невероятной быстротой, их были тысячи, миллионы, миллиарды... Потом пропадали и они, и Юрьев видел все то же, все то же. Это был кусок земли, обыкновенный кусок пустыря или поля. На нем росла трава и какие-то кустики, он был неярко освещен

серым холодным светом, светом сумерек или раннего утра. Этот серый свет проникал и в толщу земли. Так же холодно, ровно и неярко он освещал чахлые корни кустов, расползающиеся в почве, извилистый лабиринт, прорытый кротом, какие-то камни, комья... Серый, ровный, холодный, он проходил и сквозь доски гроба. Доски, должно быть, все-таки задерживали его. Надо было долго, пристально вглядываться, чтобы в расползающихся, как на испорченной фотографии, чертах лежащей в гробу узнать черты Золотовой.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

На этом месте обрывается опубликованный текст романа «Третий Рим», и неизвестно, было ли написано еще хоть что-либо. В таком случае представлялось бы резонным опубликовать только первую, завершенную часть романа, оставив отрывки из второй для дотошных разыскателей.

Однако хотелось бы обратить внимание читателей, что первая и вторая часть по своим художественным устремлениям совпадают далеко не полностью. Если первая — авантюрный роман с шулерами и шпионами, то вторая представляет собой углубленное психологическое повествование, с внутренними монологами героев, их иррациональными видениями, неожиданными столкновениями внутри выбитого из колеи мира. Обратим внимание, как меняют свой статус герои: Вельский опускается до притона гомосексуалистов, Адам Адамович — до извозчичьей чайной и ночи с проституткой, Назар Назарович, наоборот, растет в своем шулерском ранге и получает возможность встречаться с Юрьевым почти на равных. Целый ряд героев второй части в первой был бы принципиально невозможен. Это свидетельствует о том, что перед нами совсем иной тип прозы, в котором фрагментарность может быть не случайностью, а вполне осознанным художественным приемом. Отметим также и то, что большинство сюжетных линий романа во второй части

завершается вполне определенно: умирает Золотова, гибнет Адам Адамович (и тем самым завершается шпионский сюжет), смерть Распутина, упоминаемая в тексте, кладет предел еще одной значительной внутренней теме романа. Получает свое завершение и тема шулерская, и судьба князя Вельского. При внешней фрагментарности внутренне роман оказывается законченным и не нуждающимся в продолжении.

Конечно, все сказанное — лишь гипотеза, но гипотеза, имеющая право на существование и требующая для своего подтверждения или опровержения текста обеих частей романа.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗИМЫ

МЕМУАРЫ

Печатается по изданию:
Петербургские зимы, 1952

I

Говорят, тонущий в последнюю минуту забывает страх, перестает задыхаться. Ему вдруг становится легко, свободно, блаженно. И, теряя сознание, он идет на дно, улыбаясь.

К 1920-му году Петербург тонул уже почти блаженно.

Голода боялись, пока он не установился «всерьез и надолго». Тогда его перестали замечать. Перестали замечать и расстрелы.

— Ну, как вы дошли вчера, после балета?..

— Ничего, спасибо. Шубы не сняли. Пришлось, впрочем, померзнуть с полчаса на дворе. Был обыск в восьмом номере. Пока не кончили,— не пускали на лестницу.

— Взяли кого-нибудь?

— Молодого Перфильева и еще студента какого-то, у них ночевал.

— Расстреляют, должно быть?

— Должно быть...

— А Спесивцева была восхитительна.

— Да, но до Карсавиной ей далеко.

— Ну, Петр Петрович, заходите к нам...

Два обывателя встретились, заговорили о житейских мелочах и разошлись. Балет... шуба... молодого Перфильева и еще студента... А у нас, в кооперативе, выдавали сегодня селедку... Расстреляют, должно быть...

Два гражданина Северной Коммуны мирно беседуют об обыденном.

Гражданина окликает гражданин:
Что сегодня, гражданин, на обед?
Прикреплялись, гражданин, или нет?..

И не по бессердечию беседуют так спокойно, а по привычке. Да и шансы равны — сегодня студента, завтра вас.

...Я сегодня, гражданин, плохо спал —
Душу я на керосин променял.

Об этом беспокоились еще: как бы мне променять душу «на керосин» без остатка. И — кто устраивал заговоры, кто молился, кто шел через весь город, расползающийся в оттепели или обледенелый, чтобы увидеть, как под нежный гром музыки, в лунном сиянии, на фоне шелестящих, пышных бумажных роз — выпорхнет Жизель, вечная любовь, ангел во плоти...

Поглядеть, вздохнуть, потом обратно ночью через весь город.

Над кострами искры золотятся,
Над Невою полыньи дымятся,
И шальная пуля над Невою
Ищет сердце бедное твое...

Ну, может быть, сегодня еще до моего не доберется. Чего там!

* * *

Петербургская сторона — Плуталова улица. Место глухое, настолько глухое, что даже милиция сюда не заглядывает. Иначе не обнаглел бы какой-то проживающий здесь спекулянт до того, чтобы прибить у дверей вывеску о своей торговле. На вывеске стоит черным по белому: «Здесь продаеца собачье мясцо».

На Плуталовой живет В., занимает комнату с кухней в грязном шестиэтажном доме.

В.— бывший писатель. Что-то печатал лет пятнадцать тому назад, чем-то даже «прошумел». Теперь пишет «для себя», т. е. ничего не пишет, делает только вид.

В минуты откровенности — признается: «Плюнул на литературу — жить красиво, вот главное».

Он странный человек. Писанье его бесталанное, но в нем самом «что-то есть». Огромный рост, нестриженая черная борода, разбойничьи глаза навыкате — и медовый монашеский говор. Он то сидит неделями в своей «квартире», обставленной разной рухлядью, считаемой им за старину, с утра до вечера роясь в книгах, то пропадает на месяцы, неизвестно куда.

— Где это вы были, В.?

Улыбочка.— Да вот, на Афон съездил...

— Зачем же вам было на Афон?

Та же улыбочка.— Так-с, надобность вышла. Ничего, славно съездил. Только, досадно, в дороге кулек у меня украли и с драгоценными вещами: бутылкой зубровки старорежимной — вот бы вас угостил — и частицами святых мощей...

Через полгода — опять.— Где пропадали? — Да на Кавказе пришлось побывать, в монастыре одном...

Вот к этому эстету из семинаристов, с наружностью оперного разбойника, я решил пойти переночевать.

Дело было такое: я засиделся у знакомых на Петербургской стороне (а жил в самом конце Бассейной). Когда собрался уходить — оказывается, без четверти одиннадцать, и, если идти домой, обязательно попаду на обход и в участок, так как не только ночного пропуска, но и обыкновенной трудкнижки у меня нет. Ночевка в милиции — вещь неприятная, да и вопрос еще, как обернется наутро: могут отпустить, могут и отправить в Чека. Воскликнуть, как Мандельштам (кстати, смертельно милиции боявшийся):

Мне ночного пропуска не надо,
Часовых я не боюсь —

было бы неблагоразумно. У знакомых, где я засиделся, ночевать было негде. Я и вспомнил о В., жившем неподалеку.

Тяжелого висячего замка на входной двери не было — значит, дома. Но на стук мой никто не ответил. Неужели ушел? Я постучал сильнее. Шаги и голос В.:

— Что ломишься в такую рань? Проваливай. До двенадцати все равно не пущу.

Решив, что это вряд ли ко мне относится, я постучал еще и назвал себя.

В. сейчас же открыл.— Голубчик! Какими судьбами? Желаете согреться? — Он пододвинул мне рюмку.

Сам В. уже, по-видимому, «согрелся» на сон грядущий. Ворот косоворотки расстегнут, лицо красное, в глазах маслянистый блеск. Впрочем, это было обычное его состояние — ни пьян, ни трезв. Вечное «навеселе».

Узнав о моем намерении переночевать, В. как-то засуетился.

— Да если вам неудобно, вы скажите, я уйду.

— Что вы, что вы, дорогой. Очень удобно, очень приятно. Только...— Он опять забегал глазами...— Вам-то будет ли удобно?

— Обо мне не беспокойтесь.

— Конечно, конечно... Но будет ли вам?.. Крепко ли вы спите?

— Очень. К тому же чрезвычайно устал,— целый день на ногах, прямо валюсь...

— Вот, вот...— В., по-видимому, обрадовался.— А то ко мне придет тут... Один книжник... Сосед... Книжки кой-какие разобрать... Так я боялся, не помешаем ли мы вам.

Я успокоил В., что никто и ничем мне не помешает. Несмотря на мои отказы, он уложил меня на свою кровать, за рваный штофный полог.

— Ничего, ничего — тут и вам будет удобнее, и мне спокойнее. А я на диванчике пересплю — прекрасный у меня диванчик.

Кровать была широкая и мягкая... В. в другом углу комнаты шуршал книгами, позванивал ложечкой о стакан... Сосед-книжник не приходил...

...Я проснулся. За занавеской шел тихий разговор. Говорил больше чужой голос, вкрадчивый и скрипучий. В. только изредка вставлял что-нибудь.

— От Бога-то вы отвернулись. Отвернулись, ладно, очень хорошо. Но мало от Бога отвернуться, мало, друзья. Надо еще

перед *Ним* заслужить. Так, думаете, он вас и примет сразу, так и начнет помогать, едва крест с шеи долой...

— Да как же заслужить? Церкви ему строить? Акафисты петь?

— И церкви, и акафисты, и в сердце своем его одного иметь. Главное — в сердце иметь. Тогда он и поможет.

— Что же тогда будет, когда поможет?

— Все будет, все, слышишь. Булки разные, и ветчина, и шпроты, и белая головка — чего хочешь. И не за деньги, хотя бы по старой цене, а даром — бери, что желаешь, ешь, что желаешь, пей — все бесплатно на вечные времена, только его в сердце держи...

Я осторожно приподнялся и заглянул в прореху в пологе. В. сидел за круглым столом. Перед ним, спиной ко мне, какая-то фигура в полушубке. На черепе большая плешь, окруженная жидкими светлыми волосами. Поза понурая, шея ушла в плечи...

— ...в сердце держи, да.— Говоривший помолчал минуту...

— Ну, так вот, прежде всего, как уговорено — пять тыщ...

— Уже и пять? Вчера было три!

— Пять тыщ...— повторил старик,— меньше никак не справиться. Потом, вот записочку эту возьми, переписать надо, знаешь. Да не на машинке, от руки. Потрудись во славу его.

В. стал, вздохнув, отсчитывать деньги. Старичок, аккуратно пересчитав, спрятал.

— Ну, мне пора. Покойнички-то мои, верно, беспокоятся — две ночи пропадаю. Все дела, дела...

— И не страшно тебе на кладбище?

— Чего же страшно? Напротив — компания приятная.

— И не гадко?

— Что же такое — гадко? Конечно, если кто еще червивый и лезет к тебе... А которые долго лежат, подсохли... Что же в нем гадкого? Из баб такие попадаются экземплярчики...

— Молчи уж. Спать потом не буду, как понарасскажешь...

Старичок захихикал.

— Какой слабонервный! А еще министром у нас хочешь быть. Хватит с тебя и сенатора, когда придет наше время, хе... хе... Ну, ничего, главное — помни — его в сердце держи...

— Г. В., вы спите? — окликнул меня хозяин, проводив гостя.

Я не отозвался.— Спит,— пробормотал В. Он еще долго возился, что-то отпирал и запирал, звенел ключами, шуршал бумагами, вздыхал. Наконец, улегся, потушил свет и начал посапывать. Под его посапыванье — заснул и я.

Утром, когда я уходил, В. еще спал тяжелым и крепким сном пьяницы.

* * *

«Перепишите и разошлите эту молитву девяти вашим знакомым. Если не исполните — вас постигнет большое несчастье...»

Дальше шла молитва: «Утренняя Звезда, источник милости, силы, ветра, огня, размножения, надежды...»

— Странная молитва! Ведь Утренняя Звезда — звезда Люцифера.

— Странная! Не это ли велел В. переписывать его старичок, чертопоклонник, помнишь, я тебе рассказывал?

Разговор шел полгода спустя в квартире Гумилева, на Преображенской. Сидя у маленькой, круглой печки Гумилев помешивал уголья игрушечной саблей своего сына.

— Странная молитва! Возможно, что именно В. ее прислал, раз он, как ты говоришь, возится с чертовщиной. Но глупо, зная меня, посылать мне такие вещи. Какой бы я был православный, если бы стал это переписывать и распространять?

— Глупо вообще рассылать. Кто же станет переписывать?..

— Ну, положим, станут. Во-первых, большинство и не разберет, в чем дело, подумают, просто какой-то акафист. А кто и разберет, все-таки перепишет, пожалуй, если суеверный человек. А ведь большинство скорее суеверные, чем верующие.

— То есть из боязни, что с ними случится несчастье, перепишут?

— Конечно.

— Какая чушь!

Гумилев постучал папиросой по своему черепаховому портсигару.

— Не такая чушь, как ты думаешь. Эти угрозы, поверь, не пустые слова.

— Тогда тебя теперь должно постигнуть несчастье?

— Должно. Несчастье будет на меня за это направлено, я не сомневаюсь. Не улыбайся, я говорю совершенно серьезно. Кто-то сознательно послал мне вызов. Я сознательно, как христианин, его принимаю. Я не знаю, откуда произойдет нападение, каким оружием воспользуется противник,— но уверен в одном, мое оружие — крест и молитва — сильнее. Поэтому я спокоен.

— Удивительно. То В. и его старикашка, теперь эта молитва, твой разговор. Какой-то пятнадцатый век! Никогда не думал, что существует что-нибудь подобное.

— А вот, представь, существует. Можно прожить всю жизнь, ничего об этом не зная — и это самое лучшее. Но легко, случайно, как ты с ночевкой у В., коснуться чего-то, какой-то паутины, протянутой по всему свету,— и ты уже не свободен, попался, надо тебе сделать какое-то усилие, чтобы выпутаться. Не сделаешь — можешь пропасть. И, заметь,— до вечера, проведенного у В., жил ты и никогда с таким не сталкивался. А столкнулся раз, сейчас же тебе попадается и этот акафист, и наш разговор, и будет непременно еще попадаться. Кто-то *там* тобой уже интересуется. Может быть, мне и прислали этот листок только для того, чтобы ты его прочел. Или, наоборот,— охота идет за мной, а ты ни при чем...

— Ты меня пугаешь,— рассмеялся я.

— Не пугайся, дорогой,— пугаться никогда не следует. Но и шутить с этими вещами не следует тоже. Но бросим этот разговор — хватит. Пойдем, прогуляемся...

* * *

Падает редкий, крупный снег. Вдоль тротуара бурые сугробы, под ногами грязь...

...Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты...

Впрочем, это уже не зима — середина марта. Еще мерзнут без перчаток руки, но дышать уже легко — весна.

Над голыми ветками «Прудков» грузно пролетает ворона. Мальчишки на углу Греческого торгуют папиросами.

— Почем десяток? — Триста.— Хватил!

— Пожалуйте, гражданин, у меня двести.— У него липа, берите у меня — двести пятьдесят...

...Вонь серной спички, зеленоватый дымок папиросы. И у папиросы, закуренной в этом теплеющем воздухе,— уже особый, «весенний» вкус.

— Куда же мы пойдем?

Гумилев стряхивает снег со своей обмерзшей дохи и поправляет чухонскую шапку с наушниками.

— Ты не торопишься? Прогуляемся тогда до Лавры. Мне надо там к сапожнику.

— С удовольствием. Но что за идея подбивать подметки у Лавры, когда сапожник есть на твоей лестнице?

— Ну, мой у Лавры не простой сапожник. Я поэтому к нему и хожу. Умнейший старик. Начетчик — священное писание знает, как архиерей, о Пушкине рассуждает. Я Лернера к нему свести собираюсь — пусть потолкуют.

— Какой-нибудь скрывающийся генерал или профессор?

— Ах, нет — мужик с Волги, в тридцать лет писать научился. Но умнейший человек и презабавный. Вроде Клюева, только поострей. Да ты сам увидишь.

Мы прошли Старый Невский и, обогнув Лавру, свернули в какой-то проулок. Деревянный забор, двор, засыпанный снегом, потом сени, лесенка, наконец, узкая дверь с молотком-колотушкой. Открыла босоногая девчонка.— «К Илье Назарычу? Дома».

...Проворно работая шилом при свете коптилки, старик в грязной блузе, поблескивая из-под железных очков колкими глазками, говорил:

— Вы, Николай Степаныч, извиняюсь, ошибаетесь. Пушкин, Александр Сергеевич, России не любил. До России ему дела никакого не было. Душой он немец, вот что. А любил он, ежели желаете знать, жену да Петра.

— Какого Петра?

— Петра Первого, Великого, как его зовут. А почему велик — все потому же, немец был, не русский.

— Вы, Илья Назарыч, заговариваете<сь> что-то. Пушкин немец, Петр Великий немец. Кто же русские?

— Русские? — Старик пристукнул пузырь на распластанной подметке.— Хе, хе... Кто русские... (Где я слышал этот хрипловатый голос и это хихиканье? Ведь слышал же?).

— Русские? Как бы вам сказать... Ну, для примера, вот вам наш Санкт-Петербург — град Святого Петра, хе-хе... Кто его строил? Петр, скажете? Так ведь не Петр же в болоте по горло стоял и сваи забивал? Петра косточки в соборе на золоте лежат. А вот те, чьи косточки, тысячи и тысячи, вот тут,— он топнул ногой,— под нами гниют, чьи душеньки неотпетые ни Богу, ни черту не нужные, по Санкт-Петербургу этому, по ночам, по сей день маются, и Петра вашего, и нас всех заодно, проклинают,— это русские косточки, русские души...

Он опять согнулся над сапогом.

— Трудно на вас работать, господин Гумилев. Селезнем ходите, рант сбиваете. Никак подметку не приладишь.

— Это у меня походка кавалерийская.

— Может, и кавалерийская, только, извиняюсь, косолапая...

— Все-таки, Илья Назарыч, почему же Пушкин немец? Старичок опять захихикал.

— А вот я вам стишком отвечу:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой стройный, строгий вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит.

— Ну, как по-вашему? Люблю! Что же он любит? Петра творенье. Русскому ненавидеть впору, а он — люблю. Немец! Державу любит! Теченье! Гранит — нашими спинами тасканный, на наших костях утрамбованный!.. Ну?..

— Я тоже люблю, однако русский.

— Ну, это потом разберут, русский вы или нет... Готовы ваши сапожки. Деньгами платить будете или потом мукой рассчитаетесь? Мукой? — Ладно. Сейчас вам их заверну.

Шаркая, сапожник вышел.

— Забавный старик.

— Очень. Немного тронувшись, кажется.

— Пожалуй. Но умница. Слышал, как рассуждает? Его бы в религиозно-философское общество, а не сапоги чинить...

И в комнате у него как мило. Смотри: чистота, книжки разложены. Что это он пишет, давай посмотрим?

Гумилев отвернул обложку копеечной тетрадки. На первой странице было старательно выведено:

«Утренняя Звезда, источник милости, силы, ветра...»

— Вот ваши сапожки...

Гумилев обернулся с тетрадкой в руках:

— Что это такое, Илья Назарович?

Старик поглядел из-под очков, пожал плечами.

— Такое, что по чужим комодам шарить не полагается.

— Вы, значит, мне это прислали?

— Выходит, что я-с.

— Зачем?

— Там было указано, зачем,— переписать и разослать.

— Да вы сами понимаете, к кому эта молитва?

Сапожник насупился.

— Нет у меня времени, граждане, к сожалению, времени не имею. Вот ваши сапожки. Дозвольте деньги за работу — ждать муки мне несподручно. И, если по сапожной части, ищите, господин, другого мастера. Я в деревню уезжаю...

...Где я слышал этот голос? А! — вот что...

— Уезжаете? Покойнички беспокоятся? — сказал я тихо.

Старик посмотрел на меня насмешливо.

— Чего им беспокоиться, молодой человек? Им в земле покойно. Это, скорее, живым следует. Мое нижайшее, граждане.

* * *

Через год, под грохот кронштадтских пушек, я шел по Каменноостровскому. Меня окликнули.— В., какой-то облезлый, похудевший.

— Что с вами?

— На Шпалерной сидел. Попал в засаду.

— Где же?

— Так, из-за спирта. Сапожник один спирт мне доставал. Зашел к нему,— ну, а там засада. Три месяца продержали...

— Сапожник? Это не в Лавре, не Илья Назарыч?

— Вот как? Значит, спите вы не так уж крепко. Верно, Илья Назарыч. Но откуда же вы имя и адрес знаете?

— Не только адрес, но и был у него и не прочь бы еще зайти потолковать. Может, пойдем вместе?

В. криво улыбнулся.

— Трудновато это: в декабре еще расстреляли. За спирт. А жаль — славный спирт продавал, эстонский, и брал недорого.

II

Летом 1910 года, на каникулах, я прочел в «Книжной Летописи» Вольфа объявление о новой книге. Называлась она «Студия Импрессионистов».

Стоила два рубля.

Страниц в ней было что-то много, и содержание их было заманчивое: монодрама Евреинова, стихи Хлебникова, что-то Давида Бурлюка, что-то Бурлюка Владимира, нечто ассирийское какой-то дамы с ее же рисунками в семь красок.

Я эту «Студию» выписал. Потом, у Вольфа, мне рассказывали, что я был одним из трех покупателей. Выписал я, выписала какая-то барышня из Херсона и некто Петухов из Семипалатинска. Ни в Петербурге, ни в Москве — не продали ни одного экземпляра. Только мы трое не пожалели кровных двух рублей, не считая пересылки, за удовольствие прочесть братьев Бурлюков с ассирийскими иллюстрациями в семь красок.

Только мы: я, барышня из Херсона и Петухов. Трое из ста шестидесяти миллионов.

О, Русь! О, rus!

Но это потом мне объяснили у Вольфа. Тогда же, выписывая, я испытал даже некоторое беспокойство: получу ли, не распродана ли?

«Студия Импрессионистов» внешностью не разочаровала. Формат большой, длинный, обложка буро-лиловая, с изображением чего-то непонятного: может быть, женщина, может быть, дом. Ассирийские рисунки тоже были недурны, хотя семь красок оказались преувеличением. Красок было две, все тех же — бурая и лиловая. Содержание же, «сплошное дерзанье»,— просто меня потрясло. С завистью я перечитывал стихи про оленя, затравленного охотниками:

И вдруг у него показалась грива,
И острый львиный коготь,

И беззаботно и игриво
Он показал искусство трогать.

Или знаменитых впоследствии «Смехачей» — «о, рассмейтесь, смехачи, смеюнчики, смеюнчики...»

Не то чтобы мне очень нравилось: Бальмонт или Брюсов были мне гораздо больше по душе. Но как не позавидовать смелости и новизне?

Что все это крайне ново, смело и прекрасно, не оставалось сомнений после вступительной статьи редактора студии К<ульбина>, очень истово это объяснявшего.

Я перечел эту статью с почтением.

Потом с завистью монодраму — переворот в драматическом искусстве — как она тут же рекомендовалась.

Потом «Смеюнчиков».

Потом снова монодраму...

Естественно, что «еще потом», через недели две, я отправил на почту заказной пакет с десятком буро-лиловых стихотворений без определенного размера и с сопроводительным письмом на имя редактора К<ульбина>.

Отправив, стал ждать ответа. Некоторый опыт мне подсказывал, что ответ придет не скоро и вряд ли обрадует. Но, против обыкновения, ответ пришел сейчас же. И какой ответ!

На листе шершавой бумаги, тоже лиловато-бурой,— стояло:

— Дорогой друг. Присланное — шедевр. Пойдет в ближайшей книге. Приветствую и обнимаю...

Да. Это была не «Нива», после двух месяцев «сомнений и надежд» возвращавшая рукописи с неизменной отвратительной припиской: «М<илостивый> Г<осударь>. К сожалению...»

* * *

Каникулы кончились — я вернулся в Петербург. К<ульбин>, издатель «Студии», приглашал меня, сейчас же по приезде, к нему зайти. Конечно, мне очень хотелось это сделать. Знакомство с влиятельным издателем передового альманаха, встреча с такими людьми, как Бурлюки или Борисяк, лите-

ратурная жизнь, новаторство... Казалось бы, чего лучше? К сожалению, здесь было маленькое «но», сильно меня смущавшее...

«Но» — было в следующем. Как я пойду знакомиться со своими «импрессионистами»? Ведь тогда обнаружится мой позор: шестнадцать лет и кадетский мундир, с золотым галуном на красном воротнике. Лета еще ничего, лета можно и прибавить... Но мундир...

К<ульбин> рисовался мне господином вдохновенного вида, длинноволосым, бледным, задумчивым. Вот я написал ему, что приду, он меня ждет. Вот я подымаюсь на шестой этаж, в его поэтическую мансарду, увешанную бурыми картинами и заваленную лиловыми рукописями. Звоню. Он смотрит на меня с недоумением.— «Вы, верно, ошиблись, молодой человек, это в третьем этаже, у полковника, сын кадет...»

Но, предположим,— все обойдется. Он же писал, что стихи мои — шедевр, а ведь суть в стихах, а не в возрасте или мундире. Все равно, выйдем мы, например, на улицу. Он говорит: посмотрите, дорогой друг, солнце сегодня совершенно фиолетовое... А в это время навстречу генерал. И вместо того, чтобы согласиться,— да, вы правы, как фиалка, или со вкусом возразить: «Фиолетовое? Я бы сказал, зеленоватое...» — надо вытягиваться во фронт (три строевых шага, поворот на каблуках — ать-два). Он предложит — зайдем в ресторан, поболтать за бутылкой вина.— Извините, мне можно только в кондитерскую. Да и в кондитерской беги сейчас же к офицеру.— Господин поручик, разрешите сесть...

После долгого раздумья, я решил выждать, когда уедет в деревню старший брат, и отправиться к К<ульбину> в его штатском костюме. Я уже примерял тайком этот костюм: немного мешковат и брюки надо подворачивать — но, в общем, прилично. Пока же я отослал К<ульбину> тетрадь новых стихов, с припиской, что болен и зайду, когда поправлюсь...

...Был понедельник, но я сидел дома, «отдуваясь», как говорилось в корпусе, от какой-то «письменной». Было часа два дня. Я с грустью поглядел в окно — в учебные часы благоразумнее не выходить. Вот идет, например,— генерал.— Кадет, почему вы не в корпусе? Ваш билет.— Неприятностей не оберешься.

...Генерал за окном перешел улицу, осмотрелся и завернул за угол — как раз к нашему подъезду. Это был сухонький, строгого вида старичок, военный доктор, в очках и с малиновыми отворотами шинели. Я отошел от окна и сел за неоконченные стихи. Но рифма что-то не подбиралась...

Вдруг брат, тот самый, на костюм которого я рассчитывал,— вбежал в мою комнату с взволнованным видом.— Вот — достукался — пришел доктор из корпуса — проверять, болен ли ты...

С понятным смущением я вошел в гостиную. В гостиной сидел тот самый сухонький генерал, который переходил улицу.

— Зашел познакомиться,— сказал он, протягивая мне обе руки.— Я — К<ульбин>,— редактор «Студии Импрессионистов»...

* * *

...Ярко начищенная медная доска. Доктор медицины К<ульбин>, часы приема. А повыше, на красном сукне двери, кнопками приколот клочок оранжевого картона:

Клуб равнодействующих.
Ассоц-худ-поэт-фут-куб,
Импрессионистов.

Квартира большая, солидная. Приемная с тяжелой мебелью — чехлы, люстры, канделябры, бронзовый медведь с блюдом пыльных визитных карточек.

На столе — старая «Нива», на стенах — пожелтевшие группы: «Военно-медицинская академия 1879 г.», «Ярославль 1891 г.». Все, как полагается.

Но вперемежку с номерами «Нивы» и проспектом Ессентуков — «Помада» Крученыха, обклеенная золотой бумагой, как елочная хлопушка, альманах «Засахаре Кры» и обличительный увраж «Тайные пороки академиков». И на стенах, вперемежку с группами,— картины.

Картины, мало подходящие для докторской приемной: малиновые, бурые, зеленые, лиловые. Там серый конус на оранжевом фоне, здесь желтый куб на бледно-синем, между ними

что-то пестрое, всех цветов, и по пестроте — надпись «Астрахан... сельд... Это все работы самого К<ульбина>. Подарки друзей и единомышленников по «ассоц-худ-фут-куб-у» — украшают кабинет.

В кабинете, у большого письменного стола, в мягком свете лампы — две фигуры. Дымя душистой папиросой, заложив руки в карманы мягкой серой тужурки, поблескивая золотыми очками,— доктор беседует с пациентом.

Сразу видно, что сидящий напротив — пациент. И вряд ли не душевнобольной.

У него вид желтый и истощенный, взгляд дикий, волосы всклокочены. Говорит он заикаясь, дергаясь при каждом слове, голова трясется на худой, длинной шее. Он берет папиросу и не сразу может закурить — так дрожат руки. Закурил и сейчас же бросает, хватает новую папиросу, чтобы опять бросить...

Иногда он что-то порывисто шепчет. Доктор, поблескивая очками, кивает седой головой и делает карандашом какие-то пометки. Отмечает ход болезни. Пишет рецепт.

Но прислушайтесь к их разговору.

— Отлично,— говорит доктор.— Форма бытия треугольник. Следовательно, душа — треугольна.

— Дддаа,— дергается «пациент».— Тттрреугольна иии пппррямоугольна.

— Хорошо,— кивает доктор.— Значит, запишем: Душа — мысль — треугольник. Смерть — чрево — круг...

— Ннет,— волнуется «пациент».— Ннет... Пишите: ччрево — ддрево.

— Но, дорогой мой, вы увлекаетесь. Почему же древо? Ведь наша задача формулировать как можно точнее...

— Ддрево,— настаивал пациент.— Ддрево.— Голова его начинает трястись сильнее.— Ддрево-ччрево...

— Ну, хорошо, хорошо — не волнуйтесь, милый. Древо, так древо. Идем дальше. Жизнь. Смерть. Что потом? Искусство?..

— Искусство — Укус-то! — просияв, вставляет «пациент»...

Доктор тоже сияет. Находчиво. Поразительно. Глубоко. Укус-то. Браво-браво... Но — это не формула. Давайте искать формулу. Что вы скажете о слове «Сосуд»?

Это основополагатель русского футуризма К<ульбин> и «гениальнейший поэт мира» «Велимир» Хлебников составляют тезисы философского обоснования нового направления. Но каждую минуту картина может измениться: с Хлебниковым сделается страшный припадок падучей, и его собеседнику придется вспомнить о другом искусстве — врача.

* * *

Эта солидная квартира, эти группы по стенам, эти генеральские погоны, золотые очки, неторопливые манеры седеющего профессора — все это призрачное.

Несколько лет назад в этой квартире жил действительный статский советник К<ульбин>. Принимал пациентов, ездил на лекции, писал научные статьи — делал все, что полагается делать, жил, как полагается жить. В свободное время он немного занимался живописью, бывал на выставках. Но свободного времени было мало: начатые картины по месяцам валялись неоконченными. Вон там, в темном проходе, еще висит одна: «натюр-морт» — кувшин, два яблока, рыба. Старательно, аккуратно выписано. Действительный статский советник К<ульбин> подражал фламандцам.

Но в один холодный январьский день — К<ульбин> уехал, как обычно, в госпиталь или в Академию и больше не вернулся. В его шинели и очках, с его лицом и походкой, открыв дверь его французским ключом, в эту квартиру вошел другой человек...

Между десятью утра и семью вечера доктор медицины, действительный статский советник К<ульбин> где-то в закоулках засыпанного снегом Петербурга потерял свою прежнюю душу.

Вот рассказ его самого:

— ...Шел через мост — захотелось размять ноги. Думал о делах — пациентах, лекциях... Новые калоши еще, помню, сильно скрипели. Ничуть не был ни взволнован, ни в каком-нибудь особенном настроении. И у самой Троицкой площади — лошадь на боку, и ломовой хлещет ее, чтобы встала,— все по глазам, по глазам... А она встать не может, только дергается... И в эту минуту вспыхнули фонари по всему Каменноостров-

скому. Еще не совсем стемнело, и вдруг вспыхивают фонари.— Знаете, как это прекрасно...

— Ну?

— Все. Больше ничего. В эту минуту — перевернулось во мне что-то. Точно я совсем погибал и чудом спасся. Стою, шапку зачем-то снял. Старый дурак, думаю, на что ты убил пятьдесят лет жизни? Городовой ко мне подбежал.— Ваше превосходительство, ваше превосходительство...— Посадил меня на извозчика... С тех пор...

...С тех пор на квартире на Кирпичном все вверх дном. В 3 часа ночи Крученых по телефону требует денег. В гостиной ночуют бездомные футуристы.

Как я люблю беременных мужчин,
Когда они у памятника Пушкина...

Несется утром из ванной раскатистый бас Давида Бурлюка. Его брат, Владимир, существо субтильное, требует себе утренний завтрак в кровать: ему нездоровится, он полежит немного...

И нарядная горничная несет ему на серебряном подносе «кофе» — графин водки и огурец...

Как я люблю беременных мужчин...
Н. И., до зарезу нужно двадцать пять...
Искусство — укус-то...
Ассоц-поэт-худ-фут-куб...

Среди этого сумбура К<ульбин> чувствует себя прекрасно. Пятьдесят лет «убито» на спокойную, размеренную жизнь профессора. Кто знает, много ли осталось? Так, по крайней мере, пусть каждая минута из этого остатка не пропадет...

— Старый дурак... Пятьдесят лет жизни...

Но ничего, ничего — наверстаем...

К<ульбин>, повторяя эти слова, посмеивается как-то странно. Как-то странно подергивает бородку, поблескивает глазами из-под золотых очков...

— Сколько можно было сделать!.. Сколько пережить... Но ничего, ничего...

Странный смешок, странный взгляд. Что-то томительное есть в них.

И собеседник в генеральской тужурке, с подозрительной чуткостью, живо оборачивается:

— Вы думаете, я сумасшедший?..

* * *

Из моего футуризма ничего не вышло. Вкус к писанию лиловых «шедевров» у меня быстро прошел. Я завел новые литературные знакомства, более «подходящие» для меня, чем общество Крученых и Бурлюков. С К<ульбиным> видался все реже, мельком, случайно. И очень удивился, когда в январе 1913 года получил на знакомой мне буро-зеленой бумаге настойчивое приглашение приехать вечером.

Я поехал. Почему было бы не поехать? Судя по записке, у К<ульбина> должно было состояться какое-то сборище — не то спектакль, не то закрытый доклад. Я был, по-видимому, единственным приглашенным из «правых кругов» — честь, оказанная в знак «старой дружбы». Отклонить эту честь было бы неразумно. Уж если у К<ульбина>, да «приватное собрание» — значит, будет на что поглядеть... И еще эта интригующая приписка: «Приглашение предъявлять при входе».

Но изящный молодой человек, встретивший меня в прихожей, приглашения не спросил. Он благовоспитаннейше пожал мне руку, представляясь: Бенедикт Лившиц. Имя было, по тем временам, громкое: конфискованная книга, ряд скандалов на диспутах, драки, стрельба из «пугача» в публику... В соединении с такой репутацией забавны были его светские манеры и изящный фрак. Еще раз учтиво расшаркавшись, он пропустил меня в залу.

...Большая комната была полна народу. Большинства я не знал. Какие-то молодые люди с геометрически разрисованными лицами, какие-то взволнованные девицы... Взлохмаченная поэтическая копна и зализанный пробор, синяя блуза и соболя... Смешанное общество.

На возвышении сидел К<ульбин>. Я не узнал его сразу. Руки скрещены на груди, лицо странно бледное — густо напудренное. Одет — в широкую кроваво-красную хламиду. На лбу — золотой обруч.

...Военно-Медицинская Академия... Николаевский госпиталь... Вытянувшийся в струнку ординатор: — Ваше превосходительство, честь имею...

...К<ульбин> сидел на своем золоченом возвышении неподвижно, как идол. Перед ним Крученых, с толстой восковой свечой в руках, бормотал что-то непонятное глухим истерическим шепотом. Потом вдруг взвизгнул, заголосил, закатился. Из первого ряда бросились его поднимать. Но он сейчас же вскочил с лицом перекошенным, восторженным...

— Свершилось, свершилось,— визжал он уже совершенно как кликуша.— Вот... он... приял власть... владыка... футурист... царь революции...— И вся зала визжала, аплодировала, топала. Хлебников бился в припадке. Фальцет Крученых перекрикивал всех: — Приял... владыка... царь...

К<ульбин> сидел все так же неподвижно, скрестив руки, наклоня слегка голову. По его лицу напудренного идола расплывалась тихая бессмысленная улыбка...

...Я разыскал свое пальто в ворохе других — собачьих воротников футуристической братии и чьих-то бобров, лежащих вперемежку. Перчаток не было — Бог с ними, с перчатками. Поскорее бы выбраться отсюда...

Солидная, обитая красным сукном дверь мягко за мной захлопнулась. Солидная медная доска мягко блеснула аккуратно выгравированными буквами:

Доктор медицины... Прием... Ухо, горло, нос...

...Старый дурак, на что ты убил пятьдесят лет жизни?..

...Но ничего, ничего — наверстаем...

...Вы думаете — я сумасшедший?..

* * *

Я больше не бывал у К<ульбина> после этого вечера, да и он не приглашал меня. Должно быть, мне не удалось скрыть при встрече с ним, после его «коронации», неловкости, которую я испытал. Изредка я продолжал встречать его то здесь, то там — такого же, как всегда,— солидного, серьезного, поблескивающего очками и погонами. Потом началась война... Потом, в начале лета 1917 года, в ясный, веселый, солнечный день, какой-то знакомый, встретив меня на Невском, сообщил:

— Знаете — К<ульбин> умер.

— От чего?

— От страху.

— Как так?

— Так. Он шел по улице. Навстречу грузовик с солдатами. Видят — генерал. Схватили, повезли в Думу. Там его продержали полчаса и, конечно, выпустили с извинениями. Он приехал домой и слег. Пролежал два дня и отдал Богу душу. И ничего у него не было — и сердце прекрасное. Испугался очень. Несчастный!..

III

Принято думать, что всероссийская слава Игоря Северянина пошла со знаменитой обмолвки Толстого о ничтожестве русской поэзии. Действительно, в подтверждение своего мнения Толстой процитировал северянинское: «Вонзите штопор в упругость пробки, и взоры женщин не будут робки». Действительно, благодаря этому имя будущего (увы, недолговечного) кумира эстрад и редакций промелькнуло на страницах газет (до сих пор оно было лишь уделом почтовых ящиков: «к сожалению, не подошло»). Но настоящая слава пришла позже. И пришла она, в сущности, вполне «легально»: Игорем Северяниным заинтересовались Сологуб, позднее Брюсов и «лансировали» его.

Была весна 1911 года. Мне было семнадцать лет. Я напечатал в двух-трех журналах несколько стихотворений, завел уже литературные знакомства с Кузминым, Городецким, Блоком, был полон литературой и стихами.

Имени Северянина я до тех пор не слышал. Но, роясь однажды на «поэтическом» столике у Вольфа, я раскрыл брошюру страниц в шестнадцать (названия уже не помню), имевшую сложный подзаголовок: такая-то тетрадь, такого-то выпуска, такого-то тома. На задней стороне обложки было перечислено содержание всех томов и тетрадей, приготовленных к печати,— что-то очень много. А также объявлялось, что Игорь Северянин, Подъяческая, дом такой-то, принимает молодых поэтов и поэтесс — по четвергам, издателей по средам, поклонниц по вторникам и т. д. Все дни недели были распределены и часы точно указаны, как в лечебнице. Я прочел несколько

стихотворений. Они меня «пронзили». Их безвкусие, конечно, било в глаза, даже такие неискушенные, как мои (только месяц назад мне внушили, что Дм. Цензором не следует восхищаться...). Но, повторяю,— они пронзили. Чем, не знаю. Тем же, вероятно, чем через год и, кажется, так же случайно,— Сологуба.

* * *

Меня соблазняло, однако, я не сразу решился пойти на прием на Подъяческую улицу. Как держаться, что сказать? Идти в качестве молодого поэта? — в этом было что-то унизительное. Поклонника? — тоже, если даже забыть о своей мужской природе, так как в объявлении значились только поклонницы. Я нашел выход: приняв солидный вид, я отправился к Игорю Северянину в часы, назначенные для издателей. В сущности, я и собирался в ближайшем будущем стать издателем... своей собственной книги (семьдесят пять рублей, выпрошенные у старшей сестры, я хранил в надежном месте).

Еще одно обстоятельство смущало меня, пока я ехал с Каменноостровского на Подъяческую. Несомненно, человек, каждый день принимающий посетителей разных категорий, стихи которого полны омарами, автомобилями и французскими фразами,— человек блестящий и великосветский. Не растеряюсь ли я, когда подъеду на своем ваньке к дворцу на Подъяческой, когда надменный слуга в фиалковой ливрее проведет меня в ослепительный кабинет, когда появится сам Игорь Северянин и заговорит со мной по-французски с потрясающим выговором?..

Но жребий был брошен, извозчик нанят, отступать было поздно...

Игорь Северянин жил в квартире № 13. Этот роковой номер был выбран помимо воли ее обитателя. Домовая администрация, по понятным соображениям, занумеровала так самую маленькую, самую сырую, самую грязную квартиру во всем доме. Ход был со двора, кошки шмыгали по обмызганной лестнице. На приколотой кнопками к входной двери визитной карточке было воспроизведено автографом с большим росчерком над ѣ: Игорь Сѣверянин. Я позвонил. Мне открыла маленькая старушка с руками в мыльной пене. «Вы к Игорю Васильевичу? Обождите, я сейчас им скажу». Она ушла за занавеску

и стала шептаться. Я огляделся. Это была не передняя, а кухня. На плите кипело и чадило. Стол был завален немытой посудой. Что-то на меня капнуло: я стал под веревкой с развешенным для просушки бельем...

«Принц фиалок и сирени» встретил меня, прикрывая ладонью шею: он был без воротничка. В маленькой комнате с полкой книг, с жалкой мебелью, какой-то декадентской картинкой на стене — был образцовый порядок. Хозяин был смущен, кажется, не менее меня. Привычки принимать посетителей у него еще не было.

После молчания, довольно долгого, он заговорил что-то о даче и что в городе жарко. Потом уж перешли на стихи. Северянин предложил мне прочесть. Потом стал читать свои. Манера читать у него была та же, что и сами стихи,— и отвратительная, и милая. Он их пел на какой-то опереточный мотив, все на один и тот же. Но к его стихам это подходило. Голос у него был звучный, наружность скорее привлекательная: крупный рост, крупные черты лица, темные вьющиеся волосы. Мы просидели довольно долго, никто нам не мешал, «издателей» больше не приходило. Простились мы почти дружески. Вскоре мы действительно подружились.

Я стал частым гостем на Подьяческой. Совсем новый для меня быт литературной богемы меня привлекал и мне льстил. Я помянул, что имел уже литературные знакомства. Но ходить на чаи к Кузмину или вести раз в месяц почтительные разговоры с Блоком было совсем не то, что ежедневно ездить по «Венам», «Черепенниковым» и «Давидкам», участвовать в поэзо-вечерах в Лигове или на Выборгской стороне, с красным бантом вместо галстука на шее. Этот бант я завел по внушению Игоря и, не смея, конечно, надевать его дома, перевязывал на Подьяческой. Шумные поэзо-вечера и шумные попойки чередовались с «редакционными» собраниями в квартире Северянина. Поэтов вокруг Игоря группировалось довольно много. Трое удостоились высокой чести быть «директориатом» при нем. Это были — я, Константин Олимпов, сын Фофанова, явно сумасшедший, но не совсем бездарный мальчик лет шестнадцати, и Грааль Арельский, по паспорту Степан Степанович Петров, студент не первой молодости, вполне уравновешенный и вполне бесталанный.

«Директориат» решил действовать, завоевывать славу и делать литературную революцию. Сложившись по полтора рубля, мы выпустили манифест эго-футуризма. Написан он был простым и ясным языком, причем тезисы следовали по пунктам. Помню один: «Призма стиля — реставрация спектра мысли...»

Кстати: этот манифест перепечатали очень многие газеты и, в большинстве, его комментировали или спорили с ним вполне серьезно!

* * *

Однажды на Подъяческую, хотя, кажется, и не в предназначенный для этого час, пришел настоящий издатель. Правда, он пока ничего не издавал, но, прочтя наш манифест, решил предоставить свой кошелек в распоряжение «реставраторов спектра мысли». Кошелек был не очень тугой: нередко, для нужд издательства, золотые часы Ивана Васильевича Игнатьева отправлялись в ломбард. Но все же к нашим услугам теперь была еженедельная газета «Петербургский Глашатай»; когда она прекратилась, за полной убыточностью, то альманахи под тем же названием. Стихи назывались поэзами, издания — эдициями, редактор — директором. На летний сезон к услугам эго-футуристов была другая газета — увы! вульгарно называвшаяся — «Нижегородец». Она выходила в Нижнем Новгороде во время ярмарки и была полна ценами, балансами и статьями о сбыте рыбы в Персию. Но какой-то дядюшка Игнатьева, ее издававший, был не чужд возвышенному и печатал без разбора все, что тот присылал. Мы все этим широко пользовались. Я, помню, напечатал там большую статью, доказывавшую, что Метерлинк пошляк и бездарность... Гонорара, понятно, нам не платили.

В маленьком деревянном «собственном доме», на углу Дегтярной и восьмой Рождественской, в редакции «Петербургского Глашатая» происходили время от времени «поэзо-праздники», о которых для «эпатирования» особыми извещениями сообщалось редакциям разных газет. Программы эти назывались «верже́тками» (верже — сорт бумаги) и были составлены крайне соблазнительно и пышно. Прилагалось и меню ужина, где фигурировали ананасы в шампанском, Крем де Виолетт и филе

молодых соловьев. В действительности, конечно, было попроще. Полбутылки Крем де Виолетт'а (фирмы Cusimier, продавался у Елисеева) украшали стол больше в качестве символа поэзии и изящества. Но водка и удельное вино подавались в таком количестве, что нередко гости впадали в совершенно невменяемое состояние. Иногда случались вещи совсем дикие. Так, однажды, некто Петр Ларионов, на сорок пятом году соблазненный футуризмом, занимавший странную должность заведующего царскосельским птичником, ушел от Игнатьева с наполовину выбритой головой (он носил поэтическую шевелюру), с лицом, раскрашенным, как у индейца, и с бубновым тузом на спине.

Этот Игнатьев, на вид нормальнейший из людей,— кругло- и краснощекий, типичный купчик средней руки, очень страшно погиб. На другой день после своей свадьбы, вернувшись с родственных визитов, он среди белого дня набросился на жену с бритвой. Ей удалось вырваться. Тогда он зарезался сам.

* * *

Моя дружба с Игорем Северяниным, и житейская, и литературная, продолжалась недолго. Я перешел в Цех Поэтов, завязал связи более «подходящие» и поэтому бесконечно более прочные. Но лично с Северяниным мне было жалко расставаться. Я даже пытался сблизить его с Гумилевым и ввести в Цех, что, конечно, было нелепостью. Мы расстались (две-три позднейшие встречи в счет не идут), когда Северянин был в зените своей славы. Бюро газетных вырезок присылало ему по пятьдесят вырезок в день, сплошь и рядом целые фельетоны, полные восторгов или ярости (что, в сущности, все равно для «техники славы»). Его книги имели небывалый для стихов тираж, громадный зал городской Думы не вмещал всех желающих попасть на его «поэзо-вечера». Неожиданно сбылись все его мечты: тысячи поклонниц, цветы, автомобили, шампанское, триумфальные поездки по России... Это была самая настоящая, несколько актерская, пожалуй, слава. Игорь Северянин не сумел ее удержать, как не сумел удержать и того неподдельного очарования, которое было в его прежних стихах. О теперешних лучше не говорить.

IV

Классическое описание Петербурга почти всегда начинается с тумана.

Туман бывает в разных городах, но петербургский туман — особенный. Для нас, конечно. Иностранец, выйдя на улицу, поежится: «бр... проклятый климат...»

Ежимся и мы. Но

ни на что не променяем пышный,
Гранитный город славы и беды,
Широкие, сияющие льды,
Торжественные черные сады...

И туман, туман — душу этих «льдов и садов»...

«Невы державное теченье, береговой ее гранит»,— Петр на скале, Невский, сами эти пушкинские ямбы,— все это внешность, платье. Туман же — душа.

Там, в этом желтом сумраке, с Акакия Акакиевича снимают шинель, Раскольников идет убивать старуху, Иннокентий Анненский, в бобрах и накрахмаленном пластроне, падает с тупой болью в сердце на грязные ступени Царскосельского вокзала, прямо:

В желтый пар петербургской зимы,
В желтый снег, облипающий плиты,

которые он так «мучительно любил».

Впрочем,— все это общеизвестно.

* * *

На Невском шум, экипажи, свет дуговых фонарей, «фары» Вуазенов, «берегись» лихачей, «соболя на плечах и лицо под вуалью», военные формы, сияющие витрины. Блестящая европейская улица — если не рю Руайяль, то Унтер-ден-Линден. И туман здесь «не тот» — европеизированный, нейтрализованный. Может быть, «тот» настоящий петербургский туман и не существует больше?

Нет, он тут, рядом, в двух шагах. В двух шагах от этого блеска и оживления — пустая улица, тусклые фонари и туман.

В тумане бродят странные люди.

Поверните по Малой Конюшенной за угол. Два-три дома и вот:

В серый цвет окрашенные стены,
Вывеска зеленая «Портной».

Вывеска, впрочем, не зеленая. Приказом градоначальника на главных улицах столицы в вывесках соблюдается «пристойное однообразие». Должно быть, начитался Курбатова градоначальник.

Вывеска портного — черная, с золотыми буквами. Она импозантна не по чину — портной маленький. Чтобы не отпугивать клиентов, на стеклянной двери — записка, смягчающая торжественный холод вывески: «Переделка, перелицовка, утюжка по дешевой цене». А рядом с запиской подсунута желтоватая визитная карточка:

Николай Карлович Ц<ыбульский>, свободный художник, *не окончивший* С.-Петербургской консерватории.

— Николай Карлович дома?

И, не подымая лохматой головы от чего-то бурого или замасленного, перелицовываемого или переделываемого,— портной хмуро отвечает:

— Спит.

Спит — значит дома. Что же можно делать дома, как не спать после вчерашнего похмелья, набираясь сил для сегодняшнего.

В большой комнате полутемно, шторы опущены. В сумраке виден рояль, люстра в чехле, стол с грудой бумаг. В углу, на кровати, кто-то похрапывает...

— Николай Карлович!

Дремлющий грузно переворачивается, заставляя трещать все пружины матраца.

— Чего надо? К черту! Который час?

— Поздно. (Действительно, не рано — пятый час дня). Вставайте.

Всклокоченная голова тяжело приподымается с подушки. Руки выпрастываются из-под шубы. Голос хриплый, но приятный и барственный, слегка грассируя, говорит:

— Будьте добры, «мон шевалье», если это вас не затруднит, зажечь электричество, чтобы я мог видеть ваши благородные черты.

При свете впечатление от комнаты меняется.

В сумраке она выглядела приличной, даже внушительной. Высокий потолок, раскрытый рояль, «следы труда и вдохновенья»... Но при свете...

Пол в окурках, спичках, бумажках. Груды старых газет, пустых бутылок, коробок от консервов.

На рояли прикапан, прямо к доске, огарок восковой трехкопеечной свечки. Другой, догорев, расплылся затейливым сталактитом на выложенной перламутром надписи: «Бехштейн». На стенах подтеками сырости, углем нарисованы рожи: Адам и Ева, срывающие плод (крайне натурально), коты с задранными хвостами, черти. Кровать — хаос пестрого тряпья. На ночном столике — бутылка, с водкой на донышке.

Хозяин, свободный художник, «не окончивший консерватории»,— толстый, опухший, давно небритый. Выражение лица — смесь тошноты после перепоя и иронии. Но в манерах протягивать руку, надевать плохо слушающимися пальцами пенсне, закуривать длинную папиросу — какая-то респектабельность.

— Очень мило, дорогой маркиз, что вы навестили старого пьяницу. Прошу садиться...

* * *

Если в Петербурге особенный туман, то самый «особенный» он вечерами на Васильевском острове.

На пересечении проспектов Большого, Малого и Среднего — пивные. На Василеостровских «линиях» туман, мгла, тишина. Но с перекрестков бьют снопы электричества, пьяного говора, «Китаяночка» из хриплого рупора:

После чая, отдыхая,
Где Амур река течет,
Я увидел китаянку...

Некоторые пивные замечательные.

Устроили их немцы в 80-х годах с расчетом на солидных и спокойных клиентов — немцев же. Солидные мраморные столики, увесистые пивные кружки, фаянсовые подставки под них с надписями вроде:

— Morgenstunde hat Gold im Munde *.

На стенах кафелями выложены сцены из Фауста, в стеклянной горке — посуда для торжественных случаев. Она давно под замком,— старых, хороших клиентов давно нет, солидная немецкая речь давно не слышна. Теперь в этих «Эдельвейсах» и «Рейнах» собираются по вечерам отребья петербургской богемы.

...Визжит и хрипит разудалая «Китаянка». Зеркальные, исцарапанные надписями стены сияют немытым блеском, жирная белая пена ползет по толстому стеклу.

— Человек! Еще парочку. Тепленького!

От теплого пива скорее «развозит». Холодное пьют одни «пижоны».

...Китаянка, китаянка,
Китаяночка моя...

К десяти вечера — «Эдельвейс» полон. «Торгуют» официально до двенадцати — засиживаются гости до часу. Потом в «Доминик» на Невском, открытый до трех ночи... А в четыре утра, на Сенной, начинают открываться извозчичьи чайные — яичница из обрезков и спирт в битом чайнике на коричневой от грязи скатерти. Это называется пить «с пересадками»...

...Китаянка... Китаянка...

Почти все столики полны. В углу — три стола сдвинуты рядом под пыльной искусственной пальмой. Этот угол — поэтически-литературный-музыкальный. Там председательствует Ц<ыбульский>. И идут бесконечные разговоры.

Вот Ш., поэт, вечный студент — длинный, черный, какой-то обожженный, в долгополом выгоревшем сюртуке. Необыкновенно ученый, полусумасшедший. Для него «путешествие с пере-

* У раннего часа — золото во рту (т. е.: Кто рано встает, тому Бог подает.— *Ред.*).

садками» начинается с утра — вместо кофе стакан водки и две кильки. Он уже совсем пьян — и замогильным голосом толкует что-то о Ницше. Г., тоже поэт и тоже пьяный, захлебываясь, его перебивает:

— Романтизм, романтизм... Новалис... Голубой цветок.

Еще какие-то люди. Тоже поэты, или музыканты, или философы,— кто их знает. Шумней всех М.— актер, не спившийся и даже не пьяный,— притворяется только. Зачем он притворяется? Всем известно, что от Доминика он уже улизнет — домой, спать. Ведь завтра — репетиция — Боже сохрани — пропустить. И пить-то он не любит, и денег жаль — а приходится не только за себя, и за других платить. Зачем же он это делает?

Из чести. Странная, казалось бы, честь. А вот, подите же...

М. шумно чокается, нарочно проливая, шумно предлагает бестолковый тост. Он жестикулирует, бьет себя в грудь, плачет...— Выпьем за искусство... Построим лучезарный дворец... Эх, молодость, где ты...

Пьяницы непритворные чокаются и пьют. Они знают, что М. притворяется, что никаких «разбитых надежд» заливать ему нечего, что он просто балагур, пошляк. Но им безразлично,— с кем пить, чью болтовню слушать. Все давно безразлично. Все на свете чушь, вздор, галиматья.— Человек! Еще парочку!..

...Китаянка — китаянка... Романтизм... голубые дали... Так говорил Заратустра...

Голос Ц<ыбульского> — хриплый и барственный — вдруг покрывает все это:

— Если есть бессмертие души... Да... А оно есть... И Бог спросит меня... Там... Что ты, Николай, сделал... Сыграй!.. я ему сыграю... Да... Я ему сыграю... *Чижика.*

— И буду... прав, а?

— Прав... прав...— кричат пьяные голоса.— Здорово, Ц<ыбульский>... Так и надо. Чижика ему... Выпьем...

М. в восторге лезет целоваться.

* * *

Сталкиваясь с разными кругами «богемы», делаешь странное открытие.

Талантливых и тонких людей — встречаешь больше всего среди ее подонков.

В чем тут дело? Может быть, в том, что самой природе искусства противна умеренность. «Либо пан, либо пропал». Пропадают неизмеримо чаще. Но между верхами и подонками — есть кровная связь. «Пропал». Но мог стать паном и, может быть, почище других. Не повезло, что-то помешало — голова «слабая» и воли нет. И произошло обратное «пану» — «пропал». Но шанс был. А средний, «чистенький», «уважаемый», никак, никогда не имел шанса — природа его совсем другая.

В этом сознании связи с миром высшим, через голову мира почтенного,— гордость подонков. Жалкая, конечно, гордость.

Ц<ыбульский> начал блестяще.

— ...Вот был в консерватории мальчик Ц<ыбульский>. Какой был Божий дар,— вспоминал старичок-генерал Кюи.— Если бы остался жив — понятие о музыке перевернул бы. Какой дар, какой размах!

— Да Ц<ыбульский> не умер. Недавно еще какой-то его романс у Юргенсона. Очень талантливый, конечно, хотя...

Кюи качал головой.— Романс? Талантлив? Нет, не тот Ц<ыбульский>, не может быть тот. Тот, если бы жил,— показал бы...

Так как Ц<ыбульский> не умер и не «перевернул понятия о музыке»,— ему оставалось единственное — спиться.

...Комната у портного на Конюшенной. Два оплывающие огарка. Высокий потолок расплывается в сумраке. Рояль раскрыт.

Облезлых стен, пятен сырости, окурков и пустых бутылок — не видно. Комната кажется пустой и торжественной. Пламя огарков колеблется.

В этом колеблющемся свете не видно и то, что так бросается в глаза в «мертвом, беспощадном свете дня» в лице Ц<ыбульского>: опухлость бессонных ночей, давно небритые щеки, едкая, безнадежная «усмешечка» идущего на дно человека. Оно помолодело, это лицо, и изменилось. Глаза смотрят зорко и пристально в растрепанную нотную рукопись...

Ц<ыбульский> берет два-три аккорда, потом смахивает ноты с пюпитра.

— К черту! Я буду играть так.

«Так» — значит импровизировать. Разные бывают импровизации, но то, что делает Ц<ыбульский>,— ни на что не похоже.

Сначала — «полосканье зубов» — как он сам называет свою прелюдию. Нечто вроде гамм, разыгрываемых усердной ученицей, только что-то неладное в этих гаммах, какая-то червоточина. Понемногу, незаметно, отдельные тона сливаются в невнятный, ровный, однообразный шум. Минута, три, пять,— шум нарастает, тяжелеет, превращается в грохот.— Вот так импровизация! — Какой-то стук тысячи деревянных ложек по барабану. Какая же это музыка?..

Тс... Не прерывайте и вслушайтесь. Слышите? Еще нет? А... слышите теперь?

...Среди тысячи деревянных ложек — есть одна серебряная. И ударяет она по тонкому звенящему стеклу...

Слышите?

Ее едва слышно, она скорее чувствуется, чем слышна. Но она есть, и ее тонкий, легкий звон проникает, осмысливает, перерождает — этот деревянный гул. И гул уже не деревянный — он глохнет, отступает, слабеет...

Не отрывая пальцев от клавиш, Ц<ыбульский> оборачивается к слушателям. Его лицо раскраснелось, глаза шалые. Он перекрикивает музыку:

— Людоеды отступают, щелкая зубами. Им не удалось сожрать прекрасного англичанина!

Не обращайте внимания на это дикое «пояснение». Слушайте, слушайте...

...Шум исчез. Чистая, удивительная, ни на что не похожая мелодия — торжествует победу. Лучше закрыть глаза. Закрыть глаза и слушать это торжество звуков. Нет больше ни Конюшенной, ни оплывающих огарков, ни залитого пивом рояля. Наступает минута, когда:

Все исчезает,— остается
Пространство, звезды и певец.

Слушайте! Сейчас все оборвется, крышка рояля хлопнет, и хриплый голос пробасит:

— Ну, довольно ерунды!

— Какую прелесть вы играли, Н. К. Почему вы не запишете этого?

— Записать? — Деланно-глуповатая усмешка.— Записать? Пробовал-с. И неоднократно. *Не поддается* записи...

Да и к чему. И так слышно. «Имеющие уши да слышат»,— затягивает Ц<ыбульский>, как дьякон. Потом жеманно раскланивается:

— Позвольте узнать, виконт, что вам приятнее — сидеть в конуре старого пьяницы или отправиться в небезызвестный этаблисман Эдельвейс?

Однажды, уже в начале войны, я зашел под вечер мимоходом к Ц<ыбульскому> — и удивился.

Гладко причесанный, чисто выбритый,— он старательно завязывал «художественный» бант на белоснежной рубашке. Визитка... разутюженные брюки... Запах одеколона... Что за чудеса?

Ц<ыбульский> улыбнулся.

— Поражены блеском моего туалета, синьор? Думаете, что с старым пьяницей? Сошел с ума? Получил наследство? Идет свататься?

— В самом деле, Н. К., куда вы так наряжаетесь?

Ц<ыбульский> щелкнул языком: — «Много будете знать...» Впрочем, если угодно, возьму вас с собою. Обещаю — прелюбопытное зрелище... и недурной ужин. Едемте, в самом деле,— не пожалеете.

— Куда?

Он сделал важную мину.

— В Санкт-петербургское общество внеслуховой музыки. Да-с, *внеслуховой*. Не слыхали такого термина? И понятно. Открытие сие покуда держится в тайне...

Он переменил выспренний тон на свой обычный,— идем, не пожалеете. Да что объяснять — увидите сами.

Делать мне было в тот вечер — нечего. Я поехал.

...Мы вошли в темноватый подъезд какого-то особняка. Швейцар, молча, поклонившись, снял с нас шубы. Так же молча лакей повел нас через какие-то пустовато и дорого обставленные комнаты.

Мне стало неловко — являюсь в чужой дом, никем не званый, да еще в сером костюме...

— Чушь,— сказал на это Ц<ыбульский>.— Здесь на пиджаки не смотрят. Здесь, забирай выше, смотрят на духовную сущность человека. Да, вот мы здесь какие... Конечно, смотрят в книгу, видят фигу — это уж «общечеловеческое»,— но поползновения-то благие...

...В большой, неярко освещенной гостиной было человек двадцать. Несколько дам в черных платьях, несколько накрахмаленных пластронов. Остальные попроще, но тоже приличного и культурного вида.

Ц<ыбульского> встретили тихими аплодисментами. Он важно раскланялся, пожал кое-кому руки, все это безмолвно, как в кинематографе.— Глухонемые,— шепнул он мне.— Все глухонемые. Не говорите громко, это их раздражает, когда они приготовились слушать. Не звук голоса, конечно, а жесты, движения губ. Народ нервный. Сядьте вон там. Сейчас начнется.

...Лакей щелкнул выключателем. Лампы погасли. На эстраде вспыхнул бледно-серым цветом диск в пол-аршина диаметром. Этот бледный свет едва освещал высокий инструмент, вроде пианино, и грузную фигуру Ц<ыбульского> за ним. Все остальное было погружено в темноту. Стояла полная тишина.

И вот Ц<ыбульский> ударил по клавишам из всей силы. Вместо грома музыки — послышался только глухой стук. Но диск вспыхнул — ярко-оранжевым, потом синим, потом со стремительной быстротой в нем пронеслись все оттенки красного — от бледно-розового до пунцового...

Так вот она, внеслуховая музыка!

Немые клавиши сухо трещали под сильными ударами пальцев Ц<ыбульского>. Оранжевый, синий, красный, зеленый — пронеслись по диску в дикой какофонии красок.

И вдруг... в зале послышалось какое-то сопение, шорох, гул.— Глухонемые слушатели начали *подпевать*.

Сначала робко, тихо, потом все сильней. Нестройный шум, похожий на ворчание, все возрастал, делаясь все более нестройным. Уже не ворчанье — лай, блеяние, крик, вой, хрипенье — наполняло комнату...

Диск мелькал и мелькал. Когда он вспыхивал особенно ярко — видны были слушатели. На всех лицах выражение не то блаженства, не то ужаса. Одни орали — выделывая ртом странные движения, некоторые, опрокинувшись, обхватывали

голову руками, другие раскачивались всем телом, третьи размахивали руками, точно дирижируя...

...Глухонемой швейцар, получив от меня двугривенный, страшно замычал в благодарность. Пока я одевался — Ц<ыбульский> догнал меня в прихожей.

— Уходите? Испугались? Что за глупости?! Я проиграю им еще две-три вещицы и потом будем ужинать всей семейкой. Оставайтесь, право. Если невмоготу слушать — посидите где-нибудь в другой комнате.

Я сослался на головную боль — и, действительно, голова начинала трещать. Ц<ыбульский> пожал плечами — ну, до свидания. Так уж не понравилась музычка? А знаете, кстати, что я им играл и что они подпевали? — Ведь они перед концертом готовятся, разучивают по нотам — Девятую симфонию!..

V

На визитных карточках стояло: Борис Константинович Пронин — доктор эстетики, Honoris Causa. Впрочем, если прислуга передавала вам карточку — вы не успевали прочитать этот громкий титул. «Доктор эстетики», веселый и сияющий, уже заключал вас в объятия. Объятье и несколько сочных поцелуев куда попало были для Пронина естественной формой приветствия, такой же, как рукопожатие для человека менее восторженного.

Облобызав хозяина, бросив шапку на стол, перчатки в угол, кашне на книжную полку, он начинал излагать какой-нибудь очередной план, для исполнения которого от вас требовались или деньги, или хлопоты, или участие. Без планов Пронин не являлся, и не потому, что не хотел бы навестить приятеля,— человек он был до крайности общительный,— а просто времени не хватало. Всегда у него было какое-нибудь дело и, понятно, неотложное. Дело и занимало все его время и мысли. Когда оно переставало Пронина занимать,— механически появлялось новое. Где же тут до дружеских визитов?

Пронин всем говорил «ты».— Здравствуй,— обнимал он кого-нибудь попавшегося ему у входа в «Бродячую Собаку».— Что тебя не видно? Как живешь? Иди скорей, *наши* (широкий жест в пространство) все *там*...

Ошеломленный или польщенный посетитель — адвокат или инженер, впервые попавший в «Петербургское Художественное Общество», как «Бродячая Собака» официально называлась, беспокойно озирается,— он незнаком, его приняли, должно быть, за кого-то другого? Но Пронин уже далеко.

Спросите его: — С кем это ты сейчас здоровался?

— С кем? — широкая улыбка.— Черт его знает. Какой-то хам!

Такой ответ был наиболее вероятным. «Хам», впрочем, не значило ничего обидного в устах «доктора эстетики». И обнимал он первого попавшегося не из каких-нибудь расчетов, а так, от избытка чувств.

Явившись с проектом, Пронин засыпал собеседника словами. Попытка возразить ему, перебить, задать вопрос,— была безнадежна.— Понимаешь... знаешь... клянусь... гениально... невероятно... три дня... Мейерхольд... градоначальник... Ида Рубинштейн... Верхарн... смета... Судейкин... гениально...— как горох, летело из его не перестававшего улыбаться рта. Редко кто не был оглушен и редко кто отказывал, особенно в первый раз.

«Гениальное» дело, конечно, не выходило. Из-за «пустяка», понятно. Пронин не унывал. Теперь все предусмотрено. Гениально... невероятно... изумительно... Рихард Штраус...

Умудренный опытом, обольщаемый жмется.

— Да ведь и в прошлый раз по вашим словам выходило, что все устроится.

«Ах, Боже мой, что за человек,— выражает лицо Пронина,— не хочет понять простой вещи.— Да ведь тогда провалилось, потому что он стал интриговать. Теперь он наш. Теперь все пойдет изумительно, вот увидишь...»

И кто-то снова, вздыхая, выписывает чек или едет хлопотать в министерство, или пишет пьесу, по мере сил участвуя в работе этой работающей впустую машины, которая зовется деятельностью Бориса Пронина.

* * *

Машина, впрочем, работала не совсем впустую, какие-то крупинки эта мельница, рассчитанная, казалось бы, на сотни пудов,

все-таки молола. «Что-то», в конце концов, получалось или «наворачивалось», как Пронин выражался.

Так, навернулись по очереди — «Дом Интермедии», потом «Бродячая Собака», наконец, «Привал Комедиантов». Не так мало, в сущности, если не знать, сколько энергии, и своей, и чужой, на них убито.

Пронин хлопотал над устройством «Привала Комедиантов». «Машина» работала вовсю. Рабочие требовали денег, а денег не было; какое-то военное учреждение прислало солдат для очистки помещения, на которое, оказывается, оно имело права; вода бежала со всех стен (это еще ничего) и из только что устроенных каминов, что было хуже, т. к. без каминов как же было сушить стены?

Воду откачивали насосами. Вместо подмоченных поленьев накладывались новые, вода из Мойки, на углу которой «Привал» помещался, их вновь заливала. Пронин, растрепанный, без пиджака, несмотря на холод (в волнении он всегда снимал пиджак, где бы ни находился), в батистовой белоснежной рубашке, но с галстуком набоку и перемазанный сажей и краской, распоряжался, кричал, звонил в телефон, выпроваживал солдат, давал руку на отсечение каменщикам, что завтра (это завтра тянулось уже месяцев шесть) они получат деньги, сам хватался за насос, сам подливал керосину в не желающие гореть дрова...

Зашедших его навестить он встречал с энтузиазмом и вел показывать свои владения.

«Это,— Пронин кивал на грязную сводчатую комнату, со стенами в бурых подтеках и кашей из известки и грязи вместо пола,— «Венецианский зал». Его устроит мэтр Судейкин. Черный с золотом. Там будет эстрада. Никаких хамских стульев — бархатные скамьи без спинок...

— Так ведь будет неудобно?

— Удивительно неудобно! Скамейка-то низкая и покатая, *венецианская*... Но ничего, *свои* будут сидеть сзади, на стульях. А это специально для буржуев — десятирублевые места...

А здесь — монмартрское бистро. Распишет все Борис Григорьев — изумительно распишет. Вот — смотри, газ уже проведен, будет совсем как в Париже.

На стене уныло торчит газовый «бек». По всем потолкам видны следы работы электропроводчиков, и этот рожок единственный во всем помещении.

— Специально проводили,— горделиво щелкает по нему Пронин.— В семьсот рублей обошелся, специальную трубу пришлось прокладывать. Зато — шик, совсем как в Париже. Буржуи будут закуривать и ахать.

— А здесь что?

Пронин еще сам не решил, что будет здесь, между бистро и Венецией. Но не хочет показать этого.

— Здесь...— так, уголок, бросим какую-нибудь ткань, ковер, широкий диван...

— А эта комната напоминает купальню.

— Купальню? — Пронин прищуривается.— Купальню? Гениально! Изумительно! Именно, здесь будет восточная купальня. Завтра велю ломать бассейн. Напустим воды (ее-то хватит!). Разноцветные стены, стекла... в бассейне плавает лебедь... свет сверху...

— Ну, свет сверху мудрено устроить...

— Ничуть — проломим потолок.

— Это шесть этажей проломаете?

— Что же такого? Сниму все квартиры и проломаю... Впрочем, кажется, я того — фантазирую...

— Борис Константинович,— вбегает мальчишка-обойщик, с озабоченно-восторженным лицом.— Вода!

— А, черт! — И с таким же озабоченно-восторженным видом, как у своего подручного, Пронин бежит в «Венецианский зал», откуда слышно глухое плескание заливающей пол воды...

* * *

Вряд ли самому Пронину пришла бы мысль бросить насиженное место в подвале на Михайловской площади и заняться «динамитно-подрывной» работой на углу Мойки и Марсова поля. «Собака» была частью его души, если не всей душой. Дела шли хорошо, т. е. домовладелец — мягкий человек — покорно ждал полагающейся ему платы, пользуясь, покуда, в виде процентов, правом бесплатного входа в свой же подвал и почетным званием «друга Бродячей Собаки». Ресторатор,

итальянец Франческо Танни, тоже терпеливо отпускал на книжку свое кислое вино и непервосортный коньяк, утешаясь тем, что его ресторанчик, до тех пор полупустой, стал штаб-квартирой всей петербургской богемы. Большинство новых посетителей, впрочем, тоже платили лишь в исключительных случаях — больше обедали в кредит.

У этого Франчески Танни часто устраивались и импровизированные пиры. Так, однажды Пронин, встав утром, решил, что сегодня его именины. Но поздно уже звонить в телефон или рассылать записки. Пронин сделал так: он стал прогуливаться по солнечной стороне Невского — и приглашать всех знакомых, которые ему попадались. Знакомых у Пронина было достаточно. В назначенный час в маленьком и тесном помещении «Франчески» набилось человек шестьдесят, желавших чествовать «дорогого именинника». Сдвинули столы; пошли в дело и кисловатое «каберне», и мутноватое шабли, и не особенно тонкий, но чрезвычайно крепкий коньяк таинственной французской фирмы «Прима». Ну, и кьянти, конечно. Пил «именинник», пили его «друзья», пил хозяин, респектабельный седой итальянец, похожий на знаменитого скрипача. Наконец, «все съедено, все выпито», ресторан пора закрывать. Пронину подают счет. Неслушающимися пальцами Пронин его разворачивает.

— Это... это что такое?

— Счет-с, Борис Константинович.

— А это?..— Палец, помотавшись некоторое время в воздухе, как птица, выбирает место, чтобы сесть,— тычет в сумму счета.

— Двести рублей-с...

Отблеск удивления и ужаса мелькает на блаженном лице «именинника». Он минуту молчит, потом патетически восклицает:

— Хамы! Кто же будет платить!..

. . . .

Нет, сам Пронин вряд ли бы по своему почину расстался с Михайловской площадью. Идею переменить скромные комнаты «Собаки», с соломенными табуретками и люстрой из обруча, на венецианские залы и средневековые часовни «Привала» внушила ему Вера Александровна.

Портрет «Веры Александровны», «Верочки» из «Привала» должен был бы нарисовать Сомов, никто другой.

Сомов — как бы холодно ни улыбнулись, читая это, строгие блюстители художественных мод,— Сомов удивительнейший портретист своей эпохи: трагически-упоительного заката «Императорского Петербурга».

Я так представляю это ненарисованное полотно: черные волосы, полчаса назад тщательно завитые у Делькроа,— уже слегка растрепаны. Сильно декольтированный лиф сползает с одного плеча,— только что не видна грудь. Лиф черный, глубоким мысом врезающийся в пунцовый бархат юбки. Пухлые руки, странно белые, точно набеленные, беспомощно и неловко прижаты к груди, со стороны сердца. Во всей позе тоже какая-то беспомощность, какая-то растерянная пышность. И старомодное что-то: складки парижского платья ложатся как кринолин, крупная завивка напоминает парик.

Прищуренные серые глаза, маленький улыбающийся рот. И в улыбке этой какое-то коварство...

* * *

Незадолго до войны в Петербург приехал Верхарн. Как водится — его чествовали, и тоже, как водится, чествование вышло бестолковое, и даже как бы обидное для знаменитого гостя. То есть намерения были самые лучшие у чествующих, и хлопотали они усердно. Но как-то уж все само собой обернулось не так, как следовало бы. Едва банкет начался,— все это почувствовали,— и устроители, и приглашенные, и, кажется, сам Верхарн. Несколько патетических речей, обращенных к «дорогому учителю», под стук ножей, и гавканье, ни с того ни с сего, «ура» — с дальнего конца стола, где успела напиться малая литературная братия. «Сервис» «Малого Ярославца» с запарившимися лакеями в нитяных перчатках, чересчур большое количество бутылок не особенно важного вина... Словом, лучше бы его не было, этого банкета.

Почти всех присутствующих я, понятно, знал, в лицо, по крайней мере. И меня удивило, что рядом с Верхарном сидит какая-то дама, совершенно мне незнакомая. Она была вычурно и пышно одета, бриллианты сияли в ушах, серые глаза щурились, маленькие губы улыбались...

Кто это? Я спросил своего соседа, тот не знал. Еще кого-то — то же. Верхарн очень оживленно и любезно, по-стариковски морща нос, разговаривал с этой незнакомкой, не слушая приветственных речей, где через третье слово повторялось хаос, и через пятое — космос.

Кто бы она могла быть? Как раз мимо проходил Пронин, знаменитый Пронин — «доктор эстетики», директор «Собаки». Жилет его фрака уже был расстегнут, на лице блаженство, в каждой руке по горлышку шампанской бутылки...

— Борис, кто эта дама?

Вездесущий доктор эстетики пожал плечами:

— Не знаю. И никто не знает. Сама приехала, сама села рядом с Верхарном...

И глубокомысленно добавил:

— Может быть, это его жена или (блаженная улыбка), или... племянница.

Пронин, по-видимому, вскоре убедился в своей ошибке насчет таинственной дамы. По крайней мере, когда в Петербурге через полгода появился другой поэтический гость — Поль Фор, Пронин, знакомя его с Верой Александровной, отрекомендовал ее:

— Voilà la maîtresse du Chien...*

Он желал сказать — хозяйка «Бродячей Собаки». Вера Александровна была уже женой беспутного и веселого «доктора эстетики».

* * *

Когда мы познакомились ближе, я услышал от Веры Александровны такие признания:

— Я бы согласилась на какую угодно муку, как андерсеновская ундина — при каждом шаге испытывать боль, точно ходишь по гвоздям,— только бы власть, власть над людьми...

— Власть над душами или... ну, как у исправника или царя?

— Ах,— всякую! Мне бы сначала хоть чуточку власти. Даже как у исправника хорошо. Даже такая власть — страшная сила, уметь только воспользоваться...

* Фраза имеет двойной смысл: «Вот хозяйка Собаки» и «Вот собачья любовница» (*фр.*).— *Ред.*

— Вам бы в Мексику, В. А., там это можно — женщин в губернаторы выбирают.

Но она не слушает.

— Власть,— говорит она протяжно, точно пробуя на вес это слово.— Власть... Над душами? Но ведь всякая власть над душами. Властвовать — над кем-нибудь, значит унижать его. Унижать его — возвышать себя. Чем больше кругом унижения, тем выше тот, кто унижает...

Она смеется.

— Что вы так на меня смотрите? Это я не сама выдумала — у Бальзака прочла. Или, может быть, у Гюисманса...

И, таинственно, точно секрет, сообщает:

— Власть — это деньги. Больше всего на свете я хочу денег.

— Все хотят, В. А.,— отвечаю я ей в тон тем же таинственным шепотом.

Она топает ногой.

— Перестаньте. Разве я *так* хочу? И... знаете, кстати, кто была моей героиней в детстве?

— Лукреция Борджиа?

— Нет. Тереза Эмбер.

И — «каблучком молоточа паркет»:

— Слаще всего издеваться над людьми.

От стука французского каблучка по полу синие чашки подпрыгивают на лакированном столике. Маленькая, пухлая, точно набеленная, рука протягивает тарелку с кексом...

— Я, конечно, шучу. Я самая обыкновенная женщина. Даже чтобы стать актрисой у меня не хватило воли. А не то что...

Серые глаза холодно щурятся, накрашенные губы улыбаются. И в улыбке этой — какое-то коварство...

* * *

Выйдя замуж за Пронина и став «la maîtresse du Chien», Вера Александровна сразу начала все переделывать, изменять и расширять в «Бродячей Собаке». И, конечно, на третий месяц заскучала.

Как было не заскучать? «Собака» — был маленький подвал, устроенный на медные гроши — двадцатипятирублевки, собранные по знакомым. В нем становилось тесно, если собиралось человек сорок, и нельзя было повернуться, если приходило шестьдесят. Программы не было — Пронин устраивал все на авось.— «Федя (т. е. Шаляпин) обещал прийти и спеть...» Если же Шаляпин не придет, то... заставим Мушку (дворняжку Пронина) танцевать кадриль... вообще, «наворотим» чего-нибудь...— В главной зале стояли колченогие столы и соломенные табуретки, прислуги не было — за едой и вином посетители сами отправлялись в буфет. Посетители эти были, по большей части, «свои люди» — поэты, актеры, художники, которым этот распорядок был по душе и менять они его не хотели... Словом, в «Собаке» Вере Александровне делать было нечего. Попытавшись неудачно ввести какие-то элегантные новшества, перессорившись со всеми, кто носил почетное звание «друга Бродячей Собаки», и поскучав в слишком скромной для себя и своих парижских туалетов роли,— она, по выражению Пронина,— решила «скрутить шею собачке».— По ночам бессонные бродяги из петербургской богемы перестали будить дворника у ворот, на углу Михайловской и Итальянской — и труба вентилятора, на которой на страх забредавшим в «Собаку» «буржуям» была зловещая надпись — «не прикасаться: смерть»,— перестала гудеть на узкой лесенке входа на третьем дворе.

На Марсовом поле был снят огромный подвал — не для того, чтобы возродить «Собаку»,— чтобы создать что-то грандиозное, небывалое, удивительное. Над подвалом поселилась хозяйка этого будущего «грандиозного и небывалого». Квартира была тоже огромная, с саженными окнами и необыкновенной высоты потолками. Холод в ней был ужасный. Несколькими этажами выше, в квартире Леонида Андреева — печи топились день и ночь, все было в коврах и портьерах и все-таки дыхание вылетало изо ртов — струйкой пара. Такой уж был холодный дом. А в квартире Веры Александровны не было ни ковров, ни портьер, часто не было и дров, даже окна не все замазаны. С утра до вечера снизу оглушительно стучали молотки каменщиков, с утра до вечера на парадной и черной лестницах обрывали звонки люди, желавшие получить по каким-то счетам, оплатить которые было нечем. Пронин

от холода и от нечего делать спал, навалив на себя все шубы, какие только были, а Вера Александровна, завитая и накрашенная, сидела часами у леденеющего зеркала, мечтая не знаю уж о чем,— о будущем «Привале Комедиантов» (так называлось новое кабаре) или о власти над душами...

От холода она куталась в свои широкие пушистые соболя. Впрочем, соболя иногда бывали в ломбарде, и тогда она куталась в одеяла.

* * *

— Как, В. А., вам и здесь скучно?

— Очень.

— И тесно?

— Да.

— Что же, будете еще перестраиваться и расширяться?

— Я уже сняла соседний подвал. Летом проломают стену, тогда венецианскую залу будет продолжать галерея. В этой галерее...

Она машет рукой.

— Не знаю, может, и не буду перестраиваться, или оставлю Борису, пусть делает, что хочет. Уеду куда-нибудь...

И высоко подымая подрисованные брови:

— Надоело. Скучно...

Внешность «Привала» была блестящая. Грязный подвал с развороченными стенами — превратился, действительно, в какое-то «волшебное царство». Из-под кружевных масок свет неясно освещал черно-красно-золотую судейкинскую залу; «бистро» оказалось сплошь расписано удивительными парижскими фресками Бориса Григорьева,— смежная зала была декорирована Яковлевым. Старинная мебель, парча, деревянные статуи из древних церквей, лесенки, уголки, таинственные коридоры — все это было удивительно задумано и выполнено. Вера Александровна, в шелках и бриллиантах, торжествующе встречала гостей — ну, каково? Пронин сиял. Наряженный во фрак, он водил посетителей показывать разные чудеса «Привала». Объясняя что-нибудь особенно горячо, он, по старой привычке, хватался за лацканы фрака, чтобы его скинуть. Но только хватался и тотчас же опускал руки. Не то место, не те вре-

мена — бывшее в «Собаке» вполне естественным — здесь было бы неприличным.

Старые завсегдатаи «Собаки» после первых восторгов были немного охлаждены непривычным для них тоном нового подвала. В «Собаке» садились, где кто хочет, в буфет за едой и вином ходили сами, сами расставляли тарелки, где заблагорассудится... Здесь оказалось, что в главном зале, где помещается эстрада, места нумерованные, кем-то расписанные по телефону и дорого оплаченные, а так называемые «г. г. члены Петроградского Художественного Общества» могут смотреть на спектакль из другой комнаты. Но и здесь, не успевали вы сесть, как к вам подлетал лакей с салфеткой и меню и услышав, что вы ничего не «желаете», только что не хлопал своей накрахмаленной салфеткой по носу «нестоящего» гостя.

...Улыбается Карсавина, танцует свою очаровательную «полечку» О. А. Судейкина. Переливаются черно-красно-золотые стены. Музыка, аплодисменты, щелканье пробок, звон стаканов... Вдруг композитор Цыбульский, обрюзгший, пьяный, встает, пошатываясь, со стаканом в руках: Пппрошу слова...

— За упокой собачки, господа...— начинает он коснеющим языком.— Жаль покойницу... Борис... Эх, Борис, зачем ты огород городил... зачем позвал сюда,— кивок на смокинги первых рядов,— всех этих фармацевтов, всю эту св...

* * *

В общем, получился какой-то эстетический, очень эстетический, но все же ресторан. Публике нравилось. Публика платила дорогую входную плату, пила шампанское и смотрела на Евреинова в Судейкин<ских> костюмах...

Ну что же, раз приходят и пьют шампанское...

И я вспоминал: «Больше всего я хочу денег...»

Но вдруг и «Привал», и верхняя квартира, и все фаянсы остиндской компании, и все платья с глубокими декольте оказались описанными. Оказалось, что «Привал» — не только не окупается — приносит страшный убыток. Все меценаты от него отказались,— через неделю он пойдет с молотка.

— Как же так? — спрашивал я.

Вера Александровна устало поднимала брови:

— Так. Не знаю. Не хватало денег. Я подписывала векселя...

Но через несколько дней она встретила меня веселая. Все удалось. Нашелся новый меценат. На время «Привал» закроется для ремонта, для подготовки программы.

Она стояла в средневековой зале, расписанной Яковлевым, опираясь на деревянную статую какого-то святого и держа в маленькой пухлой, странно белой руке старинный нож, только что присланный антикваром.

— Лукреция Борджиа,— пошутил я.

Она засмеялась:

— А? Вы помните тот разговор? Нет, нет, не Лукреция... Тереза. Вот, прочтите.

Я развернул бумагу.

— Что это?

— Договор с новым меценатом. Он обязуется платить мне, все время, пока «Привал» закрыт, ежемесячно...— Она назвала какую-то большую цифру.

— Только пока закрыт?

Она рассмеялась:

— Господи, какой наивный! Да ведь срок не указан. Я могу всю жизнь не открывать «Привала», и он будет всю жизнь мне платить...

— Как же он подписал такое?

Она церемонно поджала губы:

— О, это очень милый человек, друг моего отца. Он подписал, не читая...

* * *

Не знаю, запротестовал ли, наконец, «милый человек», или самой Вере Александровне снова захотелось похозяйничать,— но «Привал» все-таки открылся. Летом 1917 года — там за одним и тем же «артистическим» столом сидели Колчак, Савинков и Троцкий. И Вера Александровна выглядела уже совершенной Лукрецией в этом обществе.

Она была очень оживлена, очень хороша в эти дни. Кажется, ей стало опять «не скучно», и какие-то новые «гран-

диозности» и «возможности» ей замерещились. Я заключал это по ее виду,— в разговоры со мною она не вступала,— у нее были собеседники поинтереснее.

«Душа», которой не хватало «Привалу» в дни его расцвета, вселилась все-таки в него ненадолго, перед самой гибелью. Те, кто бывал в нем в конце 1917, начале 1918 годов, вряд ли забудут эти вечера.

Холодно. Полутемно. Нет ни заказных столиков, ни сигар в зубах, ни упитанных физиономий. Роскошь мебели и стен пообтрепалась. Электричество не горит — кое-где оплывают толстые восковые свечи...

Идет репетиция «Зеленого попугая». Пронзительная идея сыграть *такую* пьесу в *такой* обстановке, не правда ли? Шницлеровские диалоги звучат чересчур «убедительно» и для зрителей, и для актеров. Вера Александровна, бледная, без драгоценностей, в черном платье, слушает, скрестив руки на груди. Это она придумала поставить «Зеленого попугая».

Холодно. Полутемно. С улицы слышны выстрелы... Вдруг топот ног за стеной, стук прикладов в ворота. Десяток красноармейцев, под командой безобразной, увешанной оружием женщины, вваливается в «Венецианскую залу».— Граждане, ваши документы!

Их смиряют какой-то бумажкой, подписанной Луначарским. Уходят, ворча: погодите, доберемся до вас... И снова — оплывающие свечи, стихи Ахматовой или Бодлера; музыка Дебюсси или Артура Лурье...

...«Привал» не был закрыт,— он именно погиб, развалился, превратился в прах. Сырость, не сдерживаемая жаром каминов, вступила в свои права. Позолота обсыпалась, ковры начали гнить, мебель расклеилась. Большие голодные крысы стали бегать, не боясь людей, рояль отсырел, занавес оборвался...

Однажды, в оттепель, лопнули какие-то трубы, и вода из Мойки, старый враг этих разоренных стен, их затопила.

...И все стоит в «Привале»
Невыкачанной вода.
Вы знаете? Вы бывали?
Неужели никогда?

VI

«Ротонда». Обычная вечерняя толкотня. Я ищу свободный столик. И вдруг мои глаза встречаются с глазами, так хорошо знакомыми когда-то (Петербург, снег, 1913 год...), русскими, серыми глазами. Это С<удейкина>. Жена известного художника.

— Вы здесь! Давно?

Улыбка — рассеянная «петербургская» улыбка.— Месяц как из России.

— Из Петербурга?

С<удейкина> — подруга Ахматовой. И, конечно, один из моих первых вопросов — что Ахматова?

— Аня? Живет там же, на Фонтанке, у Летнего сада. Мало куда выходит — только в церковь. Пишет, конечно. Издавать? Нет, не думает. Где уж теперь издавать...

...На Фонтанке... У Летнего сада...

1922 год, осень. Послезавтра я уезжаю за границу. Иду к Ахматовой — проститься. Летний сад шумит уже по-осеннему, Инженерный замок в красном цвете заката. Как пусто! Как тревожно! Прощай, Петербург...

Ахматова протягивает мне руку.— А я здесь сумерничаю. Уезжаете?

Ее тонкий профиль рисуется на темнеющем окне. На плечах знаменитый темный платок в большие розы:

> Спадает с плеч твоих, о, Федра,
> Ложноклассическая шаль...

— Уезжаете? Кланяйтесь от меня Парижу.

— А вы, Анна Андреевна, не собираетесь уезжать?

— Нет. Я из России не уеду.

— Но ведь жить все труднее.

— Да. Все труднее.

— Может стать совсем невыносимо.

— Что ж делать.

— Не уедете?

— Не уеду.

...Нет, издавать не думает — где уж теперь издавать... Мало выходит — только в церковь... Здоровье? Да здоровье все хуже.

И жизнь такая — все приходится самой делать. Ей бы на юг, в Италию. Но где денег взять. Да если бы и были...

— Не уедет?

— Не уедет.

— Знаете,— серые глаза смотрят на меня почти строго,— знаете,— Аня раз шла по Моховой. С мешком. Муку, кажется, несла. Устала, остановилась отдохнуть. Зима. Она одета плохо. Шла мимо какая-то женщина... Подала Ане копейку.— Прими, Христа ради.— Аня эту копейку спрятала за образа. Бережет...

* * *

1911 год. В «башне» — квартире Вячеслава Иванова — очередная литературная среда. Весь «цвет» поэтического Петербурга здесь собирается. Читают стихи по кругу, и «таврический мудрец», щурясь из-под пенсне и потряхивая золотой гривой,— произносит приговоры. Вежливо-убийственные, по большей части. Жестокость приговора смягчается только одним — невозможно с ним не согласиться, так он едко-точен. Похвалы, напротив, крайне скупы. Самое легкое одобрение — редкость.

Читаются стихи по кругу. Читают и знаменитости и начинающие. Очередь доходит до молодой дамы, тонкой и смуглой.

Это жена Гумилева. Она «тоже пишет». Ну, разумеется, жены писателей всегда пишут, жены художников возятся с красками, жены музыкантов играют. Эта черненькая смуглая Анна Андреевна, кажется, даже не лишена способностей. Еще барышней, она писала:

И для кого эти бледные губы
Станут смертельной отравой?
Негр за спиною, надменный и грубый,
Смотрит лукаво.

Мило, не правда ли? И непонятно, почему Гумилев так раздражается, когда говорят о его жене как о поэтессе?

А Гумилев действительно раздражается. Он тоже смотрит на ее стихи как на причуду «жены поэта». И причуда эта ему не по вкусу. Когда их хвалят — насмешливо улыбается.— Вам нравится? Очень рад. Моя жена и по канве прелестно вышивает.

— Анна Андреевна, вы прочтете?

Лица присутствующих «настоящих» расплываются в снисходительную улыбку. Гумилев, с недовольной гримасой, стучит папиросой о портсигар.

— Я прочту.

На смуглых щеках появляются два пятна. Глаза смотрят растерянно и гордо. Голос слегка дрожит.

— Я прочту.

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки,
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки...

На лицах — равнодушно-любезная улыбка. Конечно, не серьезно, но мило, не правда ли? — Гумилев бросает недокуренную папиросу. Два пятна еще резче выступают на щеках Ахматовой...

Что скажет Вячеслав Иванов? Вероятно, ничего. Промолчит, отметит какую-нибудь техническую особенность. Ведь свои уничтожающие приговоры он выносит серьезным стихам настоящих поэтов. А тут... Зачем же напрасно обижать...

Вячеслав Иванов молчит минуту. Потом встает, подходит к Ахматовой, целует ей руку.

— Анна Андреевна, поздравляю вас и приветствую. Это стихотворение — событие в русской поэзии.

* * *

В обставленном удивительной «Александровской» мебелью кабинете Аркадия Руманова висит большое полотно Альтмана, художника, только что вошедшего в славу: Руманов положил ей начало, купив этот портрет за «фантастические» для начинающего художника деньги.

Несколько оттенков зелени. Зелени ядовито-холодной. Даже не малахит — медный купорос. Острые линии рисунка тонут в этих беспокойно-зеленых углах и ромбах. Это должно изображать деревья, листву, но не только не напоминает, но, напротив, кажется чем-то враждебным:

...в океаие первоздаииой мглы
Нет облаков и нет травы зелеиой,
А только кубы, ромбы да углы,
Да злые металлические звоиы.

Цвет едкого купороса, злой звон меди.— Это фон картины Альтмана.

На этом фоне женщина — очень тонкая, высокая и бледная. Ключицы резко выдаются. Черная, точно лакированная, челка закрывает лоб до бровей. Смугло-бледные щеки, бледно-красный рот. Тонкие ноздри просвечивают. Глаза, обведенные кругами, смотрят холодно и неподвижно — точно не видят окружающего.

...Только кубы, ромбы да углы

и все черты лица, все линии фигуры — в углах. Угловатый рот, угловатый изгиб спины, углы пальцев, углы локтей. Даже подъем тонких, длинных ног — углом. Разве бывают такие женщины в жизни? Это вымысел художника! Нет — это живая Ахматова. Не верите? Приходите в «Бродячую Собаку» попозже, часа в четыре утра.

Да, я любила их — те сборища иочиые:
На малеиьком столе стаканы ледяиые,
Над чериым кофием пахучий, тоиkий пар,
Камииа красного тяжелый зимиий жар
Веселость едкую литературиой шутки,
И друга первый взгляд, беспомощиый и жуткий.

Четыре-пять часов утра. Табачный дым, пустые бутылки. Час назад было весело и шумно — кто-то пел, подыгрывая сам себе, глупые куплеты, кто-то требовал еще вина. Теперь шумевшие либо разошлись, либо дремлют. В подвале почти тишина.

Мало кто сидит за столиками посредине зала. Больше по углам, у пестро расписанных стен, под заколоченными окнами.

Навсегда забиты окошки,
Что там — изморозь или гроза?

Не все ли равно, что там, на улице, в Петербурге, в мире... От выпитого вина кружится голова, дым застилает глаза. Разговоры идут полушепотом.

Здесь цепи многие развязаны,
Все сохранит подземный зал,
И те слова, что ночью сказаны,
Другой бы утром не сказал.

И вдруг — оглушительная, шалая музыка. Дремавшие вздрагивают. Рюмки подпрыгивают на столах. Пьяный музыкант ударил изо всех сил по клавишам. Ударил, оборвал, играет что-то другое, тихое и грустное. Лицо играющего красно, потно. Слезы падают из его блаженно-бессмысленных глаз на клавиши, залитые ликером.

Пятый час утра. «Бродячая Собака».

Ахматова сидит у камина. Она прихлебывает черный кофе, курит тонкую папироску. Как она бледна!

Да, она очень бледна — от усталости, от вина, от резкого электрического света. Концы губ — опущены. Ключицы резко выдаются. Глаза глядят холодно и неподвижно, точно не видят окружающего.

Все мы грешники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам.
На стенах цветы и птицы
Томятся по облакам,

но —

в океане первозданной мглы
Нет облаков и нет травы зеленой.

Трава, облака, жизнь, смех — все осталось там — за «навсегда забитыми окошками». Здесь только:

Веселость едкая литературной шутки
И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий...

Слишком едкая веселость. Слишком жуткие взгляды.

Ахматова никогда не сидит одна. Друзья, поклонники, влюбленные, какие-то дамы в больших шляпах и с подведенными

глазами. С памятного вечера у Вячеслава Иванова, когда она срывающимся голосом читала стихи, прошло два года. Она всероссийская знаменитость. Ее слава все растет.

Папироса дымится в тонкой руке. Плечи, укутанные в шаль, вздрагивают от кашля.

— Вам холодно? Вы простудились?

— Нет, я совсем здорова.

— Но вы кашляете.

— Ах, это? — Усталая улыбка.— Это не простуда, это чахотка.

И, отворачиваясь от встревоженного собеседника, говорит другому:

— Я никогда не знала, что такое счастливая любовь...

...Несла мешок. Остановилась отдохнуть. Какая-то женщина...

...Молодые люди в смокингах почтительно ловят каждое слово Ахматовой. Влюбленные глаза следят за каждым ее движением.

...Аня эту копейку спрятала... бережет...

В Царском Селе у Гумилевых дом. Снаружи такой же, как и большинство царскосельских особняков. Два этажа, обсыпающаяся штукатурка, дикий виноград на стене. Но внутри — тепло, просторно, удобно. Старый паркет поскрипывает, в стеклянной столовой розовеют большие кусты азалий, печи жарко натоплены. Библиотека в широких диванах, книжные полки до потолка... Комнат много, какие-то все кабинетики с горой мягких подушек, неярко освещенные, пахнущие невыветриваемым запахом книг, старых стен, духов, пыли...

Тишину вдруг прорезает пронзительный крик. Это горбоносый какаду злится в своей клетке. Тот самый:

А теперь я игрушечной стала,
Как мой розовый друг какаду.

«Розовый друг» хлопает крыльями и злится.— Маша,— накиньте платок на его клетку...

Дома, и то очень редко, можно увидеть совсем другую Ахматову.

У Гумилевых — последний прием. Конец мая. Все разъезжаются.

— Я так рада,— говорит Ахматова,— что в этом году мы не поедем за границу. В прошлый раз в Париже я чуть не умерла от скуки.

— От скуки? В Париже!..

— Ну да. Коля целые дни бегал по каким-то экзотическим музеям. Я экзотики не выношу. От музеев у меня делается мигрень. Сидишь одна, такая, бывало, скука. Я себе даже черепаху завела. Черепаха ползает — смотрю. Все-таки развлечение.

— Аня,— недовольным тоном перебивает ее Гумилев,— ты забываешь, что в Париже мы почти каждый день ездили в театры, в рестораны.

— Ну уж и каждый вечер,— дразнит его Ахматова.— Всего два раза.

И смеется, как девочка.

— Как вы не похожи сейчас на свой альтмановский портрет!

Она насмешливо пожимает плечами.

— Благодарю вас. Надеюсь, что не похожа.

— Вы так его не любите?

— Как портрет? Еще бы. Кому же нравится видеть себя зеленой мумией?

— Но иногда сходство кажется поразительным.

Она снова смеется:

— Вы говорите мне дерзости.— И открывает альбом.

— А здесь,— есть сходство?

Фотография снята еще до свадьбы. Веселое девическое лицо...

— Какой у вас тут гордый вид.

— Да! Тогда я была очень гордой. Это теперь присмирела...

— Гордились своими стихами?

— Ах, нет, какими стихами. Плаванием. Я ведь плаваю как рыба.

Тот же дом, та же столовая. Ахматова в те же чашки разливает чай и протягивает тем же гостям. Но лица как-то желтей, точно состарились за два года, голоса тише. На всем,— и на лицах, и на разговорах — какая-то тень.

И хозяйка не похожа ни на декадентскую даму с альтмановского портрета, ни на девочку, гордящуюся тем, что она плавает «как рыба». Теперь в ней что-то монашеское.

...В Августовских лесах погибло два корпуса...
— Нет ни оружия, ни припасов...
— У Z. убили двух сыновей.
— Говорят, скоро не будет хлеба...
Гумилева нет,— он на фронте.
— Прочтите стихи, Анна Андреевна.
— У меня теперь стихи скучные.
И она читает «Колыбельную»:

...Спи, мой тихий, спи, мой мальчик.
Я дурная мать.
Долетают редко вести
К нашему крыльцу.
Подарили белый крестик
Твоему отцу.
Было горе, будет горе,
Горю нет конца.
Да хранит Святой Егорий
Твоего отца...

Еще два года. Две-три случайные встречи с Ахматовой. Все меньше она похожа на ту, прежнюю. Все больше на монашенку. Только шаль на ее плечах прежняя — темная, в красные розы. «Ложно-классическая шаль». Какая там шаль ложно-классическая — простой бабий платок, накинутый, чтобы не зябли плечи!

Еще год. Пушкинский вечер. Странное торжество — кто во фраке, кто в тулупе — в нетопленном зале. Блок на эстраде говорит о Пушкине — невнятно и взволнованно. Ахматова стоит в углу. На ней старомодное шелковое платье с высокой талией. Худое — жалкое — прекрасное лицо. Она стоит одна. К ней подходят, целуют руку. Чаще всего — молча. Что ей, *такой*, сказать. Не спрашивать же, «как поживаете».

...Еще полгода. Смоленское кладбище. Гроб Блока в цветах. Еще две недели — панихида в Казанском соборе по только что расстрелянном Гумилеве...

...Да, я любила их, те сборища ночные,
На низких столиках стаканы ледяные...

Ладан. Заплаканные лица. Певчие.

...Веселость едкую литературной шутки...
И друга первый взгляд...

VII

В кабинке лифта кнопками приколот плакат. Черт со смеющейся рожей, зелеными глазками и лиловым хвостом. Под ним — надпись:

«Просят ядовитое зелье (табак) не курить».

Кто просит? Домохозяин?

Нет, плакат повешен квартирантом третьего этажа — Сергеем Городецким.

Но как же это он распоряжается? Ведь лифт не его квартира?

Ах, что там — как распоряжается. Кто же ему запретит?

Сергей Митрофанович такой милый человек, такой славный. Если бы и захотел домовладелец сделать ему замечание,— как сделаешь? Тот ему — «к сожалению моему, должен вас просить...» — А Городецкий, не дослушав, хлопнет его по плечу.— Как поживаете, дорогой? Как драгоценное? Супруга что, детишки...

Детей обожает. Рисует им картинки — вот вроде как в лифте: «Чертик в печке», «Девять мышек и кошечка Маня». Состроит страшные глаза, сделает «козу», стишки тут же сочинит.— Как тебя зовут? Петя? Ну, так слушай:

Жил на свете мальчик Петя,
Много Петь живет на свете.
Только Петя мой —
Был совсем другой...

Глаза светлые, взгляд открытый, «душевный». Волосы русые — кудрями. Голос певучий. Некрасив, но приятнее любого красавца — «располагающая наружность», и наружность не обманывает: действительно, милый человек. Всякому услужит, всякому улыбнется. Встретит на улице старуху с мешком — «бабушка, дай подсоблю». Нищего не пропустит. Ребенку сейчас леденец, всегда в кармане носит...

Помог, пошутил, улыбнулся и идет себе дальше, посвистывая или напевая. Глаза блестят, белые зубы блестят. Даже чухонская шапка с наушниками как-то особенно мило сидит на его откинутой голове.

* * *

«Ядовитое зелье просят не курить». Впрочем, для неисправимых курильщиков — отведен в квартире Городецкого закоулок. Если невтерпеж, они туда удаляются. Там, с обязательством плотно притворять двери, они могут вдоволь «отравляться» у окна, распахнутого на черную лестницу. Стены закутка разрисованы поучительной историей: «Упорный куритель и что с ним было». Очень талантливо нарисовано. Вообще, что за талантливое существо Городецкий! За что ни возьмется — талантливо. И все с налету, шутя, с улыбкой, мимоходом... Так и стихи начал писать и, шутя,— прославился. Лег спать никому не ведомым двадцатилетним студентом, а наутро вышла «Ярь» — проснулся знаменитостью. И кто не читал через месяц наизусть:

Стоны, звоны, перезвоны,
Стоны, звоны, звоны-сны.
Высоки крутые склоны,
Крутосклоны зелены...

...Вечером, во вторник — приемный день у Городецких. Перед закутком для курильщиков — очередь. Чиркнут спичкой, глотнут наскоро дыму и, уступая место другим, возвращаются в гостиную. Там — в центре комнаты — большой круглый стол. На столе розы в хрустальном цилиндре, дынное варенье, дымящиеся гарднеровские чашки. В окружении литераторских дам жена Городецкого, «Нимфа», сияя несколько тяжеловесной красотой, разливает пухлыми пальчиками чай. Почему Городецкий, ненавистник всякой «классической мертвечины», назвал жену «Нимфой»? И почему Нимфа? Скорее уж Церера... Но за Анной Александровной это прозвище прочно укрепилось, после того особенно, как одна из книг Городецкого вышла с посвящением: «Тебе — Нимфа».

Вдоль канареечных стен гостиной — в два ряда размещены поэты.

В два ряда. Внизу на тахтах гости. На стенах их портреты в натуральную величину, работы хозяина дома.

Если вы познакомились с Городецким, начали у него бывать и вы поэт — он непременно вас нарисует. Немного пестро, но очень похоже и «мило». И обязательно на рогоже.

Рисует Городецкий всегда на рогоже — это его изобретение. И дешево — и есть в этом что-то «простонародное» — любезное его сердцу. И хотя народ рогожами пользуется отнюдь не для живописи,— Городецкому искренне кажется, что, выводя на рогоже Макса Волошина, в сюртуке и с хризантемой в петлице, он много ближе к «родной неуемной стихии», чем если бы то же самое он изображал на полотне.

С одной стороны «стихия», с другой — Италия. Раскрашенные квадратики рогож,— чем не мозаика?

Страсть к Италии внушил недавно Городецкому его новый, ставший неразлучным, друг — Гумилев. После «разговора в ресторане, за бутылкой вина» об Италии — с Гумилевым, Городецкий, час назад вполне равнодушный,— «влюбился» в нее со всей своей пылкостью. Влюбившись же, по причине той же пылкости, не мог усидеть в Петербурге, не повидав Италию собственнолично и немедленно.

И вот через неделю Городецкий уже гулял по Венеции, потряхивая кудрями и строя «итальянчикам» козу. Ничего — понравилось.

* * *

Портреты на рогожах сияли всей пестротой красок. Оригиналы их, размещавшиеся вдоль стен, выглядели, естественно, более буднично. Они разделялись на просто гостей и гостей почетных. Первые были в пиджаках и воротничках и изъяснялись на «мертвом интеллигентском языке». Вторые говорили на о́ и нараспев и одеты были в поддевки и косоворотки.

У Городецкого, при всей переменчивости его взглядов и вкусов, было одно «устремление», которое не менялось: страсть к лубочному «русскому духу»... Безразлично, что «воспевал» он в разные времена, в разных пустых, звонких и болтливых

строфах. Их лубочная суть оставалась все та же — не хуже, не лучше. «Сретенье Царя» не отличается от оды Буденному, и описания Венеции слегка отдают «чайной русского народа»...

Естественным дополнением пристрастия к «русскому духу» было стремление Городецкого открывать таланты из народа и окружать себя ими.

Казалось бы, что дурного — если известный и влиятельный петербургский писатель так дружественно, так широко и охотно идет навстречу начинающим. Тем более начинающим «из деревни», самым неопытным, самым беспомощным на первых порах. Казалось бы, напротив — хорошо.

Но получалось плохо. Даже очень.

Получалось так. Приезжает в Петербург Есенин. Шестнадцатилетний, робкий, бредящий стихами. Его мечта — стать «настоящим писателем». Он приехал в лаптях, но с твердым намерением сбросить всю свою «серость». Вот он уже как-то «расстарался», справил себе «тройку», чтобы не отличаться от «городских», «ученых». Но он понимает, что главное отличие не в платье. И со всем своим шестнадцатилетним «напором» старается стереть это различие. Конечно, такое рвение тоже небезопасно,— слишком усердно «стирая», можно стереть и самобытность и свежесть. Помощь расположенного и опытного старшего товарища тут очень нужна. Помимо такой профессиональной помощи, нужна и другая — просто дружеская рука, протянутая человеку, теряющемуся в совершенно чужой ему обстановке. Понятно, что Есенин и вообще «Есенины», пообмерзнув в традиционном петербургском «холоде»,— были счастливы, когда встречали Городецкого.

После месяца хождения с тетрадкой стихов «по писателям» — деревенский начинающий смущен и разочарован.

Писатели — люди «черствые», равнодушные, смотрят на него как на обыкновенного новобранца литературного войска,— много их ходит, с тетрадками. Холодное одобрение Блока... Строгий взгляд через лорнетку З. Гиппиус... Придирчивый разбор Сологуба — вот эта строчка у вас не дурна, остальное зелено... И ко всем этим скупым похвалам — один и тот же припев: учиться, учиться. Работать, работать, работать...

И вдруг знакомство с Городецким, таким сердечным, ласковым, милым, такой «родной душой». И в первой же беседе с

этой родной душой — полная «переоценка ценностей». Начинающий из деревни (как и всякий начинающий) сам считал, конечно, что «свет его недооценивает», но вряд ли, до беседы с «родной душой», понимал, до какой степени этот бездушный свет глух и слеп. Оказывается — он гений, это решено. И не просто гений, а народный, что много выше обыкновенного. И много проще. Все эти штуки с упорной работой — для интеллигентов, существ низших. Дело же народного гения — «выявлять стихию». Вот оно что. «Серость», оказывается, вовсе не надо стирать,— она и есть «стихия». Скорее вон из головы «мертвую учебу», скорее лапти обратно на ноги, скорее обратно поддевку, гармонику, залихватскую частушку.

* * *

Для своей «народной школы», пополнявшейся каждый сезон новыми «соблазненными мужичками», кроме домашних собеседований, где «гениально», «выше Пушкина» и т. п. звучало обыденной похвалой, Городецкий устраивал еще и открытые вечера — «Гала», так сказать. Там

...Было все очень просто, было все очень мило...

На эстраде — портрет Кольцова, осененный жестяным серпом и деревянными вилами. Внизу — два «аржаных» снопа (от частого употребления порядочно растрепанных) и полотенце, вышитое крестиками. Фон декорирован малороссийской плахтой из кабинета Городецкого. Этим смягчается «интеллигентское безличие» эстрады и создается настроение, близкое к «стихии». Должно быть, чтобы еще ближе перенести слушателей в обстановку русской деревни,— обычный распорядительский колокольчик отменяется. Вместо него — какой-то не то гонг, не то тимпан. С бубенцами... В обычное время он висит в том же кабинете — у печки.

Городецкий выходит на эстраду и ударяет в этот тимпан. Вид у него восторженно-сияющий, ласково-озабоченный. Кудри взъерошены. Голубая или «алая» косоворотка... Внимательный глаз иногда различит под косовороткой очертание твердого пластрона — это значит, что после вечера надо ехать в изящный

клуб, где любит ужинать «Нимфа», и рубашка надета для скорости обратного переодевания поверх крахмального белья и черного банта смокинга.

Городецкий ударяет в свой «тимпан» и приглашает к вниманию. Свет гаснет. Только эстрада с Кольцовым и снопами — в ярком блеске рефлекторов.

Сергей Есенин...

Зеленая плахта с малиновыми разводами откидывается. Выходит Есенин.

На нем тоже косоворотка — розовая, шелковая. Золотой кушак, плисовые шаровары. Волосы подвиты, щеки нарумянены. В руках — о, Господи! — пук васильков — бумажных.

Выходит он подбоченясь, весь как-то «по-молодецки» раскачиваясь. Прорепетировано, должно быть, не раз. Улыбка ухарская и... растерянная. Тоже, верно, репетировалась эта улыбка. Но смущение сильнее. Выйдя, он молчит, беспокойно озираясь...

— Валяй, Сережа,— слышен ободряющий голос Городецкого из-за плахты.— Валяй, чего стесняться.

Чего, в самом деле?

Есенин приободряется. Голос начинает звучать уверенней. Ухарская улыбка шире расплывается. Есенина я видел полгода тому назад, до его знакомства с Городецким. Как он изменился, однако. И стихи как изменились...

...Лады, Лели, гусли-самогуды, струны-самозвоны...— Вряд ли раньше Есенин и слыхал об этих самогудах и Ладах... Иногда среди них выскочит и неприличное, «похабное» словцо. Это он, конечно, знал и раньше, но по «неопытности» полагал, должно быть, что вставлять их не то что в стихи, а и в разговор нехорошо. Теперь, бойко их выкрикивая, оглядывает еще публику: Что? Каково?..

Сергей Клычков...

Выходит наряженный коробейником из хора Клычков. Читает нараспев — как оперные слепцы. Те же лады и гусли, только более деревянно, менее находчиво, чем у Есенина. Тоже недавно держался просто, писал проще и лучше. Теперь, спасибо наставнику, «нашел себя». А то было совсем пропадал — в университет готовился,— латынь зубрил...

Николай Клюев...

Клюев спешно обдергивает у зеркала в распорядительской поддевку и поправляет пятна румян на щеках. Глаза его густо, как у балерины, подведены. Морщинки (Клюеву лет сорок) вокруг умных, холодных глаз сами собой расплываются в деланную сладкую, глуповатую улыбочку.

— Николай Васильевич, скорей!..

— Идуу...— отвечает он нараспев и истово крестится.— Идуу... только что-то боязно, братишечка... Ну, была не была — Господи, благослови...— Ничуть ему не «боязно» — Клюев человек бывалый и знает себе цену. Это он просто входит в роль «мужичка-простачка».

Потом степенно выплывает, степенно раскланивается «честному народу» и начинает истово, на о́:

Ах ты, птица, птица райская,
Дребезда золотоперая...

Единственного настоящего поэта этого жанра Городецкий как раз проглядел. Прочел его рукописи и не обратил внимания. Открыл Клюева «бездушный» Брюсов.

Но, приехав в Петербург, Клюев попал тотчас же под влияние Городецкого и твердо усвоил приемы мужичка-травести.

— Ну, Николай Васильевич, как устроились в Петербурге?

— Слава тебе, Господи, не оставляет Заступница нас грешных. Сыскал клетушку-комнатушку, много ли нам надо? Заходи, сынок, осчастливь. На Морской, за углом живу...

Я как-то зашел к Клюеву. Клетушка оказалась номером Отель де Франс, с цельным ковром и широкой турецкой тахтой. Клюев сидел на тахте, при воротничке и галстуке, и читал Гейне в подлиннике.

— Маракую малость по-бусурманскому,— заметил он мой удивленный взгляд.— Маракую малость. Только не лежит душа. Наши соловьи голосистей, ох, голосистей...

— Да что ж это я,— взволновался он,— дорогого гостя как принимаю. Садись, сынок, садись, голубь. Чем угощать прикажешь? Чаю не пью, табаку не курю, пряника медового не припас. А то — он подмигнул — если не торопишься, может, пополудничаем вместе. Есть тут один трактирчик. Хозяин хороший человек, хоть и француз. Тут, за углом. Альбертом зовут.

Я не торопился.— Ну, вот и ладно, ну, вот и чудесно — сейчас обряжусь...

— Зачем же вам переодеваться?

— Что ты, что ты — разве можно? Собаки засмеют. Обожди минутку — я духом.

Из-за ширмы он вышел в поддевке, смазных сапогах и малиновой рубашке: — Ну, вот — так-то лучше!

— Да ведь в ресторан в таком виде как раз не пустят.

— В общую и не просимся. Куда нам, мужичкам, промеж господ? Знай, сверчок, свой шесток. А мы не в общем, мы в клетушку-комнатушку, отдельный то есть. Туда и нам можно...

* * *

Публика аплодирует. Публика довольна. Городецкий сияет.

Он искренно счастлив, этот милый, приятный, обходительный, даровитый человек. Он от души рад, что все так хорошо, и всем так нравится, и больше всех ему, Городецкому. Он весело окидывает зал ясными, открытыми глазами, кого-то хлопает по плечу, кому-то жмет руки, обнимает кого-то...

Бывают и неприятности, конечно. Сологуб, например, прощаясь, проворчит по-стариковски:

— А где ваш главный распорядитель?

— Какой, Федор Кузьмич?

— Да Лейферт, костюмер. Лапти-то у него напрокат брали?

Но что понимает Сологуб в «народном искусстве»?

Гумилев в советские времена часто вздыхал:

— Жаль, что Городецкого нет.

— Он, кажется, у белых?

— Да. На юге где-то. Это, впрочем, к лучшему. Застрянь он здесь, его живо бы расстреляли.

— Нас же не расстреливают?

— Мы другое дело. Он слишком ребенок: доверчив, восторжен... и прост. Стал бы агитировать, резать большевикам правду в лицо, попался бы с какими-нибудь стишками... Непременно бы расстреляли. Слава Богу, что он у белых. Но мне его часто недостает,— того веселья, которое от него шло.

И прибавлял, улыбаясь:

— В сущности, вся наша дружба с ним — дружба взрослого с ребенком. Я — взрослый, серьезный, скучный. А Городецкий живет — точно в пятнашки играет. Должно быть, нас и привлекло друг в друге то, что мы такие разные.

* * *

Весной 1920 года Городецкий приехал в Петербург. Приехал с новеньким партийным билетом в кармане и в предшествии коммунистки Ларисы Рейснер. Муж Рейснер, известный Раскольников, комиссар Балтфлота, захватил где-то, на фронте, вместе с поездом «Освага» и работавшего в «Осваге» Городецкого.

...На эстраде на этот раз стоял не Кольцов, а Ленин, и не вилы, а молот перекрещивался с серпом. И уж не косоворотка, а «революционный» френч был на Городецком.

Рейснер говорила вступительное слово.— Кто из нас бросит в него камнем? У кого из нас руки не выпачканы... грязными чернилами «Речи»?

— Он заблуждался,— теперь он наш. Забудем прошлое...

После Рейснер — Городецкий, встряхнув кудрями и окинув аудиторию милыми, добрыми, серыми глазами, читал стихи о Третьем Интернационале. Гумилев сказал, пожимая плечами:

— В самом деле, как в него бросишь камнем? Мы же эту его невменяемость поощряли, за нее, в сущности, и любили его. Ведь не за стихи же? Вот он и продолжает играть в пятнашки...

— Только,— прибавил он,— теперь я вижу,— Бог с ней, с этой детскостью. Потерял я к ней вкус. Лучше уж жить с обыкновенными, не забавными... отвечающими за себя людьми.

* * *

Перед отъездом за границу, осенью 1922 года, я был в Москве. В табачной лавке кто-то хлопнул меня по плечу,— Городецкий.

Такой же, как был. Так же мило смотрит, так же улыбается.

— А я,— улыбка расплывается и становится ребяческой,— а я, кто б мог думать, на старости лет,— курителем стал... Скажите, что, «Баядерка» — хорошие папиросы?..

Собирая сдачу, он опять, словно вдруг вспомнив, ко мне обернулся. Теперь его серые глаза смотрели грустно и «душевно»:

— А бедный Гумилев!.. Такое несчастье...

Я промолчал.

VIII

В седьмом часу утра лица тех, кто еще оставался сидеть в «Бродячей Собаке», делались похожи на лица мертвецов. Яркий электрический свет, пестро раскрашенные стены, объедки и пустые бутылки на столах и на полу. Пьяный поэт читает стихи, которых никто не слушает, пьяный музыкант неверными шагами подходит к засыпанному окурками роялю и ударяет по клавишам, чтобы сыграть похоронный марш, или польку, или то и другое разом. Сонный вешальщик спит, забыв доверенные ему шубы. Директор «Собаки» — Борис Пронин, сидит на ступеньках узкой лестнички выхода, засыпанных снегом, гладит свою лохматую злую собачонку Мушку и горько плачет:

— Мушка, Мушка,— зачем ты съела своих детей!..

Лица похожи на лица мертвецов. Кто спит, кто притворяется оживленным. Но какое уж там оживление...

Кто-то выключил электричество в зале. Теперь освещена только соседняя буфетная, и из двери, открытой на лестницу, на ступеньках которой плачет Пронин, падает узкая серая полоса рассвета. В этом сумраке из угла выходит человек и, покачиваясь, идет ко мне. Подходит. Смотрит. У него — кажется — рыжие волосы и тяжелый пристальный взгляд. Я не знаю, кто он, вижу впервые.

— Вы сидите один, и я один. Давайте сидеть вместе.

— Давайте,— говорю я.

— Пьяны?

— Ничуть.

— А я вот пьян. Но это ничего. Это даже хорошо. Но вы, если не пьяны, зачем здесь сидите? Ждете трамвая?

— Поезда. В Гатчину.

— Поезда... В Гатчину...— повторяет мечтательно человек.— Гатчина... Поезд подходит... Снег. Белый. Нет.— Синий. Все в

снегу. Встает солнце. Блеск — больно смотреть... Какие-нибудь молочницы плетутся... Пар. Деревья в инее...

Он зевает.— Впрочем, все это чепуха. Воняет сажей, как и здесь. И зачем, скажите пожалуйста, вы живете в Гатчине?

Я сказал, что ничуть не пьян. Но это неправда. Я пьян немножко. Я не знаю, кто мой собеседник. И какое ему дело, где я живу? Но, так как я не совсем трезв, его вопрос меня не удивляет. Я не отвечаю — «живу потому, что нравится», или «там суше воздух»,— я говорю ему правду. Я переехал в Гатчину потому, что влюблен, и та, в которую я влюблен, живет там. Мой собеседник слушает молча, дымя короткой трубкой. Он меня не перебивает — и я говорю, повторяя то, что он только что мне говорил — о снеге и встающем солнце. Ну да,— я немножко пьян. Но это ничего, это даже хорошо. Я выбалтываю незнакомому человеку, о котором знаю только то, что он курит трубку,— выбалтываю все, вплоть до того, что «она мне вчера сказала», вплоть до любовных стихов, позавчера сочиненных:

Закат золотой. Снега
Залил янтарь.
Мне Гатчина дорога,
Совсем как встарь...

Я выбалтываю все. Потом мне становится неловко. Я обрываю фразу, не кончив. Человек с трубкой молчит. Потом говорит с расстановкой:

— Самое лучшее кончать с собой на рассвете. Понятно, если не яд. Яд противно пить утром — все существо содрогается. Так уж человек устроен. Вы решили умереть. Чтобы умереть, вам необходимо проглотить рюмку жидкости или облатку. Но вы одно, а ваш живот другое. Он не желает умирать. Он сопротивляется. Он хочет глотать не стрихнин, а кофе со сливками... Но стреляться на рассвете очень легко, я бы сказал — весело.

— Вешаться тоже весело? — поддерживаю я разговор.

— Вешаться нельзя весело,— отвечает он серьезно,— вешаться надо торжественно. Конечно, если наспех, на собственных подтяжках, как проворовавшийся подмастерье... Но, пред-

ставьте,— вы делаете все медленно и методично. Шелковый шнурок хорошо намылен. Крюк прочно вбит. Петля тщательно завязана. Можно прочесть молитву, выкурить последнюю папиросу, выпить последний глоток коньяку. Палач торопит — довольно — к делу. Вы не спорите — бесполезно. Вы надеваете петлю...— Как хороша жизнь!.. Я не хочу!..— Это ваш живот, легкие, мускулы сопротивляются... Но мозг, палач, беспощаден.— Поговори еще у меня! Трах! Стул, вышибленный из-под ног, катится в угол. Прощайте, господин Лозина-Лозинский... Прощайте, неудачный поэт Любяр!..

Тут мне делается неприятно. Я знаю, что Любяр — псевдоним поэта, который несколько раз неудачно кончал с собой и, наконец, недавно покончил. Я читал его стихи, то бессмысленные, то ясные, даже слишком, с каким-то оттенком сумасшествия. Во всяком случае, талантливые стихи. Упоминание его имени мне неприятно. Зачем тревожить память мертвого? Я говорю это вслух.

— Предрассудки,— зевает мой собеседник.— Почему можно говорить непочтительно о Петре Петровиче, пока он жив, и нельзя, если он умер? Чепуха. И потом...

Он не договаривает, что потом.— Ну, мне пора, да и вам, господин влюбленный. Садитесь на извозчика, потом в поезд — солнце, снег... Она сладко спит...

Не буди ее в тусклую рань,
Поцелуем дремоту согрей...

Впрочем, это к вашему случаю не относится. Анненский все эти поцелуи на чистоту не принимал. Он знал, что они значат...

— Что же они значат? — спрашиваю я, разыскивая шубу. Он молчит. Я не повторяю вопроса. У подъезда несколько извозчиков. Мой собеседник садится в первого из них.

— Ну, до свидания.

— Постой,— осаживает он тронувшегося было извозчика.— Послушайте, может быть, позвоните мне как-нибудь? Вот моя карточка. Буду очень рад, очень рад... А насчет поцелуев Анненский, поверьте, знал и всегда помнил,— оскаленные зубки, вытекшие глазки, расползающиеся щечки... Трогай!..

Прозябшая лошадь резво уносит сани. Я смотрю на визитную карточку: А. Любяр... Лозина-Лозинский... такая-то улица...

* * *

Месяца через два я получил повестку общества «Медный Всадник» на заседание памяти поэта Любяра. На этот раз (недели через три после нашей встречи) самоубийца-неудачник своего добился.

Вечер был нелепый. В огромном модернизированном кабинете профессора С<вятловского> собралось человек тридцать. Был чей-то скучный доклад. Потом М. Лозинский читал стихи Любяра, читал он, как всегда, прекрасно, но после чтения вышла глупая путаница с каким-то студентом, предложившим выразить сочувствие «брату покойного и великолепному чтецу его произведений», который, на самом деле, был лишь однофамильцем, никогда не видавшим покойного в глаза. Хозяин-профессор, чтобы загладить впечатление... выпустил Яворскую читать сонеты его собственного сочинения, посвященные разным поэтам. Когда Яворская с актерским пафосом закончила сонет, посвященный Кузмину:

...и юноши нагие,
Стыдливость позабыв, скрываются в альков...

кто-то свистнул. Профессор покраснел, как бурак. Воцарилась еще большая неловкость.

Стали разносить чай. Все пили молча, молча же жуя птифуры. Один молодой человек, желая развеселить общество, вздумал петь, подыгрывая на рояле, армянские куплеты:

Как в Тифлисе у меня
Был один товарищ,
Очень славный человек,
Только очень глуп.

Лариса Рейснер, тогда еще почти девочка, слушала, слушала, потом встала, топнула ногой и раскричалась, что все это мерзко, недостойно, что она пришла на вечер памяти поэта, а ее угощают пошлостями.

Все разбирали шапки, торопясь поскорей убраться. Хозяин провожал гостей, багровый от конфуза. Его почтенная борода тряслась и руки дрожали.

Вечер был безобразный, что и говорить. Но шагая домой через Троицкий мост, я вспоминал усмешечку моего недавнего ночного собеседника, и мне казалось, что, может быть, именно такими поминками был бы доволен этот несчастный человек.

IX

Между Петербургом и Москвой от века шла вражда. Петербуржцы высмеивали «Собачью площадку» и «Мертвый переулок», москвичи попрекали Петербург чопорностью, несвойственной «русской душе». Враждовали обыватели, враждовали и деятели искусств обеих столиц.

В 1919 году, в эпоху увлечения электрификацией и другими великими планами, один поэт предложил советскому правительству проект объединения столиц в одну. Проект был прост. Запретить в Петербурге и Москве строить дома иначе, как по линии Николаевской железной дороги. Через десять лет, по расчету изобретателя, оба города должны соединиться в один — Петросква, с центральной улицей — Куз-невский мос-пект. Проект не удалось провести в жизнь из-за пустяка: ни в Петербурге, ни в Москве никто ничего не строил — все ломали. А жаль! Может быть, это объединение положило бы конец двухвековым раздорам.

* * *

Лубочный, но пышный расцвет Москвы времен символизма пришел к концу — «Весы» закрылись.

«Торжествующая реакция» основала петербургский «Аполлон», и Георгий Чулков протанцевал в нем каннибальский танец над трупом врага («О Весах»). Безработные московские «звезды» из второстепенных волей-неволей стали наведываться в Петербург. Кто просто искал заработка, кто собирался «взрывать врага изнутри», делать заговоры и основывать новые школы.

Однажды я попал на такое заговорщицкое собрание. К., молодой человек, писавший стихи, отвел меня где-то в сторону и таинственно сказал, что со мной очень хочет познакомиться Борис Садовский. Я был польщен. Мне было лет восемнадцать, и я не был особенно избалован славой. Правда, несколько дней тому назад в «Бродячей Собаке» какой-то господин буржуазного вида представился мне как мой горячий поклонник, но, когда на его замечание: «Вы такой молодой и уже такой знаменитый», я, с притворной скромностью, возразил: — «Ну, какой же я знаменитый»,— он с пафосом воскликнул: «Помилуйте, кто же не знает *Вячеслава* Иванова»!

Итак,— я был польщен и ответил К., что очень рад, в свою очередь, познакомиться с Садовским. К. радостно закивал. «Вот и прекрасно. Приходите к нему завтра вечером — я его предупрежу».

Извозчик подвез меня к мрачному дому на Коломенской улице. На облезлой вывеске над подъездом значилось — «меблированные комнаты» — не то «Тулон», не то «Марсель». Что-то средиземное, во всяком случае. С опаской я поднялся по мрачной лестнице. Босой коридорный нес кипящий самовар. Я спросил его о Садовском. «Пожалуйте за мной,— как раз им самоварчик подаю».

Толкнув коленом дверь, он, без стука, вошел в комнату, обдавая меня, шедшего сзади, чадом. Так, предшествуемый коридорным с самоваром, я впервые — не знаменательно ли! — вошел к поэту, который назвал именем этой машины для приготовления чая одну из своих книг:

Если б кончить с жизнью тяжкой,
У родного самовара,
За фарфоровою чашкой,
Тихой смертью от угара.

* * *

Я рисовал себе это свидание несколько иначе. Я думал, что меня встретит благообразный господин, на всей наружности которого отпечатлена его профессия — поэта-символиста. Ну, что-нибудь вроде Чулкова или Рукавишникова. Он встанет с

глубокого кресла, отложит в сторону том Метерлинка и, откинув со лба поэтическую прядь, протянет мне руку. «Здравствуйте. Я рад. Вы один из немногих, сумевших заглянуть под покрывало Изиды...»

...В узком и длинном «номере» толпилось человек двадцать поэтов — все из самой зеленой молодежи. Некоторых я знал, некоторых видел впервые. Густой табачный дым застилал лица и вещи. Стоял страшный шум. На кровати, развалясь, сидел тощий человек, плешивый, с желтым, потасканным лицом. Маленькие ядовитые глазки его подмигивали, рука ухарски ударяла по гитаре. Дрожащим фальцетом он пел:

Русского царя солдаты
Рады жертвовать собой,
Не из денег, не из платы,
Но за честь страны родной.

На нем был расстегнутый... дворянский мундир с блестящими пуговицами и голубая шелковая косоворотка. Маленькая подагрическая ножка лихо отбивала такт...

Я стоял в недоумении — туда ли я попал. И даже если туда, все-таки не уйти ли? Но мой знакомый К. уже заметил меня и что-то сказал игравшему на гитаре. Ядовитые глазки впились в меня с любопытством. Пение прекратилось.

— Ивано́в! — громко прогнусавил хозяин дома, делая ударение на о.— Добро пожаловать, Иванов! Водку пьете? Икру — съели, не надо опаздывать! Наверстывайте — сейчас жженку будем варить!..

Он сделал приглашающий жест в сторону стола, уставленного всевозможными бутылками, и снова запел:

Эх, ты, водка,
Гусарская тетка!
Эх, ты, жженка,
Гусарская женка!..

— Подтягивай, ребята! — вдруг закричал он, уже совершенно петухом.— Пей, дворянство российское! Урра! С нами Бог!..

Я огляделся.— «Дворянство российское» было пьяно, пьян был и хозяин. Варили жженку, проливая горящий спирт на ковер, читали стихи, пели, подтягивали, пили, кричали «ура», обнимались. Не долго был трезвым и я.— «Ивано́в не пьет. Кубок Большого Орла ему!» — распорядился Садовский. Отделаться было невозможно. Чайный стакан какой-то страшной смеси сразу изменил мое настроение. Компания показалась мне премилой и начальственно-приятельский тон хозяина — вполне естественным.

...Табачный дым становился все сильнее. Стаканы все чаще падали из рук, с дребезгом разбиваясь. Как сквозь сон, помню надменно-деревянные черты Николая I, глядящие со всех стен, мундир Садовского, залитый вином, его сухой, желтый палец, поднесенный к моему лицу, и наставительный шепот:

— Пьянство есть совокупление астрала нашего существа с музы́кой (ударение на ы) мироздания...

* * *

Та же комната. Тот же голос. Те же пронзительно ядовитые глазки под плешивым лбом. Но в комнате чинный порядок, и фальцет Садовского звучит чопорно-любезно. В черном долгополом сюртуке он больше похож на псаломщика, чем на забулдыгу-гусара.

На стенах, на столе, у кровати — всюду портреты Николая I. Их штук десять. На коне, в профиль, в шинели, опять на коне. Я смотрю с удивлением.

— Сей муж,— поясняет Садовский,— был величайшим из государей, не токмо российских, но и всего света. Вот сынок,— меняет он выспренний тон на старушечий говор,— сынок был гусь неважный. Экую мерзость выкинул — хамов освободил. Хам его и укокошил...

Среди портретов всех русских царей от Михаила Федоровича, развешанных и расставленных по всем углам комнаты,— портрета Александра II нет.

— В доме дворянина Садовского ему не место.

— Но ведь вы в Петербурге недавно. Что же, вы всегда возите с собой эти портреты?

— Вожу-с.

— Куда бы ни ехали?

— Хоть в Сибирь. Всех — это когда еду надолго, ну, месяца на два. Ну, а на неделю, тогда беру только Николая Павловича, Александра Благословенного, Матушку Екатерину, Петра. Ну, еще Елизавету Петровну — царица она, правда, была так себе,— зато уж физикой хороша. Купчиха! Люблю!

Садовский излагает свои «идеи», впиваясь в собеседника острыми глазами: принимает ли всерьез. Мне уже успели рассказать, что крепостничество и дворянство напускные, и я всерьез не принимаю.

Острые глазки смотрят пронзительно и лукаво. «...Священная миссия высшего сословия...» Он обрывает фразу, не окончив.— Впрочем, ну все это к черту. Давайте говорить о стихах!..

— Давайте.

* * *

Борис Садовский был слабый поэт. Вернее, он поэтом не был. От русского поэта у него было только одно качество — лень. Лень помешала ему заняться его прямым делом — стать критиком.

Если имя Садовского еще помнят за его бледно-аккуратные стихи,— статьи его забыты всеми. Несправедливо забыты. Две книжки Садовского «Озимь» и «Ледоход», право, стоят многих «почтенных» критических трудов.

«Цепная собака «Весов» звали Садовского литературные враги — и не без основания. Список ругательств, часто непечатных, кем-то выбранный из его рецензий, занял полстраницы петита.

Но за ругательствами — был острый ум и понимание стихов насквозь и до конца. За полемикой, счетами, дворянскими придурями, блаженной памятью Николая I были страницы вполне замечательные.

Кстати, карьера Садовского — пример того, как опасно писателю держаться в гордом одиночестве. Сидеть в своем углу и писать стихи — еще куда ни шло. Но Садовский, когда его связь — случайная и непрочная — с московскими «декадента-

ми» оборвалась, попытался «поплыть против течения», подавая «свободный глас» из своего «хутора Борисовка, Садовской тож». И его съели без остатка.

Выход «Озими» и «Ледохода» был встречен общим улюлюканьем. На свою беду, Садовский остроумно обмолвился — о поэзии по прусскому образцу с Брюсовым-Вильгельмом, Гумилевым-Кронпринцем и их «лейтенантами». «Гумилев льет свою кровь на фронте, и мы не позволим...» — бил себя в грудь в «письмах в редакции» Ауслендер. «Мы не позволим»,— бил за ним в грудь Городецкий. Время было военное — Садовскому пришлось плохо. За «оскорбленным» Гумилевым никто не прочел и не оценил хотя бы удивительной статьи о Лермонтове, может быть, лучшей в нашей литературе:

«...Собрание поэм Лермонтова — в сущности, груда гениальных черновиков, перебелить которые помешала смерть...»

Среди окружавших Садовского забавной фигурой был также «бывший москвич» — поэт Тиняков-Одинокий. При Садовском он был не то в камердинерах, не то в адъютантах.

«Александр Иванович, сбегай, брат, за папиросами».— Тиняков приносил папиросы.— «Александр Иванович — пива!» — «Александр Иванович, где это Кант говорит то-то и то-то?» — Тиняков без запинки отвечал.

Это был человек страшного вида, оборванный, обросший волосами, ходивший в опорках и крайне ученый. Он изучил все, от клинописи до гипнотизма. Главным коньком его был Талмуд, изученный им досконально, но толковавшийся несколько специфически. Тиняков в трезвом виде был смирен и имел вид забитый и грустный. В пьяном, а пьян он был почти всегда,— он становился предприимчивым.

«Бродячая Собака». За одним столиком сидят господин и дама — случайные посетители. «Фармацевты», на жаргоне «Собаки». Заплатили по три рубля за вход и смотрят во все глаза на «богему».

Мимо них неверной походкой проходит Тиняков. Останавливается. Уставляется мутным взглядом. Садится за их стол, не спрашивая. Берет стакан дамы, наливает вина, пьет.

«Фармацевты» удивлены, но не протестуют. «Богемные нравы... Даже интересно...»

Тиняков наливает еще вина. «Стихи прочту, хотите?»

«...Богемные нравы... Поэт... Как интересно... Да, пожалуйста, прочтите, мы так рады...»

Икая, Тиняков читает:

Любо мне, плевку плевочку
По канавке проплывать,
Скользким боком прижиматься...

— Ну, что... Нравится? — Как же, очень! — А вы поняли? Что же вы поняли? Ну, своими словами расскажите...

Господин мнется.— Ну... эти стихи... вы говорите... что вы плевок... и...

Страшный удар кулаком по столу. Бутылка летит на пол. Дама вскакивает, перепуганная насмерть. Тиняков диким голосом кричит:

— А!.. Я плевок!.. я плевок!.. а ты...

Этот Тиняков в 1920 году неожиданно появился в Петербурге. Он был такой же, как всегда, грязный, оборванный, небритый. Откуда он взялся и чем занимается, никого не интересовало. Однажды он пришел в гости к писателю Г. Поговорили о том, о сем и перешли к политике. Тиняков спросил у Г., что он думает о большевиках. Тот высказал, не стесняясь, что думает.

— А, вот как,— сказал Тиняков.— Ты, значит, противник рабоче-крестьянской власти! Не ожидал! Хоть мы и приятели, а должен произвести у тебя обыск.— И вытащил из кармана мандат какой-то из провинциальных ЧК...

* * *

В 1916 году я был в Москве и завтракал с Садовским в «Праге». Садовский меня «приветствовал», как он выражался. Завтрак был пышный, счет что-то большой. Когда принесли сдачу, Садовский пересчитал ее, спрятал, порылся в кармане и вытащил два медных пятака. «Холоп! — он бросил пятаки на стол,— тебе на водку».— «Покорнейше благодарим, Борис Александрович»,— подобострастно раскланялся лакей, точно получив баснословное «на чай». Я был изумлен. «Балованный народ,— проворчал Садовский.— При матушке Екатерине за гривенник можно было купить теленка»...

Он медленно облачался в свое потертое пальто. Один лакей подавал ему палку, другой шарф, третий дворянскую фуражку.

Через несколько дней я зашел в «Прагу» один. Подавал мне тот же лакей. «Осмелюсь спросить, не больны ли Борис Александрович — что-то их давно не видать».— «Нет, он здоров».— «Ну, слава Богу — такой хороший барин».— «Ну, кажется, на чай он вас не балует?» — Лакей ухмыльнулся.— «Это вы насчет гривенника? Так они когда гривенник, а когда и четвертную отвалят... Не жалуемся — господин хороший...»

X

Осенью 1910 года из третьего класса заграничного поезда вышел молодой человек. Никто его не встречал, багажа у него не было,— единственный чемодан он потерял в дороге.

Одет путешественник был странно. Широкая потрепанная крылатка, альпийская шапочка, ярко-рыжие башмаки, нечищенные и стоптанные. Через левую руку был перекинут клетчатый плед, в правой он держал бутерброд...

Так, с бутербродом в руке, он и протолкался к выходу. Петербург встретил его неприязненно: мелкий холодный дождь над Обводным каналом — веял безденежьем. Клеенчатый городовой под мутным небом, в мрачном пролете Измайловского проспекта, напоминал о «правожительстве».

Звали этого путешественника — Осип Эмильевич Мандельштам. В потерянном в Эйдкунене чемодане, кроме зубной щетки и Бергсона, была еще растрепанная тетрадка со стихами. Впрочем, существенна была только потеря зубной щетки — и свои стихи, и Бергсона он помнил наизусть...

* * *

...В твои годы я сам зарабатывал свой хлеб!

Растрепанные брови грозно нахмуриваются над птичьим личиком. Тарелка с супом, расплескиваясь, отскакивает на середину стола. Салфетка летит в угол...

Отец — не в духе. Он всегда не в духе, отец Мандельштама. Он — неудачник-коммерсант, чахоточный, затравленный, вечно фантазирующий. Постоянные надежды: вот наладится кожевен-

ное дело. И сейчас же на смену разочарование: не повезло, не вышло, провалилось...

Мать — грузная, вялая, добрая, беспомощная, тайком сующая сыну рубль, сэкономленный на хозяйстве. Девяностолетняя высохшая бабушка, с тройными очками на носу, сгорбленная над Библией: высчитывает сроки пришествия Мессии...

Мрачная петербургская квартира зимой, унылая дача летом. И зимой и летом — обеды в грозном молчании, разговоры вполголоса, страх звонка, страх телефона. Тень судебного пристава, вежливая и неумолимая, дымящийся бурый сургуч... Слезы матери — что мы будем делать? Отец, точно лейденская банка, только тронь — убьет...

Висячая лампа уныло горит. Чай нейдет в горло.

«Что мы будем делать?» — Вексель предъявлен к протесту...

Тяжелая тишина. Из соседней комнаты — хриплый шепот бабушки, сгорбленной над Библией: страшные, непонятные, древнееврейские слова.

Ничего,— как-то обходится. Пристав снял печати. Вексель согласились переписать. Снова — надежда: кажется, наладится экспорт масла...

Но все знают, что ничего не наладится, все неверно, неустойчиво — должно кончиться чем-нибудь страшным — разрывом сердца, самоубийством, нищетой.

...Худой, смуглый, некрасивый подросток, отделавшись, наконец, от томительного чаепития, читает у себя в комнате «Критику чистого разума». Трудно читать. Но Куно Фишер валяется под столом — к черту Куно Фишера.

«Головой» — трудно еще уследить за Кантом, но уже все существо впитывает, как воздух, его «чудный холод». В голове шумок тоже «чудный»: самое сладкое читать так — не умом, предчувствием...

Он откладывает книгу и подходит к окну. На пустом Каменноостровском — фонари. На морозном небе — зимние звезды. Как просторно там, в Петербурге, в мире, в пространстве...

— Осип, ложись спать. Опять отец рассердится.

— Ах, сейчас, мама.

...В голове туман. Кант... Музыка... Жизнь... Смерть... Сердце начинает стучать... Губы начинают шевелиться.

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
Господи! сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди —
Впереди густой туман клубится
И пустая клетка позади...

* * *

Мандельштам — самое смешливое существо на свете.

Где бы он ни находился, чем бы ни был занят — только подмигните ему, и вся серьезность пропала. Только что вел важный и ученый разговор с не менее важным и ученым собеседником, и вдруг:

— Ха-ха-ха-ха...

Он хохочет до удушья. Лицо делается красным, глаза полны слез. Собеседник удивлен и шокирован. Что такое с молодым человеком, рассуждавшим так умно, так вдумчиво? Не болен ли он?..

О, нет, не болен. Впрочем — пусть болен. Все-таки это более правдоподобно, чем если объяснять действительную причину смеха: кто-то чихнул, муха села кому-то на лысину...

— Зачем пишется юмористика? — искренне недоумевает Мандельштам.— Ведь и так *все* смешно.

Раз мы проходили по Сергиевской, мимо дома, где года два назад Мандельштам, «временно» проклятый и изгнанный отцом (это случалось часто), жил у тетушки с дядюшкой. Жилось Мандельштаму там несравненно лучше, чем дома. И дядюшка, и тетушка ухаживали за племянником чрезвычайно. Тетушка, веселая, розовая, круглая, как шар, закармливала его чем-то жирным и вкусным, худощавый и лысый дядюшка потчевал хорошими папиросами, коньяком и совал в карман пятирублевки. Мандельштам тоже их искренне любил.

«Славные старики, милые старики...»

Мы проходили мимо дома этих «славных стариков». Я заметил на окнах их квартиры белые билетики о сдаче.

— Твои родные переехали? Где же они теперь живут?

— Живут?.. Ха...ха...ха... Нет, не здесь... Ха...ха...ха... Да, переехали...

Я удивился.

— Ну, переехали,— что ж тут смешного?

Он совсем залился краской.

— Что смешного? Ха...ха... А ты спроси, *куда* они переехали!..

Задыхаясь от хохота, он пояснил:

— В прошлом году... Тю-тю... от холеры... на тот свет переехали!

И оправдываясь от своей неуместной веселости:

— Стыдно смеяться... Они были такие славные... Но так смешно — оба от холеры... А ты... ты... еще спрашиваешь... Куда пе... Ха...ха...ха... Пе... переехали...

Смешлив — и обидчив.

Поговорив с Мандельштамом час,— нельзя его не обидеть, так же, как нельзя не рассмешить. Часто одно и то же сначала рассмешит его, потом обидит. Или — наоборот.

Это, впрочем, «общепоэтическое» — чувствовать обиды, настоящие и выдуманные, с необыкновенной остротой. И тут же смеяться и над ними, и над собой.

Мандельштам обижался за то, что он некрасив, беден, за то, что стихов его не слушают, над пафосом его смеются...

Ну, а Байрон? Он был красив, знаменит и богат, но зато прихрамывал. О, чуть-чуть, почти незаметно. А вряд ли не с этого прихрамывания пошел весь «байронизм»...

Да, это «общепоэтическое». Только о Мандельштаме как-то особенно «позаботилась» недобрая фея, ведающая судьбами поэтов. Она дала ему самый чистый, самый «ангельский» дар и бросила в мир вполне голым, беззащитным, неприспособленным... Барахтайся, как можешь.

Он и барахтался:

Нам ли, брошенным в пространстве,
Обреченным умереть,
О прекрасном постоянстве
И о верности жалеть!

* * *

Стихи, сочинявшиеся в Швейцарии или Гейдельберге русским студентом, удивлявшим местных жителей смешным клетчатым пледом, общипанными рыжими бачками и привычкой в учебные часы прогуливаться где-нибудь в парке, монотонно бормоча себе под нос (так стихи и сочинялись), стихи эти, рукопись которых потерялась вместе с Бергсоном и зубной щеткой, появились в ноябрьской книжке «Аполлона».

> Дано мне тело. Что мне делать с ним,
> Таким единым и таким моим?
>
> За радость тихую дышать и жить,
> Кого, скажите, мне благодарить?
>
> Я и садовник, я же и цветок,
> В темнице мира я не одинок.

Я прочел это и еще несколько таких же «качающихся» туманных стихотворений, подписанных незнакомым именем, и почувствовал толчок в сердце:

— Почему это не я написал!

Такая «поэтическая зависть» — очень характерное чувство. Гумилев считал, что она безошибочней всех рассуждений определяет «вес» чужих стихов. Если шевельнулось — «зачем не я» — значит, стихи «настоящие».

Стихи были удивительные. Именно удивительные. Они прежде всего *удивляли*.

Я очень «уважал» тогда «Аполлон», чрезмерно, пожалуй, уважал. Сам еще там не печатался и на всех печатавшихся смотрел как на каких-то посвященных. До этой ноябрьской книжки 1910 года все, печатавшееся в стихотворном отделе «Аполлона», я искренне считал *поэзией*. Но книжка со стихами Мандельштама впервые ввела меня в «роковое раздумье». Она выглядела особенной, непохожей на прежние. И не к украшению это ей служило...

Впервые блеск «Сребролукого» показался мне несколько... оловянным.

...На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло...

Стихи, подписанные неизвестным именем «О. Мандельштам», переливались, сияли, холодели, как звезды в воде. И от этого «звездного» соседства — очень уж явно обнаруживалась природа всего окружающего,— типографская краска и «верже» высшего качества.

Недели через две, в своей царскосельской гостиной, Гумилев, снисходительно улыбаясь (он всегда улыбался снисходительно), нас познакомил:

— Мандельштам. Георгий Иванов.

Так вот он какой — Мандельштам!

На щуплом теле (костюм, разумеется, в клетку, и колени, разумеется, вытянуты до невозможности, что не мешает явной франтоватости: шелковый платочек, галстук на боку, но в горошину и пр.), на щуплом маленьком теле несоразмерно большая голова. Может быть, она и не такая большая,— но она так утрированно откинута назад на чересчур тонкой шее, так пышно вьются и встают дыбом мягкие рыжеватые волосы (при этом посередине черепа лысина — и порядочная), так торчат оттопыренные уши... И еще чичиковские баки пучками!.. И голова кажется несоразмерно большой.

Глаза прищурены, полузакрыты веками — глаз не видно. Движения странно несвободные. Подал руку и сразу же отдернул. Кивнул — и через секунду еще прямее вытянулся. Точно на веревочке.

Заговорил он со мной, неизвестно почему, по-французски, старательно грассируя. На каком-то слишком «парижском» ррр... как-то споткнулся. Споткнулся, замолчал, залился густой малиновой краской, выпрямился еще надменней...

Это он, совсем меня не зная, не сказав со мной ни одной связной фразы,— уже обиделся на меня. За что? — За то, что он не так что-то выговорил, или не так подал руку, и я это заметил и, про себя, что-нибудь непременно подумал...

А через четверть часа он за чаем смеялся до слез какому-то вздору, который я рассказал случайно. Что-то о везшем меня извозчике — чушь какую-то. Смеялся как ребенок, уткнувшись лицом в салфетку и задыхаясь.

Когда я услышал стихи Мандельштама в его чтении, я был удивлен еще раз.

К странным манерам читать — мне не привыкать было. Все поэты читают «своеобразно»,— один пришепетывает, другой подвывает. Я без всякого удивления слушал и «шансонетное» чтение Северянина, и рыканье Городецкого, и панихиду Чулкова. И все-таки чтение Мандельштама поразило меня.

Он тоже пел и подвывал. В такт этому пенью он еще покачивал обремененной ушами и баками головой и делал руками как бы пассы. В соединении с его внешностью пение это должно было казаться очень смешным. Однако не казалось.

Напротив,— чтение Мандельштама, несмотря на всю его нелепость, как-то околдовывало. Он подпевал и завывал, покачивая головой на тонкой шее, и я испытывал какой-то холодок, страх, волнение, точно перед сверхъестественным. Такого беспримесного проявления всего существа поэзии, как в этом чтении, как в этом человеке (во всем, во всем, даже в клетчатых штанах),— я еще не видал в жизни.

И еще раз мне пришлось удивиться в этот первый день нашего знакомства. Кончив читать — Мандельштам медленно, как страус, поднял веки. Под красными веками без ресниц были сияющие, пронизывающие, прекрасные глаза.

* * *

«Над желтизной правительственных зданий» светит, не грея, шар морозного солнца. Извозчики везут седоков, министры сидят в величественных кабинетах, прачки колотят ледяное белье, конногвардейцы завтракают у «Медведя»,— но что же делать в этом распорядке царского Петербурга — ему, Мандельштаму, точно и впрямь свалившемуся с какого-то Марса на петербургскую мостовую? Денег у него нет. Его оттопыренные уши мерзнут.

Летит в туман моторов вереница,
Самолюбивый скромный пешеход,
Чудак Евгений — бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет...

Что же, чем не занятие — шагать по тротуару, вдыхая бензин и стыдясь бедности! Тем более, что —

> ...И в мокром асфальте поэт
> Захочет — так счастье находит.

Вскоре по приезде из-за границы (в родительском доме стало ему совсем «не житье») Мандельштам зажил самостоятельно.

Мандельштам и самостоятельная жизнь!

Жил все-таки. Ценою долгих переговоров, сложных обменов готового белья на превосходящую его груду нестиранного,— из цепких, красных рук прачек вырывались ослепительные пестрые рубашки, которыми любил блистать Мандельштам. Каким-то чудом поддавались уговорам и непреклонные по природе мелкие портные и кроили в кредит, вздыхая и качая головами, крупно-клетчатые костюмы на его нелепую фигуру. Это и карманные деньги было самой сложной частью самостоятельного существования. Квартира и стол были делом пустяшным: симпатичные полковники в отставке и добродушные старые евреи, сдающие комнаты и не слишком притесняющие жильцов, в дореволюционные времена водились в Петербурге... Карманные деньги были нужны на табак и на черный кофе: для написания стихотворения в пять строф — Мандельштаму требовалось, в среднем, часов восемь, и в течение этого времени он уничтожал не менее пятидесяти папирос и полфунта кофе.

Если денег окончательно нет — остается последний выход, утомительный, но верный. Броситься, как в пучину, под замороженную полость извозчика.— Пошел...

Заплатить нечем. Но ведь придется заплатить. Значит, кто-то, где-то заплатит. А уж, наверно, у того, кто заплатит извозчику, найдется трехрублевка и для седока...

Замороженный ванька плетется в «неизвестном направлении». Мелькают другие извозчики, знающие, куда ехать, с седоками, имеющими квартиры и текущие счета в банке. В витринах Елисеева мелькают тени ананасов и винных бутылок, призрак омара завивает во льду красный чешуйчатый хвост. На углу Конюшенной и Невского продаются плацкарты международных

вагонов в Берлин, Париж, Италию... Раскрасневшиеся от мороза женщины кутаются в соболя; за стеклами цветочных магазинов — груды срезанных роз.— И все это так... кажущееся...

Реально — пальто, подбитое ветром, комната, из которой выселяют, извозчик, за которого неизвестно кто заплатит, некрасивое лицо с багровеющими от холода ушами, обиды настоящие и выдуманные,— выдуманные часто больнее настоящих... И все то же, единственное жалкое утешение:

...И в мокром асфальте поэт
Захочет — так счастье находит.

...Зачем пишут юмористику,— не понимаю. Ведь и так *все смешно*...

Раз Мандельштам должен был срочно ехать в Варшаву. Он был влюблен (разумеется, безнадежно). И от этой поездки зависела как-то (или ему казалось, что зависела) «вся его судьба». Было военное время, но он проявил небывалую энергию и выхлопотал все пропуски и разрешения. Но в хлопотах он забыл о «пустяшном» — деньгах на поездку.

Ему надо было — «непременно, или умереть»,— быть в Варшаве к определенному сроку. И вот — нет денег. И полная абсолютная невозможность их достать. Я столкнулся с ним в дверях одной редакции, где «высоко ценили» его «прекрасное дарование», но аванса, конечно, не дали. Он сказал тогда:

— Я только теперь понял, что можно умереть на глазах у всех, и никто даже не обернется...

В Варшаву он попал все-таки,— его взял в свой санитарный поезд покойный Н. Н. Врангель. В Варшаве с его «судьбой» произошла какая-то катастрофа,— Мандельштам стрелялся, конечно, неудачно. Отлежавшись в госпитале — он вернулся в Петербург. На другой день после его приезда я встретил его в «Бродячей Собаке». Давясь от смеха, он читал кому-то четверостишие, только что им сочиненное:

Не унывай,
Садись в трамвай,
Такой пустой,
Такой восьмой...

* * *

Когда пришел «Октябрь» и «неудачникам» всех стран были обещаны и дворцы, и обеды, и всяческие удачи, Мандельштам оказался «на той стороне» — у большевиков. Точнее — около большевиков. В партию он не поступил (по робости, должно быть,— придут белые — повесят), товарищем народного комиссара не пристроился. Но терся где-то около, кому-то льстил, пожимал какие-то руки, которые не следовало пожимать,— пожимал и какими-то благами за это пользовался. Это было, конечно, не совсем хорошо, но и не так уж страшно, если подумать, какой безответственной — (притом голодной, беспомощной, одинокой) «птицей Божьей» был Мандельштам. Да и не одному ему из «литераторов российских», и отнюдь при этом не «птицам», вроде Мандельштама, увы, придется элегически вздохнуть:

Какие грязные не пожимал я руки,
Не соглашался с чем...

вспомнив 1918—1920 годы, Смольный, Асторию, «Белый коридор» Кремля...

...1918 год. Мирбах еще не убит. Советское правительство еще коалиционное — большевики и левые эсеры. И вот в каком-то реквизированном московском особняке идет «коалиционная» попойка. Изобразить эту или подобную ей попойку не могу по простой причине: не бывал. Но вообразить не трудно: интеллигентские бородки и золотые очки вперемежку с кожаными куртками. Советские дамы. «За милых женщин, прелестных женщин»... «Пупсик»... «Интернационал». Много народу, много выпивки и еды. Тут же, среди этих очков, «Пупсика», «Интернационала», водки и икры — Мандельштам. «Божья птица», пристроившаяся к этой икре, к этим натопленным и освещенным комнатам, к «ассигновочке», которую Каменева завтра выпишет, если сегодня ей умело польстить. Все пьяны, Мандельштам тоже навеселе. Немного, потому что пить не любит. Он больше насчет пирожных, икры, «ветчинки»...

Советская попойка, конечно, тоже смешна: и как всякое сборище пьяных людей, и «индивидуально»; и советскими манерами «прелестных женщин», и этим «мощным» «Интернацио-

налом», и мало ли чем. «Коалиция» пьет, Мандельштам ест икру и пирожные. Каменева на тонкую лесть мило улыбнулась и сказала: «Зайдите завтра к моему секретарю». «Пупсик» гремит. Тепло. Все хорошо. Все приятно. Все забавно. И... много пить не следует, но рюмку, другую...

Но вдруг улыбка на лице Мандельштама как-то бледнеет, вянет, делается растерянной... Что такое? Выпил лишнее? Или пепел душистой хозяйской сигары прожег сукно только что с такими хлопотами сшитого костюма?..

Или зубы, несчастные его зубы, которые вечно болят, потому что к дантисту, который начнет их сверлить, пойти не хватает храбрости,— зубы эти заныли от сахара и конфет?..

Нет, другое.

С растерянной улыбкой, с недоеденным пирожным в руках, Мандельштам смотрит на молодого человека в кожаной куртке, сидящего поодаль. Мандельштам знает его. Это Блюмкин, левый эсер. Знает и боится, как боится, впрочем, всех, кто в кожаных куртках. Он решительно предпочитает мягко поблескивающие очки Луначарского или надушенные, отманикюренные ручки Каменевой. Кожаные куртки его пугают, этот же Блюмкин особенно. Это чекист, расстрельщик, страшный, ужасный человек... Обыкновенно Мандельштам старается держаться от него подальше, глазами боится встретиться. И вот теперь смотрит на него, не сводя глаз, с таким странным, жалким, растерянным видом. В чем дело?

Блюмкин выпил очень много. Но нельзя сказать, чтобы он выглядел совершенно пьяным. Его движения тяжелы, но уверенны. Вот он раскладывает перед собою на столе лист бумаги — какой-то список, разглаживает ладонью, медленно перечитывает, медленно водит по листу карандашом, делая какие-то отметки. Потом, так же тяжело, но уверенно, достает из кармана своей кожаной куртки пачку каких-то ордеров...

— Блюмкин, чем ты там занялся? Пей за революцию...

И голосом, таким же тяжелым, с трудом поворачивающимся, но уверенным, тот отвечает:

— Погоди. Выпишу ордера... контрреволюционеры...

— Сидоров? А, помню. В расход. Петров? Какой такой Петров? Ну, все равно, в расх...

Вот на это-то смотрит, это и слушает Мандельштам. Без-

домная птица Божья, залетевшая сюда погреться, поклевать икры, выпросить «ассигновочку».

Слышит и видит:

— ...Сидоров? А, помню, в расх...

...Ордера уже подписаны Дзержинским. Заранее. И печать приложена. «Золотое сердце» доверяет своим сотрудникам «всецело». Остается только вписать фамилии и... И вот над пачкой таких ордеров тяжело, но уверенно поднимается карандаш пьяного чекиста.

— ...Петров? Какой такой Петров? Ну, все равно...

И Мандельштам, который перед машинкой дантиста дрожит, как перед гильотиной, вдруг вскакивает, подбегает к Блюмкину, выхватывает ордера, рвет их на куски.

Потом, пока еще ни Блюмкин, никто не успел опомниться — опрометью выбегает из комнаты, катится по лестнице и дальше, дальше, без шапки, без пальто, по ночным московским улицам, по снегу, по рельсам, с одной лишь мыслью: погиб, погиб, погиб... Всю ночь он пробродил по Москве, в страшном возбуждении. Может, благодаря этому возбуждению он, хватавший ангину от простого сквозняка, тут, пробыв на морозе без пальто всю ночь, даже не простудился.— «О чем же ты думал?» — спросил я его.— «Ни о чем. Читал какие-то стихи, свои, чужие. Курил. Когда начался рассвет и Кремль порозовел, сел на скамейку у Москва-реки и заплакал...»

Сел на скамейку, заплакал. Потом встал и пошел в этот самый зарозовевший Кремль, к Каменевой.

Каменева, конечно, еще спала, он ждал. В десять часов Каменева проснулась. Ей доложили о Мандельштаме. Она вышла, всплеснула руками и сказала:

— Пойдите в ванную, причешитесь, почиститесь! Я вам дам пальто Льва Борисовича. Нельзя же в таком виде везти вас к товарищу Дзержинскому.

И Мандельштам «чистился» в каменевской ванной, лил себе на голову каменевский одеколон, перевязывал галстук, ваксил башмаки. Потом пил с Каменевой чай. Пили молча.

Она молчала, и он молчал.
И о чем говорить, мой друг?..

Потом поехали.

Дзержинский принял сейчас же, выслушал внимательно Каменеву. Выслушал, потеребил бородку.

Встал. Протянул Мандельштаму руку.

— Благодарю вас, товарищ. Вы поступили так, как должен был поступить всякий честный гражданин на вашем месте.— В телефон: — Немедленно арестовать товарища Блюмкина и через час собрать коллегию ВЧК для рассмотрения его дела.— И снова, к дрожащему дрожью счастья и ужаса Мандельштаму:

— Сегодня же Блюмкин будет расстрелян.

— Тттоварищ...— начал Мандельштам, но язык не слушался, и Каменева уже тянула его за рукав из кабинета. Так он и не выговорил того, что хотел выговорить: просьбу арестовать Блюмкина, сослать его куда-нибудь (о, еще бы, какая же, если Блюмкин останется в Москве, будет жизнь для Мандельштама!). Но... «если можно», не расстреливать.

Но Каменева увела его из кабинета, довела до дому, сунула в руку денег и велела сидеть дня два, никуда не показываясь,— «пока вся эта история не уляжется...»

Выполнить этот совет Мандельштаму не пришлось. В двенадцать дня Блюмкина арестовали. В два — над ним свершился «строжайший революционный суд», а в пять какой-то доброжелатель позвонил Мандельштаму по телефону и сообщил: «Блюмкин на свободе и ищет вас по всему городу».

Мандельштам вздохнул свободно только через несколько дней, когда оказался в Грузии. Как он добрался туда — одному Богу известно. Но добрался-таки, вздохнул свободно. Свобода, впрочем, была довольно относительная: его посадили в тюрьму, приняв за большевистского шпиона.

Через несколько месяцев Блюмкин провинился «посерьезнее», чем подписыванием в пьяном виде ордеров на расстрел: он убил графа Мирбаха. Мандельштам из осторожности «выждал события»: мало ли, как еще обернется. Но все шло отлично,— левые эсеры рассажены по тюрьмам, Блюмкин, заочно приговоренный к расстрелу, исчез. Мандельштам стал собираться в Москву. Денег у него не было, той «энергии ужаса», которая чудом перенесла его из Москвы в Грузию, тоже. Все ничего — устроилось. Помогли друзья — грузинские поэты: выхлопотали для Мандельштама... высылку из Грузии в административном порядке.

Первый человек, который попался Мандельштаму, только что приехавшему и зашедшему поглядеть, «что и как» в кафе поэтов, был... Блюмкин. Мандельштам упал в обморок. Хозяева кафе — имажинисты — уговорили Блюмкина спрятать маузер. Впрочем, гнев Блюмкина, по-видимому, за два года поостыл: Мандельштама, бежавшего от него в Петербург чуть ли не в тот же вечер, он не преследовал...

XI

Две узкие комнаты с окошками у потолка, точно в подвале. Но это не подвал, напротив,— шестой этаж. Если подняться на носки или, еще лучше, стать на стул — внизу виден засыпанный снегом Таврический сад.

Комнаты небольшие. Мебель сборная. На стенах снимки с Боттичелли: нежно-грустные дети-ангелы на фоне мягкого пейзажа, райски-земного. Много книг. Если посмотреть на корешки — подбор пестрый. Жития святых и Записки Казановы, Рильке и Рабле, Лесков и Уайльд. На столе развернутый Аристофан в подлиннике. В углу, перед потемневшими иконами, голубая «архиерейская» лампадка. Смешанный запах духов, табаку, нагоревшего фитиля. Очень жарко натоплено. Очень светло от зимнего солнца.

Это комнаты Кузмина в квартире Вячеслава Иванова.

Первая — приемная, вторая — спальня. Кузмин встает часов в десять и работает в спальне у конторки — такой, за какими купцы сводят счеты. Работает — стоя. Сидя — засыпаешь, уверяет он. Пишет Кузмин, по большей части, прямо набело. Испишет несколько страниц, погрызет кончик ручки и опять, не отрываясь, покрывает новые, почти без помарок.

Пока Кузмин работает,— в «приемной» начинают собираться посетители. Какие-то лощеные штатские, какие-то юнкера. Зеленые обшлага правоведов, красные — лицеистов.

Это эстеты — поклонники «петербургского Уайльда»,— как все они Кузмина называют.

Пока мэтр работает, эстеты болтают вполголоса.

— Я сейчас перечитываю Леконт де Лиля,— говорит один.— Как это прекрасно.

Другой, менее литературный, рассеянно морщится:

— Quel est ce comte, André? *

— Вилье де Лиль Адан, мой милый,— вставляет насмешливо третий.

Но литературный эстет не чувствует насмешки. Он равнодушно пожимает плечами:

— Connais pas... **

...такие гении, как Леонардо да Винчи...

...Леонардо, Леонардо,— что такое ваш Леонардо! Если бы Аким Волынский не написал о нем книги, никто бы о нем не помнил. Вот Клевер...

...А Петька-то опять у «Медведя» устроил скандал — слыхали? — вставляет, соскучившись умными разговорами, эстет вовсе серый.— Нализался, велел принести миску, пустил туда омара...— Рассуждавшие о Леонардо смотрят на него укоризненно — кричит во весь голос и еще какую-то чушь. Что скажет мэтр?..

Но мэтр как раз заинтересован.

— Что вы говорите, Жоржик! Опять нализался! Ха, ха! Омара в миску! Ха, ха! Ну и что же? Что потом? Хотел драться? Какой сорванец! Обошлось без протокола? Ну, слава Богу. Все-таки влетит ему от ротмистра. Он заедет? Лежит дома? Надо навестить бедняжку...

Кузмин возвращается к своей конторке. Горничная приносит чай. Хрустя английским печеньем, дымя египетскими папиросами, эстеты продолжают болтовню.

...Роджерс вчера была очаровательна...

Тот же день вечером. У Вячеслава Иванова гости. В сводчатой зале, обставленной старинной итальянской мебелью,— «Таврический мудрец» ведет важную беседу на какую-нибудь редкую и ученую тему. Это не «среда», когда в этой гостиной собирается весь литературный Петербург,— несколько избранных, «посвященных» собрались потолковать о «тайнах искусства», недоступных профанам.

Кузмина нет. Но ведь это естественно. Что ему делать среди седобородых профессоров?

Нет — Вячеслав Иванов уже дважды посылал спрашивать, «не вернулся ли Михаил Алексеевич». Наконец, Кузмин входит.

*Что это за граф, Андрей? (*фр.*).— *Ред.*

** Не знаю (*фр.*).— *Ред.*

Папироса в зубах, запах духов, щегольской костюм, рассеянно-легкомысленный вид. Что ему тут делать?

— Как хорошо, что вы пришли, дорогой друг,— говорит Вячеслав Иванов.— Мы поспорили тут на интересную филологическую тему. Профессору мои доводы кажутся неубедительными. Я рассчитываю на вашу эрудицию...

* * *

Когда в 1909 году я познакомился с Кузминым, Кузмин только что сбрил бороду. Если бы это касалось кого-нибудь другого — можно было бы о бороде и не упоминать. Но в биографии Кузмина сбритая борода, фасон костюма, сорт духов или ресторан, где он завтракал,— факты первостепенные. Вехи, так сказать. По этим «вехам» можно проследить всю «кривую» его творчества.

Итак — Кузмин только что сбрил бороду. Еще точнее: перестал интересоваться своей внешностью, менять каждый день цветные жилеты, маникюрить руки. Перестал запечатывать письма оранжевым сургучом с оттиском своего герба, перестал душить их приторным «Астрисом». Короче: апостол петербургских эстетов, идеал денди с солнечной стороны Невского стал равнодушен к дендизму и к эстетизму.

Перестал. Но костюмы элегантного покроя еще остались, запах «Астриса» из хрустящей бумаги еще не выветрился. И эти донашиваемые костюмы, эта дописываемая бумага приобрели вдруг «шарм», которого им прежде не хватало,— законный, скромный, побочный шарм вещей «при человеке».

Перестали быть (или казаться) целью — приобрели прелесть.

Маркизы, мушки, XVIII век, стилизованное вольнодумство, подвиги великого Александра, лотосы, Нил, нубийцы, опять XVIII век и маркизы — все, о чем писал Кузмин до тех пор,— перестало его интересовать вместе с галстуками и цветными сургучами. Но галстуки еще донашивались. Кузмин, бросив изысканные темы,— перешел к обыкновенным. Но его язык, манера, легкость — остались. И, перестав быть целью,— приобрели прелесть.

...В 1909—1910 гг. Кузмин дописывал роман «Прекрасный

Иосиф», последние стихи из «Осенних озер» — лучшее из им написанного и в прозе и в стихах. Вещи Кузмина той эпохи были совсем хороши, особенно проза. Казалось, что поэт-денди, став просто поэтом, выходит на настоящую, широкую дорогу.

Казалось...

На «настоящую» дорогу Кузмин не вышел. В 1909—1910 году он дописывал свои лучшие вещи. Следующая за «Осенними озерами» книга стихов «Глиняные голубки» — падение, не резкое, но явное. Следующий роман — «Мечтатели» — тоже. Старые галстуки донашивались, новые не покупались. «Прекрасная ясность» стала походить на опасную легкость. Изящная небрежность — быстро превратилась в неряшливость. Освободившись от своего прежнего «эстетического» содержания, писания Кузмина с каждой новой вещью все определеннее делались болтовней безо всякого содержания вообще. Зинаида Петровна дрянь и злюка, она интригует и пакостит, у нее длинный нос, который она вечно пудрит. А подпоручик Ванечка похож на ангела...— вот и тема для повести, а то и для романа. И ставшая предательской «прекрасная ясность» придает все более мертво-фотографический оттенок пустым «разговорчикам» неинтересных персонажей...

Как же это случилось?

* * *

Сбритая борода, сорт духов, ресторан, где Кузмин завтракал, повторяю,— факты первостепенные в его биографии. Такова уж его «женственная» природа: мелочи занимают одинаковое место с важным, иногда большее. Судьба таких писателей целиком зависит от «воздуха», которым они дышат,— как бы талантливы они ни были. Даже так талантливы, как Кузмин.

Вначале Кузмин попал в блестящую среду — лучше нельзя было для него придумать. Он поселился в квартире Вячеслава Иванова, и все лучшее из написанного Кузминым — написано под «опекой» этого, может быть, единственного за всю историю русской литературы — знатока, ценителя, *друга* поэзии. Сам поэт холодный, тяжелый, книжный — чужие стихи, чужой дар В. Иванов понимал и умел направлять, как никто.

Жизнь у В. Иванова была именно то, что Кузмину было нужно. Он стал писать увереннней, «звук» его поэзии становился все чище.

Но произошло охлаждение, и Кузмин от Иванова уехал. Жить один он органически не мог — немного времени спустя его уже окружает новое общество, тоже литературное. Он опять живет под одной крышей с другим писателем. Жить Кузмин один не мог — ему нужен был «воздух», чтобы дышать. Но вот воздух найден. И Кузмин дышит им так же свободно, как воздухом ивановской «Башни».

Теперь он под опекой писательницы Н⟨агродской⟩, автора «Гнева Диониса»,— живет у нее. Теперь она дает ему литературные советы. Эстетические правоведы и юнкера, перекочевав за «мэтром» в гостеприимные салоны этой салонной писательницы,— довольны. Здесь гораздо веселей, чем на Таврической. Доволен и Кузмин — нет над ним «никакого начальства», никто его не «направляет», никто не «рассчитывает на его эрудицию», когда ему лень после хорошего обеда вести умные разговоры. Здесь, за глаза и в глаза, называют его гением и на каждое его слово ахают от восторга...

...Михаил Алексеевич — вы русский Бальзак!

...Кузмин — это маркиз, пришедший к нам из дали веков...

...Он выстрадал свою философию...

Автор «Гнева Диониса», знаменитая писательница, внушает своему новому «союзнику»:

— Вы тонкий. Вы чуткий. Эти декаденты заставляли вас ломать свой талант. Забудьте то, что они вам внушали... Будьте самим собой.

Забыть так не трудно. Стать «самим собой» так приятно. Писать, не ломая талант,— так легко. Теперь не то что переделок — и помарок не бывает.

И, главное, никаких мудрствований, никаких подводных течений: Зинаида Петровна дрянь и злюка и вечно пудрит нос. А подпоручик Ванечка — ангел...

> Дважды два — четыре,
> Два да три — пять,
> Вот и все, что мы можем,
> Что мы можем знать...

...Charmant, charmant... *
...Он выстрадал свою философию...

* * *

— Как вы думаете, включать мне эти стихи в книгу? — спрашиваю я у Кузмина.

Кузмин смотрит удивленно.

— Почему же не включать? Зачем же тогда писали? Если сочинили — так и включайте.

Он сам «включает» все, что написалось. Пишет, между прочим, что придется. Сонет-акростих, и поэму, и слова для балета. На одной странице стихи о сивилле, явившейся поэту (правда, они посвящены Н⟨агродской⟩, что несколько смягчает их важный тон), а на другой:

Как радостна весна в апреле,
Как нам пленительна она;
В начале будущей недели
Пойдем сниматься у Боасона...

На самом деле собирался идти сниматься. За завтраком у Альбера — об этом проекте заговорили, пришла рифма весна — Боасона, а там и весь «стишок». Придя домой, Кузмин аккуратно переписал его в тетрадку. Собирая новую книгу — не забыл вставить и этот.

...Зачем же не включать? Если написали, так и включайте...

Сочиняет стихи на ходу. Шел к вам — вот сочинил по дороге. Пишет музыку — в комнате, где играют дети сестры. Басы на рояле ему не нужны: дети колотят по басам изо всей силы. А с другого бока, на клавишах повыше, Кузмин подбирает новую песенку, стряпает свою «музычку с ядом».

Прозу пишет прямо набело.— Зачем же переписывать, у меня почерк хороший?..

Сестры, тяжесть и нежность — одинаковы ваши приметы...

* Очаровательно, очаровательно... (*фр.*).— *Ред.*

Сестры «прекрасная ясность» и «опасная легкость» — ваши приметы тоже одинаковы, для невнимательных, для нежелающих быть внимательными глаз...

Но сам Кузмин — какая затейливая жизнь, какая странная судьба!

...Кузмин ходит в смазных сапогах и поддевке.

...Кузмин принимает гостей в шелковом кимоно, обмахиваясь веером...

...Он старообрядец с Волги...

...Он еврей...

...Он служил молодцом в мучном лабазе...

...Он воспитывался в Италии у иезуитов...

...У Кузмина удивительные глаза...

...Кузмин урод...

В этих пересудах много вздора, но в самом вздорном есть капля правды. Шелковые жилеты и ямщицкие поддевки, старообрядчество и еврейская кровь, Италия и Волга — все это кусочки пестрой мозаики, составляющей биографию Михаила Алексеевича Кузмина.

И внешность почти уродливая и очаровательная. Маленький рост, смуглая кожа, распластанные завитками по лбу и лысине, нафиксатуаренные пряди редких волос — и огромные удивительные «византийские» глаза. Жизнь Кузмина сложилась странно. Литературой он стал заниматься годам к тридцати. До этого занимался музыкой, но недолго. А раньше?

Раньше была жизнь, начавшаяся очень рано, страстная, напряженная, беспокойная. Бегство из дому в шестнадцать лет, скитания по России, ночи на коленях перед иконами, потом атеизм и близость к самоубийству. И снова религия, монастыри, мечты о монашестве. Поиски, разочарования, увлечения без счету. Потом — книги, книги, книги, итальянские, французские, греческие. Наконец, первый проблеск душевного спокойствия — в захолустном итальянском монастыре, в беседах с простодушным каноником. И первые мысли об искусстве — музыке...

* * *

Кузмин готовился быть композитором — учился у Римского-Корсакова. Консерватории не кончил, но музыки не бросил.

Именно занятию музыкой Кузмин обязан своей быстрой литературной славой, может быть, и всей своей карьерой.

Музыкальный критик В. Каратыгин где-то услышал игру Кузмина и ею пленился. В качестве музыканта Кузмин и вошел в петербургский поэтический круг,— а там уж распознали его настоящее призвание.

Стихам Кузмина «учил» Брюсов.

— Вот вы все ищете слов для музыки,— уговаривал его Брюсов,— и не находите подходящих. А другие находят без труда — берут первое попавшееся, какого-нибудь Ратгауза, и довольны. Вы же не находите. Почему? Потому, что для вас слова не менее важны. Значит, вы должны сами их сочинять.

— Помилуйте, Валерий Яковлевич, как же сочинять? Я не умею. Мне рифм не подобрать.

И Брюсов учил тридцатилетнего начинающего «подбирать рифмы». Ученик оказался способным.

Кстати — о кузминской музыке. Сам он определял ее так: — У меня не музыка, а музычка, но в ней есть яд.

Точное определение.

Какая-нибудь петербургская гостиная. Дамы и молодые люди, поднесенные к глазам лорнетки, учтивые улыбки.— Михаил Алексеевич, сыграйте.— Кузмин по-женски жеманится.— Право, не знаю...— Пожалуйста, пожалуйста.— Жеманясь, Кузмин идет к роялю. Тоже как-то по-женски трогает клавиши. С улыбкой оборачивается.— Но что же мне играть? Я не помню, я забыл ноты...

Дитя, не тянися весною за розой,
Розу и летом сорвешь...

Кузмин, картавя и пришепетывая, поет, по-старушечьи, подыгрывая что-то сладко-меланхолическое. Голоса у него нет. Пустые, глуповатые слова, пустая, глуповатая музыка под XVIII век. Не музыка — музычка. Закройте глаза: разве это не бабушка-помещица, окруженная внуками, играет, вспоминая молодость, старинные чувствительные романсы?

Когда бы в юности мы знали,
Как быстро дни любви бегут,
Мы б ничего не пропускали,
Ловя блаженство там и тут...

Не музыка — музычка. Но в ней — яд.

Уже не в салоне, а окруженный знатоками, поет и играет Кузмин. Каратыгин. Метнер. Браудо. Они внимательно слушают это странное «чудо». Подражательно? Еще бы. Банально? — Банально. Легковесно? — Легковесно. Но...

— Михаил Алексеевич, еще, еще спойте...

Дребезжит срывающийся голос, плывут с простенькой мелодией — глуповато-чувствительные «стишки», привычно сталкиваются незатейливые рифмы:

Мне матушка сказала:
Беги любови злой,
Ее опасно жало,
Уколет не иглой.

Я матушке послушна,
Приму ее совет,
Но можно ль равнодушной
Прожить в шестнадцать лет?

* * *

И литературная судьба у Кузмина странная.

После 1905 года вкусы русской «передовой» публики начали меняться. Всевозможные «дерзания» ее утомили. После громов первых лет символизма хотелось простоты, легкости, обыкновенного человеческого голоса.

Кузмин появился как нельзя вовремя.

Первое стихотворение его первой книги начиналось строчками, прозвучавшими тогда как откровение:

...Где слог найду, чтоб описать прогулку,
Шабли во льду, поджаренную булку...

Вот, вот — именно. Все устали от слога высокого, все хотели «прекрасной ясности», которую провозгласил Кузмин.

И редко чье имя произносилось с бо́льшим вниманием и надеждой, чем тогда имя Кузмина. И не только читателями, но и людьми, чье одобрение вряд ли можно было заслужить не по праву,— В. Ивановым, Иннокентием Анненским. Для

лучшей части тогдашней поэтической молодежи имя Кузмина было самым дорогим.

Они пленительны и сейчас, его ранние вещи. И сейчас, когда очарование новизны прошло, а все недостатки этой поэзии проступили. Перечтите «Сети», «Осенние озера», первые три тома рассказов, «Куранты любви». При всех «частностях»,— это прекрасное достояние русской литературы. И это, я думаю, в ней останется.

Но:

...Зачем же переписывать — у меня почерк хороший...

...Если написали — так и включайте...

...Он выстрадал свою философию...

...В начале будущей недели пойдем сниматься к Боасона...

Прекрасная ясность — опасная легкость.

У Кузмина было все, чтобы стать замечательным писателем. Не хватало одного — твердости. «Куда ветер подует».

Ветер подул сначала в сторону бульварного романа, потом обратно к стилизации, потом к Маяковскому, потом еще куда-то. Для судеб русской поэзии эта «смена ветров» уже давно стала безразличной.

XII

Василеостровская вдова-чиновница, колебавшаяся, сдавать или не сдавать комнату Гумилеву, говорила:

— Конечно, вы господин солидный... Слава Богу, я господ знаю... Собственный домик, говорите, в Царском? Так, так. Комнатку, чтобы было где переночевать, когда наезжаете?.. Так, так. Понятно, нынче с поездами мучение. Верю, сударь, и понимаю; знаю, слава Богу, господ. Мне такой жилец, как вы,— самый подходящий. Только... Желаете, я вам адресок дам, недалеко, тут же на Тучковом — тоже комнаты сдаются. Вы поглядите, может, подойдут...

— Да зачем же я пойду глядеть? Мне у вас нравится.

Вдова жеманно улыбалась.

— И вы мне нравитесь, господин. Слава Богу... Вижу, с кем имею дело. Собственный домик... Жилец тихий, образованный...

— Ну, так что ж? Давайте по рукам. Завтра же и перееду.

Вдова помолчала минуту.

— Тут же, на Тучковом. За углом. Хорошие комнаты, светлые. Одна подполковница сдает. Сходите, господин, вам понравится... А я, извиняюсь,— опасаюсь...

— Чего же вы опасаетесь?

— Да ведь вы сами сказали, что поéты. А в поéты, известно, публика идет, извиняюсь, не того... Женщина я старая, мне покой дороже. Сходите, господин, к генеральше...

Как это ни обидно, надо сознаться, что устами старухи говорила житейская мудрость. «Шла в поэты» публика, действительно, «не того» — странная, шалая, беспокойная...

* * *

Поэт Владимир Нарбут ходил бриться к Молле — самому дорогому парикмахеру Петербурга.

— Зачем же вы туда ходите? Такие деньги, да еще и бреют как-то странно.

— Гы-ы,— улыбался Нарбут во весь рот.— Гы-ы, действительно, дороговато. Эйн, цвей, дрей — лосьону и одеколону, вот и три рубля. И бреют тоже — ейн, цвей, дрей — чересчур быстро. Рраз — одна щека, рраз — другая. Страшно — как бы носа не отхватили.

— Так зачем же ходите?

Изрытое оспой лицо Нарбута расплывается еще шире.

— Гы-ы! Они там все по-французски говорят.

— Ну?

— Люблю послушать. Вроде музыки. Красиво и непонятно...

Этот Нарбут был странный человек.

В 1910 году вышла книжка: «Вл. Нарбут. Стихи». Талантливая книжка. Темы были простодушные: гроза, вечер, утро, сирень, первый снег. Но от стихов веяло свежестью и находчивостью — «Божьего дара».

Многое было неумело, иногда грубовато, иногда провинциально-эстетично (последнее извинялось тем, что большинство стихов было подписано каким-то медвежьим углом Воронежской губернии), многое было просто зелено — но все-таки книжка обращала на себя внимание, и в «Русской Мысли» и «Аполлоне» Брюсов и Гумилев очень сочувственно о ней отозва-

лись. Заинтересовались стихами, заинтересовались и автором — где он, каков? Оказалось — Нарбут, брат известного художника Егора Нарбута. Обратились к художнику с расспросами. Тот покрутил головой.

— Братишка мой? Ничего, парень способный. Только не надейтесь — толку не будет. Пьет сильно и вообще хулиган...

— Где же он?

— У себя в Саратовской, именьице там у него. Пьянствует, должно быть,— осенью у него всегда кутеж: урожай продал...

— А в Петербург не соберется?

— Соберется, не беспокойтесь. Особенно теперь, как вы его по «Аполлонам» расхвалили. Успеете познакомиться... И пожалеть о знакомстве успеете...

Разговор шел в ноябре. А в январе секретарь «Аполлона» был вызван в суд свидетелем по делу сотрудника «Аполлона», «дворянина Владимира Нарбута». Нарбут собрался, наконец, в Петербург, и в первый же вечер был задержан «за оскорбление полицейского при исполнении служебных обязанностей». Ночью, по дороге из «Давыдки» в какой-то другой кабак, подзадориваемый сопровождавшими его прихлебателями, пытался влезть на хребет одного из коней Клодта на Аничковом мосту и нанес тяжкие побои помешавшему ему городовому...

* * *

Нарбут приехал в Петербург не для того только, чтобы оседлать чугунного скакуна, уплатить по суду соответственный штраф и завести литературные знакомства. У него была цель и посерьезней — удивить и потрясти Петербург и литературу.

Когда Нарбуту говорили что-нибудь лестное о его прежних стихах — он только улыбался загадочно-снисходительно: погодите, то ли будет. Вскоре, то там, то здесь, в литературной хронике промелькнула новость: Вл. Нарбут издает новую книгу «Аллилуйя». Как известно, значение, которое поэт придает появлению своей книги — обратно пропорционально впечатлению от этого же события на читателя. По подсчету Брюсова, его читали, по всей России, около тысячи человек. Брюсова в преуменьшении из скромности заподозрить трудно. А подсчитано это в разгар всероссийской славы Брюсова и читательского

интереса к нему. Чего же было ждать начинающему? От одобрительных рецензий в «Аполлоне» и «Русской Мысли» до славы, ну, по крайней мере, как у Леонида Андреева, было очень далеко. Нарбут, при всей своей самонадеянности, это понимал. Но так как славы ему очень хотелось, ждать у моря погоды было не в его нравах, а довольствоваться малым он не привык, то Нарбут и решил форсировать события.

* * *

Синодальная типография, куда была сдана для набора рукопись «Аллилуйя», ознакомившись с ней, набирать отказалась «в виду светского содержания». Содержание, действительно, было «светское» — половина слов, составляющих стихи, была неприличной.

Синодальная типография потребовалась Нарбуту — потому что он желал набрать книгу церковнославянским шрифтом. И не простым, а каким-то отборным. В других типографиях такого шрифта не оказалось. Делать нечего — пришлось купить шрифт. Бумаги подходящей тоже не нашлось в Петербурге — бумагу выписали из Парижа. Нарбут широко сыпал чаевые наборщикам и метранпажам, платил сверхурочные, нанял даже какого-то специалиста по церковнославянской орфографии... В три недели был готов этот типографский шедевр, отпечатанный на голубоватой бумаге с красными заглавными буквами и (Саратов дал себя знать) портретом автора с хризантемой в петлице и лихим росчерком...

По случаю этого события в «Вене» было устроено Нарбутом неслыханное даже в этом «литературном ресторане» пиршество. Борис Садовский в четвертом часу утра выпустил все шесть пуль из своего «бульдога» в зеркало, отстреливаясь от «тени Фаддея Булгарина», метр-д'отеля чуть не выбросили в окно — уже раскачали на скатерти — едва вырвался. Нарбут в залитом ликерами фраке, с галстуком на боку и венком из желудей на затылке, прихлебывая какую-то адскую смесь из пивной кружки, принимал поздравления. Городецкий (это он принес венок из желудей) ухаживал за «юбиляром» деятельней всех. Он уже выпил с ним на «ты» и теперь, колотя себя в грудь, пророчествовал:

— Ты... ты... я верю... вижу... будешь вторым... Кольцовым.

Но Нарбут недовольно мотнул головой.

— Ккольцовым?.. Нннехочу...

— Как? — ужаснулся Городецкий.— Не хочешь быть Кольцовым? Кем же тогда? Никитиным?

Нарбут наморщил свой изрытый, безбровый лоб. Его острые глазки лукаво блеснули.

— Не... Хабриэлем Даннунцио...

* * *

Славы «Хабриэля» Даннунцио — «Аллилуйя» Нарбуту не принесла. Книга была конфискована и сожжена по постановлению суда.

Не знаю, подействовала ли на Нарбута эта неудача, или на «Аллилуйя» ушел весь запас его изобретательности.

...Нарбут не пьет... Нарбут сидит часами в Публичной библиотеке... Нарбут ходит в Университет... Для знавших автора «Аллилуйя» — это казалось невероятным. Но это была правда. Нарбут — «остепенился».

В этот «тихий» период я встречал его довольно часто, то там, то здесь. Два-три разговора запомнились. Я и не предполагал, как крепко сидит в этом кутиле и безобразнике страсть, наивная «страсть к прекрасному»...

Постукивая дрянной папироской по своему неприлично большому и тяжелому портсигару (вдобавок украшенному бриллиантовым гербом рода Нарбутов), морща рябой лоб и заикаясь, он говорил:

— Меня считают дураком, я знаю. Экая скотина — снял урожай, ободрал мужиков и пропивает. Пишет стихи для отвода глаз, а поскреби — крепостник. Тит Титыч, почти что орангутанг. А я?..

Молчание. Пристальный взгляд острых, маленьких, холодных глаз. Обычная плутовская «хохлацкая» усмешка сползает с лица. Вздох.

— А я?.. Какой же я дурак, если я смотрю на Рафаэля и плачу? Вот...— он достает из бумажника, тоже украшенного короной, затрепанную открытку.— Вот... Мадонна... Сикстинская... Был за границей. Берлин там. «Цоо», тигра икрой кор-

мил,— ничего, жрет, еще просит,— видно, вкусней человечины, Винтергартен какой-то. Ну, дрянь, пошлость. Коньяк отвратительный, зато дешев — дешевле водки. Пьянствовали мы, пьянствовали, и попал я как-то в Дрезден. Тоже по пьяной лавочке, с компанией. Уж не помню, как и оказались в этой, как ее... Пинакотеке... Нет, это в Мюнхене — Пинакотека. Ну, все равно, идем,— глядим, ну, известно,— музей, картины, голые бабы, дичь... Идем, галдим — известно, из кабака по дороге в кабак — зашли случайно. И вдруг, у какой-то двери сторож, старенький такой немец, делает нам знак: здесь, мол, кричать запрещено. Мы удивились, однако прикусили языки — может быть, в той комнате Вильгельм или какой-нибудь Бисмарк тоже осматривает... Входим осторожно. Никого в комнате нет. Так себе зальца небольшая. И на стене эта... Сикстинская Мадонна.

— Полчаса, должно быть, я стоял перед нею, сволочь свою отослал — что она понимает,— сам стою, слезы так и текут. До вечера, может быть, так простоял — сам себя заставил уйти — довольно с тебя, и так на всю жизнь хватит! Такая красота, такая чистота, главное! Сторожу дал двадцать пять марок — не тебе, говорю, даю, в ее честь даю... Понял, кажется...

Нарбут молчит минуту. Его маленькие бесцветные глазки затуманиваются. Две слезы появляются на красных веках без ресниц...

... — Да, это — красота, это — искусство. Полчаса глядел,— а на всю жизнь хватит. На сто жизней! Запил я после этого отчаянно — дым коромыслом. Весь Дрезден вверх дном. Чуть под суд не попали — какого-то штатсрата смазали по морде, с пылу, с жару. Ничего, откупились... Да, это искусство! Или еще Пушкин:

> На холмах Грузии лежит ночная мгла,
> Шумит Арагва предо мною...

— Об этих стихах даже думать спокойно не могу, сейчас сердце колотиться начинает. Когда на Кавказе был — ездил специально смотреть на эту Арагву. Речонка паршивая, кстати, мутная...

Вот! Какой же я орангутанг, если я так красоту чувствую?

А что безобразничаю и Брюсова не боюсь, так потому, что знаю, нечего мне его бояться — и мне, и ему, и третьему — одна цена. Если орангутанги — так все орангутанги. А к Пушкину — в лакеи поступить за счастье бы почел. Вы только вслушайтесь:

Шумит *Арагва* предо мною...

Попалась ему эта Арагва шашлычная, и что он из этой Арагвы сделал? Какое чудо!..

И слезы текут из глаз Нарбута уже одна за другой. А он не пьян. Два-три графинчика водки, только что выпитых,— не в счет.

* * *

В период остепенения Нарбут решил издавать журнал.

Но хлопотать над устройством журнала ему было лень, и вряд ли из этой затеи что-нибудь вышло бы, если бы не подвернулся случай. Дела дешевого ежемесячника — «Новый журнал для всех» — после смены нескольких издателей и редакторов стали совсем плохи. Последний из редакторов этого ставшего убыточным предприятия — предложил его Нарбуту. Тот долго не раздумывал. Дело было для него самое подходящее. Ни о чем не нужно хлопотать, все готово: и контора, и контракт с типографией, и бумага, и название. Было это, кажется, в марте. Апрельский номер вышел уже под редакцией нового владельца.

Вероятно, подписчики «Нового журнала для всех» были озадачены, прочтя эту апрельскую книжку. Журнал был с «направлением», выписывали его сельские учителя, фельдшерицы, то, что называется «сельской интеллигенцией». Нарбут поднес этим читателям, привыкшим к Чирикову и Муйжелю, собственные стихи во вкусе «Аллилуйя», прозу Ивана Рукавишникова, а отделы статей от политического до сельскохозяйственного «занял» под диспут об акмеизме с собственным пространным и сумбурным докладом во главе. Тут же объявлялось, что обещанная прежним издателем премия — два тома современной беллетристики — заменяется новой: сочинения украинского философа Сковороды и стихи Бодлера в переводе Владимира Нарбута.

Подписчики были, понятно, возмущены. В редакцию посыпались письма недоумевающие и просто ругательные. В ответ на них новая редакция сделала «смелый жест». Она объявила, что «Журнал для Всех» вовсе не означает «для всех тупиц и пошляков». Последним, т. е. требующим Чирикова вместо Сковороды и Бодлера — подписка будет прекращена, а удовлетворены они будут «макулатурой по выбору» — книжками «Вестника Европы», сочинениями «Надсона или Иванова-Разумника».

Тут уж по адресу Нарбута пошли не упреки, а вопль. В печати послышалось «позор», «хулиганство» и т. п. Более всего Нарбут был удивлен, что и его литературные друзья, явно предпочитавшие Бодлера Чирикову и знавшие, кто такой Сковорода, говорили почти то же самое. Этого Нарбут не ожидал — он рассчитывал на одобрение и поддержку. И получив вместо ожидавшихся лавров — одни неприятности, решил бросить журнал. Но легко сказать бросить. Закрыть? Тогда не только пропадут уплаченные деньги, но придется еще возвращать подписку довольно многочисленным «пошлякам и тупицам». Этого Нарбуту не хотелось. Продать? Но кто же купит?

Покупатель нашелся. Нарбут где-то кутил, с кем-то случайно познакомился, кому-то рассказал о своем желании продать журнал. Тут же в дыму и чаду кутежа (после неудачи с редакторством Нарбут «загулял вовсю») подвернулся и сам покупатель — благообразный, полный господин купеческой складки, складно говорящий и не особенно прижимистый. Ночью в каком-то кабаке, под цыганский рев и хлопанье пробок — ударили по рукам, выпив заодно и на ты. А утром невыспавшийся и всклокоченный Нарбут был уже у нотариуса, чтобы оформить сделку — покупатель очень торопился.

Гром грянул недели через две — когда вдруг все как-то сразу узнали, что «декадент Нарбут» продал как-никак «идейный и демократический» журнал Гарязину — члену союза русского народа и другу Дубровина...

* * *

После истории с Гарязиным Нарбут исчез из Петербурга. Куда? Надолго ли? Никто не знал. Прошло месяца три, пока он объявился.

Объявился же он так. Во все петербургские редакции пришла краткая, но эффектная телеграмма:

«Абиссиния. Джибутти. Поэт Владимир Нарбут помолвлен с дочерью повелителя Абиссинии Менелика».

Вскоре пришло и письмо с абиссинскими штемпелями и марками, в центре которых красовался герб Нарбутов, оттиснутый на лиловом сургуче с золотой искрой. На подзаголовке под штемпелем «Джибутти. Гранд-Отель» — стояло:

«Дорогие друзья (если вы мне еще друзья), шлю привет из Джибутти и завидую вам, потому что в Петербурге лучше. Приехал сюда стрелять львов и скрываться от позора. Но львов нет, и позора, я теперь рассудил, тоже нет: почем я знал, что он черносотенец? Я не Венгеров, чтобы все знать. Здесь тощища. Какой меня черт сюда занес? Впрочем, скоро приеду и сам все расскажу.

...Брак мой с дочкой Менелика расстроился, потому что она не его дочка. Да и о самом Менелике есть слух, что он семь лет тому назад умер...»

Приехал Нарбут из Африки какой-то желтый, заморенный. На «приеме», тотчас же им устроенном,— он охотно отвечал на вопросы любопытных об Абиссинии,— но из рассказов его выходило, что «страна титанов золотая Африка» — что-то вроде русского захолустья: грязь, скука, пьянство. Кто-то даже усумнился, да был ли он там на самом деле?

Нарбут презрительно оглядел сомневающегося.

— А вот приедет Гумилев, пусть меня проэкзаменует.

... — Как же я тебя экзаменовать буду,— задумался Гумилев.— Языков ты не знаешь, ничем не интересуешься... Хорошо — что такое «текели»?

— Треть рома, треть коньяку, содовая и лимон,— быстро ответил Нарбут.— Только я пил без лимона.

— А...— Гумилев сказал еще какое-то туземное слово.

— Жареный поросенок.

— Не поросенок, а вообще свинина. Ну, ладно, скажи мне теперь, если ты пойдешь в Джибутти от вокзала направо, что будет?

— Сад.

— Верно. А за садом?

— Каланча.

— Не каланча, а остатки древней башни. А если повернуть еще направо, за башню, за угол?

Рябое, безбровое лицо Нарбута расплылось в масляную улыбку:

— При дамах неудобно...

— Не врет,— хлопнул его по плечу Гумилев.— Был в Джибутти. Удостоверяю.

Вскоре оказалось, что Нарбут вывез из Африки не только эти познания, но еще и лихорадку. Оттого-то он и приехал такой желтый. К его огорчению, и лихорадка была вовсе не экзотическая.— В Пинске, должно быть, схватили? — спросил его доктор.

Нарбут уехал поправляться сначала в деревню, потом куда-то на юг. В 1916 году он был ненадолго в Петербурге. Шинель прапорщика сидела на нем мешком, рука была на перевязи, вид мрачный. Потом пошел слух, что Нарбут убит. Но нет,— в 1920 году в книжном магазине я увидел тощую книжку, выпущенную в каком-то из провинциальных отделов Госиздата: «Вл. Нарбут. Красный звон» или что-то в этом роде. Я развернул ее. Рифмы «капитал» и «восстал» сразу же попались мне на глаза. Я бросил книжку обратно на прилавок...

XIII

Есть воспоминания, как сны. Есть сны — как воспоминания. И когда думаешь о бывшем «так недавно и так бесконечно давно», иногда не знаешь,— где воспоминания, где сны.

Ну да,— была «последняя зима перед войной» и война. Был Февраль и был Октябрь... И то, что после Октября — тоже было. Но, если вглядеться пристальней,— прошлое путается, ускользает, меняется.

...В стеклянном тумане, над широкой рекой — висят мосты, над гранитной набережной стоят дворцы, и две тонких золотых иглы слабо блестят... Какие-то люди ходят по улицам, какие-то события совершаются. Вот царский смотр на Марсовом поле... и вот красный флаг над Зимним дворцом. Молодой Блок читает стихи... и вот хоронят «испепеленного» Блока. Распутина убили вчера ночью. А этого человека, говорящего речь (слов не слышно, только ответный глухой одобрительный рев),— зовут Ленин...

Воспоминания? Сны?

Какие-то лица, встречи, разговоры — на мгновение встают в памяти без связи, без счета. То совсем смутно, то с фотографической точностью... И опять — стеклянная мгла, сквозь мглу — Нева и дворцы; проходят люди, падает снег. И куранты играют «Коль славен»...

Нет, куранты играют «Интернационал».

* * *

Падает снег. После вагонного тепла — сырой холодок оттепели пронизывает, забирается в рукава и за шиворот. И что за идея ехать ночью в Царское?!.. Но делать нечего — приехали, и обратного поезда нет.

Тускло горят фонари. Ветки в инее. Звезды.

— Эй, извозчик...

Сани мягко летят по рыхлому, талому снегу.

Городецкий обнимает меня за талию, галантно, на поворотах. На коленях у нас Мандельштам. Гумилев с Ахматовой — на переднем извозчике указывают дорогу — это они и выдумали ехать, на ночь глядя, в Царское. Им-то что — царскоселы. «Но нам-то, нам-то всем». В самом деле, глупо. После какого-то литературного обеда, где было порядочно выпито, поехали куда-то еще — «пить кофе». Потом еще куда-то. В первом часу ночи оказались на Царскосельском вокзале. От «кофе», выпитого и здесь, и там, головы кружились.

— Поедем в Царское... Смотреть на скамейку, где любил сидеть Иннокентий Анненский.

— Едем, едем...

В самом деле, как раньше не догадались? Удачней нельзя и придумать, не правда ли? Ночью, по снегу, в какой-то закоулок Царскосельского парка — на скамейку посмотреть. И за это удовольствие ждать потом до семи часов утра — первого поезда в Петербург!..

Но «кофе» действовало, головы кружились.

— Едем, едем...

Вот — приехали. В вагонном тепле — укачало. На талом холодке развезло. Право, как глупо. Зачем приехали, куда приехали?!..

Гумилев с Ахматовой (им что — царскоселы) впереди — указывают дорогу. Мандельштам на моих с Городецким коленях замерзает, стал тяжелый, как мешок, и молчит. За нами на третьем извозчике еще два «акмеиста», стараются не отстать: у них нет денег на расплату, отстанут — погибнут.

У каких-то чугунных ворот — останавливаемся. Бредем куда-то, по колено в снегу. Деревья шумят заиндевевшими ветками. Звезды слабо блестят. Идем в том же порядке — мы с Городецким под ручки ведем Мандельштама, все тяжелеющего и тяжелеющего. Сугробы все глубже, холод все чувствительней. О, Господи...

Гумилев оборачивается.

— Пришли! Это и есть любимое место Анненского. Вот и скамья.

Снег, деревья, скамья. И на скамье горбатой тенью сидит человек. И негромким, монотонным голосом читает стихи...

...Человек ночью, в глухом углу Царскосельского парка, на засыпанной снегом скамье, глядит на звезды и читает стихи. Ночью, стихи, на «той самой» скамье. На минуту становится жутко,— а ну, как...

Но нет, это не призрак Анненского. Сидящий оборачивается на наши шаги. Гумилев подходит к нему, всматривается...

— Василий Алексеевич,— вы?.. Я не узнал было. Господа, позвольте вас познакомить. Это — цех поэтов: Городецкий, Мандельштам, Георгий Иванов.— Человек грузно подымается и пожимает нам руки. И рекомендуется:

— Комаровский.

У него низкий, сиплый голос, какой-то деревянный, без интонаций. И рукопожатие тоже деревянное, как у автомата. Кажется, он ничуть не удивлен встрече.

— Приехали на скамейку посмотреть. Да, да — та самая. Я здесь часто сижу... когда здоров. Здесь хорошее место, тихое, глухое. Даже и днем редко кто заходит. Недавно гимназист здесь застрелился — только на другой день нашли. Тихое место...

— На этой скамейке застрелился?

— На этой. Это уже второй случай. Почему-то выбирают все эту. За уединенность, должно быть.

— Как же вам не страшно сидеть здесь по ночам одному? — вмешиваюсь я в разговор.

Комаровский оборачивается ко мне и улыбается. Свет фонаря падает на его лицо. Лицо круглое, «обыкновенное»,— такие бывают немцы-коммерсанты средней руки. Во всю щеку румянец. И что-то деревянное в лице и в улыбке.

— Нет, когда я здоров, мне ничего не страшно. Кроме мысли, что болезнь вернется.

Он в течение нашего короткого разговора несколько раз повторяет «моя болезнь», «когда я здоров», «тогда я был болен». Что это за болезнь у этого широкоплечего и краснощекого?

...— Болезнь вернется? — повторяю я машинально конец его фразы.

— Да,— говорит он,— болезнь. Сумасшествие. Вот Николай Степанович знает. Сейчас у меня «просветление», вот я и гуляю. А вообще я больше в больнице живу.

И, не меняя голоса, продолжает:

— Если вы, господа, не торопитесь,— вот мой дом, выпьем чаю,— почитаем стихи.

...В большой столовой, под сияющей люстрой, мы пьем токайское из тонких желтоватых рюмок. Стеклянные двери раскрыты в зимний сад, камин жарко горит. И еще — этот ослепительный свет. Все люстры, бра, лампы и в столовой и в соседних комнатах зажжены, точно для бала. Но хозяин находит, что света еще недостаточно. Он подзывает лакея.

— Зажгите жирандоли.

— Слушаюсь, ваше сиятельство.

Еще четыре высоких хрустальных канделябра вспыхивают по углам сотней свечей.

И хозяин с круглым румяным лицом деревянно улыбается:

— Я не люблю темноты в доме...

Комаровский внимательно слушает наши стихи. Потом читает свои.

Он сидит в глубоком кресле, широко расставив ноги в толстых американских башмаках. Его редкие волосы — аккуратно расчесаны. Круглое румяное лицо — лицо немецкого бюргера, вскормленного бифштексами и пивом. На лице благополучие, сытость. Глаза смотрят ясно и сонно.

...Это совершенно больной человек. Такой больной, что доктора разводят руками — как он еще живет. Его сердце так слабо, что малейшее волнение может стать роковым. От неожиданного шума, от вида крови, от всякого пустяка с Комаровским делается обморок. А с обмороком, нередко, возвращается «то»... Он обречен на скорую смерть — и знает это. Перейти через улицу для него — приключение. Поездка в Петербург — подвиг.

Его единственное страстное желание — побывать в Италии — так же для него неосуществимо, как путешествие на Марс. И он утешается, читая целыми днями путеводители и описания, давно изученные наизусть. И пишет:

Иду неспешною походкою
И камешек кладу в карман
Там, где над новою находкою
Счастливый плакал Винкельман.

Два-три месяца — он живет «спокойно». Мечтает об Италии. Пишет стихи. Ночью бредет на глухую «скамейку самоубийц» в засыпанном снегом парке.

...Когда я здоров, мне ничего не страшно. Кроме мысли, что «болезнь вернется».

...Зажгите жирандоли. Я не люблю темноты в доме...

Два-три месяца. Потом, однажды ночью, он просыпается, окруженный какими-то огненными львами, кричит, отбивается от них... Потом больница, мешок со льдом, смирительная рубашка... Потом, спустя долгие месяцы, новый короткий просвет...

Комаровский недавно выписался из больницы. Припадок был очень тяжел. Думали — не выживет. Нет — выжил. Ровным, чуть деревянным голосом он читает стихи, начатые «там». О чем мог мечтать человек, лежа на койке сумасшедшего дома?..

О Риме, о славе, о Цезаре...

Лампы сияют, от запаха цветов и каминного жара трудно дышать. И ровный голос монотонно читает:

...В провалы туч, в сияющий излом,
За золотым и медленным орлом
Пылающие идут легионы...

Его поэзия блистательна и холодна. Должно быть, это самые блистательные и самые «ледяные» русские стихи. «Парнас» Брюсова — перед ними детский лепет. Но, как в голосе и улыбке Комаровского, и в этом блеске что-то деревянное. И что-то неприятно одуряющее, как в этой комнате, слишком натопленной, слишком освещенной, слишком заставленной цветами.

...Мы слушаем стихи, пьем токайское, о чем-то разговариваем. Наконец, прощаемся. Как приятно вдохнуть полной грудью после благовонной духоты этого дома. Духоты и еще чего-то веющего там — среди смирнских ковров и севрских ваз...

Подморозило. Небо посинело перед рассветом. Через полчаса подадут поезд. Ох — скорее бы в кровать, после бессонной странной ночи.

Это 1914 год, февраль или март. Комаровский говорил о своих планах на осень. Доктора надеются... Если не будет припадка... Поездка в Италию...

Он развернул газету, прочел, что война объявлена, и упал. Сначала думали — обморок. Нет, оказалось,— не обморок, а смерть.

* * *

Из Дома литераторов на Бассейной домой, на Каменноостровский, путь немалый. На Троицком мосту я поставил наземь кулек с крупой, за которым путешествовал так далеко, и облокотился о перила отдохнуть.

Небо красное от заката. С моря теплый, влажный, «душистый» ветер. Снег на Неве слипся и обмяк, у берега расплылись желтоватые полыньи. Если погода не изменится, нельзя будет по льду подойти к Кронштадту. Потом начнется ледоход и Кронштадт станет неприступным. И тогда...

Теплый ветер мягко и сильно бьет в лицо. Пушечные выстрелы — глухие с фортов, резкие с какого-то броненосца, оставшегося «верным революции». Красное небо, тающий снег... И кругом ни души. «Хождение по улицам» — разрешено до шести вечера, а теперь пять, начало шестого. Но со служб все уже разошлись, а прогуливаться вряд ли кому взбредет

в голову. Лучше уж посидеть дома. Вот если погода не изменится... Начнется ледоход, Кронштадт станет неприступным. Тогда...

Пора домой и мне. Я взваливаю свой кулек на плечи и прибавляю шагу. Конечно, хождение разрешено до шести, а мне пути минут пятнадцать, но все-таки лучше поторопиться...

По пустому мосту навстречу мне медленно приближается человек. Он идет тихо, похлопывая ладонью по перилам, явно не торопясь. Вот остановился, закуривает, швырнул спичку на лед. Точно не касается его осадное положение и все «из него вытекающее». Может быть, так и есть. Тогда — неприятная встреча. «Хождение» до шести и труд-книжка моя в порядке... но все-таки...

Из-под барашковой шапки выбивается вьющаяся седоватая прядь. Под глазами резкие «мешки», еще резче глубокие морщины у рта. Широкие плечи сутулятся. Руки зябко засунуты в карманы. И безразличный, холодный «отсутствующий» взгляд.

Это не чекист, проверяющий документы. Это Блок.

Минуту мы стоим под красным небом, на пустом мосту, слушая выстрелы. Несколько глухих — это с фортов; грохочущий — с броненосца.

— Пшено получили? — спрашивает Блок.— Десять фунтов? Это хорошо. Если круто сварить и с сахаром...

Он не оканчивает фразы. Точно вспомнив что-то приятное, берет меня за локоть и улыбается.

— Стреляют,— говорит он.— Вы верите? Я не верю. Помните, у Тютчева:

> В крови до пят, мы бьемся с мертвецами,
> Воскресшими для новых похорон...

Мертвецы палят по мертвецам. Так что, кто победит — безразлично.

— Кстати,— он улыбается снова.— Вам не страшно? И мне не страшно. Ничуть. И это в порядке вещей. Страшно будет потом... живым.

* * *

Зимой 1913 года, что-то очень рано, по петербургским понятиям — меня разбудила прислуга. «К вам господин. Говорят, по литературному делу». Я протер глаза и посмотрел на визитную карточку. Михаил Александрович Ковалев? Такого знакомого у меня не было. Кто бы это мог быть? Неужели издатель, пленившийся моими стихами в «Аполлоне» или «Гиперборее» и пришедший покупать у меня собрание сочинений? Чем черт не шутит!.. Не без волнения я приказал провести посетителя в гостиную, пока я оденусь. Но одеться мне не пришлось — гость уже входил в дверь.

— Лежите, лежите,— быстро-быстро заговорил он, картавя и пришепетывая.— Лежите,— я к вам на минуту. Что? Можно здесь сесть? Что? Я сейчас уйду, а вы продолжайте спать. Как у вас холодно. Что? Спите с открытой форточкой? Ах, это очаровательно, но я не могу. Можно простудиться, схватить чахотку, умереть. Что? У меня слабые легкие...

Он вдруг стал в позу, точно балерина, собирающаяся сделать прыжок. Голова чуть набок, пальчики в сторону, ноги в третьей позиции. И быстро-быстро, нараспев, прошепелявил:

Сказал он, улыбнувшись кротко —
Мы рядом шли, плечо к плечу,—
Ты знаешь, у меня чахотка,
И я давно ее лечу.

И прибавил, жеманно улыбаясь:

— Я — поэт Рюрик Ивнев. Это мои стихи.

Пока он проделывал все это, я, несколько ошеломленный, его рассматривал.

Тоненькая, «щуплая» фигурка. Бледное худое «птичье» лицо как-то подергивается, голубоватые глаза близоруко щурятся. Одет старательно и небрежно: костюм хороший, но помят, в пыли, на фалде прилипла нитка. Башмаки не вычищены, щегольской галстук на боку. И растерянная улыбка, растерянное подергивание, растерянное «Что? Что?» — за каждым словом...

— Я поэт Рюрик Ивнев. Это мои стихи. Что?

Прочел — и опять своей шепелявой скороговоркой:

— Как я нашел ваш адрес? Мне Н. сказал... Знаете... этот... он бывает (тут «птичье» личико приосанивается) в доме моего дяди X., государственного контролера. Что? Этот Н. прочел мне ваши стихи, и я в них влюбился. Что? Я даже наизусть их запомнил. Погодите, как это? Да.

Был тихий вечер, вечер бала,
Был летний бал меж старых лип,
Там, где река образовала
Свой самый выпуклый изгиб.

— Вот в это «образовала»,— протянул он,— я и влюбился. И я пришел сказать вам это. А теперь я уйду, а вы спите... Что?

Я поблагодарил его за любезность и поспешил разъяснить небольшое недоразумение: стихи, только что прочтенные, не мои. Это стихи Виктора Гофмана, всем известные, давно перепечатанные разными календарями и чтецами-декламаторами. Так что...

Ивнев удивился чуть-чуть.

— Не ваши? Гофмана? Как странно! Впрочем, это все равно — ведь они так к вам подходят...

Я предложил ему подождать меня в соседней комнате.

— Сейчас я оденусь и будем пить кофе...

Птичье личико надменно наморщилось.— Кофе? Благодарю, я уже пил свой утренний шоколад. И вообще — который час? Ах, Господи, четверть одиннадцатого. В двенадцать я завтракаю у княгини С., надо заехать домой, переодеться. Княгиня такая прелестная женщина... Вы встречались? Что? Я вас непременно познакомлю... Ах, ах, как поздно...

Он кивнул и убежал, подергиваясь на ходу. На кресле осталась забытая им перчатка. Она была щегольская, светло-желтой замши, на шелковой подкладке. Но для январской погоды мало подходила, особенно с распоротыми по швам пальцами...

С некоторых пор Рюрик Ивнев — постоянный гость в «Бродячей Собаке».

Он сидит ночи напролет в нише красного камина, один, молча, часами. Птичье личико бледно, кажется, еще бледнее обыкновенного, близорукие светлые глаза щурятся на огонь. Перед ним «на низком столике» остывающая чашка черного кофе: вина он не пьет.

Он не любит читать стихи, когда его просят: «другой раз, не помню...» Но иногда, под утро, он сам подымается на эстраду: «Я прочту...» Стихи его путаные, захлебывающиеся, развинченные. Жалко-беспомощные, по большей части. И вдруг иногда какой-то истерический взлет:

От крови был ал платочек.
Корабль наш мыс огибал.
Голубочек, наш голубочек,
Голубочек наш погибал.

Прочтет, дернется, растерянно улыбнется на жидкие пьяные хлопки,— и снова в свой угол, сидеть до утра, щурясь близорукими глазками на пылающие головни...

— Послушайте, Рюрик, зачем, в самом деле, вы просиживаете здесь ночи? Ведь вам вредно...

— Вредно.

— И томительно...

— Томительно.

— Так зачем же сидите?

Он поднял глаза. В их водянистой голубизне мелькнуло тяжелое что-то, «сумасшедшинка» какая-то...

— Зачем сижу... Видите ли... В обыденной жизни я изнемогаю от сознания собственной нереальности. А здесь, в этой обстановке, призрачной, нелепой, я не чувствую этого... Я призрак, и кругом призраки... И мне хорошо...

И сейчас же,— точно испугавшись,— расплывается жеманной улыбочкой:

— Впрочем, вы правы, вы правы — это вредно, это надо прекратить.— Воробьем прихорашивается: — Ах, как я рассеян...— воробьем приосанивается.— На вечере у моего дяди... Княгиня Друцкая... Что? Вы будете завтра на вернисcаже? Что?

Щебечет, будто и не он полчаса назад кликушей выкликивал:

От этой трезвости, от этой мерзости
Куда уйти?
Неужели бритвой зарезаться!..

* * *

Начальник канцелярии по приему прошений на Высочайшее имя хоть и привык к просьбам самым неожиданным, но, прочтя поступившее к нему прошение «титулярного советника Михаила Александровича Ковалева», был, должно быть, все-таки озадачен.

«Припадая к стопам» царя, «титулярный советник Ковалев» в выражениях «верноподданнейших», но твердых заявлял (это было в 1915 году): от службы в войсках он отказывается.

Тут же пояснялось, что он, Ковалев, собственно, и не подлежит призыву, в ближайшее время по крайней мере. Так что заявление это он делает не из личных соображений, а по долгу «перед Вашим Величеством и Россией». Долг же этот он понимал так: сложить оружие и принять победителя с колокольным звоном, «как радостное искупление».

Легко себе представить, какой «ход» был бы дан этому прошению, если бы не навели справок и не выяснили, что проситель не только «титулярный советник», но и племянник своего дядюшки.

Узнав это обстоятельство, «учли» его: вместо того, чтобы позвонить в охранное отделение, позвонили в государственный контроль. И не жандармы, которых ожидал Ивнев (после подачи прошения, от волнения и ожидания, он заболел и слег),— заплаканная тетушка ворвалась к нему и увезла, вместо Сибири... на Иматру.

* * *

Две маленькие комнаты. Такие узкие, такие низкие и тесные, что даже на комнаты не похожи: футляры какие-то. И, как в футляре, ничего твердого: диванчики застелены плахтами, низкие стеганые креслица, пуховые подушечки, тряпочки, коврики. На две комнаты одна печка, зато огромная, круглая, так натопленная, что трудно дышать. На плетеных жардиньерках — герани, в углу киот, полный образов, а если отвернуть

кисейную занавеску, за окном виден высокий забор, утыканный поверху гвоздями, глубокие сугробы и большая лохматая собака, прогуливающаяся на цепи. Где это? В Сибири? На Волге? Нет, это в Петербурге — отыскал Ивнев квартиру по своему вкусу: после истории с прошением он, вернувшись из Финляндии, поселился самостоятельно.

В этих комнатах-футлярах по пятницам вечерами собирается человек по двадцать, двадцать пять. Помещаются как-то. Пьют чай с птифурами от Берена, но половина гостей пьет с блюдечка: общество, которое тут собирается, не совсем обыкновенное.

...Розовый, светлоголовый мальчик в рясе, послушник из Сергиевского подворья. Рядом тоже «духовное лицо», лысый, заплывший жиром дьякон, расстриженный за сношения с сектантами. С ним истово, на «о», беседует человек средних лет, в сапогах бутылками и поддевке, с умными холодными глазами. Это поэт Николай Клюев, «из мужичков», как он сам о себе говорит. «Мужичок» набелен, нарумянен и надушен «Роз Жакмино»...

Нарумянен и другой поэт «из мужичков» — голубоглазый Есенин. Вперемежку с ними — лицеисты, правоведы, какой-то бывший вице-губернатор, побывавший в ссылке, какой-то изобретатель «сердечного магнита» — наивернейшего средства привлечь сердца отступников на лоно старообрядчества. Прихлебывая чай, кто с блюдечка, кто по всем правилам английского воспитания, часами ведут странные разговоры о Книге голубиной, о магните сердечном и о новом Иерусалиме, который воздвигнется «на Руси», когда кончится война и настанет «царство Христово»...

— Скоро, скоро, детушки, забьют фонтаны огненные, застрекочут птицы райские, вскроется купель слезная и правда Божья обнаружится.

— Аминь, аминь...

— Que Dieu nous bénisse *.

И хозяин, растерянно улыбаясь, щурится и нюхает английскую соль.

Это в 1915—1916. Понемногу состав посетителей меняется. В 1917 в кресле, где Клюев вещал о «Купели слезной»,— Анатолий Васильевич Луначарский сладко и гладко беседует о

* Да благословит нас Господь (*фр.*).

марксизме. Те же или такие же лицеисты почтительно слушают, так же хозяин подергивается, улыбается и нюхает английскую соль. И в жарко натопленных комнатах-футлярах так же душно и усыпительно пахнет немного ладаном, немного духами, немного Распутиным, немного Циммервальдом...

* * *

В 1918 г. Рюрик Ивнев, встретив меня на улице, предлагал мне: хотите служить у нас? Не хотите? Но почему? Советская власть — Христова власть.

И растерянно улыбаясь:

— Я ведь не революционную службу предлагаю вам, не в Че-Ка,— тут он задергался, и в глазах мелькнула знакомая «сумасшедшинка»,— хотя у нас всякая служба чистая, даже в Че-Ка, да, даже в Че-Ка. Но я вам не это предлагаю: нам всюду нужны люди — вот места директора императорских театров, директора публичной библиотеки свободны. А? Почему не хотите?

Я смотрел на этого «сильного мира сего», так легко распоряжающегося директорскими постами, на его мордочку, дергающуюся щеку, измятый костюм и чувствовал к нему необъяснимую, острую, пронзительную жалость, почти нежность. Так и в ЧЕ-Ка чистая служба? Ну, что ж. Блаженны нищие духом...

— Не хотите? — Он дернулся по-воробьиному, приосанился.— Очень жаль. Но... может быть, вы думаете, что у нас Бог знает кто служит, сброд какой-нибудь?

— C'est plein de gens du monde!.. *

XIV

«Кирпич в сюртуке» — словцо Розанова о Сологубе.

По внешности, действительно, не человек — камень. Движения медленные, натянуто-угловатые. Лысый, огромный череп, маленькие, ледяные сверлящие глазки. Лицо бледное, неподвижное, гладко выбритое. И даже большая бородавка на этом лице — каменная.

И голос такой же:

* Множество светских людей! (*фр.*).— *Ред.*

Лила, лила, лила, качала
Два тельно-алые стекла.
Белей лилей, алее лала
Была бела ты и ала...

читает Сологуб, и кажется, что это не человек читает, а молоток о стену выстукивает эти ровные, мерные, ничего не значащие слова.

«Обращение» тоже соответствующее.

Молодой поэт, признанная «восходящая звезда», звонит Сологубу по телефону:

— Федор Кузьмич, это вы?

— Я.

— Говорит X. Я хотел бы прийти к вам...

— Зачем?

— Прочесть вам мои стихи.

— Я уже прочел их в «Аполлоне».

— Узнать ваше мнение...

— Я о них не имею мнения.

Сологуб — инспектор какой-то школы на Васильевском острове. И какой инспектор!

— «Федор Кузьмич идет!»...— И самые отчаянные сорванцы сразу присмиревают — знают, что инспектор шутить не любит...

Впрочем, что ж школьники. Когда меня в 1911 году впервые подвели к Сологубу и он уставил на меня бесцветные ледяные глазки и протянул мне, не торопясь, каменную ладонь (правда, мне было семнадцать лет) — зубы мои слегка щелкнули — такой «холодок» от него распространялся.

Вот что, кстати, сказал знаменитый поэт начинающему при этой первой встрече:

— Я не читал ваших стихов. Но, какие бы они ни были,— лучше бросьте. Ни ваши, ни мои, ничьи на свете — они никому не нужны. Писание стихов — глупое баловство и потеря времени...

Сам Сологуб начал заниматься «глупым баловством» поздно, годам к тридцати пяти.

Что было до этого? — То же самое.

Пустая, бедно обставленная казенная квартира, единицы школьникам, прогулка медленным, «каменным» шагом по пустын-

ным «линиям» Васильевского острова. Одинокие вечера под висячей керосиновой лампой, над «письменными», или, когда они просмотрены, над такой же «каменной», как он сам, как все, его окружающее,— «Критикой чистого разума» — любимой книгой.

«Кирпич в сюртуке». Машина какая-то, созданная на страх школьникам и на скуку себе. И никто не догадывается, что под этим сюртуком, в «кирпиче» этом есть сердце. Как же можно было догадаться, «кто бы мог подумать»? Только к тридцати пяти годам обнаружилось, что под сюртуком этим сердце есть.

Сердце, готовое разорваться от грусти и нежности, отчаяния и жалости.

* * *

Однажды, в минуту откровенности, Сологуб признался (в разговоре с Блоком):

— Хотел бы дневник вести. Настоящий дневник; для себя. Но не могу, боюсь. Вдруг, случайно, как-нибудь, подчитают. Или умру внезапно — не успею сжечь. Останавливает меня это. А, знаете, иногда до дрожи хочется. Но мысль — вдруг прочтут, и не могу. О самом главном — не могу.

— О самом главном?

— Да. О страхе перед жизнью.

И, в параллель к этому разговору, другая обмолвка Сологуба:

— Искусство — одна из форм лжи. Тем только оно и прекрасно. Правдивое искусство — либо пустая обывательщина, либо кошмар. Кошмаров же людям не надо. Кошмаров им и так довольно.

Я хорошо помню «каменную» улыбку, с которой говорилось это. Говорилось в 1914 году в «блестящем» литературном салоне, и эстетические хлыщи с удовольствием повторяли и запоминали «меткий парадокс» скупого на них «мэтра». Так же, как и хлыщи эти, я запомнил, а потом забыл. Но пришлось еще раз вспомнить.

Жена Сологуба, Анастасия Чеботаревская, была маленькая, смуглая, беспокойная. Главное — беспокойная. В самые спокойные еще времена — всегда беспокоилась. О чем? О всем.

Во время процесса Бейлиса, в обществе эстетическом и безразличном и к Бейлису, и ко всему на свете, хватала за руки каких-то незнакомых ей дам, отводила в угол каких-то нафаршированных Уайльдом лицеистов и, мигая широко открытыми серыми «беспокойными» глазами, спрашивала скороговоркой: «Слушайте. Неужели они его осудят? Неужели они посмеют?»

— Дда... ваазмутительно...— бормотал лицеист, любезно изгибая стан и стремясь поскорее от нее отделаться. Но она не отпускала. Она говорила еще быстрее, еще горячей и беспокойней. То, что собеседник глуп и безучастен ко всему на свете, кроме своего пробора,— не замечала. Напротив, он сказал «возмутительно», ну, конечно, он тоже возмущен, как она, в нем то же беспокойство. Она уже была благодарна, уже видела в нем союзника...

Беспокоилась по важному, беспокоилась и по пустякам. Разницы, кажется, не замечала. Вечная тревога делала ее подозрительной. С той же легкостью, с какой находила мнимых друзей, видела всюду мнимых врагов.

«Враги» — естественно — стремились ущемить, насолить, подставить ножку Сологубу, которого она обожала. Донести на него в полицию (О чем? Ах, мало ли что может придумать враг!). Умалить его славу, повредить его здоровью. И ей казалось, что новый рыжий дворник — сыщик, специально приставленный следить за Федором Кузьмичом. X. из почтенного, толстого журнала,— злобный маниак, только и думающий о том, как разочаровать читателя в Сологубе. И чухонка, носящая молоко, вряд ли не подливает сырой воды «с вибрионами» нарочно, нарочно...

Так было еще в «спокойные» мирные времена. Что же тогда в военные, в советские!

В 1921 году, после долгих хлопот, казалось, что сбудется то, о чем она мечтала, о чем рассказывала, блестя широко раскрытыми глазами, встреченным на улице, на лекции, в хлебной очереди «друзьям». То, что она тщательно скрывала (донесут, все испортят) от неимоверно выросших в числе и ставших особенно злобными «врагов». Отъезд за границу.

«Вырваться из ада» — на это последние месяцы ее жизни были направлены все силы души, все ее «беспокойство». Она не говорила и не думала уже ни о чем другом. «Вырваться

из ада». И вот после долгих, утомительных, изводящих хлопот — двери «ада» приоткрылись. Через две-три недели будет прислан заграничный паспорт. Это наверное. «Друзья» помогли, «враги» отступились.

То, что ад в ней самой, и никакой Париж с «белыми булками и портвейном для Федора Кузьмича» ничего не изменит — не сознавала. Хлопотала, бегала по городу оживленная, веселая. Отводила в сторону встреченных «друзей», оглядывалась, не слышат ли «враги». Беспокойно блестя глазами, шептала:

— Через десять дней. Наверное. И вы приезжайте.

Что «ад» в ней самой, не понимала. Но не поняла ли вдруг, сразу, в тот вечер, когда она без шляпы выбежала на дождь и холод, точно ее позвал кто-то? Сологуба не было дома. Женщина, работавшая в квартире (перед отъездом столько дела), спросила — надолго ли барыня уходит. Они крикнула: «Не знаю». Может, правда не знала. Может быть, сейчас вернется, будет обедать, уедет через несколько дней в Париж... Выбежала на дождь без шляпы, потому что вдруг, со страшной силой прорвалась мучившая ее всю жизнь тревога.

Какой-то матрос видел, как бросилась в Неву с Николаевского моста, в том месте, где часовня, какая-то женщина... Он не успел ее удержать. Был вечер. Фонари в то время не зажигались. Матрос не разобрал ни лица женщины, ни как она была одета. Кажется, она была без шляпы? Кажется, на ней было черное пальто-накидка, как на исчезнувшей Чеботаревской?.. Тела не нашли, может быть, и не искали. Кому была охота шарить в ледяной воде из-за какой-то там жены какого-то там Сологуба? У петербургского пролетариата были дела поважней. Да и спустя несколько дней (как раз к тому сроку, как был обещан, только обещан, разумеется, заграничный паспорт) — стала Нева.

* * *

Чеботаревская за мгновенье до смерти все еще «не знала». И Сологуб с того осеннего вечера до весны, когда лед пошел и тело его жены нашли,— тоже «не знал».

Он не изменил ничего в распорядке своей жизни. В хорошую погоду выходил гулять — по девятой линии на Неву, до

часовни у Николаевского моста, и потом по солнечной стороне обратно. Вечером под зеленой лампой, в столовой,— писал стихи «бержеретты» во вкусе 18-го века или переводы для «Всемирной литературы» — Готье, Верлена. Когда его навещали, он принимал гостей все с той же холодной любезностью, как всегда. Иногда в разговоре — вскользь упоминал о Чеботаревской таким тоном, точно она ушла ненадолго из дому. Шутил, охотно читал стихи, пастушеские, легкомысленные «бержеретты»...

...Зеленая лампа бросает неяркий круг на покрытый пестрой клеенкой стол. На столе аккуратно разложены книжки и рукописи. Тут же вязанье Анастасии Николаевны. Одна спица воткнута в шерсть, другая лежит в стороне. Так она оставила его в «тот вечер». Так оно и осталось.

Сологуб читает стихи. Лицо его обычное, каменно-любезное, старчески-спокойное. И голос такой же, как всегда, без оттенков, тоже «каменный».

А стихи, пастушеские, легкомысленные «бержеретты»:

...С позволенья вашей чести,
Милый мой пастух Коллен...

Однажды я засиделся. Служанка (та самая, что спрашивала, когда барыня вернется) пришла накрывать стол.

— Может быть, пообедаете со мной,— предложил Сологуб.— Маша, поставьте третий прибор.

Я отказался от обеда, но, должно быть, плохо скрыл удивление — для кого же второй прибор, если для меня ставят третий? Должно быть, как-нибудь это удивление на мне отразилось.

И каменно-любезно Сологуб пояснил:

— *Этот* прибор для Анастасии Николаевны.

А весной, когда тело Чеботаревской нашли, Сологуб заперся у себя в квартире, никуда не выходил, никого не принимал. Иногда его служанка приходила во «Всемирную литературу» за деньгами или в Публичную библиотеку за книгами. Это была молчаливая старуха, от которой ничего нельзя было узнать, кроме того, что «барин, слава Богу, здоровы, все пишут, велят не беспокоиться». Удивляло всех, что книги, которые брал Сологуб, были все по высшей математике.

Зачем ему они?

Потом Сологуб стал снова появляться то здесь, то там, стал принимать, если к нему приходили. О Анастасии Николаевне как о живой не говорил больше, и второй прибор на стол уже не ставился. В остальном, казалось, ни в нем, ни в его жизни ничего не изменилось.

Зачем ему нужны были математические книги,— узнали позже.

Один знакомый, пришедший навестить его, увидел на столе рукопись, полную каких-то выкладок. Он спросил Сологуба, что это.

— Это дифференциалы.

— Вы занимаетесь математикой?

— Я хотел проверить, есть ли загробная жизнь.

— При помощи дифференциалов?

Сологуб «каменно» улыбнулся.

— Да. И проверил. Загробная жизнь существует. И я снова встречусь с Анастасией Николаевной...

...Этот прибор — для Анастасии Николаевны.

...Да, я много пишу. Все больше бержеретты...

Вот это — вчера написал:

...С позволенья вашей чести,
Милый мой — пастух Коллен...

Голос тот же. И улыбка та же. И сюртук — побелел только по швам. И стихи — бержеретты пастушеские. Ну, да,— «Искусство только тем и прекрасно... А кошмар...»

* * *

Много было весен,
И опять весна.
Бедный мир несносен,
И весна бедна.

Что она мне скажет
На мои мечты,
Ту же смерть покажет,
Те же все цветы,

Что и прежде были,
У больной земли,
Небесам кадили,
Никли да цвели.

Те же цветы, та же смерть. В стихах этих ключ ко всему Сологубу.

«Искусство одна из форм лжи»? Искренно ли Сологуб считал, что это так? Или, напротив, боясь, «до дрожи», чтобы в искусстве его не «подчитал» кто-нибудь «самого главного» — придумывал — «одну из форм лжи» — такие фразы?

Не знаю. И не важно это. Важно другое.

В лучшем из созданного Сологубом, его стихах, никакой «лжи» нет. Напротив, стихи его — одни из самых «правдивых» в русской поэзии.

Они «правдивы до конца» — и художественно, и человечески. И своей сдержанностью, чуждой всему внешнему и показному, и — ясным целомудрием отраженной в них «детской» души поэта.

Совсем недавно, в одном из ответов на литературную анкету, Сологуб был назван «великим поэтом». Это преувеличение, разумеется.

В искусстве «великое» начинается как раз с какой-то «победы» над тем «страхом перед жизнью», которым заранее и навсегда был побежден Сологуб. Но, конечно, он был поэтом в истинном и высоком смысле этого слова — не литератором и стихотворцем, а одним из тех, которые перечислены в «Заповедях Блаженства».

* * *

И вот Сологуб умер. В последний раз, когда я его видел (зашел попрощаться перед отъездом за границу,— осенью 1922 года), он сказал:

— Единственная радость, которая у меня осталась,— курить. Да. Ничего больше. Что ж — я курю...

Еще пять лет он «как-то» жил, «чем-то» жил. Курил. Писал «бержеретты», быть может. Теперь он умер.

Умер в полном одиночестве, в бедности, всеми забытый, никому не нужный. От воспаления легких, при котором не теряют сознания до последней минуты, а вот курить как раз нельзя...

XV

Я близко знал Блока и Гумилева. Слышал от них их только что написанные стихи, пил с ними чай, гулял по петербургским улицам, дышал одним с ними воздухом в августе 1921 года — месяце их общей — такой разной и одинаково трагической смерти... Как ни неполны мои заметки о них — людей, знавших обоих так близко, как знал я, в России осталось, может быть, два-три человека, в эмиграции — нет ни одного...

Блок и Гумилев. Антиподы — в стихах, во вкусах, мировоззрении, политических взглядах, наружности — решительно во всем. Туманное сияние поэзии Блока — и точность, ясность, выверенное совершенство Гумилева. «Левый эсер» Блок, прославивший в «Двенадцати» Октябрь: «мы на горе всем буржуям — мировой пожар раздуем» и «белогвардеец», «монархист» Гумилев. Блок, относившийся с отвращением к войне, и Гумилев, пошедший воевать добровольцем. Блок, считавший мир «страшным», жизнь бессмысленной, Бога жестоким или несуществующим, и Гумилев, утверждавший — с предельной искренностью,— что «все в себе вмещает человек, который любит мир и верит в Бога». Блок, мечтавший всю жизнь о революции как о «прекрасной неизбежности»,— Гумилев, считавший ее синонимом зла и варварства. Блок, презиравший литературную технику, мастерство, выучку, самое звание литератора, обмолвившийся о ком-то:

Был он только литератор модный,
Только слов кощунственных творец...

и Гумилев, назвавший кружок своих учеников *цехом* поэтов, чтобы подчеркнуть важность, необходимость изучать поэзию как ремесло. И так вплоть до наружности: северный красавец с лицом скальда, прелестно вьющимися волосами, в поэтической бархатной куртке с мягким расстегнутым воротником белой

рубашки — Блок, и некрасивый, подтянутый, «разноглазый», коротко подстриженный, в чопорном сюртуке, Гумилев...

Противоположные во всем — всю свою недолгую жизнь Блок и Гумилев то глухо, то открыто враждовали. Последняя статья, написанная Блоком, «О душе», появившаяся незадолго до его смерти — резкий выпад против Гумилева, его поэтики и мировоззрения. Ответ Гумилева на эту статью, по-гумилевски сдержанный и корректный, но по существу не менее резкий, напечатан был уже после его расстрела.

* * *

Осенью 1909 года Георгий Чулков привел меня к Блоку. Мне только что исполнилось пятнадцать лет. На мне был кадетский мундир. Тетрадку моих стихов прочел Чулков и стал моим литературным покровителем.

Что же описывать чувства, с которыми я входил в квартиру Блока?.. Блок жил тогда на Малой Монетной, в пятом этаже.

Большое, ничем не занавешенное окно с широким видом на крыши, деревья, Каменноостровский. Блок всегда нанимал квартиры высоко, так, чтобы из окон открывался простор. На Офицерской 57, где он умер, было еще выше, вид на Новую Голландию, еще шире и воздушней... Мебель красного дерева — «русский ампир», темный ковер, два больших книжных шкапа по стенам, друг против друга. Один с отдернутыми занавесками — набит книгами. Стекла другого плотно затянуты зеленым шелком. Потом я узнал, что в этом шкапу, вместо книг, стоят бутылки вина — «Нюи» елисеевского разлива № 22. Наверху полные, внизу опорожненные. Тут же пробочник, несколько стаканов и полотенце. Работая, Блок время от времени подходит к этому шкапу, наливает вина, залпом выпивает стакан и опять садится за письменный стол. Через час снова подходит к шкапу. «Без этого» — не может работать.

Каждый раз Блок наливает вино в новый стакан. Сперва тщательно вытирает его полотенцем, потом смотрит на свет — нет ли пылинки. Блок, самый серафический, самый «неземной» из поэтов — аккуратен и методичен до странности. Например, если Блок заперся в кабинете, все в доме ходят на цыпочках,

трубка с телефона (помню до сих пор номер блоковского телефона — 612-00!..) снята — все это совсем не значит, что он пишет стихи или статью. Гораздо чаще он отвечает на письма. Блок получает множество писем, часто от незнакомых, часто вздорные или сумасшедшие. Все равно — от кого бы ни было письмо — Блок на него непременно ответит. Все письма перенумерованы и ждут своей очереди. Но этого мало. Каждое письмо отмечается Блоком в особой книжке. Толстая, с золотым обрезом, переплетенная в оливковую кожу, она лежит на видном месте на его аккуратнейшем — ни пылинки — письменном столе. Листы книжки разграфлены: № письма. От кого. Когда получено. Краткое содержание ответа и дата...

Почерк у Блока ровный, красивый, четкий. Пишет он не торопясь, уверенно, твердо. Отличное перо (у Блока все письменные принадлежности отборные) плавно движется по плотной бумаге. В до блеска протертых окнах — широкий вид. В квартире тишина. В шкапу, за зелеными занавесками, ряд бутылок, пробочник, стаканы...

— Откуда в тебе это, Саша? — спросил однажды Чулков, никак не могший привыкнуть к блоковской методичности.— Немецкая кровь, что ли? — И передавал удивительный ответ Блока.— Немецкая кровь? Не думаю. Скорее — самозащита от хаоса.

* * *

Чулков, близкий к Блоку человек, вошел в кабинет, потряхивая своей лохматой гривой, улыбаясь бритым актерским лицом, тыча пальцем в мой кадетский мундир.— Вот привел к тебе военного человека, ты хоть не любишь армию, а его не обижай... Я, вслед за Чулковым, робко ступал не совсем слушавшимися от робости ногами.

Больше всего меня поразило то, как Блок заговорил со мной. Как с давно знакомым, как со взрослым, и точно продолжая прерванный разговор. Заговорил так, что мое волнение не то что прошло — я просто о нем забыл. Я вспомнил о нем с новой силой уже потом, спустя часа два, спускаясь вниз по лестнице, с подаренным мне Блоком экземпляром первого издания «Стихов о Прекрасной Даме» с надписью: «На память о разговоре».

Потом у меня собралось несколько таких книг, все с одинаковой надписью, только с разными датами. О чем были эти разговоры? Была у меня и пачка писем Блока — из его Шахматова в наше виленское имение, где я проводил каникулы. Письма были длинные. О чем Блок мне писал? О том же, что в личных встречах, о том же, что в своих стихах. О смысле жизни, о тайне любви, о звездах, несущихся в бесконечном пространстве... Всегда туманно, всегда обворожительно... Почерк красивый, четкий. Буквы оторваны одна от другой. Хрустящая бумага из английского волокна. Конверты на карминной подкладке. Туманные слова, складывающиеся в зыбко-мерцающие фразы...

Зачем Блок писал длинные письма или вел долгие разговоры со мной, желторотым подростком, с вечными вопросами о технике поэзии на языке? Время от времени какой-нибудь такой вопрос с моего языка срывался.

— Александр Александрович, нужна ли кода к сонету? — спросил я как-то. К моему изумлению, Блок, знаменитый «мэтр», вообще не знал, что такое кода...

В дневнике Блока 1909 г. есть запись: «говорил с Георгием Ивановым о Платоне. Он ушел от меня другим человеком». В этой записи, быть может, объяснение и писем и разговоров. Должно быть, Блок не замечал моего возраста и не слушал моих наивных реплик. Должно быть, он говорил не столько со мной, сколько с самим собой. Случай — я был перед ним, в его орбите,— и он посылал мне свои туманные лучи, почти не видя меня.

* * *

В эту блоковскую орбиту попадали немногие — но те, что попадали, все казались попавшими в нее случайно. Настоящих друзей, сколько-нибудь ему равных, у Блока не было. Связи его молодости либо оборвались, либо переродились, как в отношениях Блока с Андреем Белым,— в мучительно сложную, неразрешимую путаницу. Обычной литературной среды Блок чуждался. А близкие к нему люди, приходившие к нему запросто, спутники его долгих утренних прогулок и частых ночных кутежей — были все какие-то чудаки.

Нормальным человеком и к тому же, все-таки,— хотя

и второстепенным,— писателем был среди них один Чулков.— Но что связывало Блока с этим милым, поверхностно талантливым изобретателем «мистического анархизма», в который никто, в том числе и сам Чулков, всерьез не верил?

Непонятна его дружба с Пястом, еще непонятней — с Евгением Ивановым и В. Зоргенфреем, которым, кстати, посвящены два шедевра блоковской поэзии: одному — «У насыпи во рву некошенном», другому — потрясающие «Шаги Командора».

Пяст, поэт-дилетант, лингвист-любитель, странная фигура в вечных клетчатых штанах, носивший канотье чуть ли не в декабре, постоянно одержимый какой-нибудь «идеей»: то устройства колонии лингвистов на острове Эзеле, то подсчетом ударений в цоканье соловья — и реформы стихосложения на основании этого подсчета, и с упорством маниака говоривший только о своей, очередной, «идее», пока он был ею одержим... Евгений Иванов — «рыжий Женя» — рыжий от бороды до зрачков, готовивший сам себе обед на спиртовке из страха, что кухарка обозлится вдруг на что-нибудь и «возьмет да подсыпет мышьяку». «Рыжий Женя», в противоположность болтливому Пясту, молчал часами, потом произносил ни с того ни с сего какое-нибудь многозначительное слово: «Бог», или «смерть», или «судьба», и снова замолкал.— Почему Бог? Что смерть? Но рыжий Женя смотрит странно, странными рыжими «глазами, скалит белые, мелкие зубы, точно хочет укусить», и не отвечает. Зоргенфрей — среднее между Пястом и Ивановым — говорит вполне вразумительно и логично. Только заводит разговор большею частью на тему о ритуальных убийствах — это его конек. Он большой знаток вопроса — изучил Каббалу, в переписке с знаменитым ксендзом Пранайтисом. Точно в насмешку, природа дала ему характерную еврейскую внешность, хотя по отцу он прибалтийский немец, а по матери грузин...

Почему эти люди близки Блоку? Чем близки? Вернее всего — он их не замечает. Они попали в его орбиту — общаясь с ними, он видит только себя, свое одиночество в «Страшном мире». И их лица, их голоса, даже их странности, к которым он привык,— то же, что аккуратно протираемый полотенцем стакан, разграфленная «получено — отвечено» книжка с золотым обрезом, методический порядок на письменном столе. Все та же «самозащита от хаоса»...

Эти четверо — Зоргенфрей, Иванов, Пяст и Чулков — неизменные собутыльники Блока, когда, время от времени, его тянет на кабацкий разгул. Именно — кабацкий. Холеный, барственный, чистоплотный Блок любит только самые грязные, проплеванные и прокуренные «злачные места»: «Слон» на Разъезжей, «Яр» на Большом проспекте. После «Слона» или «Яра» — к цыганам...

...Чад, несвежие скатерти, бутылки, закуски. «Машина» хрипло выводит — «Пожалей ты меня, дорогая» или «На сопках Манчжурии». Кругом пьяницы. Навеселе и спутники Блока.— «Бог», неожиданно выпаливает Иванов и замолкает, скалясь и поводя рыжими зрачками. Зоргенфрей тягуче толкует о Бейлисе. Пяст, засыпая, что-то бормочет о Лопе де Вега...

Блок такой же, как всегда, как на утренней прогулке, как в своем светлом кабинете. Спокойный, красивый, задумчивый. Он тоже много выпил, но на нем это не заметно.

Проститутка подходит к нему. «О чем задумались, интересный мужчина? Угостите портером». Она садится на колени к Блоку. Он не гонит ее. Он наливает ей вина, гладит ее нежно, как ребенка, по голове, о чем-то ей говорит. О чем? Да о том же, что всегда. О страшном мире, о бессмысленности жизни. О том, что любви нет. О том, что на всем, даже на этих окурках, затоптанных на кабацком полу, как луч, отражена любовь...

— Саша, ты великий поэт! — кричит пришедший в пьяный экстаз Чулков и, расплескивая стакан, лезет целоваться. Блок смотрит на него ясно, трезво, задумчиво, как всегда. И таким же, как всегда, трезвым, глуховатым голосом, медленно, точно обдумывая ответ, отвечает:

— Нет. Я не великий поэт. Великие поэты сгорают в своих стихах и гибнут. А я пью вино и печатаю стихи в «Ниве». По полтиннику за строчку. Я делаю то же самое, что делает Гумилев, только без его сознания правоты своего дела.

* * *

С тем, что Блок одно из поразительнейших явлений русской поэзии за все время ее существования,— уж никто не спорит, а те, кто спорят, не в счет. Для них, по выражению Зинаиды

Гиппиус, «дверь поэзии закрыта навсегда». Но вокруг создателя этой поэзии, ее первоисточника,— Блока-человека — еще долго будут идти противоречивые толки. Если они теперь утихли, это только потому, что спорить некому... *Там* — Блок забыт, по циркуляру Политбюро, как «несозвучный эпохе», *здесь* — в силу все возрастающей усталости и равнодушия ко всему, кроме грустно доживаемой жизни... Но когда-нибудь споры о личности Блока вспыхнут с новой силой. Это неизбежно, если Россия останется Россией и русские люди русскими людьми. Русский читатель никогда не был и, даст Бог, никогда не будет холодным эстетом, равнодушным «ценителем прекрасного», которому мало дела до личности поэта. Любя стихи, мы тем самым любим их создателя — стремимся понять, разгадать, если надо,— оправдать его.

Блок как раз как будто нуждается в оправдании. «Двенадцать» — одна из вершин поэзии Блока, и именно потому, что она одна из вершин, на имя Блока и на все написанное им ложится от нее зловещий отблеск кощунства в отношении и России, и Христа. Стихи подлинных поэтов вообще, а шедевры их поэзии в особенности, неотделимы от личности поэта. И раз Блок написал «Двенадцать»,— значит...

Дальше я расскажу, как умирал Блок. Одного его предсмертного бреда достаточно, по-моему, чтобы это «значит» потеряло значение. Но прежде чем показать, как он сам, умирая, относился к своей прекрасной и отвратительной поэме, я хочу попытаться объяснить, почему Блок не ответствен за создание «Двенадцати», не запятнан, невинен.

Первое — чистые люди не способны на грязный поступок. Второе — люди самые чистые могут совершать ошибки, иногда страшные, непоправимые. Блок был человек исключительной душевной чистоты. Он и низость — исключающие друг друга понятия. Говоря его же стихами, он

...был весь дитя добра и света,
был весь свободы торжество.

И он же написал «Двенадцать», где во главе красногвардейцев, идущих приканчивать штыками Россию, поставил — «в снежном венчике из роз» Христа!.. Как же совместить с этим свет,

свободу, добро? Если Блок, действительно, «дитя добра и света», как он мог благословить преступление и грязь?

Объяснение в том, что Блок только казался литератором, взрослым человеком, владельцем «Шахматова», «квартиронанимателем», членом каких-то союзов... Все это было призрачное. В нереальной реальности, в которой он жил и писал стихи, Блок был заблудившимся в «Страшном мире» ребенком, боявшимся жизни и не понимавшим ее...

Одаренный волшебным даром, добрый, великодушный, предельно честный с жизнью, с людьми и с самим собой, Блок родился с «ободранной кожей», с болезненной чувствительностью к несправедливости, страданию, злу. В противовес «страшному миру» с его «мирской чепухой», он с юности создал мечту о революции-избавлении и поверил в нее как в реальность.

Февральская революция, после головокружения первых дней, разочаровала Блока. Предпарламент, министры, выборы в Учредительное собрание — казались ему профанацией, лозунг «Война до победного конца» — приводил в негодование...

И в ⟨...⟩ выкриках ⟨...⟩ атеиста Ленина Блоку почудилась любовь к людям и христианская правда...

Предельная искренность и душевная честность Блока — вне сомнений. А если это так, то кощунственная, прославляющая октябрьский переворот поэма «Двенадцать» не только была создана им во имя «добра и света», но она и есть, по существу, проявление света и добра, обернувшееся страшной ошибкой.

Я не прощу. Душа твоя невинна.
Я не прощу ей никогда,—

писала, прочтя «Двенадцать», Зинаида Гиппиус. Эти ее строчки подтверждают мои слова. Их противоречивость только кажущаяся. По существу, они — как все у Гиппиус — очень точны и ясны. Гиппиус близко знала Блока и очень любила его. То, что в своей непримиримости она так резко отказывается Блока простить, только усиливает силу ее признания-утверждения: «душа твоя невинна».

За создание «Двенадцати» Блок расплатился жизнью. Это не красивая фраза, а правда. Блок понял ошибку «Двенадцати» и ужаснулся ее непоправимости. Как внезапно очнувшийся лунатик, он упал с высоты и разбился. В точном смысле слова он умер от «Двенадцати», как другие умирают от воспаления легких или разрыва сердца.

Вот краткий перечень фактов. Врачи, лечившие Блока, так и не могли определить, чем он, собственно, был болен. Сначала они старались подкрепить его быстро падавшие без явной причины силы, потом, когда он стал, неизвестно от чего, невыносимо страдать, ему стали впрыскивать морфий... Но все-таки от чего он умер? «Поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем». Эти слова, сказанные Блоком на пушкинском вечере, незадолго до смерти, быть может, единственно правильный диагноз его болезни. За несколько дней до смерти Блока в Петербурге распространился слух: Блок сошел с ума. Этот слух определенно шел из большевизанствующих литературных кругов. Впоследствии в советских журналах говорилось в разных вариантах о предсмертном «помешательстве» Блока. Но никто не упомянул одну многозначительную подробность: умирающего Блока навестил «просвещенный сановник», кажется, теперь благополучно расстрелянный, начальник Петрогослитиздата Ионов. Блок был уже без сознания. Он непрерывно бредил. Бредил об одном и том же: все ли экземпляры «Двенадцати» уничтожены? Не остался ли где-нибудь хоть один? — «Люба, хорошенько поищи, и сожги, все сожги». Любовь Димитриевна, жена Блока, терпеливо повторяла, что все уничтожены, ни одного не осталось. Блок ненадолго успокаивался, потом опять начинал: заставлял жену клясться, что она его не обманывает, вспомнив об экземпляре, посланном Брюсову, требовал везти себя в Москву.— Я заставлю его отдать, я убью его... И начальник Петрогослитиздата Ионов слушал этот бред умирающего...

Брюсов, бывший «безумец», «маг», «теург», во время войны сильно начавший склоняться к «союзу русского народа», теперь занимал ряд правительственных постов — комиссарствовал, заседал, реквизировал частные библиотеки «в пользу пролетариата». Писал, как всегда, множество стихов, тоже, разумеется, прославлявших пролетариат и его вождей. Возможно, что по

привычке «теургов» заглядывать в будущее — славя живого Ленина, сочинял, уже про запас, оду на его смерть:

Вот лежит он Ленин, Ленин,
Вот лежит он скорбен, тленен...

Пильняк рассказывал как курьез, что на второй или третий день после посещения Блока Ионовым Брюсов в московском «Кафе поэтов» подробно, с научными терминами, объяснял характер помешательства Блока и его причины. Партийная директива была уже принята бывшим «безумцем» к исполнению.

* * *

В дни, когда Блок умирал, Гумилев из тюрьмы писал жене: «Не беспокойся обо мне. Я здоров, пишу стихи и играю в шахматы». Гумилев незадолго до ареста вернулся в Петербург из поездки в Крым. В Крым он ездил на поезде Немица, царского адмирала, ставшего адмиралом красным. Не знаю, кто именно, сам ли Немиц или кто-то из его ближайшего окружения состоял в том же, что и Гумилев, таганцевском заговоре и объезжая в специальном поезде, под охраной «красы и гордости революции» — матросов-коммунистов, Гумилев и его товарищ по заговору заводили в крымских портах среди уцелевших офицеров и интеллигенции связи, раздавали, кому надо, привезенное в адмиральском поезде из Петербурга оружие и антисоветские листовки. О том, что в окружении Немица был и агент Че-Ка, провокатор, следивший за ним, Гумилев не подозревал. Гумилев вообще был очень доверчив, а к людям молодым, да еще военным — особенно. Провокатор был точно по заказу сделан, чтобы расположить к себе Гумилева.

Он был высок, тонок, с веселым взглядом и открытым юношеским лицом. Носил имя известной морской семьи и сам был моряком — был произведен в мичманы незадолго до революции. Вдобавок к этим располагающим свойствам этот «приятный во всех отношениях» молодой человек писал стихи, очень недурно подражая Гумилеву...

Вернулся Гумилев в Петербург загоревший, отдохнувший, полный планов и надежд. Он был доволен и поездкой, и новыми

стихами, и работой с учениками-студистами. Ощущение полноты жизни, расцвета, зрелости, удачи, которое испытывал в последние дни своей жизни Гумилев, сказалось, между прочим, в заглавии, которое он тогда придумал для своей «будущей» книги: «Посередине странствия земного». «Странствовать» на земле, вернее, ждать расстрела в камере на Шпалерной, ему оставался неполный месяц...

Гумилев в день ареста вернулся домой около двух часов ночи. Он провел этот последний вечер в кружке преданно влюбленной в него молодежи. После лекции Гумилева — было, как всегда, чтение новых стихов и разбор их по всем правилам акмеизма — обязательно «с придаточным предложением» — т. е. с мотивировкой мнения: «Нравится или не нравится, потому что...», «Плохо, оттого что...» Во время лекции и обсуждения стихов царила строгая дисциплина, но когда занятия кончались, Гумилев переставал быть мэтром, становился добрым товарищем. Потом студисты рассказывали, что в этот вечер он был очень оживлен и хорошо настроен — потому так долго, позже обычного и засиделся. Несколько барышень и молодых людей пошли Гумилева провожать. У подъезда «Дома искусства» на Мойке, где жил Гумилев, ждал автомобиль. Никто не обратил на это внимания — был «нэп», автомобили перестали быть, как в недавние времена «военного коммунизма», одновременно и диковиной и страшилищем. У подъезда долго прощались, шутили, уславливались «на завтра». Люди, приехавшие в стоявшем у подъезда автомобиле с ордером Че-Ка на обыск и арест, ждали Гумилева в его квартире.

Двадцать седьмого августа 1921 года, тридцати пяти лет от роду, в расцвете жизни и таланта, Гумилев был расстрелян. Ужасная, бессмысленная гибель? Нет — ужасная, но имеющая глубокий смысл. Лучшей смерти сам Гумилев не мог себе пожелать. Больше того, именно такую смерть, с предчувствием, близким к ясновидению, он себе предсказал:

умру я не на постели,
При нотариусе и враче.

* * *

Сергей Бобров, автор «Лиры лир», редактор «Центрофуги», сноб, футурист и кокаинист, близкий к В.Ч.К. и вряд ли не

чекист сам, встретив после расстрела Гумилева М. Л. Лозинского, дергаясь своей скверной мордочкой эстета-преступника, сказал, между прочим, небрежно, точно о забавном пустяке:

— Да... Этот ваш Гумилев... Нам, большевикам, это смешно. Но, знаете, шикарно умер. Я слышал из первых рук. Улыбался, докурил папиросу... Фанфаронство, конечно. Но даже на ребят из особого отдела произвел впечатление. Пустое молодечество, но все-таки крепкий тип. Мало кто так умирает. Что ж — свалял дурака. Не лез бы в контру, шел бы к нам, сделал бы большую карьеру. Нам такие люди нужны...

Эту жуткую болтовню дополняет рассказ о том, как себя держал Гумилев на допросах, слышанный лично мной уже не от получекиста, как Бобров, а от чекиста подлинного, следователя петербургской Че-Ка, правда, по отделу спекуляции — Дзержибашева. Странно, но и тон рассказа и личность рассказчика выгодно отличались от тона и личности Боброва. Дзержибашев говорил о Гумилеве с неподдельной печалью, его расстрел он назвал «кровавым недоразумением». Этого Дзержибашева знали многие в литературных кругах тогдашнего Петербурга. И многие, в том числе Гумилев,— как это ни дико — относились к нему... с симпатией. Впрочем, Дзержибашев был человек загадочный. Возможно, что должность следователя была маской. Тогда объясняется и необъяснимая симпатия, которую он внушал, и его неожиданный «индивидуальный» расстрел в 1924 году.

Допросы Гумилева больше походили на диспуты, где обсуждались самые разнообразные вопросы — от «Принца» Макиавелли до «красоты православия». Следователь Якобсон, ведший таганцевское дело, был, по словам Дзержибашева, настоящим инквизитором, соединявшим ум и блестящее образование с убежденностью маниака. Более опасного следователя нельзя было бы выбрать, чтобы подвести под расстрел Гумилева. Если бы следователь испытывал его мужество или честь, он бы, конечно, ничего от Гумилева не добился. Но Якобсон Гумилева чаровал и льстил ему. Называл его лучшим русским поэтом, читал наизусть гумилевские стихи, изощренно спорил с Гумилевым и потом уступал в споре, сдаваясь или притворяясь, что сдался, перед умственным превосходством противника...

Я уже говорил о большой доверчивости Гумилева. Если прибавить к этому его пристрастие ко всякому проявлению ума, эрудиции, умственной изобретательности — наконец, не чуждую Гумилеву слабость к лести,— легко себе представить, как, незаметно для себя, Гумилев попал в расставленную ему Якобсоном ловушку. Как незаметно в отвлеченном споре о принципах монархии он признал себя убежденным монархистом. Как просто было Якобсону после диспута о революции «вообще» установить и запротоколить признание Гумилева, что он непримиримый враг Октябрьской революции. Вернее всего, сдержанность Гумилева не изменила бы его судьбы. Таганцевский процесс был для петербургской Че-Ка предлогом продемонстрировать перед Че-Ка всероссийской свою самостоятельность и незаменимость. Как раз тогда шел вопрос о централизации власти и права казней в руках коллегии В.Ч.К. в Москве.

Именно поэтому так старался и спешил Якобсон. Но кто знает!.. Притворись Гумилев человеком искусства, равнодушным к политике, замешанным в заговор случайно, может быть, престиж его имени — в те дни для большевиков еще не совсем пустой звук — перевесил бы обвинение? Может быть, в этом случае и доводы Горького, специально из-за Гумилева ездившего в Москву, убедили бы Ленина...

* * *

...Семилетний Гумилев упал в обморок от того, что другой мальчик перегнал его, состязаясь в беге. Одиннадцати лет он покушался на самоубийство: неловко сел на лошадь — домашние и гости видели это и смеялись. Год спустя он влюбляется в незнакомую девочку гимназистку. Он следит за ней, бродит за ней по улицам, наконец, однажды подходит и, задыхаясь, признается: «Я вас люблю». Девочка ответила «дурак» и убежала. Гумилев был потрясен. Ему казалось, что он ослеп и оглох. Он не спал ночами, обдумывал способы мести: сжечь дом, где она живет? похитить ее? вызвать на дуэль ее брата? Обида, нанесенная двенадцатилетнему Гумилеву, была так глубока, что в тридцать лет он вспоминал о ней смеясь, но с оттенком горечи...

Гумилев подростком, ложась спать, думал об одном: как бы прославиться. Мечтая о славе, он вставал утром, пил чай, шел в Царскосельскую гимназию. Часами блуждая по парку, он воображал тысячи способов осуществить свою мечту. Стать полководцем? Ученым? Изобрести перпетуум-мобиле? Безразлично что — только бы люди повторяли имя Гумилева, писали о нем книги, удивлялись и завидовали ему.

Понемногу эти детские мечты сложились в стройное мировоззрение, которому Гумилев был верен всю жизнь. Гумилев твердо считал, что право называться поэтом принадлежит тому, кто не только в стихах, но и в жизни всегда стремится быть лучшим, первым, идущим впереди остальных. Быть поэтом, по его понятиям, достоин только тот, кто, яснее других сознавая человеческие слабости, эгоизм, ничтожество, страх смерти, на личном примере, в главном и в мелочах, силой воли преодолевает «ветхого Адама». И, от природы робкий, застенчивый, болезненный человек, Гумилев «приказал» себе стать охотником на львов, уланом, добровольно пошедшим воевать и заработавшим два Георгия, заговорщиком. То же, что с собственной жизнью, он проделал и над поэзией. Мечтательный грустный лирик, он стремился вернуть поэзии ее прежнее значение, рискнул сорвать свой чистый, подлинный, но негромкий голос, выбирал сложные формы, «грозовые» слова, брался за трудные эпические темы. Девиз Гумилева в жизни и в поэзии был: «всегда линия наибольшего сопротивления». Это мировоззрение делало его в современном ему литературном кругу одиноким, хотя и окруженным поклонниками и подражателями, признанным мэтром и все-таки непонятым поэтом. Незадолго до смерти — так, за полгода — Гумилев мне сказал: «Знаешь, я сегодня смотрел, как кладут печку, и завидовал — угадай, кому? — кирпичикам. Так плотно их кладут, так тесно, и еще замазывают каждую щелку. Кирпич к кирпичу, друг к другу, все вместе, один за всех, все за одного. Самое тяжелое в жизни — одиночество. А я так одинок...»

* * *

Всю свою короткую жизнь Гумилев, признанный, ставновившийся знаменитым, был окружен непониманием и враждой.

Очень остро сам сознавая это, он иронизировал над окружающими и над собой.

Я вежлив с жизнью современною,
Но между нами есть преграда —
Все, что смешит ее, надменную,
Моя единая отрада.

Победа, слава, подвиг — бледные
Слова, затерянные ныне,
Гремят в душе, как громы медные,
Как голос Господа в пустыне.

О нет, я не актер трагический,
Я ироничнее и суше.
Я злюсь, как идол металлический
Среди фарфоровых игрушек.

Он помнит головы курчавые,
Склоненные к его подножью,
Жрецов молитвы величавые,
Леса, охваченные дрожью,

И видит, горестно смеющийся,
Всегда недвижные качели,
Где даме с грудью выдающейся
Пастух играет на свирели.

Наперекор этой чуждой ему современности, не желавшей знать ни подвигов, ни славы, ни побед, Гумилев и в стихах, и в жизни старался делать все, чтобы напомнить людям о «божественности дела поэта», о том, что

в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово — это Бог.

Всеми ему доступными средствами, от названия своей юношеской книги «Путь конквистадора» до спокойно докуренной перед расстрелом папиросы,— Гумилев доказывал это и утверждал. И когда говорят, что он умер за Россию, необходимо добавить — «и за поэзию».

* * *

Блок и Гумилев ушли из жизни, разделенные взаимным непониманием. Блок считал поэзию Гумилева искусственной, теорию акмеизма ложной, дорогую Гумилеву работу с молодыми поэтами в литературных студиях вредной. Гумилев как поэт и человек вызывал в Блоке отталкивание, глухое раздражение. Гумилев особенно осуждал Блока за «Двенадцать». Помню фразу, сказанную Гумилевым незадолго до их общей смерти, когда он убежденно говорил: «Он (т. е. Блок), написав «Двенадцать», вторично распял Христа и еще раз расстрелял Государя».

Я возразил, что, независимо от содержания, «Двенадцать» как стихи близки к гениальности.— «Тем хуже, если гениальна. Тем хуже и для поэзии, и для него самого. Диавол, заметь, тоже гениален — тем хуже и для диавола, и для нас...»

Теперь, когда со дня их смерти прошло столько лет, когда больше нет «Александра Александровича» и «Николая Степановича», левого эсера и «белогвардейца», ненавистника войны, орденов, погон и «гусара смерти», гордившегося «нашим славным полком» и собиравшегося писать его историю, когда остались только «Блок и Гумилев»,— как грустное утешение нам, пережившим их,— ясно то, чего они сами не понимали.

Что их вражда была недоразумением, что и как поэты и как русские люди они не только не исключали, а скорее дополняли друг друга. Что разъединяло их временное и второстепенное, а в основном, одинаково дорогом для обоих, они, не сознавая этого, братски сходились.

Оба жили и дышали поэзией — вне поэзии для обоих не было жизни. Оба беззаветно, мучительно любили Россию. Оба ненавидели фальшь, ложь, притворство, недобросовестность — в творчестве и в жизни были предельно честны. Наконец, оба были готовы во имя этой «метафизической чести» — высшей ответственности поэта перед Богом и перед собой — идти на все, вплоть до гибели, и на страшном личном примере эту готовность доказали.

⟨XVI⟩

Пятнадцати лет поэт С⟨калдин⟩ поступил мальчиком-рассыльным в одно крупное петербургское коммерческое предприятие.

В двадцать пять лет он был одним из его директоров, прочел по-итальянски, французски, немецки и гречески все, что можно было на этих языках прочесть, был другом Вячеслава Иванова и носил матовый цилиндр на удивление петербуржцам.

Весной 1911 года я зашел в редакцию «Гаудеамуса», эстетического студенческого журнала. Там печатала свои первые стихи начинающая поэтесса Ахматова, печатал, в числе многих других поэтов, и я. Впрочем, не впервые. Журнал, где я впервые «испытал счастье» видеть себя в печати,— назывался пышней.— «Все новости литературы, искусства, техники, промышленности и гипноза».

После этих «новостей гипноза» «Гаудеамус» казался мне «храмом поэзии». Редактировал его Вл. Нарбут, впоследствии автор книги «Аллилуйя», отпечатанной в синодальной типографии церковнославянским шрифтом и немедленно по выходе сожженной за порнографию.

В числе «надежд» «Гаудеамуса» называли поэта С⟨калдина⟩. Его стихи все хвалили, о нем самом никто толком ничего не знал,— в редакцию С⟨калдин⟩ показывался очень редко и мельком.

Я пришел в «Гаудеамус» неудачно. Не было ни Нарбута, ни секретаря, ни посетителей. Это было досадно. Я хотел если уж не узнать о судьбе новой партии моих стихов, то, по крайней мере, наговориться вдоволь на литературные темы.

В приемной сидел только один посетитель, мне незнакомый. Он с любопытством посмотрел на мой кадетский мундир, я с почтением (может быть, это Сологуб — кто его знает) — на краснощекого господина в визитке и с онегинскими баками.

Я сел в угол и стал что-то читать. Нарбут не приходил. Я послонялся по всем комнатам редакции — никого. В передней висел телефон. Что ж — хоть позвоню секретарю.

Секретаря не было дома. На вопрос, кто звонит, я сказал мою фамилию, повесил трубку и пошел в приемную за шинелью.

— Позвольте узнать,— спросил меня краснощекий господин с баками,— вы автор стихов в прошлом №?

Я подтвердил, что я.

— Вот как приятно. Я как раз хотел просить Нарбута нас познакомить. Я — С⟨калдин⟩...

. . . .

Я уже теперь не помню, как у нас пошла дружба, о чем мы вели бесконечные разговоры и летом писали друг другу письма на десяти страницах. О поэзии главным образом, конечно. Но ко всем разговорам и письмам С⟨калдина⟩, самым обыденным, примешивалась какая-то тень тайны, которую он, казалось, не мог мне, как не посвященному, открыть. Эту «мистику», исходившую от С⟨калдина⟩, я почувствовал чуть ли не с нашей первой встречи, хотя ни в наружности, ни в характере С⟨калдина⟩ тоже ничего таинственного не было. Человек он был расчетливый, трудолюбивый, положительный. Если Россия когда-нибудь действительно будет крестьянской республикой, такие, должно быть, будут в ней министры и по внешности, и по складу ума. Визитка от Калина — визиткой, и Эсхил в подлиннике — Эсхилом, но это так, постороннее, форма. Главное же, «свое», с Волги, где купцов рубят топором, и спасаются в скитах, и продают (вот те крест!) тухлую рыбу с барышом. Все это было собрано в С⟨калдине⟩ как в фокусе, хоть держался он европейцем, порой даже утрируя.

Иногда он вел странные разговоры.

— Ты дворянин?

— Дворянин. А что?

— А вот я мужик. Дед крепостным был.

— Ну так что ж, ты ведь не крепостной.

Молчание.— Тебе не понять этого.

— Чего же?

— Важности для меня быть дворянином.

— Действительно, не понимаю.

— Видишь ли. Вот ты дворянин и, значит, имеешь герб и пятизначную корону. Тебе это не нужно, и герб у тебя дурацкий, сочиненный писарем в департаменте геральдики — какой-нибудь лафет и куча ядер... А вот есть люди, которым дан герб с тремя лилиями и соломоновой звездой, дан Господином за доблесть и подвиг,— и такой герб надо таить ото всех, потому что он лишен прав, которые всякий отставной генерал имеет.

— Это не тебе ли дан герб с соломоновой звездой?

— Может быть, и мне.

— Кем же?

— Этого я тебе сказать не могу.

— Хочешь, я тебя усыновлю, вот ты и украсишь моей короной свой замечательный герб?!.

С⟨калдин⟩, усмехаясь, переводит разговор, и больше от него ничего нельзя добиться.

* * *

Не знаю, что влекло С⟨калдина⟩ ко мне, но меня, хотя я слабо отдавал себе в этом отчет,— в нем влекла именно эта недоговоренность. Я был очень молод, и все таинственное меня очень занимало. Свои недомолвки и намеки С⟨калдин⟩ «подавал» очень серьезно, и я, не без основания, подозревал, что он не только директорствует в своей фирме и пишет стихи, но ведет еще какую-то другую загадочную жизнь. Недавно я с упоением прочел Гюисманса и порой задумывался, не дьяволопоклонник ли мой друг...

Раз я пришел к нему на Каменноостровский, невзначай, довольно поздно вечером. Я долго напрасно звонил у двери его квартиры и собирался уже уходить, когда в передней послышались шаги. Открыл мне сам С⟨калдин⟩. Он был во фраке, бледнее обыкновенного. Посмотрел он на меня как-то странно.

— Ты... вот не ждал. Подожди минутку. Я сейчас освобожусь.

Я понял, что попал некстати, и хотел откланяться.

— Нет, ничего, напротив, я очень рад. Посиди здесь минуту,— он втолкнул меня в гостиную и притворил дверь.

Я посидел с четверть часа,— мне стало скучно. Я приоткрыл дверь в соседнюю комнату — столовую — и чуть не ахнул. Стол был накрыт необычайно богато,— я никогда не думал, что у С⟨калдина⟩ такое множество дорогой посуды,— каких-то вызолоченных блюд, кубков, графинов. На столе стоял большой канделябр с оплывающими красными восковыми свечами. Стол был накрыт, но еды никакой не было видно, только на золотом чеканном блюде лежало несколько кусков черного хлеба и в двух желтых бокалах немного воды или вина. Я с удивлением рассматривал все эти странные богатства. На всех вещах был выгравирован герб со звездой и лилиями, и без короны. Я хотел было приподнять крышку какого-то блюда, чтобы посмотреть, что там есть, как вдруг ступени лестницы на антресоль, где был кабинет С⟨калдина⟩, заскрипели. Любопытство посмотреть

на даму С⟨калдина⟩ (что он принимал даму, я не сомневался),— было слишком сильно. Я нагнулся к замочной скважине. На мое счастье, ключа в ней не было.

...С⟨калдин⟩ подавал шубу маленькому худому старичку с длинной, совершенно белой бородой. С⟨калдин⟩ подал ему шубу, потом сам надел ему ботики, подал шапку и палку и низко, почти до земли, поклонился. Старичок сделал благословляющий жест и протянул руку. С⟨калдин⟩ ее поцеловал. Они вышли вместе. Должно быть, С⟨калдин⟩ провожал своего гостя до улицы...

Когда он вернулся, вероятно, по моему лицу было видно, что я подсмотрел. С⟨калдин⟩ подошел ко мне, взял за руку и крепко сжал.

— Я тебе друг, и как друга прошу никогда меня не расспрашивать, если ты что-нибудь видел или слышал. Все равно я тебе никогда ничего не могу рассказать. Приходи ко мне, пожалуйста, завтра или когда хочешь. Сегодня я нездоров... Извини меня...

На другой день я, оставив в стороне торжественные обещания, пристал к С⟨калдину⟩, что называется, с ножом к горлу. Он только отшучивался в своей обычной манере.

— Ну, да,— у меня была дама.

— С седыми волосами!

— Напротив, с черными... Испанка.

— Я видел...

— Значит, плохо видел.

— А золотая посуда с гербами?

— Не золотая, а серебряная, и без гербов...— и он показал мне какую-то нюренбергскую кружку.— Ну, полно говорить о глупостях. Ты будешь завтра в балете?..

Любопытство мое так и осталось неудовлетворенным.

* * *

С годами дружба моя с С⟨калдиным⟩ несколько охладела. Таинственность его перестала меня занимать,— да и с того странного вечера он, кажется, ни разу больше не обмолвился ничем загадочным. Литературные интересы тоже нас не связывали,— дороги наши пошли в разные стороны.

Все же мы встречались и даже переписывались порой. В конце мая 1914 г. я написал С⟨калдину⟩ из деревни, прося его выслать мне какие-то книги. Зная, что он собирается за границу, я желал ему счастливого пути. В ответном письме было: «За границу я не еду. Опоздал. Теперь скоро будет война во всем мире и лет на десять...»

«Что за чушь ты пишешь, какая война?» — спрашивал я, но не получил ответа.— С⟨калдин⟩ уехал из Петербурга на Кавказ.

Началась война. Предсказание С⟨калдина⟩ пришло мне на память. Я разыскал его.— Откуда ты знал, что будет война? — было первым моим вопросом при встрече.

— Откуда? Сам не знаю... Приснилось... Почудилось.

— Ты бы мог зарабатывать хорошие деньги предсказаниями, как мадам Тэб.

— Как мадам Тэб? Это и ты бы мог. Она в этих делах полная невежда.

* * *

Последняя наша встреча была странной. Был 1918 год. Я шел по Карповке вечером. Было темно и пусто. Навстречу мне попался человек. Шел он как-то покачиваясь, шляпа его была на затылке. Поравнявшись, я узнал С⟨калдина⟩.

Я ему очень обрадовался, он, кажется, тоже.— Где ты пропадал? — спросил я.— Все время здесь, в Петербурге.— Что ж тебя нигде не было видно? — Он покачал головой неопределенно.— Так... где же теперь видеться... Зайдем ко мне, потолкуем, хочешь? Я здесь теперь живу.

Дом был очень роскошный, но швейцара не было, лифт не действовал, электричество не горело. Мы поднялись на третий этаж. С⟨калдин⟩, не раздеваясь, вел меня через какие-то неосвещенные комнаты. Иногда он чиркал спичкой, и видны были зеркала, огромные вазы, картины, стекляшки старинных люстр. Квартира была, по-видимому, очень большой и пышно обставленной. Холод стоял нестерпимый. Наконец,— резкая перемена температуры — камин, полный пылающих поленьев. С⟨калдин⟩ зажег свечи в большом канделябре. Я сразу узнал его — это был *тот самый* канделябр...

— Узнаешь? — спросил С⟨калдин⟩, с улыбкой, точно угадав мои мысли.

Он снял свое потертое пальто. В пиджаке он имел прежний вид, разве немного похудел.

— Хочешь чаю? Или вина,— у меня есть.

— Почему ты спросил «узнаешь?»

— Так ведь ты узнал канделябр. Зачем ломаться?

— Узнал. И, раз ты сам об этом заговорил,— может быть, ты теперь мне расскажешь, что все это значило?..

— Ну, что там рассказывать.— С⟨калдин⟩ помолчал.— *Показать* тебе, если хочешь, могу кое-что. А рассказывать нечего. Да ты и не поймешь все равно...

Мы выпили подогретого Нюи. Разговор наш как-то не выходил. Поговорили о большевиках, о том, что нет хлеба, о стихах,— обо всем одинаково вяло.

— Что же ты хочешь мне показать? — спросил я.

— А... ты об этом? Стоит ли? Во-первых, чепуха, я убедился. Да и ты мальчик нервный, еще испугаешься.

— Что за страхи? Ты меня мистифицируешь! Показывай, раз обещал.

— Ну, изволь. Только уговор — объяснений не требовать.

С⟨калдин⟩ достал из ящика бюро простую глиняную миску. Потом вышел, вернулся с кувшином воды и налил миску до краев. Потушил все свечи. Камин ярко горел.

— Ну,— С⟨калдин⟩ взял меня крепко за локоть,— гляди.

— Куда?

— В воду гляди...

Я с недоверием стал глядеть в воду. Вода как вода. Он меня морочит. Я хотел это сказать, но вдруг мне показалось, что на дне миски мелькнуло что-то вроде золотой рыбки. С⟨калдин⟩ крепче сжал мой локоть.— Гляди! — В воде снова что-то мелькнуло, потом, как на матовом стекле фотографического аппарата, обрисовались какие-то очертания, сначала неясно, потом отчетливей... Я вздрогнул.— Это столовая С⟨калдина⟩ в его старой квартире. Стол накрыт, как в тот вечер,— золотая посуда, цветы, канделябр с оплывшими свечами. И я стою в дверях, подхожу к столу, осматриваюсь, трогаю крышку блюда...

...Резкий свет, и все пропало. Это электрическая станция на радость (и на беспокойство — вдруг обыск) советским гражданам включила ток. Огромная люстра на потолке засияла всеми свечами.

— Тсс...— остановил меня С⟨калдин⟩.— Помни уговор. Потерпи. Другой раз я покажу тебе что-нибудь поинтереснее.

Но не только что «поинтереснее», но и самого С⟨калдина⟩ мне увидать не удалось. Через два дня я получил от него записку: «Не приходи ко мне, у меня на квартире засада, из Петербурга приходится удирать...».

КИТАЙСКИЕ ТЕНИ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Китайские тени
публикуются по газетам
«Дни» и «Последние новости».
1925, 1926, 1927, 1929, 1930 годы.

БЛОК

Весной 1921 года я пришел на вечер Блока в Малом театре. Зал был переполнен. Чуковский читал доклад. Извиваясь, как вьюн, раскланиваясь и улыбаясь, размахивая своими длинными руками,— он доказывал, что Блок — великий поэт.

Выходило это у Чуковского плохо — хуже нельзя. Все было как-то некстати. Цитаты неудачные, восторги деланные. Может быть, Чуковский ничуть не лукавил, но он взялся не за свое дело, и оно не выходило. Дело Чуковского, его призвание, весь смысл его писаний — ругать, уничтожать. Тут у него редкий дар, удивительная находчивость. Если бы надо было Блока, да что Блока — Пушкина, Толстого — стереть в порошок, он бы это невозможное сумел бы, вероятно, проделать, и не без блеску. Но полтора часа подряд восхищаться, восхищаться обстоятельно, серьезно, умно, с ссылками на «Символизм» Андрея Белого... и получалась какая-то вялая каша, не прибавлявшая лавров лектору, не говоря уж о Блоке, для которого в этом «признании» болтуна Чуковского было что-то оскорбительное.

После доклада Блок «иллюстрировал» его своими стихами. Он читал не особенно долго. Бледные, жуткие, смутные стихи последних лет — читал явно охотнее, чем ранние, более прославленные.— «Шаги Командора!», «Незнакомка!», «Итальянские стихи!» — кричали ему из публики. Блок кланялся, улыбался холодно-рассеянно и своим удивительным голосом, деревянным и колдовским в то же время, читал «Жизнь моего приятеля» или страшное:

...Все бы это было зря,
Если б не было царя,
Чтоб блюсти законы.
Только не ищи дворца,
Добродушного лица,
Золотой короны:
Он с далеких пустырей
В свете редких фонарей
Появляется.
Шея скручена платком,
Под дырявым козырьком
Улыбается...

Блок был еще очень популярен. Я говорю «еще», подразумевая не его посмертную славу, а то более страстное чувство, ту «любовь к Блоку», которая, все возрастая, к 1910—1915 годам стала исключительной: мало кто из поэтов, за все время существования русской поэзии, был так любим при жизни, как любили Блока. К 1918 году в этой «страсти» публики к поэту обозначилось некоторое охлаждение. Причины были разные,— но Бог с ними. Все-таки и в 1921 году Блок был очень популярен. Ему очень много хлопали. Когда вечер кончился, Блок с трудом протискался через приветствовавшую его толпу молодежи. Ему жали руки, бросали под ноги цветы, глядели на него влюбленными глазами. Но, несмотря на полный зал, вызовы, влюбленные взгляды,— чувствовалось в этом вечере явное отчуждение,— взаимное,— аудитории от любимого поэта, поэта от аудитории. Казалось, весь этот шум и восторг по привычке — прежнего «контакта» уже нет. Так и было. Еще аплодировали, бросали цветы (через две недели повторение этого же вечера в Москве, более «передовой»,— было встречено уже вполне холодно). Но войди в этот зал Маяковский,— о Блоке бы все забыли. И это чувствовалось.

Чувствовал, казалось, и Блок. Он слушал вздорные похвалы Чуковского, потом читал стихи, потом протискивался через хлопающую толпу с видом измученно-безразличным. Впрочем, это было не новое для него выражение. Я помню другое блоковское «торжество» — в 1913, кажется, году,— постановка Мейерхольдом «Балаганчика». Тогда было не так пышно, и народу поменьше, но суть та же: Блок смотрел, как его искажают,

и видел, как радуется от души этому искажению публика. «Балаганчик» ставили в духе «Комедиа дель арте»,— актеры прыгали с приклеенными носами, Мейерхольд сиял, публика хлопала. Как же она могла не хлопать — ведь она была избранная, передовая, культурная, сочувствующая всяким исканиям и новаторству.

Блок глядел вокруг с тем же каменным скучающим лицом. «Ущерб» Блока уже начался — странный, болезненный ущерб, озаренный в 1918 году зловещим блеском «Двенадцати», в 1921 — Смертью...

Должно быть, этот ущерб и начался с равнодушия, с презрения к жизни и к людям, которое все явственней слышится в разговорах Блока последнего, «закатного» периода.

...Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь, начнется все сначала,
И повторится все, как встарь:
Ночь. Ледяная рябь канала.
Аптека. Улица. Фонарь.

Скука — что опасней этой темы. Поэту очень скучно... Как бы читателю не стало еще скучнее! Но именно только говоря о скуке, безнадежности, бессмысленности, страхе — Блок достигает «ледяных вершин» поэзии. Если из собрания Блока вынуть несколько десятков таких «стихотворений»,— мы не узнаем самого «мучительного», чувствительней всех ударившего по сердцам поэта нашей эпохи. Если их отнять, останется что-то вроде Полонского...

* * *

...Была весенняя, теплая, петербургская ночь. Несколько человек шло по Екатерининскому каналу, возвращаясь с блоковского вечера. Далеко впереди, окруженный хохочущими студистами и студистками, Чуковский. За ними — тихо переговаривающиеся Блок и Гумилев. Я шел сзади с В. Зоргенфреем. Спутник мой был не из словоохотливых. Кругом было тихо. Обрывки разговора шедших впереди — долетали до меня.

...— Нет, Николай Степанович, союза между нами быть не может. Наши дороги разные...

— Значит, либо худой мир, либо война?

— Худого мира тоже быть не может...

Гумилев тихо засмеялся.— Вы, я вижу, совсем не дипломат. Что ж, мне так нравится. Война так война...

Рев студентов на какую-то шутку Чуковского заглушил ненадолго этот разговор. Потом снова донесся смеющийся голос Гумилева:

— Какие же ваши рыцарские цвета для нашего турнира?

И серьезный Блока:

— Черный. Мой цвет — черный.

...Была теплая петербургская ночь. Все мы шли на Литейный в «Дом поэтов», только что начавший устраиваться хлопотами Гумилева.

Меньше чем через четыре месяца, с эстрады этого же «Дома поэтов», буфетчик, которому «Дом» был отдан на откуп, извиняясь перед посетителями за какой-то изъян в программе, простодушно заявил:

— Программа не выполнена, так как произошло три несчастья —

арестован Гумилев,
умер Блок
и... перегорело электричество.

* * *

Познакомил меня с Блоком — Георгий Чулков в 1910 году.

Чулков имел обыкновение время от времени открывать какой-нибудь «новый талант», возиться с ним, водить его по знаменитостям, читать всем, кому попало, его стихи, предлагать эти стихи в журналы и т. п.

Действовал он не совсем бескорыстно: обласкав новичка и «введя» его в литературу, Чулков начинал наставлять его в истинах «мистического анархизма», Чулковым изобретенного. Тут обыкновенно наступало между сторонами неизбежное охлаждение: на «мистический анархизм» находилось немного любителей. В 1910 году настала моя очередь ходить с Чулковым и слушать его толки о «Покрывале Изиды». Пришли мы

к Блоку под вечер. Жил он на Монетной около лицея, в шестом этаже большого модернизованного дома.

Просторный кабинет. Очень светло — окна на лицейский сад, трубы, крыши, купола. Блок — похож на свой знаменитый портрет с открытым воротничком рубашки. Только под глазами круги, у рта морщины, усталый взгляд.

Он встал из-за стола, за которым писал, пожал нам руки. Чулков, по своей привычке, сразу зашумел и о моих стихах, и о своей Изиде, и о погоде. Отбросил со лба длинные литераторские вихры, нараспев зачитал что-то про тайгу... Блок не выказывал никакого нетерпения на эту болтовню, похвалил какое-то из моих стихотворений (конечно, оно ему ничуть не понравилось), сдержанно возражал Чулкову. Потом поил нас чаем, тоже сдержанно, радушно. Но явно было, что ни мои стихи, ни Изида, ни наш визит Блоку не нужны, утомительны, ни к чему. Что поит нас чаем и поддерживает с нами разговор вежливый хозяин, а поэт, одиночество которого мы спугнули,— отсутствует, ему не до нас. Я это очень ощущал и испытывал острую неловкость.

Перед прощанием — Чулков ушел в переднюю звонить по телефону. Я сидел против молчащего Блока, досадуя на Чулкова, разливавшегося соловьем в телефон о чьих-то «дивных плясках». Вдруг Блок, тоже сидевший молча, посмотрел на меня как-то по-другому — прямо в глаза, ясно, приветливо, дружески.

— Вот... вы такой молодой... Сколько вам лет?

Я покраснел. Своих шестнадцати лет я чрезвычайно стыдился.

— Да... такой молодой... вам кажется, что поэзия радость?.. Поэзия — страшная вещь, страшная тяжесть...

—...Целую ручки, дуся,— клокотал в телефон Чулков.— И мизинчики особо. Непременно приходите — это не балет, а волшебство, мистерия...

— Вот что,— Блок положил мне руку на плечо,— приходите ко мне как-нибудь на днях. Позвоните сначала. Приходите,— он покосился на дверь,— одни, без Георгия Ивановича... Он добрый, милый, но,— Блок широко улыбнулся,— очень уж... деятельный...

К Блоку я «зашел» не раз. Теперь воспоминание об этих беседах в пустоватой просторной комнате, с крышами и закатом

в окне, об этом медленном удивительном голосе, этом путанно-чарующем разговоре сливается в моей памяти в какую-то мерцающую холодноватым блеском туманность. О чем мы говорили? Точнее, о чем он говорил — я, по большей части, только слушал, стараясь понять и впитать этот монолог, неясный, беспредметный, скользящий.

Главным образом Блок говорил о смерти и о любви. Сильней ли смерти любовь? Блок качал головой.— Нет, нет, это выдумка трубадуров,— смерть сильнее. Он молчит минуту, точно взвешивает свои мысли. Да, смерть сильнее любви.

«Зачем вы занимаетесь ландшафтами и статуями? Это не дело поэта. Поэт должен помнить об одном — о любви и смерти...» — писал мне как-то Блок из деревни — саратовского Шахматова. На одной из книг, подаренных мне Блоком, надписано: «На память о разговоре о любви». На другой: «На память о разговоре о смерти».

Эту вечную тему в беседах Блока оплетали звезды, голоса из другого мира, страх, грусть, нежность... В средине разговора Блок обрывал его, раскрывал книгу, часто наудачу, и — удивительно — почти всегда книга откликалась на только что сказанное.

Помню раз, уже во время войны, в 1915 или 1916 году, я случайно зашел к Блоку, и наш случайный разговор вдруг «повернулся» в сторону *тех*, давно уже прекратившихся бесед-туманностей, которые Блок когда-то вел со мной — подростком. Блок заговорил о смерти, о *своей* близкой смерти. Я, как водится в таких случаях, возразил что-то вроде: «Помилуйте, что вы...» Блок молча взял со стола Тютчева и протянул мне. Вышло «На кончину брата»:

...Дни сочтены. Утрат не перечесть.
Живая жизнь давно уж позади,
Передового нет, и я, как есть,
На роковой стою очереди...

* * *

«Чтобы стать поэтом, надо как можно сильнее раскачнуться на качелях жизни...»

«Жизнь приобретает цену только тогда, если вы полюбите кого-нибудь больше своей жизни...»

Мне запомнились эти два отрывка из писем, когда-то (в 1911 или 1912 году) писанных мне Блоком.

А в одной из «туманных» бесед того времени Блок говорил, задумчиво отрывая каждое слово:

— Мы все, господа, белоручки... В стихах заботимся о разных пеонах... А вот недавно умер Фофанов... Валялся в канаве и бормотал что-то о звездах. Стихи его посредственные... Но в них что-то, чего у нас нет. У самого Пушкина, может быть, нет.

— Что же?

— Трудно определить... Какая-то прямая связь с Богом, с вечностью... Этого пеонами не добьешься.

— Тогда лежать в канаве пьяным поэту полезней, чем работать в таком кабинете?

Задумчивая улыбка.

— Может быть. Полезней!

Жизнь Блока была непохожа на обычную жизнь петербургского писателя. В доме Мурузи на Литейном — блистал салон Мережковских. На Таврической, более тяжелым, книжным блеском — «Башня» Вячеслава Иванова. Десятки других, меньших «центров» перекрещивали литературную жизнь. Шла борьба, расколы, объединения. Блок бывал и там, и там, но держался отчужденно. «Главная» его жизнь шла в стороне. Было у него два-три близких друга, тоже «со стороны».

Но что это была за жизнь? И что за друзья?

...Блок живет отшельником. Рано встает. Запирается в кабинете. Его покой тщательно оберегается. Если звонит телефон, подходит жена или прислуга: Александр Александрович уехал... Александр Александрович болен... Чтобы добиться Блока, надо вести долгие сложные переговоры, часто остающиеся бесплодными: болен... уехал...

Блок не болен и не уехал. Должно быть, он занят какой-нибудь срочной работой. Не всегда. По большей части, он сидит, заложив руки за спину, и смотрит в одну точку. Так он может сидеть час, два, три, целый день. В окнах — лицейский сад, крыши, трубы, купола. На столе — начатая бутылка елисеевского «Нюи». В квартире тишина.

Блок смотрит в одну точку. Иногда в счастливый день из обоев и мебели, из окна с лицейским садом, из стола с бумагами и бутылкой «Нюи» сгущается какое-то облако. Понемногу это облако превращается в сероватый светящийся грот. Вдруг зазвенит чей-нибудь назойливый звонок — тогда все пропало. Но кругом тишина. И в средине грота начинает вырисовываться фигура цапли. Она стоит неподвижно на одной ноге. Цапля — стеклянная, она тускло светится. Понемногу этот тусклый свет делается ярче, разгорается, переходит в сияние. Хрустальная сияющая цапля стоит в центре голубого грота перед остановившимся, неподвижным взором Блока. Его глаза неподвижно уставлены в это странное видение, губы начинают шевелиться, повторяя первые слова зарождающихся стихов. Покуда Блок не увидит свою цаплю — стихи не выйдут.

— Мне так хотелось писать сегодня,— говорит он.— Я был уверен, что она появится. И так досадно — сидел, ждал — ничего.

— И стихи не вышли?

— Не вышли.

Но не всегда, конечно, Блок поджидает свое светящееся видение.

Вот он садится к столу, достает несколько переплетенных тетрадей и раскрывает их. Это рукописи? Нет, это книга, куда записывается корреспонденция. Она аккуратно разграфлена. Клетка для ном⟨ера⟩ письма и ⟨дня⟩ получения, клетка, в которой отмечается день ответа. Блок — аккуратнейший из людей.

В другую тетрадь наклеиваются рецензии, в третью — напечатанные стихи. И рядом отметка рукой Блока — напечатано там-то, тогда-то...

....Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
Бессмысленный и тусклый свет...

И книжка для записи корреспонденции, старательно разграфленная: получено — отвечено!

...Блока нет ни для кого дома. Но запрет не касается нескольких избранных, ближайших друзей. Вл. Пяст — опустившийся, оборванный, полубезумный поэт. Зоргенфрей — корректного вида господин, инженер по профессии, любитель Жюль

Верна и знаток Каббалы. Евгений Иванов — юродивый с проблесками гениальности, похожий на рыжего мужика из сна Анны Карениной. Этим гостям Блок всегда рад. Они приходят и уходят, когда вздумается, с ними Блок ведет бесконечные разговоры (ну, о чем, например, с Зоргенфреем, неужели о Жюль Верне?), с ними совершает длинные прогулки и записывает потом в дневник:

«Провел приятный вечер. Гуляли с Пястом по Лахте и ели колбасу».

...Часа два ночи. Какой-нибудь мелкий петербургский ресторан — «Яр», «Черепенников», «Давыдка». Дым, пьяный говор. За одним из столиков — Блок. Строй пустых бутылок все растет. Кто-то подсаживается к столику, кто-то чокается. Блок пьян, лицо его красно, глаза уставлены неподвижно в одну точку. Что он видит там — свой голубой грот? Или звезды, которые видел Фофанов. Или ту, что

Медленно пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Душа духами и туманами,
Она садится у окна.

Или, вернее всего,—

Ледяную рябь канала,
Аптеку, улицу, фонарь,—

страшную, невыносимую скуку жизни. Той жизни, чтобы оправдать которую — надо полюбить кого-нибудь сильнее ее...

...Пяст, задыхаясь, бормочет под нос бред в стихах о гнилых зубах и Эдгаре По.— Саша! — вскрикивает Георгий Чулков и бьет себя в грудь.— Саша! — Пьяные слезы текут по его лицу.— Выпьем за вечную женственность, Саша!

...Надо как можно сильней раскачнуться на качелях жизни...

* * *

По натуре, по воспитанию, по всем с детства усвоенным навыкам,— Блок был человеком спокойным и уравновешенным, расположенным к труду и тихой жизни.

Дико звучит, но предположим на минутку, что Блок не был бы поэтом. Как легко тогда его представить кабинетным ученым, или хорошим хозяином-помещиком, или владельцем какого-нибудь солидного, прекрасно управляемого предприятия.

Аккуратность и методичность, его манеры, рассудительный говор, умный взгляд — все подходило бы. Как легко представить себе жизнь этого красивого, умного, справедливого человека — конечно, счастливую и спокойную жизнь.

Но — Блок был поэтом и прожил жизнь несчастную, беспокойную и томительную.

Поэзия — это что-то вроде падучей. Покуда болезнь таится, только очень внимательный взгляд различит в лице одержимого что-то неладное — «так — движенье чуть видное губ», какую-то необычную ноту в голосе, «что-то» в глазах. Но вдруг, неожиданно, падучая приходит, и человека нельзя узнать.

Так посещала Блока муза из его «Страшного мира». Потом, когда «припадок» проходил, Блок с дрожью вспоминал «эти страшные ласки твои». Чем выше подымался поэт, тем мучительней становилось дышать человеку.

...Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть,
Есть проклятье заветов священных,
Поругание счастия есть...

Да, все есть в ее пеньи. И «сокровенные напевы» не лгали: когда все, что было дорого человеку, поэтом было проклято,— пришла гибель.

...Где деньги твои? Снес в кабак.
Где сердце? — Закинуто в омут...

О поэтах и художниках, о всех выдающихся людях принято говорить после смерти: «он сгорел», «он был обречен». По большей части это риторический прием. Но Блока действительно привела к смерти поэзия, как других туберкулез или рак.

«Мы потеряли его не тогда, когда он умер, но гораздо раньше, когда он создал мечту своей жизни»,— можно повто-

рить о Блоке его слова о Врубеле. «Мечту своей жизни», завершение и венец своего «страшного мира» — «Двенадцать» Блок создал в 1918 году...

И еще из той же статьи:

«Небывалый закат позолотил небывалые сине-лиловые горы...»

ГУМИЛЕВ

1

27 августа 1921 года Гумилев был расстрелян. Ужасная, бессмысленная гибель! Но, в сущности, для биографии Гумилева, такой биографии, какой он сам себе желал,— трудно представить конец более блестящий. Поэт, исследователь Африки, Георгиевский кавалер и, наконец, отважный заговорщик, схваченный и расстрелянный в расцвете славы, расцвете жизни...

Гумилев говорил, что поэт должен «выдумать себя». Он и выдумал себя, настолько всерьез, что его маска для большинства его знавших (о читателях нечего и говорить) стала его живым лицом. Только немногие близкие друзья знали другого Гумилева — не героя и не африканского охотника. Конечно, чтобы представить себе его настоящий облик, надо знать обоих — и выдуманного, и выдумавшего. Сначала я расскажу о первом.

* * *

Какой-то домашний знакомый (это было в 1910 году) развлекал общество чтением «декадентских» стихов. Мне было 16 лет, я уже писал стихи, тоже декадентские, дюжинами. Имена Бальмонта, Брюсова, Сологуба были мне хорошо известны. Но чтец прочел «Капитанов» и назвал имя Гумилева. Меня удивили

стихи (ясностью, блеском, звоном), и я запомнил это имя, услышанное впервые.

Через года полтора — я выпустил свою первую книжку, побывал в футуристах, ушел от них и был «кооптирован» в «Цех поэтов», только что основанный. С. Городецкий, сообщая о моем избрании, сказал, что стихи мои нравятся Гумилеву. Почему-то это одобрение меня обрадовало больше, чем похвалы Городецкого или Чулкова, с которыми я вел знакомство. Почему? Стихов Гумилева я в это время почти не читал, его самого никогда не видел.

Познакомились мы на вечере в честь Бальмонта в «Бродячей Собаке». Там должен был быть в сборе весь «Цех», и я явился, как новобранец в свою часть. Я пришел, конечно, слишком рано. Понемногу собирались другие — Зенкевич, Мандельштам, Моравская. Пришел Городецкий с деревянной лирой под мышкой — атрибутом «Цеха». Уже началась программа, когда кто-то сказал: «А вот и Гумилев».

Гумилев стоял у кассы, платя за вход. Деревянно наклонившись, он медленно считал на ладони мелочь. За его плечом стояла худая, очень высокая смуглая дама, в ярко-голубом не к лицу платье — Анна Ахматова, его жена.

Внешность Гумилева меня поразила. Он был похож на медленно и важно двигающегося манекена. Я сразу заметил его большой, точно вырезанный из картона нос, его голову, стриженную под машинку, его холодные косые глаза без бровей. Одет Гумилев был тоже странно: в черный длиннополый сюртук и оранжевый галстук. Нас познакомили. Несколько любезно-незначительных слов о моих стихах, и я сразу почувствовал к нему преувеличенное почтение, граничившее со страхом. Только через несколько лет тесной дружбы это чувство (я не был исключением — Гумилев внушал его всем окружающим) окончательно исчезло.

Внешность Гумилева тогда показалась мне странной до уродства. Он действительно был очень некрасив. Но у него были прекрасные руки и редкая по очарованию улыбка.

* * *

«Цех поэтов» был основан Гумилевым и Городецким. Только правилом, что крайности сходятся, можно объяснить этот,

правда, недолгий, союз. Надменный Гумилев и «рубаха-парень» Городецкий — что было общего между ними и их стихами!

Официально Гумилев и Городецкий были равноправными хозяевами «Цеха» — синдиками. Они председательствовали поочередно, и оба имели высокое преимущество — сидеть в глубоких креслах во время заседания. Остальным,— в том числе Кузмину и Блоку, полагались простые венские стулья.

Обычно Городецкий во всем поддерживал Гумилева, но изредка, вероятно, для формы, вступал с ним в спор. Гумилев говорил: «Прекрасно», Городецкий возражал: «Позорно».

Разумеется, Гумилев неизменно торжествовал. Вообще он очень любил спорить, но почти никогда не оказывался побежденным. С собеседниками столь робкими, как его тогдашние ученики, это было нетрудно. Но и с серьезным противником он почти всегда находил средство сказать последнее слово, даже если был явно неправ.

Отношения между синдиками и членами «Цеха» были вроде отношений молодых офицеров с командиром полка. «В строю», т. е. во время заседания, дисциплина была строжайшая. Естественно, что «мэтры» и считавшие себя таковыми вскоре пообиделись по разным поводам и «Цех» посещать перестали. Осталась зеленая молодежь. Наиболее «верные» впоследствии образовали группу акмеистов.

После заседания — весело ужинали. И снова, как в полковом собрании,— командир-Гумилев пил с «молодежью» «на ты», шутил, рассказывал анекдоты, был радушным и любезным хозяином, но «субординация» никогда не забывалась.

* * *

Гумилев трижды ездил в Африку. Он уезжал на несколько месяцев, и по возвращении «экзотический кабинет» в его царскосельском доме украшался новыми шкурами, картинами, вещами. Это были утомительные, дорого стоящие поездки, а Гумилев был не силен здоровьем и не богат. Он не путешествовал как турист. Он проникал в неисследованные области, изучал фольклор, мирил враждовавших между собой туземных царьков. Случалось — давал и сражения. Негры из сформированного им отряда пели, маршируя по Сахаре:

Нет ружья лучше Маузера!
Нет вахмистра лучше Э-Бель-Бека!
Нет начальника лучше Гумилеха!

Последняя его экспедиция (3-й год перед войной) была уже широко обставлена на средства Академии наук. Я помню, как Гумилев уезжал в эту поездку. Все было готово, багаж отправлен вперед, пароходные и железнодорожные билеты заказаны. За день до отъезда Гумилев заболел — сильная головная боль, 40 температура. Позвали доктора, тот сказал, что, вероятно, тиф. Всю ночь Гумилев бредил. Утром на другой день я навестил его. Жар был так же силен, сознание не вполне ясно: вдруг, перебивая разговор, он заговорил о каких-то белых кроликах, которые умеют читать, обрывал на полуслове, опять начинал говорить разумно и вновь обрывал.

Когда я прощался, он не подал мне руки: «Еще заразишься»,— и прибавил: «Ну, прощай, будь здоров, я ведь сегодня непременно уеду».

На другой день я вновь пришел его навестить, т. к. не сомневался, что фраза об отъезде была тем же, что читающие кролики, т. е. бредом. Меня встретила заплаканная Ахматова: «Коля уехал».

За два часа до отхода поезда Гумилев потребовал воды для бритья и платье. Его пытались успокоить, но не удалось. Он сам побрился, сам уложил то, что осталось не уложенным, выпил стакан чая с коньяком и уехал.

* * *

Осенью 1914 года Гумилев за чашкой чая в «Аполлоне» неожиданно и как-то вскользь сообщил, что поступает в армию.

Все удивились. Гумилев был ратником второго разряда, которых в то время и не думали призывать. Военным он никогда не был.

Значит, добровольцем, солдатом?

Не одному мне показалась странной идея безо всякой необходимости надевать солдатскую шинель и отправляться в окопы.

Гумилев думал иначе. На медицинском осмотре его забраковали, ему пришлось долго хлопотать, чтобы добиться своего.

Месяца через полтора он надел форму вольноопределяющегося Л⟨ейб⟩-Гв⟨ардии⟩ Уланского полка и вскоре уехал на фронт.

Гумилев изредка приезжал на короткие побывки в Петербург. Он не написал еще тогда, но уже имел право сказать о себе:

Знал он муки голода и жажды,
Сон тревожный, бесконечный путь,
Но святой Георгий тронул дважды
Пулею нетронутую грудь.

Война его не изменила. О войне он рассказывал забавные пустяки, точно о пикнике, читал эпиграммы, сочиненные полковым дамам:

Как гурия в магометанском
Эдеме в розах и шелку,
Так вы в Лейб-Гвардии Уланском
Ее Величества полку.

Когда его поздравляли с Георгиевским крестом, он смеялся: Ну, что это, игрушки. К весне собираюсь заработать «полный бант» (все четыре степени). Стихи того времени, если и говорили о войне, то о войне декоративной, похожей на праздник:

И как сладко рядить победу,
Словно девушку, в жемчуга,
Проходя по дымному следу
Отступающего врага.

Только раз я почувствовал, что на войне Гумилеву было не так уж весело и приятно, как он хотел показать. Мы засиделись где-то ночью, поездов в Царское не было, и я увел Гумилева ночевать к себе.

— Славная у тебя комната,— сказал он мне, прощаясь утром.— У меня в Париже была вроде этой. Вот бы и мне пожить так, а то все окопы да окопы. Устал я немножко.

* * *

Гумилев устал. «Рядить в жемчуга» победу приходилось все реже. Вместо блестящих кавалерийских атак и надежд зарабо-

тать «полный бант» приходилось сидеть без конца во вшивых окопах. В эти дни им были написаны замечательные стихи о Распутине: —

В гордую нашу столицу
Входит он — Боже спаси —
Обворожает царицу
Необозримой Руси.

И не погнулись, о горе!
И не покинули мест
Крест на Казанском Соборе
И на Исакии крест.

* * *

Наступило 27 февраля. Гумилев вернулся в Петербург. Для него революция пришла не вовремя. Он устал и днями не выходил из своего царскосельского дома. Там в библиотеке, уставленной широкими диванами, под клеткой с горбоносым какаду, тем самым, о котором Ахматова сказала:

А теперь я игрушечной стала,
Как мой розовый какаду,

Гумилев сидел над своими рукописями и книгами. Худой, желтый после недавней болезни, закутанный в пестрый азиатский халат, он мало напоминал недавнего блестящего кавалериста.

Когда навещавшие его заговаривали о событиях, он устало отмахивался: «Я не читаю газет».

Газеты он читал, конечно. Ведь и на вопрос, что он испытал, увидав впервые Сахару, Гумилев сказал: «Я не заметил ее. Я сидел на верблюде и читал Ронсара».

Помню одну из его редких обмолвок на злобу дня: «Какая прекрасная тема для трагедии лет через сто — «Керенский».

Летом Гумилев уехал в командировку в Салоники.

* * *

До Салоник Гумилев не доехал, он остался в Париже. Из-за него возникла сложная переписка между Петербургом и Па-

рижем — из Петербурга слали приказы «прапорщику Гумилеву» немедленно ехать в Салоники, из Парижа какое-то военное начальство, которое Гумилев успел очаровать,— этим приказам сопротивлялось. Пока шла переписка, случился октябрьский переворот. Гумилев долго оставался в Париже, потом переехал в Лондон.

За этот год заграничной жизни Гумилевым было написано много стихов, большая пьеса «Отравленная Туника», ряд переводов. Он наверстывал время, потерянное на фронте.

За границей Гумилев отдыхал. Но этот «отдых» стал слишком затягиваться. На русских смотрели косо, деньги кончались. Гумилев рассказывал, как он и несколько его приятелей-офицеров, собравшись в кафе, стали обсуждать, что делать дальше. Один предлагал поступить в Иностранный Легион, другой ехать в Индию охотиться на диких зверей. Гумилев ответил: «Я дрался с немцами три года, львов тоже стрелял. А вот большевиков я никогда не видел. Не поехать ли мне в Россию? Вряд ли это опаснее джунглей». Гумилева отговаривали, но напрасно. Он отказался от почетного и обеспеченного назначения в Африку, которое устроили ему его влиятельные английские друзья. Подоспел пароход, шедший в Россию. Сборы были недолги. Провожающие поднесли Гумилеву серую кепку из блестящего шляпочного магазина на Пикадилли, чтобы он имел соответствующий вид в пролетарской стране.

* * *

Летом 1918 года Гумилев снова был в Петербурге. Он гулял по разоренному Невскому, сидел в тогдашних жалких кафе, навещал друзей, как всегда спокойный и надменный. У него был вид любопытствующего туриста. Но надо было существовать, к тому же Гумилев только что женился (вторым браком на А. Н. Энгельгардт). До сих пор Гумилеву не приходилось зарабатывать на жизнь — он жил на ренту. Но Гумилев не растерялся.

— Теперь меня должны кормить мои стихи,— сказал он мне. Я улыбнулся.

— Вряд ли они тебя прокормят.

— Должны!

Он добился своего — до самой своей смерти Гумилев жил литературным трудом. Сначала изданием новых стихов и переизданием старых. Потом переводами (сколько он их сделал!) для «Всемирной литературы». У него была большая семья на руках. Гумилев сумел ее «прокормить стихами». Как это было трудно, поймет каждый.

Кроме переводов и книг, были еще лекции в Пролеткульте, Балтфлоте и всевозможных студиях. Тут платили натурой — хлебом, крупой. Это очень нравилось Гумилеву — насущный хлеб за духовный. Ему нравилась и аудитория — матросы, рабочие. То, что многие из них были коммунисты, его ничуть не стесняло. Он, идя после лекции, окруженный своими пролетарскими студистами, как ни в чем не бывало, снимал перед церковью шляпу и истово, широко, крестился. Раньше о политических убеждениях Гумилева никто не слыхал. В советском Петербурге он стал даже незнакомым, даже явным большевикам открыто заявлять: «Я монархист». Помню, как глухой шум прошел по переполненному рабочими залу, когда Гумилев прочел:

Я бельгийский ему подарил пистолет
И портрет моего государя.

Гумилева уговаривали быть осторожнее. Он смеялся: «Большевики презирают сменовеховцев и уважают саботажников. Я предпочитаю, чтобы меня уважали».

Приведу для контраста другой разговор, в те же дни в разгар террора, но в кругу настоящих сторонников всего старого. Кто-то наступал, большевики терпели поражения, и присутствующие, уверенные в их близком падении, вслух мечтали о днях, когда они «будут у власти». Мечты были очень кровожадными. Заговорили о некоем П., человеке «из общества», ставшем коммунистом и заправилой «Петрокоммуны». Один из собеседников собирался душить его «собственными руками», другой стрелять «как собаку» и т. п.

— А вы, Николай Степанович, что бы сделали?

Гумилев постучал папиросой о свой огромный черепаховый портсигар:

— Я бы перевел его заведовать продовольствием в Тверь или в Калугу. Петербург ему не по плечу.

* * *

В кронштадтские дни две молодые студистки встретили Гумилева, одетого в картуз и потертое летнее пальто с чужого плеча. Его дикий вид показался им очень забавным, и они расхохотались.

Гумилев сказал им фразу, которую они поняли только после его расстрела:

— Так провожают женщины людей, идущих на смерть.

Он шел переодевшись, чтобы не бросаться в глаза, в рабочие кварталы вести агитацию среди рабочих. Он уже состоял тогда в злосчастной «организации», из-за участия в которой погиб.

Известно, что Гумилева предупреждали в день ареста об опасности и предлагали бежать. Известен и его ответ: «Благодарю вас, но мне бежать незачем — большевики не посмеют меня тронуть. Все это пустяки».

* * *

В тюрьму Гумилев взял с собой Евангелие и Гомера. Он был совершенно спокоен при аресте, на допросах и — вряд ли можно сомневаться, что и в минуту казни.

Так же спокойно, как когда стрелял львов, водил улан в атаку, говорил о верности «своему Государю» в лицо матросам Балтфлота.

За два дня до расстрела он писал жене: «Не беспокойся. Я здоров, пишу стихи и играю в шахматы. Пришли сахару и табаку».

2

Не знаю, доброй или злой была фея, положившая в колыбель Гумилева свой подарок — самолюбие. Необычайное, жгучее, страстное. Этот дар помог Гумилеву стать тем, чем он был, этот дар привел его к гибели. ⟨...⟩

Гумилев был слабый, неловкий, некрасивый ребенок. Но он задирал сильных, соперничал с ловкими и красивыми. Неудачи только пришпоривали его. ⟨...⟩

Понемногу в его голове сложился стройный план завоевания мира. Надо следовать своему призванию — писать стихи. Эти стихи должны быть лучше всех существующих, должны поражать, ослеплять, сводить с ума. Но надо, чтобы поражали людей не только его стихи, но он сам, его жизнь. Он должен совершать опасные путешествия, подвиги, покорять женские сердца.

Этим детским мечтам Гумилев, в сущности, следовал всю жизнь. Только с годами убывающую уверенность в себе стала сменять уверенность в человеческой глупости.

* * *

В своей квартире на Преображенской Гумилев сидел по большей части в передней. По советским временам парадная была закрыта, и из передней вышел уютный маленький кабинет. Там над диваном висела картина тридцатых годов, изображавшая семью Гумилевых в гостиной. Картинка была очень забавна, особенно мил был какой-то дядюшка, томно стоявший за роялем. Он был без ног — художник забыл их нарисовать. Гумилев охотно рассказывал историю всех изображенных.

Гумилев любил там сидеть у круглой железной печки, вороша угли игрушечной саблей своего сына. Тут же на полке стоял большой детский барабан.

— Не могу отвыкнуть,— пояснял Гумилев,— человек военный, играю на нем по вечерам.

В квартире водилась масса крыс.

— Что вы,— говорил Гумилев, когда ему давали советы, как от крыс избавиться.— Я, напротив, их развожу на случай голода, чтобы их приручить. Я даже иногда предательски здороваюсь со старшей крысой за лапу.

Убирать квартиру приходила дворничиха Паша. Она очень любила слушать стихи.

— Почитайте что-нибудь, Николай Степанович, пока я картошку почищу.— А по-французски можно? — Что желаете.

Гумилев читал вслух Готье, Паша чистила картошку, сочувственно вздыхая. Иногда Гумилев начинал фантазировать: —

Погодите, Паша, вот скоро большевиков прогонят, будете вы мне на обед жарить уток.— Дай Бог, Николай Степанович, дай Бог.— Я себе тогда аэроплан куплю. Скажу: Паша, подайте мне мой аэроплан. Я полетаю недалеко — вон до той тучки.

— Дай Бог! Дай Бог!

Гумилев вставал поздно, слонялся полуодетый по комнатам, читал то Блэка, то «Мир приключений», присаживался к столу, начинал стихи, доедал купленные вчера сладости.

— Это и есть самая приятная жизнь,— говорил он.

— Приятнее, чем путешествовать по Африке?

— Путешествовать по Африке отвратительно. Жара. Негры не хотят слушаться, падают на землю и кричат: «Калас!» (дальше не иду). Надо их поднимать плеткой. Злишься так, что сводит челюсти. Я вообще не люблю юга. Только на севере европеец может быть счастлив. Чем ближе к экватору, тем сильнее тоска.

В Абиссинии я выходил ночью из палатки, садился на песок, вспоминал Царское, Петербург, «Бродячую Собаку» и мне становилось страшно: вдруг я умру здесь от лихорадки и никогда больше всего этого не увижу.

— А на войне?

— На войне то же самое. Страшно и скучно. Когда идешь в конную атаку, кричат: «Пригнись!». Я не пригибался. Но прекрасно сознавал, какой это риск. Храбрость в том и заключается, чтобы подавить страх перед опасностью. Ничего не боящийся Козьма Крючков не храбрец, а чурбан.

И еще неприятно на войне — целые дни в сапогах, нельзя надеть туфлей, болят ноги.

Целую зиму 1921 года Гумилев жил без часов. На вопрос: который час? — разводил руками: «Кто его знает. Впрочем, подожди,— он подходил к окну.— Около четырех».— Как же ты определяешь? — По солнцу.— А когда солнца нет? — По молочницам, по школьникам. Вечером по уличному шуму. И знаешь, это развивает наблюдательность, я никогда никуда не опаздываю.

Гумилев удивительно понимал стихи — с полуслова, насквозь и до конца.Его критические приговоры — образчик редкого чутья и вкуса. Еще более редкой была его способность говорить и спорить об искусстве.

Но Гумилев был ленив — если для диспута с Вячеславом Ивановым или Иннокентием Анненским трудно было бы найти более блестящего и изобретательного противника, то с соперниками менее серьезными он нередко применял невзыскательный, но верный прием — обухом по лбу.

Молодой поэт горячо доказывает Гумилеву что-то и сыплет цитатами. Гумилев не хочет уступать. Но спорить ему лень. Он перебивает спорящего, насмешливо улыбаясь: «Да, мой дорогой. Со своей точки зрения вы, пожалуй, и правы. Но если бы вы прочли семь томов натурфилософии Карра, вы бы думали иначе».

Манерой говорить, уверенностью, голосом он умел подавлять собеседника, даже когда дело касалось малознакомого ему предмета.

Раз, идя во «Всемирную литературу», мы заговорили о музыке. Гумилев утверждал, что музыка вся построена на «нутре», никаких законов у нее нет и не может быть. Нельзя писать о поэзии или живописи, будучи профаном. О музыке же — сколько угодно. Я усумнился.— Хочешь пари? Я сейчас заговорю о Шопене с Б⟨раудо⟩ (известным музыкальным критиком), и он будет слушать меня вполне серьезно и даже соглашаться со мной.

— Отлично, только зачем о Шопене? Говори о какомнибудь модернисте. Ну, о Метнере.

Гумилев заставил меня побожиться, что Метнер действительно существует. Он был настолько далек от музыкальных дел, что думал, что я его дурачу.

Во «Всемирной литературе» Гумилев завел с Б⟨раудо⟩ обещанный разговор. Он говорил о византинизме Метнера (Б⟨раудо⟩ спорил) и об анархизме метнеровского миропонимания (Б⟨раудо⟩ соглашался). В конце беседы Б⟨раудо⟩ сказал:

— Николай Степанович, а не написали ли бы вы нам для «Музыкального Современника» статейку? Уж не поленитесь — очень было бы интересно.

Гумилев никогда не забывал надевать фрак в тех случаях жизни, когда это полагалось. То, что этот фрак был сильно потерт и сидел мешком, он считал неважным — была бы соблюдена форма.

«Мой фрак, мой дом, моя жена»,— Гумилев произносил все это с одинаковым торжественным безразличием. Казалось, что если одну жену заменить другой — Гумилев этого не заметит, но если у него вовсе отнять — безразлично, жену или фрак,— нарушится вся гармония его жизни.

Гумилев очень любил соблюдать обрядности и обычаи. Вряд ли он был церковно верующим человеком — скорее суеверным. Но он перед каждой церковью «ломал шапку», аккуратно причащался и говел. При встрече со священником подходил под благословение.

То же было и с соблюдением правил джентльменства, вежливости, дворянских традиций. Гумилев всегда защищал слабого против сильного, был почтительно любезен со стариками, оберегал честь женщин.

Он был очень гостеприимным хозяином. И не перестал им быть и в голодное советское время. Пригласив кого-нибудь из своих друзей к обеду, Гумилев потчевал его со старомодной любезностью жаренной собственноручно воблой и макаронами из черной муки. Если обедала дама, он надевал «свой фрак» и беседовал по-французски.

Гумилев рассказывал, что в молодости всякий отзыв о своих стихах он принимал как оскорбление. Самые лестные рецензии казались ему недостаточными.

— С годами становишься скромнее,— прибавлял он.— Теперь, если я читаю, что стихи Гумилева «тоже не лишены таланта», я с благодарностью думаю: «Не все же меня ругают, вот и похвалили».

Первым председателем Петербургского Союза Поэтов был выбран Блок. Вскоре, однако, в Союзе произошел «дворцовый переворот» и место Блока занял Гумилев. Он отнесся к своим обязанностям председателя серьезнее, чем требовала эта бутафорская должность. Заседал, провозглашал независимость от Москвы, основывал «Дом поэтов», хлопотал о журнале и т. п.

Увлекаясь, он видел в близком будущем этот Союз всемирным и дальше — его idée fixe — интернационал поэтов, управляющий вселенной.

Пока что Союз устраивал вечера, а также выдавал своим членам командировки на проезд по железной дороге за продуктами, благо имелась магическая «круглая печать».

Пользовался этой печатью и Гумилев. Семья его жила в Бежецке, Тв⟨ерской⟩ губ. Во время одной из таких поездок Гумилев встретил в вагоне бывшего кучера или садовника из своего имения. Узнали друг друга, разговорились. Вдруг контроль, и садовник Гумилева оказывается безбилетным. Времена были суровые, и бедному «зайцу» грозили месяц-два «снеговой повинности». Гумилев за него вступился.

— Освободите этого гражданина,— сказал он важно.— Я за него ручаюсь. Я председатель.

«Гражданина» освободили.

Гумилев говорил, что для поэта быть влюбленным есть профессиональная необходимость. Сам он постоянно влюблялся — направо и налево. Он называл это поисками «Прекрасной Дамы». Но была у него и более простая формула на этот счет: «Бей ворону, бей синицу, попадешь на ясного сокола». «Донжуанский список» Гумилева занял бы несколько страниц.

Своими успехами он очень гордился. «Я не красив, но я знаю секрет, перед которым женщины не могут устоять».— Какой же? — Я овладеваю их воображением — рассказываю про войну и читаю стихи. Они любят поэзию и подвиги больше всего на свете. И еще никогда не надо теряться или показывать слабость. Я говорю: дорогая, весь «Костер» написан для вас. «Но, Николай Степанович,— мы еще не были знакомы, когда вышел „Костер“».— Дорогая, это ничего не значит — я вас предчувствовал...

— А показывать слабость, стреляться — нет ничего хуже. Я перерезал себе вены и чуть не умер, а NN, в которую я был влюблен, только смеялась.

Редактируя посмертный сборник Гумилева, я получил очень много его рукописей из женских рук. Все это были, конечно, любовные стихи с посвящениями. Часто владелицы рукописей желали, чтобы посвящение было сохранено. Но сделать это было нелегко. Например, я получил от трех лиц три автографа «Приглашения в Путешествие». Все были посвящены разным. В середине стихотворения были маленькие варианты:

А вы — вы будете с цветами,
И я вам подарю газель
С такими грустными глазами,

Как будто в них поет свирель.
И птицу дальную, что краше
Таинственных ширазских роз,
Чтобы порхать над черной вашей
Волнистой шапкою волос.

или:

Чтобы порхать над русой вашей
Прелестной шапочкой волос.

или:

Чтобы порхать над рыжей вашей
Кудрявой шапкою волос.

Получил я также свое собственное стихотворение, переписанное рукой Гумилева и кое-где измененное к случаю. Гумилев «одолжил» его, идя на какое-то свидание и не имея под рукой ничего «подходящего».

* * *

За полгода до смерти Гумилев сказал мне: «В сущности, я неудачник». И еще: «Как я завидую кирпичикам в стене — лежат, прижавшись друг к другу, а я так одинок».

Меня не удивили эти слова, многих бы удивившие. Гумилев был действительно очень одинок — всю свою короткую жизнь он был окружен холодным и враждебным непониманием.

...Я злюсь, как идол металлический
Среди фарфоровых игрушек.
...Он помнит головы курчавые,
Склоненные к его подножью,
Жрецов молитвы величавые,
Леса, охваченные дрожью.
И видит, горестно смеющийся,
Всегда недвижные качели,
Где даме с грудью выдающейся
Пастух играет на свирели.

Всю жизнь он посвятил одной мечте — заставить мир «вспомнить» то, о чем никогда не забывал он сам: божественное

значение поэзии. Всю жизнь он как укротитель хлопал бичом, а звери холодно отворачивались и зевали.

В этом смысле он был прав, считая себя неудачником. В этом смысле первой — блестящей — победой Гумилева была его смерть.

МАНДЕЛЬШТАМ

1

Всю ночь валил снег, такой обильный, что сугробы вырастали сейчас же, как только дворничьи лопаты переставали на минуту расчищать тротуар. Часов в двенадцать дня ко мне пришел Мандельштам. Он был похож на белого медведя и требовал водки, коньяку, пуншу — иначе он сейчас же простудится и умрет. Я постарался отогреть его, чем мог. Пока мы завтракали, снег стал реже, воздух светлее — блеснуло солнце. Через час мы уже шли по Невскому — наведаться в университет, оттуда зайти в «Гиперборей». На Васильевский остров со Знаменской — путь не маленький; но погода стала вдруг так хороша, что мы соблазнились. Соблазн оказался «роковым».

Казанская площадь была полна народа. Флаги, портреты, «Боже, царя храни» с одной стороны — с другой свист, крики «долой», «погромщики». Это была манифестация по случаю взятия Скутари, столкнувшаяся здесь, на Казанской площади, с неблагонадежными элементами.

Мы вмешались в толпу, чтобы поглядеть, что происходит. Толпа нас сжала, потом цепь конных городовых с криком: «Расходитесь, расходитесь, господа»,— оттиснула нас в сторону Казанской улицы...

И через несколько минут мы оказались в каком-то узком и мрачном дворе, где околоточный с руганью выстраивал нас в пары. Попались.

Нас долго держали во дворе — с полчаса. Когда вывели — толпы на площади уже не было. «Последние тучи рассеянной бури» — партии таких же, как мы, арестованных, окруженные конвоем, уводились куда-то вглубь по Конюшенной. Тем же путем последовали и мы.

Мне стоило большого труда успокоить моего спутника. Мандельштам требовал телефона, письменных принадлежностей, чтобы писать куда-то жалобу, кричал, что он знаком с Джунковским, и волновался ужасно. Волноваться же было совершенно бесполезно — никто его не слушал, надо было, покорясь судьбе, сидеть и ждать очереди, пока не вызовут в кабинет пристава. Пристав оказался человеком любезным и обходительным. Он просил успокоиться начавшего снова доказывать и протестовать Мандельштама.— «Маленькое недоразумение... Сейчас мы это уладим...— он взялся за карандаш.— Ваши фамилии, господа, адреса...»

Когда Мандельштам назвал свою фамилию и «род занятий»,— пристав приятно осклабился.

— Не сын ли вы известного адвоката, позвольте узнать?

Мандельштам даже привскочил. Он стал весь красный.

— Г-н пристав, даю вам слово... Даже не знаком...

— Но позвольте...

— Даю вам слово... Я сын купца. Сын купца...

— Но позвольте, молодой человек, почему вы так нервничаете? — удивился пристав.— Вы вон писатель. Я и предположил, не из семейства ли нашего известного...

— Нет, нет. Сын купца.

Пристав пожал плечами, попросил нас расписаться, и нас выпустили.

— Почему ты так испугался? — спросил я Мандельштама, когда мы вышли.

Он смерил меня взглядом, полным снисходительного презрения к моей несообразительности:

— Как? Ты не понял? Ты не понял? Так это же была провокация.

Я повторил жест любезного пристава: молча пожал плечами.

В университет было поздно, но в редакцию «Гиперборея» в самый раз. Да и куда же ехать, чтобы поделиться нашими приключениями, как не в эту приятнейшую из редакций.

В зеркальные окна просторного, натопленного, устланного коврами кабинета видна Невка, покрытая зимующими во льду барками, Тучков буян, мост. Все это завалено снегом, залито красным зимним закатом.

Так успокоительно в этом просторном, теплом, уютно освещенном кабинете. Горничная в наколке разносит чай, бисквиты, коньяк. Уже собрался кое-кто. Хозяина — редактора — еще нет — задержался в типографии. Но вот — скрип двери, шорох портьеры:

Выходит Михаил Лозинский,
Покуривая и шутя,
С душой отцовско-материнской
Выходит Михаил Лозинский,
Рукой лелея исполинской
Свое журнальное дитя...

Мало кто помнит о «Гиперборее», да и имя Михаила Лозинского известно только в узких литературных кругах. Поэтому скажу два слова об обоих.

В 1907 году в Париже русские начинающие поэты выпускали журнал «Сириус». Журнал был тощий — вроде нынешних сборников Союза молодых поэтов, поэты решительно никому не известны. Неведомая поэтесса А. Горенко печатала там стихи:

На руке его много блестящих колец —
Покоренных им девичьих нежных сердец.
Но на этой руке нет кольца моего,
Никому, никому не отдам я его.

Это имя — Анна Горенко — так и кануло в Лету вместе с напечатанными в «Сириусе» стихами: свои позднейшие произведения поэтесса стала подписывать псевдонимом — Ахматова.

Молодые поэты стали издавать этот журнал, как и полагается,— в складчину. Каждую неделю члены «Сириуса» собирались в кафе, чтобы прочесть друг другу вновь написанное и обменяться мнениями на этот счет. Редко кто приходил на такое собрание без «свеженького» материала, и Гумилев, присяжный критик кружка, не успевал «припечатать» все, что хотел. Самым плодовитым из всех был один юноша с круглым бабьим лицом и до-

вольно простоватого вида, хотя и с претензией на «артистичность»: бант, шевелюра... Он каждую неделю приносил не меньше двух рассказов и гору стихов. Считался он в кружке бесталанным неудачником — критиковали его беспощадно. Он не унывал, приносил новое, его опять, еще пуще ругали. Звали этого упорного молодого человека граф А. Ник. Толстой.

Молодые люди разъехались из Парижа, собрания в кафе кончились. «Сириус» прекратился. Но память о нем осталась настолько приятная, что бывшие его сотрудники пытались восстановить «Сириус» уже в Петербурге. Первая попытка, «Остров», бывший по составу сотрудников повторением «Сириуса», скоро прекратился сам собой. Тогда Гумилеву пришла мысль не реставрировать старый журнал, а основать новый и по духу и по составу сотрудников, но того же типа — т. е. поэты сами хозяева и «полная независимость».

«Гиперборей» выходил ежемесячно, аккуратно изданными книжечками в 32 стр. Книжки были аккуратные, но выходили они крайне неаккуратно — августовская в январе, январская в июле.— «Послушайте,— сказали как-то Лозинскому,— ваш «Гиперборей» невозможно опаздывает — перед подписчиками неудобно». Лозинский нахмурился.— «Действительно, вы правы, неловко...— но сейчас же лицо его прояснилось.— Ну ничего,— *я им скажу*»...

Повторяю — редакция «Гиперборея» была приятнейшей из редакций. Даже поэты, чьи стихи, «к сожалению», возвращались, вряд ли могли долго сердиться, так мягко, деликатно и необидно для их самолюбия делал это Лозинский. Были, конечно, случаи черной неблагодарности. Так, какой-то отвергнутый поэт переменился с редактором шапкой. Не говоря уже, что взамен своей из великолепного котика Лозинский получил захудалую, потертую кошку, надев ее (так он, по крайней мере, клялся), он сейчас же ощутил в ушах шум скверных рифм и прилив шестистопных строчек без цезуры.

Вряд ли, впрочем, какая бы то ни было сила в мире могла заставить Лозинского чем-нибудь погрешить в области стихотворной формы. О духе его поэзии можно спорить, ее приподнято-отвлеченная пышность может не нравиться и даже раздражать. Но необыкновенное мастерство Лозинского — явление вполне исключительное. Стоит сравнить его переводы

с такими общепризнанно мастерскими, как переводы Брюсова или Вячеслава Иванова. Они детский лепет и жалкая отсебятина — рядом с переводами Лозинского. Рано или поздно, но не сомневаюсь, что они будут оценены, как должно, как будет оценен этот необыкновенно тонкий, умный, блестящий человек, всегда бывший в самом центре поэтической «элиты» и всегда, намеренно, сам остававшийся в тени.

Лозинский — обаятельный хозяин. Если гости — сотрудники и «подписчики», собравшиеся в его кабинете, оживлены, болтают и не нуждаются в том, чтобы их занимали, его не видно — он тихо беседует с кем-нибудь в дальнем углу. Молчание, какая-нибудь заминка или неловкость, и сейчас же как-то незаметно он овладеет разговором, блеснет неожиданной остротой, рассеет неловкость, подымет упавшее оживление...

— Это все равно, что Лозинский сделал бы гадость,— говорила Ахматова, когда хотела подчеркнуть совершенную невозможность чего-нибудь. Гумилев утверждал, что если бы пришлось показывать жителям Марса образец человека, выбрали бы Лозинского — лучшего не найти.

* * *

Итак — в «Гиперборей». Мы пошли к трамвайной остановке. Успокоившийся после ареста и «провокации» Мандельштам сочинил и читает, так задыхаясь от смеха, что трудно его понять, незамысловатый экспромт:

Не унывай,
Садись в трамвай,
Такой пустой,
Такой восьмой...

Вдруг нас останавливает голос — тихий, но какой-то властный, необыкновенный.

— Скажите, господа, где помещается «Аполлон»?

Спрашивал это... мужик. Простой мужик в картузе, в валенках, в полушубке. Стоял он спиной к фонарю — лица почти не было видно. Только этот тихий, странный голос и на мгновение блеснувшие пристальные сверлящие глаза.

— На Разъезжей 26,— сказали мы хором. Мужик поблагодарил и пошел дальше. На полупустой улице было темно,— минуту мы стояли, не понимая,— почудилось нам, что ли. Нет, не почудилось, вот уже далеко мелькает его картуз, вот скрылся за угол...

Что ему могло понадобиться в «Аполлоне», этому человеку в валенках и картузе? И — еще странней — как он угадал, что мы можем ответить на его вопрос? Знать он нас не мог. Услышал обрывки разговора? Нет, он шел к нам навстречу и слышать ничего не мог, да и болтали мы какой-то вздор, все о том же «пустом восьмом» трамвае.

Гумилев скептически покачал головой на наш рассказ.— «Это вам почудилось со страху после участка».— Практический Б. Эйхенбаум решил, что это просто швейцар или истопник шел в «Аполлон» наниматься. Позабыл адрес — ну и спросил — может быть, господа знают. Мы поглядели на Эйхенбаума с презрением: нет фантазии у человека, недаром критик.

Наша собственная фантазия, разыгравшись, говорила нам совсем другое. Как раз недавно был слух, что в Петербурге видели Александра Добролюбова...

* * *

Имя Александра Добролюбова нынешнему молодому «послевоенному» поколению не говорит ровно ничего. Его просто никто не слышал. А между тем этот таинственный полулегендарный человек, кажется, жив и сейчас. По слухам, бродит где-то в России — с Урала на Кавказ, из Астрахани в Петербург — бродит вот так мужиком в тулупе, с посохом — так, как мы его видели или как он почудился нам на полутемной петербургской улице.— «Скажите, господа, где помещается „Аполлон“?».

Впрочем, и старшее поколение, даже те, кто его знали лично, были или звались его друзьями, тоже немного знают об Александре Добролюбове, т. е. о том Добролюбове, который в картузе и с посохом где-то зачем-то бродит — уже очень давно, с начала девятисотых годов — по России. Они знают только ту часть его жизни, которую он, неизвестно почему, прекратил, уйдя от нее, вот так, с посохом, куда глаза глядят и без оглядки, порвав со всем навсегда...

Странная и необыкновенная жизнь: — что-то от поэта, что-то от Алеши Карамазова, еще многие, разные «что-то», таинственно перепутанные в этом человеке, обаяние которого, говорят, было неотразимо. Он был из состоятельной культурной семьи, писал стихи, кажется, был очень избалован и изнежен, кажется, даже было в его ранней молодости время, когда его считали снобом. Его стихи называли, вполне серьезно, гениальными — я это слышал от таких людей, которые знают, что такое стихи. Но все они знали и Добролюбова лично, и, мне кажется, в этом секрет того обаяния, которого не знавшие его, и я в том числе, уже не могут почувствовать в этих бледных, бесплотных, каких-то нечеловеческих, из «четвертого измерения» строчках. Кстати, сборник Добролюбова назывался «Из книги невидимой». Кто знает, может быть, и впрямь «невидимая» для нас — была видимой кому надо, кому надо «объявиться», когда придет срок? Может быть, и гениальная, только без ключа к пониманию ее гениальности. На время? Навсегда? Кто знает — поэзия дело темное. А гениальными стихи Добролюбова, между прочим, считал Блок.

Из неживого тумана
Вышло больное дитя.

Это Добролюбову посвящено. И эпиграф пушкинский к нему: «А. М. Д. своею кровью...» имеет двойной смысл: рыцарь бедный — Александр Михайлович Добролюбов.

...Где теперь помещается «Аполлон», господа?..

Вряд ли это все-таки был Добролюбов. Петербургский, снобический «Аполлон» — ну зачем он мог понадобиться «Рыцарю бедному» — давно порвавшему начисто и навсегда со всеми вообще «Аполлонами», какие только от века существовали на земле? Вряд ли это был он. А впрочем...

* * *

На одном из собраний парижской литературной молодежи я слышал по своему адресу упрек: «Зачем вы искажаете образ Мандельштама, нашего любимого поэта? Зачем вы представляете его в своих воспоминаниях каким-то комическим чудаком? Разве он мог быть таким?»

Именно таким он был. Ни одного слова о Мандельштаме я не выдумывал — зачем же выдумывать забавное о человеке, который сам, каждым своим движением, каждым шагом — «сыпал» вокруг себя чудаковатость, странность, неправдоподобное, комическое... не хуже какого-нибудь Чаплина — оставаясь при этом, в каждом движении, каждом шаге, «ангелом», ребенком, «поэтом Божьей милостью» в самом чистом и «беспримесном» виде.

Я очень рад за Мандельштама, что молодые парижские стихотворцы его любят и еще больше рад за них: эта любовь многих из них больше приближает к поэзии, чем их собственные стихи. Но и я, право, чрезвычайно люблю поэзию Мандельштама и, кроме того, на моей стороне есть еще то преимущество, что и его самого, чудаковатого, смешного, странного — неотделимого от его стихов,— люблю не меньше, и очень давно, очень близко знаю. Были времена, когда мы были настолько неразлучны, что у нас имелась, должно быть, единственная в мире,— визитная карточка: «Георгий Иванов и О. Мандельштам». Конечно, заказать такую карточку пришло в голову Мандельштаму, и, конечно, одному ему и могло прийти это в голову.

И разве не слышали наши «молодые поэты», что высокое и смешное, самое высокое и самое смешное, часто бывают переплетены так, что не разобрать, где начинается одно и кончается другое? Приведу для наглядности пример из жизни того же «чудака», «ангела», «комического персонажа» — из жизни поэта Мандельштама.

В «Tristia» (книге Мандельштама) есть крымские стихи: кто «Tristia» читал, тот уж, наверное, их помнит: одно из лучших стихотворений Мандельштама — одно из лучших русских стихотворений:

...Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.
...Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла —
Не отрываясь, целовала,
А строгою в Москве была.

Нам остается только имя,
Блаженный звук, короткий срок,
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок.

Так вот — это написано в Крыму, написано до беспамятства влюбленным поэтом. Но поклонники Мандельштама, вообразив по этим данным (Крым, море, любовь, поэзия) картину, достойную кисти Айвазовского (есть, кстати, у Айвазовского такая картина, и прескверная: «Пушкин прощается с морем»),— поклонники эти несколько ошибутся.

Мандельштам жил в Коктебеле. И так как он не платил за пансион и, несмотря на требования хозяев съехать или уплатить,— выезжать тоже не желал, то к нему применялась особого рода пытка, возможная только в этом «живописном уголке Крыма»,— ему не давали воды. Вода в Коктебель привозилась издалека и продавалась бочками.— Ни реки, ни колодца не было — и Мандельштам хитростью и угрозами с трудом добивался от сурового хозяина или мегеры-служанки, чтобы ему дали графин воды: получив его, он выпивал, конечно, все сразу и опять начиналась мука... Кормили его объедками. Когда на воскресенье в Коктебель приезжали гости, Мандельштама выселяли из его комнаты — он ночевал в чулане. Простудившись однажды на такой ночевке, он схватил ужасный флюс и ходил весь обвязанный, вымазанный йодом, сопровождаемый улюлюканьем местных мальчишек и улыбками остального населения «живописного уголка». Особенно, кстати, потешалась над ним «она», та, которой он предлагал «принять» в залог вечной любви «ладонями моими пересыпаемый песок». Она (очень хорошенькая, немного вульгарная брюнетка, по профессии женщина-врач) вряд ли была расположена принимать подарки подобного рода: в Коктебель ее привез ее содержатель, армянский купец, жирный, масляный, черномазый. Привез и был очень доволен: наконец-то нашлось место, где ее было не к кому, кроме Мандельштама, ревновать...

С флюсом, обиженный, некормленный, Мандельштам выходил из дому, стараясь не попасться лишний раз на глаза хозяину или злой служанке. Всклокоченный, в сандалиях на босу ногу, он шел на берег, встречные мальчишки фыркали ему в лицо и

делали из полы «свиное ухо». Он шел к ларьку, где старушка-еврейка торговала спичками, папиросами, булками, молоком... Эта старушка, единственное существо во всем Коктебеле, относилась к нему по-человечески (может быть, он напоминал ей собственного внука, какого-нибудь Янкеля или Осипа), по доброте сердечной,— оказывала Мандельштаму «кредит»: разрешала брать каждое утро булочку и стакан молока «на книжку». Она знала, конечно, что ни копейки не получит,— но надо же поддержать молодого человека — такой симпатичный и, должно быть, больной: на прошлой неделе все кашлял, а теперь вот — флюс. Иногда Мандельштам получал от нее и пачку папирос второго сорта, спичек, почтовую марку. Если же он, потеряв чувствительность, рассеянно тянулся к чему-нибудь более ценному — коробке печенья или плитке шоколада,— добрая старушка, вежливо отстранив его руку, говорила грустно, но твердо:

— Извиняюсь, господин Мандельштам, это вам не по средствам.

И он, сразу оскорбившись, покраснев, дергал плечами, поворачивался и быстро уходил. Старушка грустно смотрела ему вслед,— может быть, ее внук был такой же гордый и такой же бедный,— видит Бог, она не хотела обидеть молодого человека...

Мандельштам шел по берегу, выжженному солнцем и выметенному постоянным унылым коктебельским ветром. Недовольный, голодный, гордый, смешной, безнадежно влюбленный в женщину-врача, подругу армянина, которая сидит теперь на своей веранде в розовом прелестном капоте и пьет кофе — вкусный, жирный кофе, и ест горячие домашние булки, сколько угодно булок... Он шел, гордо откинув голову, большую некрасивую голову на тонкой шее, бормоча под нос — сочиняя на ходу стихи, упоительные «ангельские» стихи:

Где обрывается Россия
Над морем черным и чужим...

Коктебельские мальчишки кричали ему вслед, когда он проходил мимо: «Господин — часы обронил». И когда он гневно оборачивался, убегали, высунув «свиное ухо»...

2

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем...

1920 год. Снег. Холод. Фонари не горят. Снова мы идем по Тучковой набережной — мимо дома, где когда-то была гостеприимная редакция «Гиперборея»,

Мимо зданий, где мы когда-то
Танцевали, пили вино.

Мандельштам только что приехал в советский Петербург, и я веду его, бездомного и дрожащего от холода,— к себе ночевать. Он два года пропадал — был в Крыму, оттуда выслали в Грузию, в Грузии едва не повесили. Потом какое-то невероятное, возможное только с Мандельштамом путешествие через всю Россию,— и в одно прекрасное утро звонок у черного хода моей квартиры.— «Кто там?» — Из-за двери пыхтение, какой-то топот, шум, точно отряхивается выплывшая из воды собака...

— Кто там?

— Это я.

— Кто я?

— Я... Мандельштам...

Конечно, он приехал в летнем пальто (с какими-то шелковыми отворотами, особенно жалкими на пятнадцатиградусном морозе). Конечно, без копейки в кармане, простуженный, чихающий, кашляющий, не знающий, что ему делать. Первой его заботой, после того, как он немного осмотрелся и отошел, было — достать себе «вид на 〈жительство〉».

— Да успеешь завтра.

— Нет, нет. Иначе я буду беспокоиться, не спать. Пойдем в Совдеп, или как его там.

— Но ведь надо тебе сначала достать какое-нибудь удостоверение личности.

— У меня есть. Вот.

И он вытаскивает из кармана смятую и разодранную бумагу.— «Вот: «Командующий вооруженными силами на юге России» — значится в заголовке.— Удостоверение... Дано сие Мандельштаму Осипу Эмилиевичу... Право жительства в укрепленном районе... Генерал X... Капитан Y...»

— И с этим ты хотел идти в Совдеп!..

Детская растерянная улыбка.

— А что? Разве бумажечка не годится?

. . . .

Первые стихи Мандельштама были напечатаны в «Аполлоне» в 1910 году. В них была уже вся мандельштамовская прелесть — все туманно-пронзительное очарование. Стихи были замечены — их приветствовал Вячеслав Иванов и высмеял Буренин. Вскоре в петербургских литературных «салонах» стал появляться их автор, только что приехавший из-за границы — он учился в Париже.

Наружность у него была странная, обращающая внимание. Костюм франтовский и неряшливый, баки, лысина, окруженная вьющимися редкими волосами, характерное еврейское лицо — и удивительные глаза. Закроет глаза — аптекарский ученик. Откроет — ангел.

При всем этом он был похож чем-то на Пушкина. И не одними баками. Это потом находили многие, но открыла это сходство моя старуха-горничная. Как все горничные, родственники его друзей, швейцары — и т⟨ому⟩ п⟨одобные⟩ посторонние поэзии, но вынужденные иметь с Мандельштамом дело — она его ненавидела. Ненавидела за окурки, ночные посещения, грязные калоши, требование чаю и бутербродов в неурочное время и т⟨ому⟩ п⟨одобное⟩.

Однажды (Мандельштам как раз в это время был в отъезде) я принес портрет Пушкина и повесил над письменным столом. Старуха, увидев его, покачала укоризненно головой:

— Что вы, барин, видно без всякого Мандельштамта не можете. Три дня не ходит, так вы уж его портрет вешаете!

Стихи Мандельштама были замечены. Но мало кто оценил это «чудо», как называла их Ахматова. И он, инстинктивно чувствовавший свое «божественное» происхождение и с детской беззастенчивостью этого не скрывавший, постоянно терпел обиды.

Мандельштам чрезвычайно ценил Сологуба. Еще мальчиком знал его всего наизусть, из-за границы написал ему восторженное письмо, послал свои стихи. Ответа не получил — ну мало ли что — письмо затерялось, может быть.

Приехав в Петербург и напечатавшись в «Аполлоне», решился позвонить Сологубу по телефону. Произошел следующий разговор:

— Можно попросить Федора Кузьмича?

— Я у телефона.

— Говорит Мандельштам.

Молчание.

— Я хотел бы приехать к вам, Федор Кузьмич.

— Зачем это?

— Чтобы прочесть вам свои стихи.

— Я их уже читал.

— И услышать ваше мнение.

— Я не имею о них мнения...

В 1916 году я был у Брюсова. На письменном столе в его кабинете лежали две кипы новых стихотворных сборников, одна поменьше, другая побольше. Брюсов объяснил: — «Вот об этом,— кипа поменьше,— я буду писать в «Русской Мысли». Об остальных — не стоит».

В ворохе «остальных» лежал только что вышедший «Камень» Мандельштама.

— Как? Вы о «Камне» не будете писать?

Презрительный жест. «Не стоит — эпигон». И Брюсов прочел:

Так. Но прощаясь с римской славой
С Капитолийской высоты
Во всем величьи видел ты
Закат звезды его кровавой.

— Из этого вышел весь Мандельштам. И, конечно, все его римские стихи не стоят ни одной из этих строк.

— Предположим. Но другие? Неужели ни одно вас не «трогает»?

— Ни одно!

— ...Он ненавидит его,— сказала Ахматова, слушая пересказ этого разговора.— Ненавидит за то, что Мандельштам ангел, а сам он только литератор!

Источником обид была и его удивительная манера читать. К стихам Мандельштама она необыкновенно подходила — он «пел» стихи — но не так, как «поют» большинство поэтов, уме-

ренно, а вовсю, как-то воркуя, растягивая слова, понижая и повышая голос. Но при этом он притоптывал ногой, отбивал рукой такт и весь раскачивался. Понятно, что на публику, которой и обычное «пение» поэтов кажется странным,— чтение Мандельштама, да еще при его оригинальной наружности, производило впечатление самое странное. Улыбавшиеся на манеру X-а или Y-а, когда появлялся Мандельштам, начинали хохотать.

Однажды в Тенишевском зале Мандельштам читал только что написанные удивительные стихи: «Я опоздал на празднество Расина»... Слушатели выдались особенно тупые. Мандельштам читал. Стихи были длинные. Смешки и подхихикивания становились все явственней.

...Вновь шелестят истлевшие афиши
И слабо пахнет апельсинной коркой...

— Свиньи! — вдруг крикнул Мандельштам в публику, обрывая стихи, и убежал за сцену.

Я утешал его, как мог,— он был безутешен.— «Свиньи, свиньи»,— повторял он. Из зала слышался рев — хохота, криков, аплодисментов. Наконец, сквозь слезы, Мандельштам улыбнулся. Какие свиньи!

Уйдем, покуда зрители-шакалы
На растерзанье музы не пришли...—

сказал я ему в тон, строчками из недочитанного им стихотворения.

* * *

Мандельштам, приехав из Грузии, недолго прожил в Петербурге, с полгода. Шумная московская жизнь казалась ему вольным миром — здесь он задыхался... «Если здесь задыхаешься — там сломаешь шею»,— холодно сказал ему на прощанье Гумилев. Это был разрыв — его отъезд, обе стороны, и Мандельштам, и его петербургские друзья, это сознавали.—«Может быть, и не сломаю!» — «Сломаешь»,— твердо повторил Гумилев.

Мне тогда казалось, что Гумилев не прав. Ведь не пропадет же у *такого* поэта и *такой* голос оттого, что он окунется с головой в болото московской советской литературной жизни —

имажинизма, всероссийского союза поэтов, казенных издательств. «Погуляет козочка и вернется домой». И кто знает, может быть, это чистилище пойдет ему даже на пользу.

Осенью 1922 года я пробыл в Москве несколько часов — от поезда до поезда. Я разыскал Мандельштама. Он был все тот же — но вид у него был какой-то растерянный.— «В Москве мне хорошо. А в Петербурге что ты можешь мне предложить?» — была одна из его первых фраз.— «Очень рад, что хорошо, предлагать мне нечего».— «Нет, ты скажи,— настаивал он,— можно ли в Петербурге устроиться?»

От «хорошей жизни» в Москве его явно тянуло обратно «домой». Я ему посоветовал оставаться в Москве — все-таки здесь была какая-то жизнь. В Петербурге — одни дорогие могилы.

Заговорили о стихах. Мандельштам, как всегда, был полон планами и надеждами.— «Нет, ты прочти что-нибудь написанное за это время». Он смущенно признавался — ничего нет.

Теперь он снова пишет стихи. Время от времени в советских газетах, среди разных неведомых имен, на десятом месте — мелькает его подпись. Грустно читать это имя под такими стихами:

Куда как тетушка моя была богата.
Фарфора, серебра изрядная палата,
Безделки разные и мебель акажу,
Людовик, рококо — всего не расскажу.
Среди других вещей стоял в гостином зале
Бетховен гипсовый на бронзовом рояле.
У тетушки он был в особенной чести.
Однажды довелось мне в гости к ней прийти,
И гордая собой упрямая старуха
Перед Бетховеном проговорила глухо:
— Вот, душечка, Марат, работы Мирабо!
— Да что вы, тетенька, не может быть того!
Но старость черствая к поправкам глуховата:
— Вот,— говорит,— портрет известного Марата
Работы, ежели припомню, Мирабо.
Читатель, согласись, не может быть того!

Читатель, грустно, не правда ли?

ФОФАНОВ

К собранию стихов Фофанова приложен его портрет в молодости. В сюртуке, очень худой, длинноволосый; руки вычурно заломлены на коленях, голова «поэтически» откинута назад...

Помню его таким...— чуть было не написал я. Это, разумеется, было бы не совсем точно. Таким Фофанов был... лет за десять до моего появления на свет. И в то же время, действительно, помню и таким.

Когда в 1910 году, за год до смерти Фофанова, нас случайно познакомили — за столиком третьестепенного ресторана сидело два Фофанова. Один старый, обрюзгший (ему было всего сорок восемь лет, но выглядел он совершенным стариком), давно небритый, с потухшими, маленькими, ничего не выражающими глазками,— и рядом другой, в сюртуке, худой, большеглазый, с головой поэтически откинутой назад — точная копия только что описанного мной портрета...

Оба — и отец, и сын — были сильно навеселе, оба, размахивая руками, наперебой читали стихи. И стихи у обоих были, хотя внешне непохожие (младший Фофанов был футуристом, о «старой» и «новой» школах в поэзии шел у них вечный, бестолковый спор), но какие-то в то же время одинаковые. Неряшливый набор слов, стертых, как пятаки, или бессмысленных, в котором нет-нет и промелькнет какая-то райская музыка.

* * *

«*Они* меня погубили». «Из-за *них* я пью, из-за них умру под забором». «Они замалчивают мои книги». «Они крадут у меня рифмы, размеры, все...» Они... они... они... Достаточно посидеть с Фофановым четверть часа, чтобы бесконечное число раз услышать это — «они, они, они». С первого же слова знакомства, с первым же встречным,— будь то оценщик ломбарда, куда он принес женин оренбургский платок, или половой в трактире, или сосед в конке,— Фофанов непременно заведет разговор о «них» с жалобами, проклятиями, угрозами, размашистыми жестами и, конечно, россыпью забористых словечек, невоспроизводимых в печати. Причем это «они» говорится без всяких пояснений, как о чем-то общеизвестном, разумеющемся самим собой. Если же все-таки спросить, кто же это «они»,— ответ получался краткий:

— Они? — Пробочники!..

Пробочники — значит символисты. Символизм он ненавидит. Пробочники же они потому, что у самого, по понятиям Фофанова, главного из них, самого ему ненавистного — Валерия Брюсова — есть или был пробочный завод. За этот завод высмеял Брюсова Буренин — по своему обыкновению плоско и грубо. С легкой руки Буренина этот завод засел в отуманенной тяжкой жизнью и водкой голове Фофанова. Иногда, вместо «пробочники», он еще говорил — «Дантесы». «Они» — символисты — убийцы Пушкина, потому что разрушают его дело своим «кривлянием» и «лиловыми ногами»,— это раз. Два — они «травят», «замалчивают», «обкрадывают» его, Фофанова,— прямого, законного, единственного пушкинского наследника — за то, что он наследник, потому что он наследник...

— И ты — Дантес! — неожиданно набрасывается Фофанов на сына, на свой живой портрет в молодости, сидящий рядом с ним.— «Что? Новое искусство? Футуризм? Врешь, пащенок! Нет никакого нового. Есть вечная, благоуханная...— он подымает торжественно руку, голос его дрожит, слезы навертываются на глаза,— ...святая поэзия, и есть...— непечатное слово.— Целуй сейчас же,— он роется в карманах сюртука.— Целуй! — кричит он на весь ресторан и тычет в лицо сыну замусленную открытку с Пушкиным.— Целуй или убью!..

Его собственный портрет, сидящий рядом, встряхивает поэтической шевелюрой, закидывает еще выше голову и, равнодушно отстраняясь от открытки и трясущегося отцовского кулака, рассудительным тоном говорит:

— Оставьте, папаша. Пушкин ваш пошляк, а вы сами — мраморная муха.

* * *

Фофанов жил в Гатчине, где-то на самом краю, в самой захолустной части этого захолустного городка. Чтобы попасть к Фофанову, надо было идти по колено в снегу через двор и потом каким-то узким и темным помещением, увешанным сбруей и хомутами, пахнущим кожей и лошадьми. Наконец, маленькая, кирпично-красная дверка, из-за которой доносится оглушительная трескотня канареек.

К Фофанову можно прийти когда угодно, привести с собой кого угодно, он не удивится самому неурочному часу, не выкажет недоумения при виде совершенно незнакомого человека. Напротив, кто бы когда ни пришел,— он всегда рад — усадит, закажет стряпухе самовар, принесет папиросы, сам побежит в лавочку выпрашивать в долг какую-нибудь закуску.

Фофанов и по натуре очень гостеприимный. А кроме того, он больше всего на свете боится одиночества.

— Когда остаюсь один — не могу. Сижу вот так с вами, с другим кем-нибудь, и ничего — легко дышать. А останусь один — и сейчас же начинается... это самое. Мерзко, что как кровь-то, кровь сопротивляется, приливает к голове, к ушам, вот-вот наружу бросится. Не испытывали? Пренеприятнейшее чувство. Но исключительно когда один. На людях — никогда, ни-ни... Ну-с,— за ваше здоровье.

Оставаясь один, Фофанов начинал ощущать *давление атмосферы.*

Началось это года три назад. Вычитал в календаре или в отделе «Смесь» сведение, доселе ему неизвестное, о том, что воздух имеет вес; это и особенно огромные цифры его поразили. Достал какую-то популярную книжку на эту тему, внимательно перечел. Несколько дней ходил молчаливый, задумчивый. После и началось «это самое».

— Кровь-то, кровь — сопротивляется, приливает...

Фофанова возили по докторам — те стукали, слушали,— ничего не нашли. Все-таки его лечили, даже в Гагры ездил он на счет М. А. Суворина, в «Новом Времени» сотрудничал. Почему понадобилось именно в Гагры,— не знаю. Знаю только, что в Гаграх Фофанов страшно скучал, сначала, как обещал докторам, держался, потом не выдержал — запил по своему обыкновению мертвую. Еще в Гаграх, в пьяном виде, он чуть не убил какого-то диакона.

Фофанов боится одиночества. Но, собственно, бояться ему нечего. В одиночестве ему редко приходится оставаться. Шесть человек детей, жена, он сам, не считая кота, собаки, бесчисленных канареек,— все ютится в двух маленьких комнатах. Кроме этого, так сказать, коренного населения, в квартире Фофанова еще постоянно толкутся гости.

Гости самые разные. Околоточный из соседнего участка, хозяин пивной на углу напротив, какой-то сухонький старичок, бывший князь и вице-губернатор, отдаленный от этого своего потерянного величия несколькими годами арестантских рот, толстая булочница, поклонница поэзии, снабжающая Фофанова хлебом, не требуя по счетам, какие-то студенты, какие-то просто оборванцы... Приходят и друзья писатели, поэты старой школы. Из Павловска наезжает аккуратный тихий старичок — Леонид Афанасьев, полная противоположность Фофанову во всем: не пьет, не курит, от непечатных слов болезненно ежится. Только в одном они сходятся — в ненависти священной к «Дантесам». У Афанасьева грустный, умный взгляд, вежливейшие манеры, совершенно лысый его череп тщательно закрашен черной... китайской тушью.

Приходит какой-то «Петр Силыч», фамилию не помню, тоже поэтический друг «былых славных времен». «Огромный талант,— говорит о нем Фофанов.— А чтец какой — вы послушайте». Чтец, действительно, редкий. Читает он громовым голосом, с жестами, выкатывая глаза и тряся львиной гривой. При этом страшно шепеляв. «Она, как бабочка, царила над толпой»,— есть у Фофанова такая строчка. В передаче замечательного чтеца получается явственное:

Она, как бабушка, солила над толпой...

Ходят еще друзья сына-поэта, футуристы третьего разряда. В ссорах о новой и старой школе иногда доходят до драки. Но без злобы — страшно быстро успокаиваются, мир легко восстанавливается. Дело в том, что футу́ристы эти, хоть и ниспровергают «все существующее» — но, от самого своего литературного рождения, чувствуют себя ущемленными, обиженными «несправедливо»,— кем? да все теми же Дантесами, пробочниками,— теми, кто учился в университетах, кто распоряжается издательствами и журналами, куда их не пускают.

— Тише,— вдруг говорит Фофанов, перебив какой-нибудь спор или чужое чтение.— Тише. *Я*,— а надо слышать, как гордо порой он произносит это «я».— *Я* буду читать:

Ты — небо ясное в светилах,
Я море темное. Взгляни:
Как мертвеца в сырых могилах,
Я хороню твои огни.

Читает он прекрасно, сдержанно, отчетливо, дрожащим, но звучным голосом. От стихов Фофанова, в его чтении, даже от неудачных,— всегда «что-то» распространяется. Какое-то величие, неосуществленное, невоплотившееся и все-таки веющее где-то между строк. Читает он долго, забывшись, из забытья его выводит голос сына-футуриста.

— Папаша, ей-Богу же, вы мраморная муха.

Фофанов обрывает неоконченное стихотворение и смотрит на сына с изумлением, точно не понимая, откуда тот взялся. Потом устало машет рукой и, ничего не сказав, устало тянется к бутылке...

Фофанов писал:

Я и сам хочу в могилу,
И борьбе своей не рад,
И бреду я через силу,
Кое-как и невпопад.

Тема эта бесконечно варьируется в его стихах — «устал», «не могу больше», «хочу в могилу». И в разговорах он часто повторял то же — устал, не могу.

Перед самой смертью в нем со странной силой проснулось желание жить, страшное сопротивление перед этой, уже раскрытой для него могилой. «Не хочу, не хочу, не хочу умирать»,— повторял он непрерывно, точно заклинание. С этим «не хочу» он и умер. В агонии ему мерещился Брюсов с когтями и хвостом, он рвался с постели, чтобы вступить с ним в схватку. Трое человек едва его удерживали. Перед смертью в нем проснулась и страшная физическая сила: он рвал в клочья толстые полотняные простыни, согнул угол железной кровати.

Хоронили Фофанова в мае 1911 года. За гробом шла разношерстная, не очень большая толпа. Шли несколько литераторов из мелких, шли гатчинские кумушки, шел приятель околоточный и приятель владелец пивной. Но многие плакали. В лиловом платке, очень сильно набеленная и нарумяненная, шла за гробом его некрасивая, психически больная жена. Та самая «жена моя, Лидия», которую он обожал всю жизнь, которая в значительной степени ему жизнь отравила, та самая, которой посвящена ранняя книга Фофанова — лучшая его книга — называющаяся... «Иллюзии».

Когда гроб опустили в могилу, сын Фофанова, поэт-футурист, живой портрет отца,— вышел, чтобы сказать надгробное слово. Он помолчал, провел по лбу рукой, откинул выше голову, обвел всех мутными голубыми глазами и рассудительным тоном сказал:

«Наш Фофан в землю вкопан...»

И заплакал. Его подхватили под руки и увели. Он был сильно пьян и, когда его увозили, отбивался и выкрикивал что-то о мраморной мухе...

АЛЕКСАНДР ТИНЯКОВ

Майской ночью я возвращался откуда-то к себе на Петербургскую сторону. Мост был как раз разведен. «Перевоз» — пароходик «Финского пароходства», возивший с одного берега на другой за две копейки конец, тоже, как назло, только что отвалил. Значит, ждать полчаса. Или идти в обход через Троицкий? Нет, ждать скучно, а в обход — далеко. Проезжавший мимо «Ванька» — видя мою беспомощность, запросил рубль двадцать до Александровского проспекта — цену несуразную. На предложенные шесть гривен он презрительно хлестнул лошадь, и я снова остался один перед разведенным мостом, «в сиянии и безмолвьи белой ночи». Белые ночи, конечно,— хороши, и эта была хороша особенно,— но я посмотрел вокруг на Адмиралтейство, Неву и мутно-розовое небо — почти с отвращением. Пойду в обход,— решил я. Может быть, встречу извозчика. И зачем я не дал этому разбойнику рубль — был бы уже дома...

Но идти в обход не пришлось. Пройдя несколько шагов, я увидел свет, услышал голоса и звон стаканов. «Поплавок» — излюбленное место мечтательных пьяниц — был еще открыт. Для рубля, чуть не отданного жадному Ваньке, нашлось употребление более целесообразное.

...Народу было немного, человек десять-двенадцать, но по их оловянным взглядам, покрасневшим лицам и съехавшим на сторону галстукам было видно, что они — публика солид-

ная, сидят здесь долго, выпили много и еще выпьют. Человек шесть сидели компанией в углу. Оттуда слышался дурацкий смех и обрывки нецензурных анекдотов. Остальные, поодиночке, мрачно,— тем мрачнее, чем больше пивных бутылок стояло под столом опорожненными. Как известно, опьянение пивом — торжественное и унылое. «Bière gaie»* не бывает — оно всегда «triste»**.

Лакей, похожий на бабу, хлопнув только что меня не по носу грязной салфеткой, спросил, чего я желаю. Я «пожелал» нарзану и ветчины, на его изумление. Вернувшись из буфета, он принес мне кусок семги, буркнув, что «говядина вся вышла». И мне волей-неволей пришлось оставить оригинальничанье и спросить, как и все, пива: семга с нарзаном — выходило как-то странно...

Я сидел, прихлебывая тепловатое Калинкинское пиво и «наблюдал». Наблюдать, впрочем, было мало чего. Картина не менялась. Веселая компания в углу икала и фыркала все менее оживленно, понемногу соловея. Остальные сидели молча, мрачно. Изредка кто-нибудь нетвердым и негромким голосом что-нибудь требовал, иногда то там, то здесь слышалось всхрапыванье... Вода тяжело и глухо, особенным «полночным плеском» ударяла о баржи, на которых был поплавок утвержден. Совсем посветлело. «Перевоз», которого я поджидал, пыхтя подплыл к соседней пристани, подавая тощие свистки. Я крикнул лакея, чтобы расплатиться и уйти. Но... тут на «палубе» появился новый посетитель. Вид его заинтересовал меня.

Небольшой рост. Длинные волосы. Коренастые плечи. Пальто до полу, явно с чужого плеча. Когда-то оно было коричневым и франтовским — теперь швы побелели, края оббились, окраска выгорела и стала местами зеленоватая, местами модного цвета «танго». Притом фасон пальто редингот и талия нынешнего владельца вершков на пять ниже, чем талия того, на чью фигуру пальто было шито. На шее что-то намотано в несколько рядов, в руках трость с вычурнейшим набалдашником, на голове цилиндр. И — еще — в петлице редингота какая-то пышная розетка, вроде котильонного ордена.

* «Веселое пиво» (*фр.*).— *Ред.*

** Печальное (*фр.*).— *Ред.*

Он вошел тяжело, тяжело опираясь на свою трость. Никто, кроме меня, им не заинтересовался. Он мотнул головой лакею — тот принес ему сразу полдюжины Калинкинского... Посетитель, отхлебнув от кружки, дернулся точно от отвращения. Потом обвел вокруг прищуренными, мутными глазами. Когда, на секунду, я попал в «поле его зрения», пришла моя очередь вздрогнуть:

...Должно быть, сквозь свинцовый мрак,
На мир, что навсегда потерян,
Глаза умерших смотрят так...

Или... или еще животное, под ножом мясника, так озирается,— бессмысленно и страшно...

...«Перевоз», жалобно свистя, отчалил от пристани. Небо совсем посветлело. Глупо, что я остался. Сейчас и «Поплавок» закроется. Посетители мало-помалу, тяжело волоча ноги,— расходились... Вот уже и мост наводят — пора... не любоваться же всю ночь на этого пьяницу.

Но когда я совсем собрался уходить — человек в рединготе вдруг забормотал что-то. Самый темп его бормотанья удивил меня. Это было мерное монотонное чтение — так поэты читают стихи.

Я прислушался...

Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,
A cette horrible infection... *

Странный человек в рединготе с чужого плеча перед батареей Калинкинского, на заплеванном «поплавке», читал «Une Charogne»** Бодлера.

...Etoile de mes yeux, soleil de ma nature,
Vous, mon ange et ma passion... ***

Вдруг он оборвал чтение и выпрямился гордо, как мне показалось. Он снова огляделся кругом. И — в самом деле —

* Нет, все-таки и вам не избежать распада,
Заразы, гноя и гниилья... (*фр.*).— *Пер. С. Петрова.*

** «Падаль» (*фр.*).— *Ред.*

*** Звезда моих очей, души моей лампада,
Вам, ангел мой и страсть моя... (*фр.*).— *Пер. С. Петрова.*

в его взгляде, кроме «того», заставившего меня вздрогнуть («это» осталось),— была какая-то ядовитая надменность.

—...Вы...— он сделал тяжелый пьяный жест.— Вы... все...— он снова махнул неслушающей⟨ся⟩ рукой — бутылка опрокинулась и пиво, булькая, потекло в Неву.— Вы... буржуи... сволочь... сидите и не чувствуете...— Он погрозил пальцем «буржуям» — в том числе и мне.— Вы...— еще жест, на этот раз упал и разбился стакан...— Сидите и не видите...

Он помолчал и провозгласил торжественно:

— Валерий Яковлевич стоит на том берегу.

Помолчав еще — добавил:

— Вон там... У Петропавловки...

И, нагнувшись вперед, всматриваясь в противоположный берег:

— Идет по водам... Валерий Яковлевич Брюсов — идет по водам. Но не к вам, а ко мне!

Он встал во весь рост и шагнул к парапету навстречу «идущему по водам» Брюсову. Стол опрокинулся, разбитое стекло зазвенело. Лакей с бабьим лицом, выйдя из сонного состояния, подбежал к пьянице в рединготе и довольно непочтительно схватил его за плечо.— «Скандалить не...» — успел только выговорить он. Страшная пощечина помешала ему окончить...

На крик слуги вбежал грузный красноролжий хозяин. Ему полетела в голову бутылка...

Как ни любопытно было мне наблюдать еще, я все же поспешил к выходу, благо он был свободен. У самого моего уха, как ядро, разлетелась новая бутылка. Я — «ускорил шаги». На шум с поплавка уже перебегал наискось набережную усатый городовой. В общем реве побоища — голос, только что мечтательно скандировавший Бодлера, надрываясь, визжал:

— Тронуть... меня... члена союза Михаила Архангела... который в высочайшем присутствии... Меня! Не подходи — убью!..

* * *

Среди множества литературных обществ довоенного Петербурга было и такое — «Физа».

Название это не расшифровывалось — как подобные ему советские. «Физа» не значило «филологический институт звукового анализа» или что-нибудь в этом роде. Физой звался герой поэмы — очень бездарной и очень пышной — прочитанной одним из членов-учредителей этого общества в день его открытия. С тех пор, как ни досадовали учредившие «Физу» эстеты, никто не называл ее ее настоящим именем. «Идем в „Физу“», «Вы были в „Физе?“» — иначе не говорили. Теперь я уж и не помню, как «Физа» называлась «по-настоящему».

Над «Физой» все смеялись — но все ее посещали. Помещение было просторное, благоустроенное, где-то на Сергиевской. Выступлений эстетов-учредителей можно было бы и не слушать — коротая время в комфортабельной столовой за бесплатными сандвичами и даровым портвейном. Кузмин говорил, что ходит на литературные сборища из-за антрактов — людей посмотреть и себя показать. Заседания «Физы» были сплошной антракт, да еще с портвейном. И на еженедельных собраниях на Сергиевской всегда было многолюдно.

На одном из таких собраний — я сидел, по обыкновению, в столовой. Дверь в залу, где шло заседание, была закрыта. Вдруг кто-то ее отворил, и на мгновение до меня донесся звук голоса — странного, царапающего, знакомого мне.

Знакомого. Но где же я его слышал?

...Валерий Яковлевич идет по водам...

...Etoile de mes yeux, soleil de ma nature...

...Меня! Члена союза Михаила Архангела. Убью!..

А... Вот что.

...На эстраде «Физы» между пальмой и роялем стоял мой знакомый с поплавка. Он был гладко выбрит, аккуратно причесан, кажется, он даже улыбался. Сюртук его имел несколько старомодный, но вполне обыкновенный «буржуазный» вид. Когда я вошел в залу, он только что кончил стихотворение. Ему достойно похлопали — он достойно раскланялся.

Да тот ли это?

Но вот он снова стал читать, и, услышав голос, нельзя было сомневаться. Он, конечно. Читал он какую-то благопристойную модернистскую чушь, стилизованное что-то:

...О Тукультипалишера.
О царь царей, о свет морей...

И эстетической благонравной публике «Физы» нравилось, по-видимому,— «высокий стиль» здесь особенно ценили.

— Кто это,— спросил я у А⟨нрепа⟩, того самого, в чьей поэме Физой звался герой.

А⟨нреп⟩, лощеный молодой человек с моноклем и пробором, посмотрел на меня с удивлением.

— Вы не знаете? Это Одинокий, известный поэт и критик. Ну, «Весы», «Золотое Руно» — книга стихов издана «Грифом». Не правда ли, прекрасные стихи?

Имя Одинокого я слышал, конечно. И уважение А⟨нрепа⟩ к его поэзии отчасти разделял,— это было вполне почтенное и не бездарное имя «средней» эпохи русского московского декадентства... Но...

...Он какая-то темная личность, союзник, скандалист.

А⟨нреп⟩ замахал на меня руками.

— Какой вздор. Кто вам сказал? Ученейший человек, э... э... э... светлая голова. Мы специально его пригласили — в следующую субботу он прочтет доклад об ассирийских мифах — он ведь знаток э... э... э... ассириологии... Удивительный человек. И откуда вы взяли, что он союзник... Напротив, он, кажется, э... э... э... в связи с революционерами...

В течение вечера я наблюдал Одинокого издали. Он держался все больше в окружении эстетических дам и пишущих стихи камер-юнкеров — хозяев «Физы», держался скромно, грустно и достойно. Уходя с собрания, я видел, как А⟨нреп⟩ усаживал моего скандалиста с поплавка, под локоток, в свою щегольскую карету.

* * *

Я встречал Одинокого несколько раз то там, то здесь. Все такой же — скромный, тихий, от вина отказывается, очи держит долу. Встречал я его почти исключительно в домах богатых «любителей поэзии», каких много водилось в прежние времена в Петербурге.

...О Тукультипалишера,
О царь царей, о свет морей...

читал он вкрадчиво и нараспев.— Александр Иванович, выпейте вина.— Благодарствуйте, не пью — сердце слабое.— И снова стихи, очи вниз, тихий голос, мягкие движения, долгие разговоры на запутанные и ученые темы.

...В Каббале говорится...

...Древние гностики считали...

...О Тукультипалишера...

— Не подходи — убью...— вспоминал я при этом, и мне очень хотелось ввернуть как-нибудь в эту важную беседу что-нибудь из моих наблюдений на «поплавке». Я искал случая. Наконец, он представился.

Часа в три ночи в один из тихих дней «Бродячей Собаки», таких дней, когда публики «со стороны» мало, «свои люди» сидят особняком по углам за взятым на книжку вином, о публике не заботясь, электричество из экономии притушено, и даже Пронин, неутомимый директор «Собаки»,— устал и спит в чулане за кухней,— в одну из таких «будних ночей», когда сидишь в этом подвале неизвестно зачем, разглядывая пестрые стены и глотая холодное вино,— и все кругом выглядит чуть-чуть таинственно,— входная дверь хлопнула. Я обернулся на стук от камина, у которого скучал. Пришел Одинокий.

...Он был пьян — это было сразу видно. Не так, как тогда на «поплавке» — на ногах он держался твердо и в глазах не было дикого выражения той ночи — они хитренько щурились, как обыкновенно. Но все-таки он был сильно пьян — это было видно по всему — по усмешке, походке, движениям...

Предлога заговорить с ним мне не пришлось выдумывать. Он, потоптавшись у двери,— сел рядом со мной у камина. Мы поздоровались. Скосив глаза на мою бутылку рислинга, он щелкнул языком.

— Кисленькое пьете. Нет, благодарствуйте,— отстранил он стакан, который я было ему придвинул.— Благодарствуйте — не пью этих напитков. Душа не принимает, да и...

— Сердце слабое,— подсказал я.

— Именно — слабое,— он поглядел на меня, и что-то от *того* взгляда мелькнуло в его «хитреньких» глазах.— Правильно сказали. Слабое сердце. Несчастное, безумное, слабое сердце. Как и все сердца человеческие... Впрочем, это уж метафизика, так что поставил точку. Но от рислингов этих —

не только сердце, а и хуже — живот у меня болит. Если уж выпить за компанию, то выпью я лучше...

Он закричал в буфет — «эй, водки».

Мы помолчали. Потом я сказал, не зная, как начать интересующий меня разговор.

— А я вас встречал еще до знакомства с вами.— Он насторожился как-то.

— Встречали? Где это? По редакциям где-нибудь?

— Нет. Весной этого года. На поплавке. Еще вы Бодлера читали, помните?

— А, вот где. Припоминаю, как же. Пьян был, чего таиться. Редко это со мной бывает. Зато редко, да метко. Вы что же...— он прищурился,— долго тогда сидели?

— Ушел, когда стали летать бутылки,— за голову боялся. После жалел.

— Чего же жалели?

Я нанес «решительный удар».

— Жалел, что не досмотрел до конца. Кто победил и... и помог ли вам Михаил Архангел?

Но мой «удар» не произвел того эффекта, на который я рассчитывал. Мой собеседник — внешне, по крайней мере,— остался невозмутимым. Только глазки прищурились еще сильней...

— Пустяки все это,— сказал он,— и вспоминать не стоит. Ну, мне разбили морду... или я разбил — не все ли равно? Не согласны? Это в вас младая кровь играет — поживете с мое, будете так же рассуждать... А насчет хотя бы Михаила Архангела — это вопрос не такой простой, как вам кажется. Вы вот,— признайтесь,— думаете: припер я этого Одинокого к стенке, не отвертится. А я вот вдруг отверчусь, отверчусь и еще вас самих к стенке припру. Думаете нет? Ан припру...

Впрочем, и это пустые разговоры. И место здесь неподходящее — вот барыня в углу, видите, уже глаза на нас пучит, интересуется,— и я, хоть и пьян, а недостаточно. Вы поймайте меня совсем пьяненького, как тогда на поплавке. Тогда другой между нами разговор пойдет... И в другом свете тогда вам Тиняков представится. А это пустое: я в морду, мне в морду...

— Книжку вашу обещали прислать, так не забудьте прислать,— переменил он разговор.— Вот адресок мой,— он протянул мне скверную визитную карточку.— Не забудьте.

— Я не знал до сих пор вашей фамилии, псевдоним только.

— А теперь, когда фамилию мою знаете, еще чудней обо мне будете думать?

— Я в первый раз ее слышу.

— Будто? — протянул он недоверчиво.— Наша фамилия знаменитая. Особенно в Сибири. Дед мой девять человек топором уложил.

* * *

— Я с вами объясниться хочу. Надо мне с вами объясниться. А почему — держу пари — не догадаетесь...

Восковая свечка оплывает в горлышке пивной бутылки. В комнате полутемно. Железная печка докрасна натоплена. В углу в свете маленькой лампадки поблескивают оклады икон.

— А почему — держу пари — не догадаетесь...

Я через неделю после разговора с Тиняковым-Одиноким получил от него записку. «Прошу приехать по неотложному делу». «Неотложному» было жирно подчеркнуто. Какое такое дело? Не денег ли он собирается просить, вообразив, что я богат?

Я поехал. Уж одно — посмотреть, как живет этот знаток Бодлера, член союза Михаила Архангела и «внук своего деда»,— было любопытно. А может быть, он и разговорится.

Оказалось, он и позвал меня, чтобы поговорить.— Надо объясниться. А почему...

Почему, в самом деле?

Ветер с Охты (Одинокий живет на глухой Калашниковской набережной, едва я разыскал его мрачный деревянный дом), ветер ударяет в стекла так, что они дрожат. Свеча, потрескивая, оплывает. На камчатной пестрой скатерти — водка, хлеб, закуска...

Одинокий отхлебывает из чайного стакана и морщится.

— Угощайтесь, прошу. Вот и кисленькое, для вас специально, если не хотите казенной. Да, так почему я хочу с вами объясниться?..

— Думаете — оправдываться хочу, обелиться перед вами, чтобы дальше не пошло. Мол — союзник Тиняков и еще скрывает. Подозрительный человек. Остерегаться надо такого. Из литературы исключить. Остракизму подвергнуть. А? Так?

— Нет-с, не так! Мне плевать! И на остракизм, и на литературу. На все. Хочу скрываю — хочу не скрываю. Сегодня в архангелах, а завтра царя убью. Захотелось — пошел и убил. А что о мне думают — плевать. Это я о себе написал:

...Любо мне, плевку-плевочку,
По канавке проплывать...
Скользким боком прижиматься...

Он щурится, морщась, проглатывает водку и говорит важно:

— А объяснюсь я с вами потому, что вы друг Валерия Яковлевича Брюсова, следовательно, и мой.

— Какой друг? Я даже не знаком с Брюсовым.

Но Одинокий не слушает.

— Друг Брюсова — мой друг. В каком смысле надо понимать друг? — выговаривает он со строгостью.— В том смысле, в каком тварь, солнцем питаемая,— друг ему. Брюсов — солнце, мы твари...

Преподобный Валерий,
Моли Бога о нас...

затягивает он на церковный лад. Понимаете теперь, зачем я позвал вас?

Я хочу сказать, что не понимаю — но к чему говорить. Он пьян, страшно пьян, как тогда на «Поплавке». Он лезет целоваться, рот его кривится на сторону, глаза дикие.— Что ж ты не пьешь? — переходит он на ты.— Пей, брат, водка хорошая — царская. Царской водкой зовут самую страшную кислоту, которая прожигает железо, камень, все. В алмазных банках ее хранят — только алмаза не берет. И это вот тоже царская — все зальет, все сожжет...

Он задумывается.

— Только тоски человеческой взять не может. Стыд — без остатка, совесть — точно и нет никакой, честь — а ты выпей еще стаканчик и пошлешь эту самую честь к черту, как шлюху на Лиговке. А вот тоска — как алмаз. Ничего ей не делается. Стоит в груди и не тает...

— Хотите стихи прочту,— вдруг спрашивает он.— Настоящие стихи, не те, что читаю буржуям...

О Тукультипалишера,
О царь царей, о свет морей,—

передразнивает он сам себя... Нет, не это. Те, что для себя пишу:

Я до конца презираю
Истину, совесть и честь,
Лишь одного я желаю —
Бражничать блудно да есть.
Только бы льнули девчонки,
К черту пославшие стыд,
Только б водились деньжонки
Да не слабел аппетит...

...А тут,— берет он меня за рукав,— тут самое главное. Иконостас Одинокого. Поближе подойдите. Вот...

При свете огарка иконы, которыми увешан угол, видны ясней. Потемневшие старинные ризы, тусклые венчики со стертой позолотой... Первую минуту я не понимаю, в чем дело...

Одинокий подносит огарок еще ближе: в середине под темным окладом выступают черты врубелевского Брюсова, рядом Бодлер, Ницше, какая-то дама... Вперемежку с ними настоящие иконы.

Отвращение, которое, должно быть, отражается на моем лице, доставляет хозяину живейшее удовольствие. Хитренькая улыбочка расплывается шире, делается медовой.

— Дамочка с муфтой,— поясняет он,— Блаватская, теософка. А старичок налево — рядом с преподобным Серафимом Саровским — дед мой, блаженной памяти Аристарх Тиняков. Тот самый-с... На каторге снят...

* * *

Еще до войны — Одинокий пропал куда-то: оказалось, что он сотрудничает одновременно под разными псевдонимами — в «Земщине» и одной очень либеральной и уважаемой газете. Это

раскрылось... Только в 1920 году он снова появился в Петербурге. Вид он имел грязный, оборванный, небритый. Никого не интересовало, откуда он взялся и чем занимается.

Однажды он зашел в Дом искусства к своему старому знакомому писателю Г. Поговорили о том, о сем и перешли на политику. Одинокий спросил у Г., что он думает о большевиках. Тот высказал, не стесняясь, что думал.

— А, вот как,— сказал Одинокий.— Ты, значит, противник рабоче-крестьянской власти? Не ожидал! Хотя мы и приятели, а должен произвести у тебя обыск...

И вытащил из кармана мандат какой-то из провинциальных Ч. К.

ФОТОДОКУМЕНТЫ

Н. А. БОГОМОЛОВ

ТАЛАНТ ДВОЙНОГО ЗРЕНЬЯ.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. ПРИМЕЧАНИЯ

Подбор иллюстраций
осуществлен
А. В. Лавровым
по фондам Института русской литературы АН СССР
(Пушкинский дом).



1

Г. В. Иванов. Фото М. С. Наппельбаума



2

Г. В. Иванов. Шарж Н. И. Альтмана. 1913—1914 гг.



Георгій Ивановъ

ПАМЯТНИКЪ СЛАВЫ.

Стихотворенія

Петроградъ

3

ГЕОРГІЙ ИВАНОВЪ

ОТПЛЫТЬЕ НА о. ЦИТЕРУ

ПОЭЗЫ

КНИГА ПЕРВАЯ



С.-ПЕТЕРБУРГЪ

1912

4


ГЕОРГИЙ
ИВАНОВ
САДЫ
третья
книга
стихов
ПЕТРОПОЛИС
1921

6

Георгий Иванов и Ирина Одоевцева на даче в Сосновом (ныне Приедайне). Репродукция с фото в газете «Сегодня». 1927 г



7

Георгий Иванов и Ирина Одоевцева. Репродукция с газеты «Сегодня». 1931 г. Снимок сделан в редакции этой газеты. В руках у Одоевцевой свежий номер газеты



Георгій Ивановъ и Ирина Одоевцева. (Писатель Георгій Ивановъ и его жена писательница Ирина Одоевцева, про ведя лѣто подъ Ригой, сегодня возвращаются въ Парижъ). Шаржъ Civis'а.

Георгий Иванов и Ирина Одоввцева. Подпись: Георгий Иванов и Иринв Одоевцева, проведя пето под Ригой, сегодня возвращаются в Париж. Репродукция из газеты «Сегодня». 1927 г. Дружеский шарж



9

Г. В. Иванов. Художник Ю. Анненков. 1921 г.





10

И. Северянин



11

И. В Игнатьев. 1912 г. Фото Д. Здобнова

12

А. Н. Чеботаревская, Ф. Сологуб, И. Северянин,
В. Баян, Б. Д. Богомолов

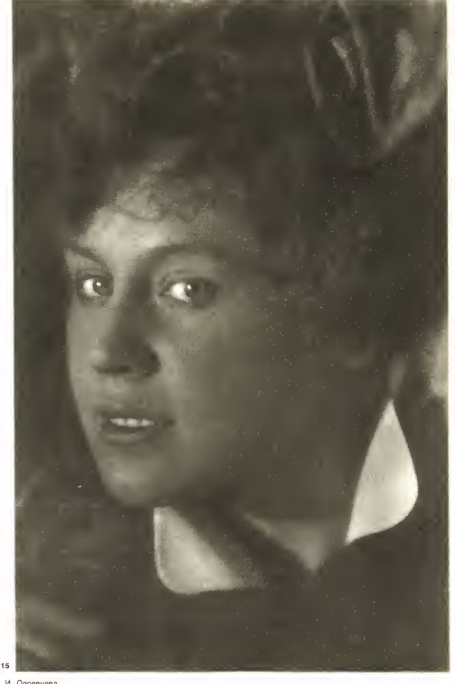


13

Н. И. Кульбин. Автопортрет

14

Грааль-Арельский (С. С. Петров)



15

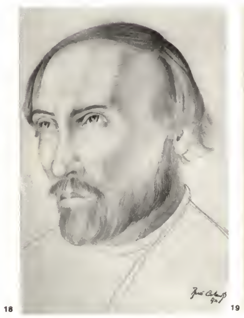
И. Одоевцева


16

А. И. Тиняков


17

Вл. Нарбут


18

Н. А. Клюев. Художник К. А. Соколов. Свинцовый карандаш. 1916 г.


19

К. Олимпов (К. К. Фофанов). 1913 г.



20

О. Э. Мандельштам. Фото М. С. Наппельбаума



21

М. А. Долинов, Б. А. Садовский, А. И. Тиняков,
А. А. Конге (Из альбома Б. А. Садовского)

22

А. К. Лозина-Лозинский в гробу



23

С. М. Городецкий

24



Г. И. Чулков

25



М А Кузмин. Фото М. С. Наппельбаума

26



Н. Оцуп

27



А. И Оношкевич-Яцына



28

И. М. Наппельбаум. Фото М. С. Наппельбаума



29

Ф. М. Наппельбаум. Фото М. С. Наппельбаума



30

Г. В. Адамович. Фото М. С. Наппельбаума



31

А. Д. Радлова. Фото М. С. Наппельбаума



32

О. А. Глебова-Судейкина. 1922 г.



33

Н. С. Гумилев. Художник М. В. Фармаковский.
Париж. 1908 г.



34

Л. И. Гумилевский, М. Зенкевич, А. Д. Скалдин, С. Антимонов. Саратов. 1922 г.

35

Б. В. Анреп. 1920-е гг.

Н. А. БОГОМОЛОВ

ТАЛАНТ ДВОЙНОГО ЗРЕНЬЯ

Если бы русским читателям десятых или самого начала двадцатых годов сказали, что через 70 лет творчество Георгия Иванова будет высоко стоять в иерархии литературных ценностей, они бы, по всей видимости, несказанно удивились. Ведь впечатления этих читателей с удивительной отчетливостью сконцентрировал Блок, рецензировавший в 1919 году неизданную книгу стихов Иванова «Горница»: «Слушая такие стихи, как собранные в книжке Г. Иванова «Горница», можно вдруг заплакать — не о стихах, не об авторе их, а о нашем бессилии, о том, что есть такие страшные стихи ни о чем, не обделенные ничем — ни талантом, ни умом, ни вкусом, и вместе с тем — как будто нет этих стихов, они обделены всем, и ничего с этим сделать нельзя. 〈...〉 Это — книга человека, зарезанного цивилизацией, зарезанного без крови, что ужаснее для меня всех кровавых зрелищ этого века; — проявление злобы, действительно нечеловеческой, с которой никто ничего не поделает, которая нам — возмездие»[1].

Но, наверное, не меньше удивились бы возвращению книг Иванова на родину те критики, которые писали относительно недавно и уже по-иному оценивали его стихи: «Грустное и бедное, и в то же время почетное и возвышенное место первого поэта российской эмиграции Георгий Иванов заслужил тем, чем это заслуживают все большие поэты»[2]. В этой потребности утвердить несомненную значимость поэзии Иванова для современника было более всего уверенности, что за пределами эмиграции она будет восприниматься совсем по-другому и,

[1] Блок А. Собр. соч. В восьми томах. М.-Л., 1962. Т. 6. С. 337.
[2] Гуль Р. Георгий Иванов//Иванов Г. 1943—1958. Стихи. Нью-Йорк, 1958. С. 4.

вероятнее всего, не с той обостренностью, как для них самих. А между тем одной не слишком большой подборке стихов Иванова в журнале «Знамя» удалось ввести его имя в разговор о настоящей русской поэзии XX века, не зависящей от того, где она существовала — на родине или за ее границами. Поэт, мечтавший «вернуться в Россию — стихами» — теперь в Россию возвращается. Но, как и любое явление культуры, его поэзия нуждается в осмыслении и истолковании, в определении места, занимаемого ею в, казалось бы, надолго надолго написанной истории поэзии XX века. Мы вспоминаем имена Ходасевича, Гумилева, З. Гиппиус, Адамовича, Набокова и других, и их появление решительно меняет весь поэтический пейзаж.

Сегодня мы всматриваемся в одно лицо, глядящее на нас с портрета Юрия Анненкова влажными с поволокой глазами, с кривящейся усмешкой, безукоризненным пробором, лениво дымящейся папиросой... И в еще одно, сфотографированное незадолго до смерти: фотография с точки зрения профессионала невозможная, но с точки зрения читателя Иванова — блестящая. На ней не видно лица, только расплывчатое пятно и контуры головы и плеч. И за этой пустотой — годы беспечности и отчаяния, восторга и обреченности, снисходительного одобрения и упоения предсмертным ароматом последних стихов. Я не знаю, о нем ли стихи Нины Берберовой, но вполне могли бы быть о нем:

Последний поэт России:
Голова седая в крови.
Дайте рюмку,— прочтет стихи и
О прошлом поговорит.
. . . .
Вы подайте ему, не стыдитесь,
Посмотрите ему в глаза,
Не чурайтесь и не креститесь,
Все равно приснится не раз [3].

Вот в эти портреты, в эти глаза будем вглядываться, будем искать того поэта, который ныне возвращается.

Когда перед тобой лежат стихотворения Иванова, довольно полно собранные, когда читаешь его прозу, создается впечатление, что образ автора все время двоится, не совпадает сам с собой. Вот ранние стихи — стихи беспечного фланера, прогуливающегося по своему беззаботному, мило порочному Петербургу:

[3] Содружество. Вашингтон, 1966. С. 52—53.

Иду средь них такой же, как они,
Развязен вид, и вовсе мне не дики
Нескромный галстук, красные гвоздики...
Приказываю глазу: «Подмигни»...

А следом — Иванов тридцатых годов:

Приближается звездная вечность,
Рассыпается пылью гранит,
Бесконечность, одна бесконечность
В леденеющем мире звенит.

А вот — пятидесятых:

И вспомнил несчастный дурак,
Пощупав, крепка ли петля,
С отчаяньем прыгая в мрак,
Не то, чем прекрасна земля,
А грязный московский кабак,
Лакея засаленный фрак,
Гармошки заливистый вздор,
Огарок свечи, коридор,
На дверце два белых нуля.

Как совместить эти разные портреты, как создать из них одну стереоскопическую картинку, чтобы можно было увидеть и даль, и глубину, и перспективу? Обычный способ, которым владеют литературоведы для этого,— собирание как можно большего количества документальных данных. К сожалению, этой возможности мы лишены. Реконструировать жизнь поэта по его «мемуарным» отрывкам — тоже невозможно. Вместо поэта с биографией перед нами поэт, о котором практически ничего неизвестно, кроме осевшего в библиотеках.

Все, что мы достоверно знаем о жизненном пути Иванова, можно уложить в считанные фразы. Он родился 29 октября (11 ноября) 1894 г. в Ковенской губернии, в дворянской семье. Учился во Втором кадетском корпусе в Петербурге, но не окончил его. В печати дебютировал в 1910 г. в журнале «Все новости литературы, искусства, театра, техники и промышленности». В 1911 г. примыкает к группе эго-футуристов, однако уже к весне 1912 г. демонстративно от них отходит и сближается с акмеистами. В годы первой мировой войны с усердием сотрудничает в популярных еженедельниках, пишет громадное количество «военных» стихов. В 1917 и в первые пореволюционные годы активно участвует в деятельности «Цеха поэтов» и

петроградской литературной жизни. В 1922 г. вместе с молодой поэтессой Ириной Одоевцевой, ставшей его женой, покидает Россию, живет в Берлине, Париже, временами — в Риге, сотрудничает в различных журналах и газетах. Военные годы проводит в Биаррице, после войны возвращается в Париж. С 1953 и до самой смерти 26 августа 1958 г. живет в доме для престарелых в Иер-ле-Пальмье, недалеко от Ниццы. Последние годы для него и Одоевцевой были годами нищеты и страданий.

Вот, собственно говоря, та биографическая канва, которая более или менее достоверно известна и которая должна быть сопоставлена с той поэзией, что осталась от Иванова, с обстоятельствами литературной жизни России и эмиграции, с историей.

Да и эти сопоставления реально касаются десятых-тридцатых годов, после чего Иванов как бы выпадает из литературы, становясь неким самостоятельно существующим организмом вне времени и пространства. Не случайно, живя во Франции, он систематически печатается в американском «Новом журнале»,— в том мире, где он живет, его стихи просто никому не нужны. По воспоминаниям одного из друзей Иванова, «последний вечер в 1956 г. в Малом зале Русской консерватории в Париже, где он читал свои стихи, не собрал даже сорока человек!»[4]. Даже в эмиграции его имя после смерти хранили немногие. А когда-то, дома, в России...

На рукописи, сохранившейся в архиве поэта Дмитрия Цензора, есть помета: «Самые ранние стихи Георгия Иванова». Эти стихи могут быть любопытны как образец того, что считалось пристойным в провинциальной среде начала века:

Зачем никто из тихих и скорбящих
Не уронил слезы в обители моей?
Зачем никто движеньем рук молящих
Не заслонял томительных огней?

Их зажигает ночь у ложа одиноких,
В нее влюбленных — в тихую печаль.
Зачем никто не направлял очей глубоких
В мою таинственную даль? [5]

Здесь еще нет никаких попыток усвоить культуру стиха, так решительно нарабатываемую к концу девятисотых годов, культуру стиха символистов,— все погружено в безразлично нивелированную поэзию XIX в. Но уже очень скоро появляются и «дерзания», служившие

[4] Померанцев К. Сквозь смерть. II. Георгий Иванов//Русская мысль. 1984. 27 сентября. № 3536.

[5] ЦГАЛИ, ф. 543, оп. I, ед. хр. 253.

верным клеймом шаблонизированного декадентства в духе Бальмонта. Но и на этом Иванов не останавливается, стремительно прорываясь в литературу сперва через мелкие журналы, где начинающих охотно привечали, а чуть позже — присоединившись к эго-футуристам.

Это присоединение, очевидно, надо уже считать первым его шагом на пути к самоопределению. Дело в том, что в числе литературных знакомств Иванова были и М. Кузмин, и Г. Чулков, и даже Блок. Но стать последователем символизма Иванов не захотел или не смог, сразу шагнув в складывавшийся постсимволизм.

Очевидно, представление о том, что символизм переживает свой кризис, на рубеже девятисотых и девятьсот десятых годов буквально носилось в воздухе, и даже громадного авторитета Блока не могло хватить для того, чтобы вернуть адепта какого-либо нового течения в лоно символизма. 18 ноября 1911 г. Блок записал в дневнике: «...когда днем пришел Георгий Иванов (бросил корпус, дружит со Скалдиным, готовится к экзамену на аттестат зрелости, чтобы поступить в университет), я уже мог сказать ему (об anämnesis'е, о Платоне, о стихотворении Тютчева, о надежде) так, что он ушел другой, чем пришел»[6]. Запись свидетельствует о доверительности и внутренней значимости этого разговора для Блока. Но Иванову ближе Платона, Тютчева, Блока в тот момент оказалась гораздо более вольная атмосфера, складывавшаяся вокруг эго-футуризма.

Полная история этого направления еще далеко не написана, но, кажется, и сейчас можно сказать, что оно держалось более всего не своими внутренними принципами, которые были весьма неотчетливы, а по большей части и просто несерьезны, но прежде всего скреплялось дружескими отношениями близких друг другу поэтов, подкрепленных совместной эстетической игрой. Озерзамки и ананасы в шампанском, мечтательные пастухи и Родители Мироздания образовывали фон, на котором только и мог существовать эго-футуризм как нечто цельное.

Но в этой эстетической игре, помимо того, что описано в разных мемуарах, в том числе и самим Ивановым, был один важный для него момент, который привел его не к будущим кубо-футуристам (а по его воспоминаниям он был знаком с Н. И. Кульбиным, одним из наиболее ревностных организаторов футуризма), а именно в круг «эго»: это была невозможность отказаться от наследства прошлого, что так решительно прокламировали в своих манифестах «кубо». Стихи Иванова из первого сборника «Отплытье на о. Цитеру» (1912) явственно ориентированы на творчество учителей: Пушкин, Сологуб, Блок, Кузмин присутствуют в сборнике или явно, как источники эпиграфов, или косвенно, в виде образцов для следования.

[6] Блок А. Собр. соч. Т. 7. С. 93.

Поэзия Иванова была еще явно несамостоятельна, но тонкие критики уже могли почувствовать «замечательную для начинающего поэта уверенность стиха, власть над ритмами, умение по-новому сопоставить и оживить уже привычные образы, способность к скульптурно-красочной передаче зрительных восприятий»[7]. Причины же ограниченности таланта Иванова точно определил Гумилев: «В отношении тем Георгий Иванов всецело под влиянием М. Кузмина. Те же редкие переходы от «прекрасной ясности» и насмешливой нежности восемнадцатого века к восторженно-звонким стихам-молитвам. Но, конечно, подражание уступает оригиналу и в сложности, и в силе, и в глубине»[8].

Поразительно переимчивый в стиле, блистательно имитирующий старших поэтов, Иванов довольствовался соревнованием с ними (а нередко и со своими предшественниками из XIX в.) и вполне выдерживал бы это состязание, если бы в поэзии оно было возможно. Но в любом искусстве повторение, даже на более высоком уровне, оказывается безусловно ниже оригинала, и потому стихи «Отплытья...» могли быть восприняты лишь как не вполне бездарное начало, но не как реальное достижение. Доказать свое право на существование в поэзии Иванову предстояло следующими книгами, и он решительно кинулся в бой.

Для этого он, прежде всего, переменил свою литературную ориентацию. 24 мая 1912 года Игорь Северянин написал Брюсову: «Давно собираюсь Вам сообщить, что Грааль Арельский и Георгий Иванов, «оставаясь со мною в лучших отношениях», в ректориате Академии Эго-поэзии больше не состоят и «футуризму не сочувствуют»: гг. синдики «Цеха поэтов» «нашли несовместимым и то, и другое», и вот — «им пришлось делать выбор»... Все это, конечно, смешно, но и грустно: Гр⟨ааль⟩ Ар⟨ельский⟩ — одаренная натура, а Иванов обладает вкусом»[9].

Итак, «баронесса», как его звали эго-футуристы, сделал выбор и оказался в «Цехе поэтов». Но что значил «Цех» для Иванова, и как строились его отношения с акмеистами, из «Цеха» выделившимися? В литературе зарождение акмеизма чаще всего описывается неточно, поэтому предоставим слово вполне аккуратному мемуаристу: «...осенью 1911 года в Петрограде на квартире Сергея Городецкого было первое собрание — сначала только приглашенных. Потом собирались они также у Гумилева — в его своеобразном домике в Царском Селе, изредка у М. Л. Лозинского. ⟨...⟩ Самыми прилежными, не пропускавшими почти ни одного собрания были — Анна Ахматова, Ел.Кузьмина-Караваева, Зенкевич, Нарбут, Мандельштам, Лозинский, Георгий

[7] Л⟨озниский⟩ М. [Рец. на кн.:] Иванов Г. Отплытье на о. Цитеру//Гиперборей. 1912. № 3. С. 30.

[8] Аполлон. 1912. № 3—4. С. 101.

[9] ГБЛ, ф. 386, карт. 102, ед. хр. 25, л. 7—8.

Иванов, Моравская и я. И, конечно, синдики. 〈...〉 Весной 1912 года на одном из собраний цеха Гумилев и Городецкий провозгласили свою программу — программу «того литературного направления, которое должно сменить символизм». Было придумано и название для этой новой школы — «акмеизм» 〈...〉 В самом цехе далеко не все ее признали. В число акмеистов зачислили себя, кроме двух основателей,— Нарбут, Зенкевич, Мандельштам и (совсем юный) Георгий Иванов — перебежчик из стана Игоря Северянина. Анну Ахматову называли одно время «акмеисткой» — но с явной натяжкой»[10].

В этой длинной цитате важно отметить, что «Цех поэтов» и акмеизм — понятия далеко не тождественные [11], что программа акмеизма постепенно вырисовывалась и впервые была обнародована весной 1912 года [12], т. е. как раз в то время, как Иванов покинул эго-футуристов, и, наконец, то, что Иванов солидаризовался с акмеистами,— в каноническую шестерку их он не попадал никогда, однако место верного союзника было за ним.

И все же — почему союзник, а не полноправный член содружества? Думается, причина этого лежала в далеко не полном приятии того, что несла с собой поэзия Иванова этих лет.

С большинством лозунгов, содержащихся в акмеистических манифестах, Иванов вполне соглашался: и с желанием точности поэтического слова, и с уходом от обсуждения тем, требовавших абстрактного поэтического инструментария, и с ориентацией на говорной, а не напевный стих, и т. д.

Однако у родоначальников акмеизма все эти признаки нового течения не носили догматического характера. Они, сами установив себе законы, сами же могли их нарушать. Иванов же, со страстью неофита, строго придерживался канонов, и в результате получались произведения безупречно акмеистические с точки зрения манифестов Гумилева и Городецкого, но одновременно безжизненные, лишенные внутренней свободы.

Так, например, общим местом при противопоставлении акмеизма символизму стала аналогия соответственно между изобразительными искусствами (живопись, графика, скульптура, архитектура) и музыкой. Иванов переносит это представление в свои стихи с поразительным старанием. Вот названия его стихотворений: «Книжные украшения»,

[10] Галахов Вас. [Гиппиус Вас. Вл.] Цех поэтов//Жизнь (Одесса). 1918. № 5. Цит. по: Тименчик Р. Заметки об акмеизме//Russian Literature. 1974. № 7/8. P. 31—32, 34.

[11] Как втолковывал Гумилев Брюсову: «Всем пишущим об акмеизме необходимо знать, что «Цех Поэтов» стоит совершенно отдельно от акмеизма (в первом 26 членов, поэтов-акмеистов всего шесть)» (Гумилев Н. С. Неизданные стихи и письма. Paris, [1980]. С. 77).

[12] См.: Недоброво Н. Общество ревнителей художественного слова//Труды и дни. 1912. № 2. С. 26—27.

«Литография», «Скромный пейзаж». А вот отдельные строки: «Как я люблю фламандские панно...», «...воскресает этот мир, как на поблекшей акварели», «А на кофейнике пастушки//По-прежнему плетут венки», «Пожелтевшие гравюры...», и т. д., и т. д. Примеры можно множить и множить. Конечно, нельзя сказать, что Иванов вообще представляет себе мир в виде картины, гравюры, живописи на фарфоре и т. п. В его стихах изображение и изображенное взаимодействуют, грани между ними уничтожаются, природа переходит в картину, а та, в свою очередь, оживает, причем момент перехода непредсказуем и потому активно воздействует на читателя. Но регулярное самоповторение смазывает весь возникающий эффект, превращая его в конечном счете в такую же заданность, как если бы поэт просто описывал картину.

Такого рода упрощение было совершенно определенным образом связано с реальностью развития русской поэзии в десятые годы XX века.

Кризис символизма, претендовавшего на то, чтобы стать не только наследником всей мировой культуры, но и одновременно ключом к осознанию всего, что происходит в современном мире, привел не просто к отречению поэтов от этого течения, но и к пересмотру представлений о соотношении искусства и действительности. Вопрос этот, без сомнения, весьма сложен, решался он разными поэтами совершенно по-разному, но для того окружения, в котором оказался Иванов, было весьма сильно представление о том, что «все в жизни — лишь средство//Для ярко-певучих стихов» (В. Брюсов). Недаром Гумилев, прочитав впервые эти строки, писал их автору: «Это была одна из сокровеннейших мыслей моих, но я боялся оформить ее даже для себя и считал ее преувеличенным парадоксом. Теперь же в цепи Ваших стихов она кажется вполне обоснованной, и я удивляюсь ее глубине...»[13]. Трактовка этого представления могла принимать разнообразные вариации, от примитивно эгоцентрических до тех, что были намечены в статье Мандельштама «Утро акмеизма» (1913), где служение Логосу понимается как высшее предназначение поэта, включающее в себя все богатство и разнообразие жизни как его самого, так и окружающего мира. В известных — уже поздних — словах Мандельштама: «Акмеизм — это тоска по мировой культуре» — отражено представление о творчестве как о средоточии мировых проблем, преломленных через поэтическое слово и только таким образом передаваемых читателю, без поддержки каких бы то ни было внелитературных средств, на которые, бесспорно, рассчитывали символисты. Поэтому акмеизм в наивысших его достижениях предусматривал непременное переосмысление роли культуры в жизни человечества [14].

[13] Гумилев Н. С. Неизданные стихи и письма. С. 40.

[14] Основные направления этого процесса описаны в статье: Левин Ю. И. и др. Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма//Russian Literature. 1974. № 7/8.

Но то, что в творчестве блистательных поэтов акмеистической плеяды приобретало характер серьезного мировоззренческого изменения, то в сознании их младшего современника, пытавшегося пойти тем же путем, преломлялось в описательство, следование многократно опробованным образцам. Очень верно определил место Иванова в русской поэзии десятых годов В. М. Жирмунский, рецензируя книгу «Вереск»: «Нельзя не любить стихов Георгия Иванова за большое совершенство в выполнении скромной задачи, добровольно ограниченной его поэтической волей. Нельзя не пожалеть о том, что ему не дано стремиться к художественному воплощению жизненных ценностей большей напряженности и глубины и более широкого захвата, что так мало дано его поэзии из бесконечного многообразия и богатства живых жизненных форм»[15].

Действительно, при чтении «Горницы» и «Вереска» нередко создается впечатление, что при всей умелости, мастеровитости поэта ему просто не о чем писать, и отсутствие собственного, выношенного запаса жизненных ценностей заставляет поэта уподобиться персонажу собственного стихотворения, изображенному, с одной стороны, с неподдельной иронией, а с другой — вполне серьезно, как реально существующий тип:

Уж вечер. Стада пропылили,
Проиграли сбор пастухи.
Что ж, ужинать, или
Еще сочинить стихи?..

Поэзия Иванова эпохи «Горницы» и «Вереска» все время балансирует на грани между вполне серьезным описательством и тонкой самоиронией. Стоит чуть-чуть эту иронию утратить, как появляются стихи, составившие сборник «Памятник славы» (1915), связанные с военными событиями, а через них — с трактуемыми в старозаветном духе «православием, самодержавием и народностью». Небольшое, казалось бы, спрямление мысли выливалось в очевидные художественные просчеты.

Явная неудача «Памятника славы» и далеко не безоговорочный успех «Вереска» (1916) создавали впечатление, что развитие поэта идет по нисходящей, что он постепенно превращается в обыкновенного стихотворца, каких много в Петрограде. Когда в 1921 г. вышел новый сборник его стихов «Сады», критика буквально обрушилась на него, причем авторы рецензий, придерживавшиеся самой различной ориентации, были поразительно единодушны. Как бы резюмировал их

[15] Русская воля. 1917. 16 января. № 15.

высказывания Л. Лунц: «В общем, стихи Г. Иванова образцовы. И весь ужас в том, что они образцовы»[16].

Однако перечитывая этот сборник сейчас, начинаешь замечать, что в поэзии Иванова произошел определенный сдвиг, незаметный глазу современников, но ныне, для пристального читателя, не могущий остаться неоцененным. Изменяется звук его стихов, изменяется их общая настроенность:

В меланхолические вечера,
Когда прозрачны краски увяданья,
Как разрисованные веера,
Вы раскрываетесь, воспоминанья.

Деревья жалобно шумят, луна
Напоминает бледный диск камеи,
И эхо повторяет имена
Елизаветы или Саломеи...

В этих восьми строках пятистопного ямба четыре строки несут всего лишь по два ударения из пяти возможных; резко усилена ударность четвертого слога, традиционно «слабого», и, наоборот, упала ударность шестого слога, традиционно «сильного». Строки эти ритмически выделены, отмечены, подчеркнуто напевны, в противоположность обычной для Иванова графичности. И вдруг, в заключительной строфе, это ритмическое движение обрывается, заменяясь совсем иным, традиционным ритмом:

И снова землю я люблю за то,
Что так торжественны лучи заката,
Что легкой кистью Антуан Ватто
Коснулся сердца моего когда-то.

Если читать только внешний смысл стиха, то легко принять его за традиционное для Иванова сближение и даже смешение искусства и жизни. Но если вслушаться в ритм, в пение гласных, в долгие разрывы между ударениями, вдруг обрывающиеся резкостью и едва ли не чеканностью ритма, то невольно начинаешь семантизировать это движение. Один из вариантов осмысления предлагает В. Вейдле:

[16] Лунц Л. Цех поэтов//Книжный угол. 1922. № 8. С. 49. См. также: Книга и революция. 1922. № 3. С. 72—73; Новости литературы. 1922. № 1. С. 55—56; Современные записки. 1922. № 11. С. 378—379; Абраксас, 2. Пг., 1922. С. 62; Шиповник. М., 1922. С. 173; ИРЛИ, ф. 568, оп. 1, ед. хр. 125, л. 246. Едва ли не единственное исключение — неподписанная рецензия (Жизнь искусства [Москва], 1922, 3 января, № 1 [5—6]).

«...ничего не скажешь, не просто сладко: сладостно. Звучит чудесно, и на грусти взошло пение этих стихов. Без нее они бы и не пели»[17]. Но не меньше оснований имеем мы для того, чтобы предположить, что в это зияние, в эти переломы внутри стиха входил перелом времени.

По своим внешним темам стихи «Садов» абсолютно отрешены от эпохи, от ее проблем и битв. Прямой диалог с современностью в них начисто отсутствует. Но все же человек, тщательно вслушивающийся в напев стиха, должен, очевидно, услышать, что за внешним антуражем, за застывшей, окончательно оформленной реальностью его поэзии, заимствованной из искусства прежнего времени, тоже стоит современность — жизнь голодного и сурового Петрограда, далекий гул пушечной канонады, страшные слухи, ночные обыски и аресты, известия о гибели друзей и знакомых...

В стихах, написанных в эти годы, но в «Сады» не попавших, Иванов говорит об этом вполне открыто. Вот, скажем, стихотворение, нередко цитировавшееся, чтобы показать нравственное уродство поэта, пишущего в тяжком 1918 г.:

На западе вьются ленты,
Невы леденеет гладь.
Влюбленные и декаденты
Приходят сюда гулять.

И только нам нет удачи,
И красим губы мы,
И деньги без отдачи
Выпрашиваем взаймы.

Действительно, эти восемь строк выглядят шокирующими и почти невероятными для тех лет. Но все стихотворение, где подчеркнуто бытовые реалии становятся символическими, очень далеко от подобного прочтения, ибо первые его строфы рисуют совсем другую картину:

Оттепель. Похоже
Точно пришла весна.
Но легкий мороз по коже
Говорит: нет, не она.
. . . .
И все стоит в «Привале»
Невыкачанной вода...

[17] Вейдле В. Георгий Иванов// Континент. 1977. № 11. С. 372.

Вы знаете? Вы бывали?
Неужели никогда?

Подвал «Привала комедиантов», в который просачивается вода из близкой Мойки, становится символом гибнущего мира, стоявшего еще недавно на грани разрушения, а теперь эту грань перешагнувшего. Уходящая под воду блестящая культура постепенно пропадает из виду, растворяется, гибнет, оставляя на поверхности только красящих губы молодых людей, уже не имеющих за душой ни гроша от всего этого пиршества красок, музыки, «стильности», изящных энглизированных и порочных джентльменов, легкодоступных дам, спиритических вечеров, званых ужинов в «Лукоморье»,— всего того, о чем с иронией и тоской будет вспоминать Иванов в «Петербургских зимах». И возникает необходимость выбрать себе точку опоры в новом, поначалу холодном и враждебно относящемся к поэту мире. На чем же основывается теперь Иванов?

На первый взгляд, он находит опору в прошлом, в традиции романтизма, старинных гравюрах, в прочих материальных свидетельствах былого. Иногда, действительно, такое ощущение доминирует. Но чаще оно бывает обманчивым, поверхностным. Вот, к примеру, небольшое стихотворение:

Деревья, паруса и облака,
Цветы и радуги, моря и птицы,
Все это веселит твой взор, пока
Устало не опустятся ресницы.

Но пестрая завеса упадет,
И, только петь и вспоминать умея,
Душа опустошенная пойдет
По следу безутешному Орфея.

Иль будет навсегда осуждена,
Как пленница, Зюлейка иль Зарема,
Вздыхать у потаенного окна
В благоуханной роскоши гарема.

Так пышны эти восточные имена, воспринятые через стилизованный под старую книжную иллюстрацию (в другом стихотворении будет сказано: «Галактионов//Такой Зарему нам нарисовал») романтизм, что истинный смысл стихотворения оказывается ими абсолютно закрыт. Последняя строфа его отодвигает, наполняя «благоуханной роскошью». Но ведь первые две строфы развивают внутренний сюжет стихотворения

совсем по другому пути, и две завершающие строки второй из них вполне могли бы вписаться, скажем, в сборник В. Ходасевича «Путем зерна», для которого тема Орфея очень важна. Автор берет высокую трагическую ноту, но затем рассчитанно переходит в другой регистр, пытается завесить страшный разлом, трагические предчувствия ковром «вымысла восточного поэта», отвратить взор читателя от них. Но все равно «в глубине, на самом дне сознанья» остается ощущение трагедийности существования поэта, и без нее невозможно понять и верно оценить дальнейшее развитие поэзии Иванова.

«Сады» практически досказали то, на что был способен Иванов «акмеистического» периода. Слово это поставлено в кавычки вынужденно, так как в начале двадцатых годов акмеизм уже эволюционировал столь значительно, что в нем почти ничего не осталось от акмеизма десятых годов. Новый «Цех поэтов», в котором Иванов играл заметную роль, был только детищем Гумилева, объединившим вокруг себя в основном литературную молодежь. Восторженно приветствовавшиеся в нем стихи далеко не всегда стояли на уровне даже средней поэзии, и гнев Блока, обрушившегося на «Цех» в статье «Без божества, без вдохновенья», был небезосновательным. Переводы Иванова и им самим, и читателями не воспринимались как серьезное занятие. Точных, хотя сжатых и холодноватых характеристик других поэтов было мало, чтобы заработать себе репутацию критика. Литературная неопределенность оказалась довершенной двумя событиями личной жизни Иванова — трагической гибелью Гумилева и любовью к молодой поэтессе Ирине Одоевцевой. И творчество, и жизнь оказались на переломе, в результате которого Иванов и Одоевцева оказались за пределами родины,— сначала в Берлине, а затем и в Париже.

Иванова охотно печатали самые различные издания русской эмиграции — от выверенно строгих «Современных записок» до развлекательной «Иллюстрированной России», от филологически ориентированного «Звена» до крайне авангардистских по тогдашним меркам «Чисел». Именно «Числа», видимо, наиболее соответствовали самому направлению развития таланта Иванова, позволяя в одно и то же время и максимально раскрывать свою душу, и обращаться к тому, что вряд ли можно назвать иначе, чем интеллектуальной провокацией.

И здесь необходимо сказать о той прозе, которую Иванов с 1924 г. весьма активно печатает по различным газетам. Читатели привычно называют эти вещи «воспоминаниями», ибо в них действуют во вполне реальном Петербурге-Петрограде вполне реальные люди, знакомые многим, известные читающей публике, театралам, завсегдатаям вернисажей. Писание мемуаров о живых или еще недавно живых людях всегда чревато опасностью навлечь на себя чье-то неудовольствие,

но даже в этом ряду воспоминания Иванова встречались необычайно резкой критикой. Известны крайне резкие отзывы Ахматовой, публично отвечали или пытались ответить ему Северянин, Цветаева, позже — Н. Я. Мандельштам. Нетрудно представить себе и реакцию других персонажей этих очерков, если бы они получили возможность познакомиться со своими портретами.

В 1928 г. часть очерков была собрана в книгу, получившую название «Петербургские зимы», и с тех пор она стала объектом постоянной полемики исследователей и запойного чтения тех, кто ищет в художественной жизни начала века «клубнички», пикантных подробностей.

Что же представляет собой этот ряд произведений Иванова?

Конечно, тех, кто рассчитывает получить после чтения «Петербургских зим» хоть сколько-нибудь полное и верное представление о литературной и артистической жизни предреволюционного Петербурга, сразу же надо предупредить: не ждите от этой книги истины. Это ни в коем случае не мемуары, не воспоминания, рассчитанные на то, чтобы дать верную картину действительности. Н. Н. Берберова вспоминает: «...в одну из ночей, когда мы сидели где-то за столиком, вполне трезвые, и он (Иванов.— *Н. Б.*) все теребил свои перчатки (он в то время носил желтые перчатки, трость с набалдашником, монокль, котелок), он объявил мне, что в его «Петербургских зимах» *семьдесят пять процентов выдумки и двадцать пять — правды.* И по своей привычке заморгал глазами»[18].

В «Петербургских зимах» масса фактических неточностей, которые сравнительно легко исправляются: перепутанные имена и отчества, искаженные цитаты, слухи, переданные в качестве увиденного собственными глазами и пр. Но это в общем-то мелочи. Есть в очерках и смещения гораздо более существенные: Хлебников, Кульбин, Бурлюки, Крученых вовсе не были алкоголиками и сумасшедшими; Сергей Городецкий не служил в ОСВАГе и Раскольников с Ларисой Рейснер не захватывали его у белых; не мог И. Ионов навещать умирающего Блока и потом давать указания, как писать о его предсмертной болезни... И это лишь малая толика того, что можно и нужно опровергать.

Мало того, есть в книге Иванова пассажи вполне анекдотические: «Работая, Блок время от времени подходит к этому шкапу, наливает вина, залпом выпивает стакан и опять садится за письменный стол. Через час снова подходит к шкапу. «Без этого» — не может работать». Думается, источник этого места совершенно ясен. Помните? «Вот как описывают мои занятия: как Пушкин стихи пишет — перед ним стоит штоф *славнейшей* настойки — он хлоп стакан, другой, третий — и уж

[18] Берберова Н. Н. Курсив мой. Мюнхен, 1972. С. 547.

начнет писать! — Это слава»[19]. Тут уже отчетливо видно, что механизм распространения слухов и анекдотов об известных людях не претерпел за столетие никаких изменений.

Но возникает вопрос: зачем же в таком случае переиздавать эти очерки? Может быть, ими следует пренебречь, ограничившись упоминанием о существовании такого недостоверного источника, и не давать в руки жаждущему скандальных подробностей обывателю подтверждений его ожиданий?

Думается, однако, что как книга, так и отдельно напечатанные очерки Иванова имеют сразу несколько резонов на существование и на переиздание.

Прежде всего это касается действительно верно запечатленных подробностей жизни многих полузабытых, а то и вовсе забытых литераторов и деятелей искусства десятых годов. Следует, конечно, помнить фразу Ю. М. Лотмана: «При наличии методов дешифровки заведомая фальшивка может быть источником ценных сведений, при отсутствии их самый достоверный документ может сделаться источником заблуждений»[20]. При тщательной проверке многие детали «Петербургских зим» подтверждаются, да немаловажно и то, что сами попытки разобраться, что здесь ложь, а что истина, стимулируют дальнейшие разыскания.

Кроме того, при всем скептическом отношении ко многим безапелляционным высказываниям Иванова, многим его характеристикам нельзя отказать в точности и проницательности. Он может перепутать, как звали Клюева, приписать ему невесть откуда взятые стихи, но сам образ его, возникающий на страницах «Петербургских зим» (и в еще более беллетризированном виде — в романе «Третий Рим»), вызывал у людей, знавших литературную действительность описываемого автором времени, доверие. Для внимательного читателя и честного исследователя должно быть очевидно, что стихийная внутренняя сила, чувствующаяся в стихах Клюева, сочетается с игрой, позой, маской, надетой так надолго, что она уже приросла к лицу. Истинная связь с народными истоками дополнялась высокой культурой, добытой и из книг, и из общения с замечательными русскими писателями, которые щедро делились с Клюевым своими знаниями. Если воспринимать Клюева как народного поэта в самом прямом и примитивном смысле, то есть как поэта, непосредственно переносящего в свои стихи мысли и воззрения русского крестьянина, то мы впадем в непростительную крайность. Чтобы понять творчество Клюева как целостное единство, надо оценить в нем и реальные связи с идеями и представлениями о жизни много-

[19] Пушкин А. С. Письма к жене. Л., 1986. С. 46.
[20] Лотман Ю. К проблеме работы с недостоверными источниками//Временник пушкинской комиссии, 1975. Л., 1979. С. 94.

миллионной массы русских мужиков, и черты религиозного утопизма, и представления о духовном опыте всего человечества, независимо от этнического и национального происхождения, и связь с поэтическими течениями своего времени, и налет специально рассчитанного «мужиковства», «стиля рюсс», который несомненно присутствовал и в личности, и в поэзии Клюева... Этот перечень можно было бы продолжать еще долго, и при его составлении необходимо учитывать тот портрет Клюева, который рисует Георгий Иванов.

И еще одно необходимо помнить, когда читаешь «Петербургские зимы». Для Иванова, несомненно, было важным создать целостную картину той эпохи, которая привела Россию к революции. Внешняя разбросанность отдельных эпизодов складывается в некое единство, пронизанное пусть и неявно сформулированной, но все же достаточно определенной концепцией. Если быть максимально кратким, то концепцию эту можно, очевидно, сформулировать словами: «Пир во время чумы». Воссозданная Ивановым отделенность социально и интеллектуально высших слоев общества от тех, что составляли в нем большинство, поглощенность собственными проблемами — будь то творчество, или мистицизм, или просто беспечное существование, не обремененное особыми заботами,— и привела в конце концов к обвалу, который сперва попытались не заметить, потом просто как-нибудь пережить, а потом — совместить с ним свою жизнь, то ли приспособившись к новым условиям, то ли решительно с ними порвав и оказавшись в эмиграции. Надо сказать, что действительно далеко не все в том кругу, который Иванов описывал, ощущали «будущий гул», услышанный и отмеченный Ахматовой, Блоком, Мандельштамом...

Все это есть в «Петербургских зимах», примыкающих к ним очерках, в романе «Третий Рим». Уже много позже, в конце 1951 г., Иванов писал Н. Берберовой о своем замысле: «Я пишу, вернее записываю «по памяти» свое подлинное отношение к людям и событиям, которое всегда «на дне» было совсем иным, чем на поверхности, и если отражалось — разве только в стихах, тоже очень не всегда. А так как память у меня слаба, то я, мне кажется, нашел приход к этому самому дну легче, чем если бы я, как в Пушкинском — как называется, тоже не помню — ну, «я трепещу и проклинаю» — если бы меня преследовали воспоминания. ⟨...⟩ Но писать для меня — впервые в жизни утешение и ,,освобождение“»[21]. Полуосознанно, однако, все это существовало уже в конце двадцатых годов, когда создавались «воспоминания». Но здесь возникала еще одна немаловажная проблема — проблема авторского образа.

Вынося на суд читателей различных персонажей литературной и артистической жизни того времени, Иванов принимает на себя функции

[21] Берберова Н. Н. Курсив мой. С. 557.

судьи, не имея для этого настоящих прав. Очевидно, это являлось еще одним дополнительным раздражителем для так резко отзывавшихся о книге читателей: ни по своей реальной роли в эпохе, ни по своему последующему положению Иванов не являлся тем, кому можно было доверить роль судьи. Так почему же он сам ее принимает на себя, да еще заведомо себя исключая из числа обвиняемых? В этом противоречии между реальностью жизни и реальностью текста заключен один из наиболее острых парадоксов «Петербургских зим».

В то же время работа над прозой («Петербургскими зимами» и сопутствующими очерками, романом «Третий Рим», позже — над повестью «Распад атома») привела Иванова к неожиданному взлету в поэзии. Очень кратко выразил это в рецензии на вышедший в 1931 г. сборник «Розы» К. В. Мочульский: «...до «Роз» Г. Иванов был тонким мастером, изысканным стихотворцем, писавшим «прелестные», «очаровательные» стихи. В «Розах» он стал поэтом. И это «стал» — совсем не завершение прошлого, не предел какого-то развития, а просто — новый факт»[22]. Эту ноту Иванов держал до выхода сборника «Отплытие на остров Цитеру» (1937). «Отплытие» более концентрированно, «Розы» — с некоторыми отступлениями в прежнюю красивость знаменовали новый целостный этап его творчества.

Близкий друг Иванова, поэт и критик Г. Адамович писал о стихах, впоследствии вошедших в «Отплытие...», проецируя свое мнение на все творчество поэта: «Вот что хотелось бы сказать и о теперешних стихах Георгия Иванова: сгоревшее, перегоревшее сердце. В сущности, уже и последний его сборник следовало бы озаглавить не «Розы», а «Пепел»,— если бы не была так названа одна из книг Андрея Белого»[23]. То, что несли с собой «Розы» и «Отплытие...», казалось в то время предельной степенью человеческого отчаяния, кристаллизующегося в ледяное дыхание бесконечности, веющее из любой строки. И такое состояние души было вызвано не личными неурядицами, внутренним неустройством, оторванностью от читателя или другими особенностями эмигрантского существования, а всеобщим, мировым, вселенским, бытийственным отчаянием: «Художник утерял ключ к единству мира, он стоит перед рассыпающейся храминой, размышляя о смысле (или бессмыслии) жизни и смерти»[24].

В то же время для Иванова чрезвычайно обостряется вопрос о стимулах дальнейшего творчества. Если распался прежде единый мир, то для того, чтобы творить собственное искусство, необходимо найти хоть какую-то опору в бытии. И Иванов находит ее в том, что центром его поэтического сознания становятся музыка и слово, которые одни только и могут обеспечить существование человека в мире, только

[22] Современные записки. 1931. № 46. С. 502.
[23] Последние новости, 1931, 22 октября, № 3865.
[24] Струве Г. Заметки о стихах//Россия и славянство, 1931, 17 октября, № 151.

одни и позволяют за что-то уцепиться в последние мгновения перед гибелью. Если действительно потеряно ощущение единства вселенной, то опору надо искать в самом себе, в своей способности не просто существовать в жизни, но и каждый миг воссоздавать ее для самого себя. Об этом говорит одно из самых мудрых и горьких стихотворений В. Ходасевича, того поэта, с которым Иванов вел постоянный и напряженный диалог. «Собрание стихов» Ходасевича — последняя его стихотворная книга — завершается четверостишием:

Не легкий труд, о Боже правый,
Всю жизнь воссоздавать мечтой
Твой мир, горящий звездной славой
И первозданною красой.

В этих строках сформулировано то, к чему стремилась поэзия Иванова конца двадцатых и всех тридцатых годов. Он уговаривает себя напевом стиха, сочетаниями слов, рифмами, знакомыми именами, ложащимися в мелодию, гармонией звуков. Сюда же подключается и то, что исследователи назвали «центонностью» — т. е. стремление складывать свои стихи как бы из отдельных кусков стихотворений других авторов. Впервые заговоривший об этом В. Марков [25] писал, что цитатность Иванова проявляется только в последних книгах. На самом же деле она возникает еще в «Вереске»[26], а в «Садах» очень заметна. Но на первых порах в поэзии Иванова господствовала или прямая, открытая цитата, или опора на давно известные факты искусства, вводимые в стих как уже готовый сгусток ассоциаций. Это было важно для поэта более всего как символ той культуры, к которой он себя причислял, как имена, которыми он готовился, пользуясь словами другого поэта, перекликаться в надвигающемся мраке. В «Розах» и «Отплытии» возникает «центонность» уже совсем другого уровня, становящаяся самой плотью стиха, от него неотрывная. И при этом поэт цитирует своих предшественников как бы непроизвольно. Вот характерный эпизод: в «Розы» вошло стихотворение, давшее повод В. Вейдле обвинить Иванова едва ли не в плагиате: «Георгий Иванов слишком бесцеремонно заимствует приемы и мотивы у других поэтов, очевидно, у тех, которых он особенно ценит. Вкус его недурен. Стихотворение, начинающееся словами «В глубине, на самом дне сознанья», чрезвычайно точно воспроизводит приемы Ходасевича, даже рифмы ⟨...⟩ вместе с основной мыслью заимствованы из «В заботах каждого дня...», а эффект перерыва стихотворения — из ,,Перешагни, перескочи...“» [27].

[25] См.: Марков В. Русские цитатные поэты (П. А. Вяземский и Г. Иванов)//To honor Roman Jakobson. The Hague; Paris, 1967. Vol. 2.

[26] Свентицкий А. Лики поэтов. II. Г. Иванов. Вереск//Журнал журналов. 1916. № 35.

Впечатление рецензента совершенно точно. Но его можно было бы и еще дополнить: «Падаю в него», безусловно, заимствовано из «Ни розового сада...» (между прочим, связанного с чтением ивановских «Садов»), а закрывание глаз — любимый жест в стихах Ходасевича, пришедший из фетовского «Измучен жизнью, коварством надежды...».

Кажется, все самые снисходительные границы художественного цитирования Ивановым превзойдены. Но даже применительно к этому стихотворению невозможно говорить о плагиате, ибо здесь, в осознании своей причастности к русской поэзии — прежде всего к поэзии XX века, поэзии своих старших современников — Иванов чувствует опору для собственного самостоянья, для существования во все более и более безжалостном мире.

На первый взгляд может показаться, что существует и еще одна зацепка — воспоминания, тот тринадцатый год, который не раз будет повторяться в его стихах, служа обозначением блаженных островов спасения. Но на самом деле воспоминания эти ненадежны, тонут под ногой. Сопоставьте, как меняется текст стихотворения «Январьский день. На берегу Невы...», и вы увидите, как даже здесь, в строках, важных для будущей ахматовской «Поэмы без героя», Иванов никак не может определить свое собственное место. Его нет, оно погрузилось в бездну прошлого.

И чем дальше, тем это ощущение становится сильнее и беспощаднее. Если в тридцатые годы «Розы» и «Отплытие...» казались крайней степенью отчаяния, то стихи военных и послевоенных лет создали какую-то новую точку отсчета для всей вообще русской поэзии. Никогда раньше не удавалось ей заглядывать так глубоко в отчаяние и беспросветность человеческого бытия.

Когда-то Н. В. Недоброво применительно к поэзии Ахматовой писал: «Другие люди ходят в миру, ликуют, падают, ушибаются друг о друга, но все это происходит здесь, в средине мирового круга; а вот Ахматова принадлежит к тем, которые дошли как-то до его края — и что бы им повернуться и пойти обратно в мир? Но нет, они бьются, мучительно и безнадежно, у замкнутой границы, и кричат, и плачут. Непонимающий их желания считает их чудаками и смеется над их пустячными стонами, не подозревая, что если бы эти самые жалкие, исцарапанные юродивые вдруг забыли свою странную страсть и вернулись в мир, то железными стопами пошли бы они по телам его, живого мирского человека; тогда бы он узнал жестокую силу там у стенки по пустякам слезившихся капризниц и капризников»[28].

Ахматова в конце концов вернулась в нашу «средину мирового круга», и мы узнали «Реквием», «Поэму без героя», «Черепки», «Все

[27] Возрождение. 1931. 12 марта. № 2109.
[28] Недоброво Н. Анна Ахматова//Русская мысль. 1915. № 7. С. 64 второй пагинации.

ушли, и никто не вернулся...». Иванов так и остался там, у края человеческого бытия, где властные над нами законы теряют свою силу, становятся призрачными. Грандиозные потрясения войны разрушили уже всякую надежду на собственное спасение, пусть даже за счет музыки и слова. Теперь уже не жестокий мир стоит перед растерянным человеком, пытающимся заколдовать его и себя, а сама вселенная оказалась на грани распада в «атомической истерике», и поэт увидел, что не только он, но и его внутренняя музыка ничего не в состоянии исправить, ничему помочь не может.

Легко возразить: но ведь эти же самые слова еще в тридцатые годы произнес сам Иванов, говоря о Пушкине:

И ничего не исправила,
Не помогла ничему
Смутная, чудная музыка,
Слышная только ему.

Но ведь в этих строках за движением стиха, за гибким и изменчивым слогом, за интонацией все же слышалась пусть слабая, но надежда: «Да, не исправить-то она не исправила, но ведь мы все же ходим здесь, среди людей, повторяя про себя пушкинские стихи. И, стало быть, след остается...» В последних же книгах Иванова ничего подобного нет.

Все стихи «Дневника» (и «Посмертного дневника») внутренне сосредоточены на одном — на том, чтобы до дна дочерпать свою душу, достигшую пределов отчаяния, передать ее содержание уже как бы не думая о форме, о ритме, о рифмах, о звуке. Конечно, это только «как бы» — на самом деле Иванов, как и любой большой поэт, остается даже в предельном отчаянии мастером, уверенно перелагающим свои мысли в стихи, и без этого они не были бы просто никому интересны. Но сама ориентация на такое построение стиха для Иванова очень важна, ибо дает возможность создавать впечатление полной спонтанности в мире, где можно и преклониться перед священной памятью прошлого, и высмеять дорогие строки (например, в издевательском перепеве пушкинского «И внемлет арфе Серафима//В священном ужасе поэт»), и сделать мину полнейшего равнодушия ко всему, и противоречить себе на каждом шагу, и соединять в пределах одного четверостишия соловья и могильных червей,— одним словом, позволить себе практически все что угодно, не задумываясь и не оглядываясь на читателя.

Собственно говоря, эти стихи и не нуждаются в комментарии, настолько они ясны и открыты читателю, который попытается заглянуть в бездну, открывшуюся глазам поэта. Оглядываясь на путь

Иванова в последние годы, В. Вейдле написал удивительно точно: «Поэты в нашем веке чаще всего намечают путь, который продолжить невозможно. О Ходасевиче и другие думали, и сам он думал: дальше некуда идти. Чувство это — трагическое; но стихи, его вызвавшие, останутся, именно потому, что они вызвали это чувство. То же следует и о стихах Георгия Иванова сказать, которому парадоксальным образом удалось путь Ходасевича, хоть и покосив его, продолжить. 〈...〉 Ничего к этому не прибавишь. Никуда в отчаянии дальше не пойдешь; но и к поэзии этой — как поэзии — прибавить нечего. Тут она снова. Как неотразимо! Как пронзительно! Гибель поэта неразрывна с его торжеством»[29].

Действительно, в обнажении последних глубин жизни поэзию Иванова трудно превзойти. И в этом обнажении все чаще становится справедливой формула: «Друг друга отражают зеркала,//Взаимно искажая отраженья». В этом взаимном искажении двоится и троится образ автора. Действительно, как совместить пронзительное и трогательное восьмистишие:

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно...
Какие печальные лица,
И как это было давно.

Какие печальные лица,
И как безнадежно бледны —
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны...—

с беспощадным: «Не изнемог в бою Орел Двуглавый,//А жутко, унизительно издох?» Но ведь в этом несовмещении, в «двойном зреньи» так часто бывает заключена душа современного человека, оторванного от своего прошлого и стоящего перед страшным будущим, в которое невозможно вглядываться, чтобы не увидеть там пустоты.

Конечно, есть различные способы преодолеть бесконечный ужас, «скуку мирового безобразья», «отвратительный вечный покой». Поэту Георгию Иванову все они казались ложными, не отвечающими его представлениям о жизни. Так что не будем искать у Иванова этого преодоления, а будем ему благодарны и за то, что он с такой отчетливостью описал нам состояние человека, находящегося у самой последней черты, нарисовал пейзаж той местности, за которой начинается небытие. И тем самым он исполнил свою миссию поэта, к осознанию которой шел долгим и непростым путем.

[29] Вейдле В. Георгий Иванов//Континент. 1977. № 11. С. 368—369.

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящая книга является первым опытом собрания произведений Г. В. Иванова, принадлежащих к различным жанрам. Ограниченность объема сборника и неравноценность самого творческого наследия Иванова заставили отказаться от включения ряда произведений. В то же время, поскольку разыскания в области творчества Иванова лишь начинаются, ряд публикаций остался недоступным или невыявленным.

Сборник делится на четыре раздела. В первый включены избранные стихотворения Иванова, во второй — незавершенный роман «Третий Рим», в третий — книга «Петербургские зимы» и в последний — под условным названием «Китайские тени» — очерки Иванова, извлеченные из газет двадцатых и начала тридцатых годов.

При публикации орфография Иванова унифицировалась (сохранялись лишь немногие особенности, представляющиеся характерными: «жаз-банд», «Чурлянис» и т. п.). Приводилась в соответствие с современными нормами и пунктуация, которой сам автор значения не придавал. Однако в тех случаях, когда можно было предполагать авторскую волю, пунктуация сохранена.

Ограниченный объем примечаний заставил отказаться от указания первых публикаций стихотворений, вошедших в сборники, свести к минимуму реальный комментарий, а также указание аллюзий и параллелей к стихам Иванова. При комментировании явных цитат полное указание источника делалось лишь в тех случаях, если произведение не переиздавалось с десятых-двадцатых годов. В остальных указывалась фамилия автора, название произведения и год его создания.

Комментатор считает своим приятным долгом принести глубокую благодарность всем, помогавшим ему советами и материалами:

Т. А. Алатырцевой, А. Д. Алексееву, Е. В. Витковскому, М. Л. Гаспарову, Н. М. Иванниковой, Р. Круусу, А. А. Морозову, А. Е. Парнису, Л. И. Соболеву, Р. Д. Тименчику, Е. А. Тоддесу, Л. М. Турчинскому.

Изобразительный материал к книге подобран А. В. Лавровым, текст романа «Третий Рим» подготовлен к печати совместно с Т. А. Алатырцевой.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

Вар.— 1958 — варианты стихотворений, созданные Г. Ивановым в начале 1958 г. (Терапиано Ю. Варианты//Мосты. 1961. № 6. Цит. по кн.: Иванов Г. Несобранное//Под ред. и с коммент. В. Крейда. [США], 1987).

Вереск — 1916 — Иванов Г. Вереск. М.; Пг., 1916.

Вереск — 1923 — Иванов Г. Вереск. 2-е изд. Берлин; Пб.; М., 1923.

Д — газета «Дни» (Париж).

ЛН — Литературное наследство.

Марков — Марков В. Русские цитатные поэты (П. А. Вяземский и Г. Иванов)//To honor Roman Jakobson. The Hague. Paris, 1967. Vol. 2.

НЖ — «Новый журнал» (Нью-Йорк).

Отплытие — Иванов Г. Отплытие на остров Цитеру: Избр. стихи 1916—1936. Берлин, 1937.

Парнис и Тименчик — Парнис А. Е., Тименчик Р. Д. Программы «Бродячей собаки»//Памятники культуры: Письменность. Искусство. Археология. Новые открытия. Ежегодник, 1983. Л., 1985.

ПН — газета «Последние новости» (Париж).

Сады — 1921 — Иванов Г. Сады. Пг., 1921.

Сады — 1923 — Иванов Г. Сады. Берлин, [1923].

СЗ — журнал «Современные записки» (Париж).

Ст — стих.

Ст-ние — стихотворение.

Стихи — Иванов Г. 1943—1958. Стихи/Вступ. ст. Романа Гуля. Нью-Йорк, 1958.

ССт — Иванов Г. Собрание стихотворений/Под ред. В. Сечкарева и М. Дальтон. Würzburg, 1975.

ЦП-4.— Цех поэтов. Берлин, 1923. Кн. 4.

Ч — журнал «Числа» (Париж).

СТИХОТВОРЕНИЯ

При жизни Г. В. Иванова увидело свет 10 сборников его ст-ний, два из которых («Вереск» и «Сады») выдержали по два издания. В библиографии (Тарасенков А. К. Русские поэты XX века. 1900—1955: Библиография. М., 1966. С. 155) зафиксировано также второе издание книги «Лампада» (Берлин, 1923), нам не известное. Значительное количество ст-ний Иванова разбросано по периодике и лишь отчасти собрано в ССт и в изданном в США «Несобранном» под ред. В. Крейда (1987). Архив Иванова в сколько-нибудь целостном виде не сохранился. В советских государственных архивах его автографы редки.

В настоящем издании представлены далеко не все известные составителю ст-ния Иванова. Вовсе не включены ст-ния из книги «Памятник славы» (Пг., 1915), которую сам поэт считал для себя нехарактерной. Из книг «Отплытье на о. Цитеру» (Спб., 1912), «Горница» (Спб., 1914) и «Лампада» (Пг., 1922) включено менее половины стихотворений. Более полно представлены сборники «Вереск» и «Сады», эмигрантские же книги стихов печатаются практически полностью.

Ст-ния, входившие в книги, печатаются по следующим изданиям: «Отплытье на о. Цитеру» — по первому изданию; «Горница» — по наиболее поздним вариантам, находящимся в разных книгах; «Вереск» — по Вереску — 1923 с прибавлением двух ст-ний, в него не вошедших, из Вереска — 1916; «Сады» — по Садам — 1923 с прибавлением двух стихотворений, в него не вошедших, по Садам — 1921; «Розы» — по «Отплытию», с прибавлением двух ст-ний, в него не вошедших, по кн. «Розы» (Париж, 1931). Также по тексту сб. «Розы» печатается ст-ние «Январьский день. На берегу Невы...». «Отплытие на остров Цитеру» печатается по «Отплытию», «Портрет без сходства» — по «Стихам» (не вошедшие в них ст-ния — по первому изданию сборника: Париж, 1950). «Rayon de rayonne» и «Дневник» — по «Стихам».

Раздел «Стихотворения, не входившие в книги» составлен на основе собственных разысканий составителя. Ст-ния печатаются по публикациям, указанным в комментарии.

НА ОСТРОВЕ ЦИТЕРЕ. *Цитера* (Кифера) — остров, на котором был распространен культ Афродиты (Венеры). Это ст-ние (как и название всего сборника) связано с названием картины Ф. Ватто «Отплытие на остров

Цитера» (1717). 11 июля 1957 г. Иванов писал В. Ф. Маркову: «И Ватто, и Шотландия у меня из отцовского (вернее прадедовского) дома. Я родился и играл ребенком на ковре, где портрет моей прабабушки — «голубой» Левицкий висел между двух саженных ваз импер. фарфора, расписанного мотивами из Отплытья на о. Цитеру...» (Марков. С. 1286).

СТАНСЫ. В первой публ. (Весна. 1911. № 25) — под загл. «Осенние стихи».

«ВОТ — ПИСЬМО. Я ЕГО РАСПЕЧАТАЮ...». При перепечатке в сб. «Лампада» посвящение снято. *Кузмин Михаил* Алексеевич (1872—1936) — поэт, прозаик, оказавший сильное влияние на творчество Иванова. Подробнее о нем см. в разделе «Петербургские зимы».

«ПОБЛЕКШИМ ЗОЛОТОМ, ХОЛОДНОЙ СИНЕВОЙ...». В первой публ. (Нива, 1913. № 39) — под загл. «Элегия».

ИЗ ЦИКЛА «КНИЖНЫЕ УКРАШЕНИЯ». 1. В первой публ. (Нива. 1914. № 3) — без посвящения. В сб. «Горница» ст. 5: «Немного поотдаль веселый ротозей». *Ахматова* (Горенко) Анна Андреевна (1889—1966) — одна из постоянных героинь прозы и стихов Иванова. К нему обращено ст-ние Ахматовой «Бисерным почерком пишете, Lise...».

ИЗ ЦИКЛА «КНИЖНЫЕ УКРАШЕНИЯ». 2. В первой публ. (За 7 дней. 1913. № 41) — под загл. «Виньетка». В сб. «Горница» ст. 2: «Вкруг фарфоровыми розами увитое».

«СТУЧАТ ДАЛЕКИЕ КОПЫТА...» В сб. «Горница» назвалось «Особняк». *У подъезда львы, По озаренной мостовой* — намеки на «Медный всадник» А. С. Пушкина.

БОЛТОВНЯ ЗАЗЫВАЮЩЕГО В БАЛАГАН. В первой публ. (Гиперборей. 1913. № 8) — под загл. «Заезжие балаганщики». При перепечатке в Вереске — 1916 было посвящено О. Мандельштаму (1891—1938). В свою очередь Мандельштам посвятил Иванову ст-ние «Царское Село». *Посылка* — завершающая строфа в старофранцузской балладе.

АКТЕРКА. В первой публ. (Гиперборей. 1913. № 5) — с посвящением М. Моравской. В сб. «Горница» ст. 6: «Косу свою я расплела». Моравская Мария Людвиговна (1889—1947) — поэтесса, входившая в «Цех поэтов».

«ПИСЬМО В КОНВЕРТЕ С КРАСНОЙ ПРОКЛАДКОЙ...». Обращено к А. А. Блоку (см.: ЛН. 1983. Т. 92, кн. 3. С. 558—559).

«МЫ СКУЧАЛИ ЗИМОЙ, ВЛЮБЛЯЛИСЬ ВЕСНОЮ...». В первой публ. (Вечер «Триремы». Пг., 1916) — с посвящением Всеволоду Курдюмову (1892—1956) — поэту. См. рецензию, подписанную Г. И. (она, очевидно, принадлежит Г. В. Иванову), на «Пудреное сердце» Курдюмова (Гиперборей. 1913, № 6. С. 30). Курдюмов посвятил Иванову «Сонет-акростих» (Курдюмов В. В. Ламентации мои. Пг., 1914. С. 39).

«КАК Я ЛЮБЛЮ ФЛАМАНДСКИЕ ПАННО...». В первой публ. (Голос жизни. 1915. № 10) — под загл. «Клод Лоррен». *Лоррен Клод* (наст. фами-

лия Желле, 1600—1682) — французский художник.

«Кудрявы липы, небо сине...». В Вереске — 1916 — с посвящением М. Н. Бялковскому, редактору журнала «Лукоморье».

«Визжат гудки. Несется ругань с барок...». В Вереске — 1916 ст. 8: «На мачту. За бутылкою вина». *Сэр Джон Фэрфакс* — герой повести М. А. Кузмина «Путешествия сера Джона Фирфакса по Турции и другим примечательным странам» (Кузмин М. А. Третья книга рассказов. М., 1913. С. 3—94).

«Оттепель. Похоже...». В первой публ. (Камена. Харьков; М.; Пб., 1918. Кн. 1) — под загл. «1918». Ст. 9 исправлен по первой публ. *«Привал»* — петроградское литературно-артистическое кабаре «Привал комедиантов» (см. о нем в воспоминаниях Иванова).

«О расставаньи на мосту...». В Отплытии ст. 8: «Уже семнадцатого года!». Вар.— 1958:

О расставаньи на мосту,
О ней, о черноглазой Ане,
Вздохнул. А за окном в цвету
Такие русские герани.

И русских ласточек полет.
Какая ясная погода!
Как быстро осень настает
Уже семнадцатого года...

...Как быстро настает зима
Уж пятьдесят седьмого года.
Вздохнул. Но вздох иного рода —
Изгнание... Тюрьма — сума.
— Не выдержу! Сойду с ума!..

«Беспокойно сегодня мое одиночество...». В первой публ. (Нива. 1914. № 9) — под загл. «Портрет». Ср.: Садовской Б. Семейные портреты. I. Прадед//Садовской Б. Пятьдесят лебедей. Спб., 1913. С. 63—61. Печ. по Вереску — 1916.

«Веселый ветер гонит лед...». Печ. по Вереску — 1916.

«Не о любви прошу, не о весне пою...». В Садах — 1921 ст. 12: «Но знаю, ты сейчас на тот же снег глядишь».

«Легкий месяц блеснет над крестами забытых могил...». В Отплытии ст. 6: «Ты подругу зовешь, и Ириной ее называешь»,

«Кровь бежит по томным жилам...». *Гафиз* — Шамсэддин Хафиз (ок. 1325—1389 или 1390) — персидский поэт, очень популярный в России начала XX века.

«вновь губы произносят «муза»...». *Персей* и *Андромеда* — персонажи древнегреческого мифа. Персей, сын Зевса и Данаи, был обладателем головы Медузы Горгоны, своим взглядом обращавшей все живое в камень. Убив морское чудовище, он освободил царевну Андромеду и взял ее в жены.

«из облака, из пены розоватой...». *Халифат* — мусульманское государство во главе с халифом. *Каменноостровская луна* — на Каменноостровском (ныне Кировском) проспекте в Петербурге-Петрограде жил Иванов, с ним связано много страниц его прозы.

«как вымысел восточного поэта...». *Галактионов* Степан Филиппович (1779—1854) — график, автор иллюстраций к пушкинскому «Бахчисарайскому фонтану» (Спб., 1827). *Зарема* — героиня этой поэмы.

«дитя гармонии — александрийский стих...». *Александрийский стих* — шестистопный ямб с попарной рифмовкой и чередованием мужских и женских рифм. *Где прошлогодний снег* — рефрен «Баллады о дамах былых времен» Ф. Вийона. *Четвертый пэон* — ритмическая форма ямба, в которой ударения падают на четвертый, восьмой, двенадцатый и т. д. слоги (четвертым пэоном написана 7-я строка данного ст-ния).

«погляди: бледно-синее небо покрыто звездами...». *Сады Гесперид* — в древнегреческой мифологии — сады, находившиеся на краю мира, на дальнем западе, на берегу реки Океан, в которых росли яблоки вечной молодости, принадлежащие богине Гере.

«меня влечет обратно в край гафиза...». *Гафиз* — см. примеч. к ст-нию «Кровь бежит по томным жилам...».

«от сумрачного вдохновенья...». В Садах — 1921 — под загл. «Клод Лоррен» (см. примеч. к ст-нию «Как я люблю фламандские панно...»). В Вар.— 1958 эпиграф: «Мне лиру ангел подает. В. Ходасевич» (из ст-ния «Баллада», 1925) и ст. 14—16:

> Блестя крылами при луне,
> Передо мной, склонив колени,
> Протянет лиру ангел мне.

«нищие, слепцы и калеки...». *Песни про Алексия* — имеется в виду духовный стих «Об Алексии человеке Божием».

«еще молитву повторяют губы...». *«Земщина»* — черносотенная газета, выходившая в Петербурге в 1909—1917 гг.

«в кузнецовской пестрой чашке...». *Кузнецовская чашка* — чашка, выпущенная «Товариществом М. С. Кузнецова». *Сенная* — торговая площадь в Петербурге (ныне пл. Мира).

«когда скучна развернутая книга...». *Мейссен* — город в Германии, прославленный своим фарфором. *Марколини К.*— управляющий Мейссенской мануфактурой в 1774—1814 гг.

«НА ЗАПАДЕ ЖЕЛТЕЛИ ОБЛАКА...». В Садах — 1921 ст. 10: «И сумрак розовый сгущался в синий». *Петрополь* — традиционное поэтическое название Петербурга.

«ГДЕ ОТЦВЕТАЮТ РОЗЫ, ГДЕ ГОРИТ...». В Сады — 1923 не вошло.

ТУЧКОВА НАБЕРЕЖНАЯ. В Сады — 1923 не вошло. *Бирон* Эрнст Иоганн (1690—1772) — фаворит императрицы Анны Иоанновны.

«СНЕГ УЖЕ ПОЖЕЛТЕЛ И ОБТАЯЛ...». В первой публ. (Нива, 1913. № 41) — под загл. «Вечером».

«ЧЕМ БОЛЬШЕ ДНЕЙ ЗА СТАРЫМИ ПЛЕЧАМИ...». В первой публ. (Нива, 1913. № 41) — под загл. «Старость». *Фрейлинский шифр* — вензель императрицы на платье ее фрейлины.

«ДУША ЧЕРСТВА. И С КАЖДЫМ ДНЕМ ЧЕРСТВЕЙ...». В Вар.— 1958 ст. 5—8:

Да, я еще живу, но тягочусь
Бессмыслицей земного испытанья.
В игре теней и света я учусь
Великому искусству умиранья.

«ТЕПЛЫЙ ВЕТЕР ВЕЕТ С ЮГА...». В Вар.— 1958 ст. 5—8:

«Пожалейте! Сколько горя,
Так ужасно умирать».
Теплый ветер веет с моря,
Да и слов не разобрать.

Ст. 13—18:

«Пожалейте! Сколько горя!»
И уже не стало сил.
Теплый ветер веет с моря,
С белых камней и могил,
Заметает на просторе
Все, что в жизни он любил.

«ЭТО ТОЛЬКО СИНИЙ ЛАДАН...». В сб. «Розы» была еще одна, заключительная строфа:

То, что ничего не значит
И не знает ни о чем,—
Только теплым морем плачет,
Только парусом маячит
Над обветренным плечом.

«ХОЛОДНО БРОДИТЬ ПО СВЕТУ...». *«Донна Анна! Нет ответа...»* — см. А. А. Блок, «Шаги командора» (1910—1912).

«ПО УЛИЦАМ РАССЕЯННО МЫ БРОДИМ...». *Operá* — оперный театр в Париже.
«КАК ГРУСТНО, И ВСЕ ЖЕ КАК ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ...». В сб. «Розы» ст. 1: «Как скучно, и все же как хочется жить».
«ЯНВАРЬСКИЙ ДЕНЬ. НА БЕРЕГУ НЕВЫ...». Печ. по тексту сб. «Розы» (совпадающему с текстом ЦП-4 и текстом журнала «Звено». 1928. № 6). В Отплытии отброшены два последние стиха. В Вар.—1958 к тексту «Роз» прибавлено еще 4 стиха:

Ни Олечки Судейкиной не вспомнят,—
Ни черную ахматовскую шаль,
Ни с мебелью ампирной тесных комнат —
Всего того, что нам смертельно жаль.

Судейкина (Глебова-Судейкина) Ольга Афанасьевна (1885—1945) — актриса и художница. Подробнее см.: Moch-Bickert E. O. Glebova-Soudeikina, amie et inspiratrice des poètes. Paris; Lille, 1972. *Паллада* — Гросс (Старынкевич, Богданова-Бельская, Берг, Дерюжинская, Педди-Кабецкая) Паллада Олимпиевна (1887—1968) — актриса и поэтесса. См.: Парнис и Тименчик. С. 253, а также в воспоминаниях Иванова. *Саломея* — Андроникова (в замуж. Гальперн) Саломея Николаевна (1888—1982) — известная петербургская красавица, адресат стихотворений О. Мандельштама и А. Ахматовой. *Князев Всеволод* Гавриилович (1891—1913) — поэт, близкий друг М. А. Кузмина, покончивший с собой. История этого самоубийства стала фабульной основой «Поэмы без героя» А. Ахматовой.
«СИНЕВАТОЕ ОБЛАКО...». В Вар.— 1958 строфы 2—4:

И старинная яблоня
Зацветает опять,
Простодушная яблоня...
(Может быть, подождать?)

Все — до странности — русское
(Подожди до семи!)
Это облако узкое
(Улыбнись — и нажми!)

И по-русскому синяя
(С первым боем часов)
Безнадежная линия
Бесконечных часов.

«В ГЛУБИНЕ, НА САМОМ ДНЕ СОЗНАНЬЯ...». Ср.: В. Ходасевич «В заботах каждого дня...» (1917).

«ВСЕ РОЗЫ, КОТОРЫЕ В МИРЕ ЦВЕЛИ...». *«Титаник»* — океанский пароход, потерпевший крушение в 1912 г. с большим количеством человеческих жертв.

«СИЯНЬЕ. В ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ ПО НОЧАМ...».— В первой публ. (СЗ. 1932. № 48) входило в цикл «Из книги „Ночной смотр"». В Вар.— 1958 ст. 1—5:

Проклятие шепотом шлет палачам
Бессильная злоба.
Сиянье. В двенадцать часов по ночам
Из гроба...

В парижском окне леденеет луна

Ст. 9: «Гитарные вздохи ночных голосов». После ст. 12 был еще один: «Из плена два русских солдата». *В двенадцать часов по ночам* — см.: В. А. Жуковский, «Ночной смотр» (1836). См. также: Г. Адамович, «Когда успокоится город...»//Адамович Г. На Западе. Париж [1939]. С. 48—49.

«ЭТО ЗВОН БУБЕНЦОВ ИЗДАЛЕКА...». В первой публ. (Ч. 1931. № 4) входило в цикл «Разрозненные строфы». *Это звон бубенцов издалека* — неточная цитата из популярного романса «Бубенцы» (сл. А. Кусикова, муз. Бакалейникова). См.: Русский романс. М., 1987. С. 532.

«В ШУМЕ ВЕТРА, В ДЕТСКОМ ПЛАЧЕ...». В Вар.— 1958 ст. 1—8:

В шуме ветра, в женском плаче,
В океанском пенном пенье
— «А могло бы быть иначе»
Слышится, как сожаленье.

Тень надежды безнадежной
Всю тоску, все неудачи
Одевает в саван нежный.
— «А могло бы быть иначе».

Ст. 10: «Все пути, все расстоянья»; ст. 15: «Все грехи, все преступленья».

«ДУША ЧЕЛОВЕКА. ТАКОЮ...». *И полною грудью поется* — ср.:

И если подлинно поется
И полной грудью, наконец,
Все исчезает — остается
Пространство, звезды и певец.

(О. Мандельштам. «Отравлен хлеб и воздух выпит...», 1913).

«МАЯТНИКА МЕРНОЕ КАЧАНЬЕ...». *«Кабы на цветы да не морозы»* — начало русской народной песни.

«ГДЕ ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ, СКАЖИТЕ МНЕ...». *Где прошлогодний снег* — рефрен «Баллады о дамах былых времен» Франсуа Вийона (*Виллона*, 1431 или 1432—?).

«ПОТЕРЯВ ДАЖЕ В ПРОШЛОЕ ВЕРУ...». *Цитера, Ватто* — см. примеч. к ст-нию «На острове Цитере».

«ЕСЛИ БЫ ЖИТЬ... ТОЛЬКО БЫ ЖИТЬ...». *«Ухнем, дубинушка!»* — неточная цитата из песни «Дубинушка» (сл. Г. Мачтета).

«В ДЫМУ, В ОГНЕ, В СИЯНЬИ, В КРУЖЕВАХ...». В сб. «Портрет без сходства» ст. 2: «О, в кружевах и страусовых перьях». В первой публ. (Звено. 1926, 16 мая. № 172) после ст. 6 следовало:

Ночь. И асфальт блестит. И дождь идет.
И сыростью от Сены тянет.
И вдруг покажется, что это вот
Единственное, что, быть может, не обманет,
Единственное, что не может обмануть...
— Дай руку. Навсегда. Не позабудь...

«ВОСТОЧНЫЕ ПОЭТЫ ПЕЛИ...». *Омар Хайям* (ок. 1048 — ок. 1123) — персидский поэт.

«Я НЕ СТАЛ НИ ЛУЧШЕ И НИ ХУЖЕ...». Печ. по сб. «Портрет без сходства».

«ЧТО Ж, ПОЭТОМ ДОЛГО ЛИ РОДИТЬСЯ...». Печ. по сб. «Портрет без сходства».

«ШАГ НАПРАВО, ДВА НАЛЕВО...». Печ. по сб. «Портрет без сходства».

«ОСТАНОВИТЬСЯ НА МГНОВЕНЬЕ...». Печ. по сб. «Портрет без сходства».

«ВСЕ ЧАЩЕ ЭТИ ОБЪЯВЛЕНЬЯ...». *Ледяной поход* — переход армии Деникина с Дона на Кубань в феврале-марте 1918 г.

«ПО УЛИЦЕ УНОСИТ СТРУЖКИ...». Эпиграф — из комедии Д. И. Фонвизина «Корион» (акт 1, сц. 1). *«Как скучно жить на этом свете»* — неточная цитата из «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н. В. Гоголя.

«В ПЫШНОМ ДОМЕ ГРАФА ЗУБОВА...». *Граф Зубов* Валентин Платонович (1884—1969) — петербургский меценат, основатель Института истории искусств в Петербурге-Петрограде.

«КАК ВЫ КОГДА-ТО РАЗБОРЧИВЫ БЫЛИ...». Эпиграф — из ст-ния Г. Адамовича «Куртку потертую с беличьим мехом...» (Адамович Г. На Западе. С. 32), по-видимому, обращенного к Иванову.

«ГОЛУБИЗНА ЧУЖОГО МОРЯ...». *И внемлет арфе Серафима* — ср.: А. С. Пушкин, «В часы забав иль праздной скуки...», 1830.

«НА ПОЛЯНКЕ ПОУТРУ...». *Вертебральная колонна* — позвоночный столб.

«СМИЛОСТИВИЛАСЬ ПОГОДА...». *«Те» иль «эти»* — ср.: И. Ф. Анненский, «То и это».

«желтофиоль — похоже иа виолу...». *Друг друга отражают зеркала* — автоцитата из ст-ния, иачинающегося этой строкой. *«Оставь меня. Мне ложе стелит скука»* — из ст-иия И. Ф. Аинеиского «О нет, не стаи» (1906).

«мелодия становится цветком...». *Пустыня внемлет Богу* — из ст-ния М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я иа дорогу...» (1841).

«полутоиа рябины и малины...». *Марков Владимир* Федорович (род. 1920) — американский литературовед и поэт. *И входит гость в Коринф многоколонный* — см.: А. К. Толстой, «Кориифская иевеста», 1867. *Трепетные лани* — ср.: «В одиу телегу впрячь не можно//Коня и трепетную лань» (А. С. Пушкии, «Полтава», 1829). *Эвлега* — ср. одноимеиное ст-иие А. С. Пушкииа (1814). *На Грузию ложится тьма ночная* — ср.: «На холмах Грузии лежит иочиая мгла...» (А. С. Пушкии, 1828). *Пятигорск* — место последией дуэли М. Ю. Лермоитова. *Как хороши, как свежи были розы* — строка из ст-иия И. П. Мятлева «Розы» (1834), давшая тему ст-иия в прозе И. С. Тургеиева и после этого ставшая крылатым выражением. О других цитатах и автоцитатах этого ст-ния см.: Марков. С. 1285—1287.

«солнце село и краски погасли...» *Прекрасная Дама* — ие только символ, заимствованиый из раиней лирики Блока, ио и явиая отсылка к «Балладе» И. Ф. Аннеиского (1909): «...Будь ты проклята, левкоем и фенолом Равнодушно дышащая Дама!»

«так, заиимаясь пустяками...». *Мы чудный мир воссоздаем* — ср.: В. Ф. Ходасевич, «Звезды», 1925; *К небожителям на пир* — ср.: Ф. И. Тютчев, «Цицерон» (1829).

«нет в россии даже дорогих могил...». *Гуль Роман* Борисович (1896—1986) — писатель, с 1959 — редактор НЖ, где миого печатался Иванов, автор предисловия к «Стихам».

«свободен путь под фермопилами...» *Леонтьев* Константии Николаевич (1831—1891) — писатель и публицист коисервативиого направлеиия. *Пройдя меж трезвыми и пьяными* и далее — ср.: Блок А. А. «Незиакомка», 1906. *Фермопилы* — гориый проход, в котором в 480 г. до и. э. во время греко-персидской войны 300 спартаицев во главе с царем Леонидом дали сражение и все погибли.

«все иа свете не беда...». Миогочислеииые параллели см. в цикле А. А. Блока «Пляски смерти» (1912—1914).

«четверть века прошло за границей...». Эпиграф — из ст-иия О. Э. Маидельштама «В Петербурге мы сойдемся снова...» (1920).

«иечего тебе тревожиться...». *Успенское, Волково* — кладбища в Петербурге. Не исключеио, что Иваиов знал ст-иие А. Ахматовой «На Казаиском или иа Волковом...» (1914), опубликоваииое посмертио, т. к. помимо реалий в его ст-иии употреблеиа и ахматовская рифма «Волковом — шелковым».

«ЗАКАТ В ПОЛНЕБА ЗАНЕСЕН...». *Леноре снится страшный сон* — ср. В. А. Жуковский, «Ленора», 1831.

«НАСЛАДИСЬ, ПОКА НЕ ПОЗДНО...». *Без речей и без венков* — традиционная формула похоронного объявления на Западе.

«ПОЧТИ НЕ ВИДНО ЧЕЛОВЕКА СРЕДИ СИЯНЬЯ И ШЕЛКОВ...». *Валансьен* — французский город, где родился и провел значительную часть жизни А. Ватто.

«ВЕТЕР С НЕВЫ. ЛЕДЕНЕЮЩИЙ МАРТ...». *Штандарт* — в дни, когда император находился в Петербурге, над Зимним дворцом поднимался черно-желтый флаг. *В черной шинели, с погонами синими* — форма кадетского корпуса, где Иванов учился.

«ПРОСИЛ. НО НИКТО НЕ ПОМОГ...». В машинописи (ЦГАЛИ, ф. 2512, оп. 1, ед. хр. 579) ст. 9 «А только какой-то кабак», ст. 11 «Цыганское тра-ля-ля...» *И вспомнил несчастный дурак* — ср.: В. Ф. Ходасевич, «Окна во двор», 1924.

«БРЕДЕТ СТАРИК НА РЫБНЫЙ РЫНОК...». *Врангель* Николай Николаевич (1880—1915) — искусствовед, сотрудник журнала «Аполлон».

«Я ЛЮБЛЮ БЕЗНАДЕЖНЫЙ ПОКОЙ...». *Песни без слов* — здесь может иметься в виду не только музыкальный жанр, но и сборник П. Верлена «Романсы без слов», стихи из которого переводил И. Анненский. Ср.: И. Ф. Анненский, «Я люблю».

«ЕСЛИ БЫ Я МОГ ЗАБЫТЬСЯ...». Ср.: М. Ю. Лермонтов, «Выхожу один я на дорогу...», 1841.

«ЛИСТЬЯ ПАДАЛИ, ПАДАЛИ, ПАДАЛИ...». *В блаженном успении Отвратительный вечный покой* — ср. последнюю молитву в чине панихиды: «Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшим рабом твоим (имярек) и сотвори им вечную память». Ср.: И. Ф. Анненский, «Баллада», 1909.

«НУ МАЛО ЛИ ЧТО БЫВАЕТ...». В первой публ. (НЖ. 1954. № 38) — с перестановкой строф.

«ВСЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ В БЛАЖЕННОМ ТУМАНЕ Я...» *«Бедные люди»* — повесть Ф. М. Достоевского (1846). Формула последних двух строк заимствована: Ландау Гр. Эпиграфы//Ч. 1930. № 2/3. С. 201.

«А ЕЩЕ НЕДАВНО БЫЛО ВСЕ, ЧТО НАДО...». Адресат посвящения нам неизвестен.

«ТЫ НЕ РАССЛЫШАЛА, А Я НЕ ПОВТОРИЛ...». Эпиграф — из ст-ния Г. Иванова «Не о любви прошу, не о весне пою...».

«РАСПЫЛЕННЫЙ МИЛЬОНОМ МЕЛЬЧАЙШИХ ЧАСТИЦ...». *Драгоценные плечи твои* — из ст-ния Г. Иванова «Эоловой арфой вздыхает печаль...»

«МОЖЕТ БЫТЬ, УМРУ Я В НИЦЦЕ...». Эпиграф — из ст-ния И. Ф. Анненского «Тоска припоминания».

«НАКИПЕВШАЯ ЗА ГОДЫ...». *Специмены* — образцы (англ., фр.).

«ТУМАН. ПЕРЕДО МНОЙ ДОРОГА...». *Туман, дорога* — из ст-ния М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...», 1841. *Стихи и звезды ос-*

таются — ср.: О. Э. Мандельштам, «Отравлен хлеб и воздух выпит...», 1913. Ср. также ст-ние Г. Иванова «Душа человека. Такою...».

«отвлеченной сложностью персидского ковра...». *Верленовская луна* — см. ст-ние Г. Иванова «Луна взошла, совсем как у Верлена...» (Иванов Г. Отплытье на о. Цитеру. Спб., 1912).

объявления. Шиповник. 1911. № 6.

«луна, как пенящийся кубок...»//ЦГАЛИ, ф. 487, оп. 1, ед. хр. 52, в недатированном письме к А. Д. Скалдину.

«еще с адмиралтейскою иглою...»//Там же.

«поблекшим золотом и гипсовою лепкой...»//Там же.

«ты томишься в стенах голубого китая...»//Там же.

кинематограф. Там же. *Террайль* — Понсон дю Террайль, Пьер Алексис (1829—1871), автор серии авантюрных романов «Похождения Рокамболя».

стихи о петрограде//Лукоморье. 1916. № 47—48.

«пушкина, двадцатые годы...»//Камена. Харьков; М.; Пб., 1919. Кн. 2. *Судейкин* Сергей Юрьевич (1882—1945) — художник, в десятые годы отдал дань стилизации.

«я вспомнил тот фонтан. его фонтаном слез...»//ЦГАЛИ, ф. 2155, оп. 1, ед. хр. 2 в составе рукописного сборника «Сады» (1919).

«сейчас я поведаю, граждане, вам...»//ССт (записано по памяти И. В. Одоевцевой). В ст-нии идет речь о соперничестве Н. С. Гумилева и О. Э. Мандельштама из-за актрисы и художницы Ольги Николаевны Арбениной-Гильдебрандт (1897—1980). О ней см.: Художники группы «Тринадцать». М., 1986. С. 152—156. *Вымолвил слово «любить»* — имеется в виду первый вариант ст-ния О. Мандельштама «Сестры — тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...» (1920), в котором ст. 6 звучал: «Легче камень поднять, чем вымолвить слово „любить“», что вызвало критику со стороны акмеистов. *Зуб золотой* — прозвище Мандельштама в кругу друзей было «Златозуб». Ср. шуточный моностих, сочиненный Г. Ивановым и Н. Гумилевым: «Пепли плечо и молчи — вот твой удел, Златозуб!» (ЦГАЛИ, ф. 2182, оп. 1, ед. хр. 141; запись рукой М. М. Шкапской).

басня.//Там же. В ст-нии речь идет о тех же событиях, что и в предыдущем, и об их завершении: О. Арбенина стала женой писателя и художника Ю. И. Юркуна (1895—1938). Отсюда игра слов в ст. 10 («Юрк...») и 11 («...как об арбе ни ной»). *Перипе́тий* — по сообщению И. В. Одоевцевой, так произнес это слово на одной из лекций проф. Браудо (ССт. С. 345).

баллада об издателе//Звено. 1924. 29 сент. № 87 в тексте воспоминаний Иванова «Китайские тени (Литературный Петербург 1912—1922 гг.)». В тех же воспоминаниях пояснение: «Издательство «Петрополис» издавало наши книги с изяществом, редким не только

для революционного, но и для обычного времени. Черная неблагодарность сотрудников к заботам о внешности их книг, проявляемым главой издательства Я. Н. Блохом, выразилась в посвященной ему балладе». Приписывалась также Н. С. Гумилеву и О. Э. Мандельштаму, считалась коллективным творчеством. Судя по очерку Иванова и по воспоминаниям И. В. Одоевцевой «На берегах Невы», принадлежит одному Иванову. *Блох* Яков Ноевич (1892—1968) — секретарь правления книжного кооператива «Петрополис», занимавшегося книжной торговлей и изданием книг (см.: Лозинский Г. Petropolis//Временник О-ва друзей рус. книги. Париж, 1928. Вып. 2. С. 33—38). *Добужинский* Мстислав Валерьянович (1875—1957), *Чехонин* Сергей Васильевич (1878—1936), *Митрохин* Дмитрий Исидорович (1883—1973) — художники, сотрудничавшие с «Петрополисом». *«Поднимет лошадь ногу одну»* — неточная цитата из «Баллады об извозчике» И. Одоевцевой (Одоевцева И. Двор чудес. Пг., 1922. С. 14—16).

«МЫ ДЫШИМ ПРЕДЧУВСТВИЕМ СНЕГА И ПЕРВЫХ МОРОЗОВ...»//Литературная мысль. Пг., 1922. Кн. 1. *Эреб* — в древнегреческой мифологии персонификация мрака.

«ВЗДОХНИ, ВЗДОХНИ ЕЩЕ, ЧТОБ ДУШУ ВЗВОЛНОВАТЬ...»//Петербургский сборник. Пб., 1922.

«МЫ ИЗ КАМЕННЫХ ГЛЫБ СОЗДАЕМ ГОРОДА...»//ЦП-4.

«ПОЖАЛЕЙТЕ МЕНЯ, СИР!..»//Там же. *Сир* — французское обращение к лицам королевской крови.

«МЫ ЖИВЕМ НА КРУГЛОЙ ИЛИ ПЛОСКОЙ...»//Там же.

«УЖЕЛИ ВСЕ МЕЧТАТЬ, УЖЕЛИ ВСЕ НАДЕЯТЬСЯ...»//Там же. Ср.: В. Ф. Ходасевич, «Буря», 1921.

«МНЕ ГРУСТНО ТАКИМИ НОЧАМИ...»//Эпопея. 1923. № 4.

«ЗАКРЫТА ЖАРКО ПЕЧКА...»//Там же. Ст. 17 исправлен по публ. в ЦП-4.

«НА СТАРЫХ МОГИЛАХ РАСТУТ ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ...»//Д. 1926. 18 июля. № 1057. Ст. 5—6 ср.: Г. Иванов, «Над розовым морем вставала луна...».

«ЭТО ТОЛЬКО БЕССМЫСЛЕННЫЙ РАЙ...». СЗ. 1930. № 44. *Сады Гесперид* — см. примеч. к ст-нию «Погляди: бледно-синее небо покрыто звездами...».

РАЗРОЗНЕННЫЕ СТРОФЫ//Ч. 1930—1931. № 4. *«Догорели огни, облетели цветы»* — неточная цитата из ст-ния С. Я. Надсона «Умерла моя муза!.. Недолго она...» (1885).

«ГАСНЕТ МИР. СИЯЕТ ВЕЧЕР...»//СЗ. 1932. № 48.

«Я ЛЮБЛЮ ЭТИ СНЕЖНЫЕ ГОРЫ...»//СЗ. 1932. № 50.

«ОБЛЕДЕНЕЛЫЕ МИРЫ...»//Там же. *Меж «тем» и «этим»* — ср.: И. Ф. Анненский, «То и это».

ЯМБЫ//СЗ. 1933. № 53.

«СОБИРАТЕЛИ МАРОК, ЭСТЕТЫ...»//Возрождение, 1958. № 83.

«Я НЕ ЗНАЛ НИКОГДА НИ ЛЮБВИ, НИ УЧАСТЬЯ...»//НЖ, 1951, № 25 в цикле

«Стихи 1950 года». *Тоска* — одно из ключевых слов в поэзии И. Ф. Анненского.

«С ПЫШНО РАЗВЕВАЮЩИМСЯ ФЛАГОМ...»//Там же.

«ИСТОРИЯ. ВРЕМЯ. ПРОСТРАНСТВО...»//Литературный современник. Мюнхен, 1954.

«МИМОЗЫ СОЛНЕЧНЫЕ ВЕТКИ...»//НЖ. 1955. № 42 в цикле «Дневник (1955)». Другой вариант — Континент. 1982. № 33.

«ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАССУДКУ ВОПРЕКИ..»

Там же. *«Гиперборей»* — журнал «Цеха поэтов» (1912—1913). См. о нем в воспоминаниях Иванова.

«ПАСПОРТ МОЙ СГОРЕЛ КОГДА-ТО...»//Там же.

ПЕЙЗАЖ//ОПЫТЫ. 1955. № 5.

ПОСМЕРТНЫЙ ДНЕВНИК. Впервые в полном составе — ССт. Частично печатался: НЖ. 1958—1961. № 55—56, 58—60, 63.

IV. ПЕРЕД ТЕМ, КАК УМЕРЕТЬ — см. ст-ние Г. Иванова «Перед тем, как умереть...». *«Пора, мой друг, пора!..»* — из ст-ния А. С. Пушкина «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...» (1836).

VII. СТРАШНО?.. А ТЫ ГОВОРИЛ — РАЗВЛЕЧЕНИЕ — см. ст-ние Г. Иванова «А люди? Ну на что мне люди...».

XIII. «ПОБРИЛИ КИКАПУ...» и т. д.— неточная цитата из ст-ния Т. В. Чурилина «Конец Кикапу» (Чурилин Т. Весна после смерти. М., 1915. С. 65).

XV. ЭПИГРАФ И ДВЕ ПОСЛ. СТРОКИ — из ст-ния Г. Иванова «Свободен путь под Фермопилами...». *Пруст* Марсель (1871—1922) — французский писатель, страдавший астмой. См. ответ Г. Иванова на анкету «О Прусте» (Ч. 1930. № 1. С. 272).

XVI. «ОРАТОР РИМСКИЙ ГОВОРИЛ» — из ст-ния Ф. И. Тютчева «Цицерон» (1829).

XVII. В ДРУГОМ ВАРИАНТЕ СТ. I: «За тридцать лет такого маянья...» ст. 5—8:

Отчаянье — успокоение
Как за глухой стеной тюрьмы —
Надежды, страха и волнения
Уж не испытываем мы. (Грани. 1960. № 46).

XIX. ДРУГОЙ ВАРИАНТ СТ-НИЯ — НЖ. 1954. № 38.

ТРЕТИЙ РИМ

Роман «Третий Рим» писался Ивановым, по всей видимости, в 1928—1931 гг., отдельные главы его печатались в ПН. Мы публикуем роман по СЗ. 1929. № 39—40 (первая часть) и Ч. 1931. № 2—3 (отрывки из второй части).

Эпиграф — из ст-ния И. Ф. Анненского «Палимая огнем недвижного светила...» (1900):

> Не страшно ль иногда становится на свете?
> Не хочется ль бежать, укрыться поскорей?
> Подумай: на руках у матерей
> Все это были розовые дети.

училище правоведения — одно из наиболее привилегированных средних учебных заведений в России.

«господи, я и не знал, что она так некрасива» — неточная цитата из ст-ния И. Ф. Анненского «Прерывистые строки».

«петербургская» — «Петербургская (Петроградская) газета» (1867—1918).

«листок» — газета «Петербургский (Петроградский) листок» (1864—1918).

церера — в римской мифологии богиня производительных сил земли.

столыпин петр аркадьевич (1862—1911) — государственный деятель, министр внутр. дел и (с 1906) председатель Совета Министров.

джетаторе (ит.) — человек, который может сглазить.

меттерних Клеменс Венцеслав Лотар (1773—1859) — австрийский дипломат, министр иностранных дел и канцлер.

талейран Шарль Морис, епископ Отонский (1754—1838) — французский дипломат.

«абрау-дюрсо» — русское шампанское.

«кордон руж» — марка французского шампанского.

самофракийская победа — статуя богини Ники, хранящаяся в Лувре. Ст-ние «Самофракийская победа» есть у Н. С. Гумилева (Гумилев Н. Костер. Спб., 1918. С. 35).

«ДНЕЙ АЛЕКСАНДРОВЫХ ПРЕКРАСНОЕ НАЧАЛО» — из ст-ния А. С. Пушкина «Послание цензору» (1822).
«КЛЮЧИ СЧАСТЬЯ» — роман А. А. Вербицкой (1909—1913), пользовавшийся в десятые годы громадной популярностью.
«О ЩАСТЛИВЫЕ, ЩАСТЛИВЫЕ ШВЕЙЦАРЫ» — см.: «Щастливые Швейцары! всякой ли день, всякой ли час благодарите вы Небо за свое щастие...» (Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 102).
БЕРГСОН Анри (1859—1941) — французский философ.
РОЗАНОВ Василий Васильевич (1856—1919) — русский писатель и философ.
ВИНЬИ Альфред Виктор де (1797—1863) — французский поэт, прозаик и драматург, один из виднейших романтиков.
ЭРФУРТСКАЯ ПРОГРАММА социал-демократической партии Германии была принята в г. Эрфурте в 1891 г.
ТАЙЕР (*фр.*) — английский дамский костюм.
«МИСТИЧЕСКИЙ АНАРХИСТ» — явный анахронизм. Идеи «мистического анархизма», мало влиятельной теории, сформулированной Г. И. Чулковым в 1905 г., в десятые годы уже были забыты.
АФИНСКИЕ НОЧИ — оргии.
КНИГА ГОЛУБИНАЯ (т. е. «глубинная», мудрая) — в русском фольклоре легендарная книга, упавшая с неба и содержащая ответы на различные вопросы бытия.
НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ — идея Нового Иерусалима (т. е. града, символизирующего новую близость к Богу) была характерна не только для Н. А. Клюева, явно имеющегося в виду в этом пассаже, но и для Н. С. Гумилева. См.:

Сердце будет пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены Нового Иерусалима
На полях моей родной страны (Гумилев Н. Огненный столп. Пг., 1921. С. 11).

ГАФФА (*фр.*) — промах, бестактность.
«ИДУТ МУЖИКИ И НЕСУТ ТОПОРЫ» — см.: Достоевский Ф. М., «Бесы», гл. 1.
ЛА ДОННА МОБИЛЕ (*ит.*) — слова из песенки Герцога (опера Д. Верди «Риголетто»; в наиболее известном русском варианте либретто — «Сердце красавицы//Склонно к измене».
СРЕДИ ЗЕЛЕНЫХ ВОЛН...— из ст-ния А. С. Пушкина «Нереида» (1820).
МЕЖ ЖЕНЩИНОЙ И МОЛОДЫМ МУЖЧИНОЙ...— очевидно, поэт описываемый в этом эпизоде,— М. А. Кузмин.
«СТАРИК ДЕРЖАВИН НАС ЗАМЕТИЛ...» — А. С. Пушкин, «Евгений Онегин» (гл. 8, строфа II). В цитате есть не очень заметный каламбур: Державин в молодости был карточным игроком.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗИМЫ

Книга выходила двумя изданиями при жизни автора: в 1928 г. в издательстве «Родник» (Париж) и в 1952 г. в издательстве имени Чехова (Нью-Йорк). Во второе издание добавлены две главы о Блоке и Гумилеве (наш номер XV) и о Есенине, но выпущены два значительных куска, касающихся А. Ахматовой и А. Скалдина. Остальные текстуальные изменения невелики и касаются прежде всего некоторых особенно скандальных подробностей. Мы печатаем книгу по второму изданию, опустив главы о Л. М. Рейснер, Л. Каннегиссере и С. Есенине; под номером ⟨XVI⟩ печатается отрывок из первого издания книги, не вошедший во второе. Большинство очерков предварительно печаталось в газетах, но в связи с неполной выявленностью этих публикаций мы их не указываем.

Так как очерки Г. Иванова, пользуясь именами реально существовавших людей, в то же время нередко сообщают о них вымышленные подробности, мы сочли целесообразным в начале каждой главы давать краткую справку о соотношении правды и вымысла в этой главе, а затем комментировать конкретные высказывания. Нами лишь в очень незначительной степени учитывались параллельные места из мемуаров И. В. Одоевцевой «На берегах Невы» (Вашингтон, 1967; М., 1988), т. к. проверка показала, что мемуаристка часто пользовалась материалом «Петербургских зим» и газетных очерков Иванова.

I

Сообщаемые в этой главе Ивановым сведения верификации не поддаются. Согласно разысканиям Г. И. Мосешвили, любезно сообщенным Е. В. Витковским, есть основания полагать, что под криптонимом В. скрывается писатель Иван Егорович Вольнов (Владимиров, 1885—1931), что, впрочем, вызывает ряд сомнений.

СПЕСИВЦЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА (род. 1895) — балерина.

КАРСАВИНА ТАМАРА ПЛАТОНОВНА (1885—1978) — балерина. У Иванова есть два ст-ния, обращенные к ней: «Пристальный взгляд балетомана...» (Иванов Г. Лампада. Пг., 1922. С. 32) и «Вот, дорогая, прочтите глазами газели...» (Возрождение. 1950. № 9).

ГРАЖДАНИНА ОКЛИКАЕТ ГРАЖДАНИН...— из ст-ния В. А. Зоргенфрея «Над Невой» (Зоргенфрей В. Страстная суббота. Пб., 1922. С. 49—50).

НАД КОСТРАМИ ИСКРЫ ЗОЛОТЯТСЯ...— неточная цитата из ст-ния А. Ахматовой «Я с тобой, мой ангел, не лукавил...» (1921).

МНЕ НОЧНОГО ПРОПУСКА НЕ НАДО...— неточная цитата из ст-ния О. Мандельштама «В Петербурге мы сойдемся снова...» (1920).

ЖЕЛТЫЙ ПАР ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЗИМЫ...— из ст-ния И. Анненского «Петербург».

ЛЕРНЕР НИКОЛАЙ ОСИПОВИЧ (1877—1934) — известный пушкинист, был хорошо знаком с Гумилевым по работе в изд-ве «Всемирная литература» (см. его ст-ние «Гумилев. Песня» [ЦГАЛИ. ф. 147, оп. 1, ед. хр. 52]).

КЛЮЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1886—1937) — поэт, выходец из крестьян. Подробнее о нем Иванов пишет ниже.

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ...— из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник».

11

Деятельность Николая Ивановича Кульбина (1868—1917) изображена в очерке Иванова предельно окарикатуренно (как и вообще вся деятельность русских футуристов), что явно не соответствует действительности. В то же время верно намечены основные этапы его биографии: Кульбин был приват-доцентом Военно-медицинской академии, врачом Генерального штаба, имел чин действительного статского советника (соответствовавший генерал-майору). Первые живописные работы были им выставлены в 1908 г. С тех пор он стал яростным пропагандистом нового искусства. Более подробно см.: Парнис и Тименчик. С. 190—191; Ковтун Е. Ф. Письма В. В. Кандинского к Н. И. Кульбину//Памятники культуры: Письменность. Искусство. Археология. Новые открытия. Ежегодник, 1980. Л., 1981. С. 399—410.

«СТУДИЯ ИМПРЕССИОНИСТОВ» — один из двух первых альманахов русского авангарда (Спб., 1910). В нем, среди прочего, были напечатаны упомянутые Ивановым: манифест Кульбина «Свободное искусство как основа жизни», стихотворения Николая (а не Владимира!) и Давида Бурлюков, монодрама Н. Н. Евреинова «Представление любви», «Восточный мотив» Л. Ш⟨мидт⟩-Р⟨ыжовой⟩ и ее же рисунки в восточном (но не ассирийском!) стиле.

«КНИЖНАЯ ЛЕТОПИСЬ» ВОЛЬФА — Иванов путает два различных издания: «Книжная летопись», не имевшая отношения к изданиям М. О. Вольфа, и «Известия книжных магазинов т-ва М. О. Вольф».

О, РУСЬ! О, RUS! — эпиграф ко второй главе «Евгения Онегина». Ср. также статью В. Азова под этим же названием о вечере «Союза молодежи» (День. 1912. 23 нояб.).

И ВДРУГ У НЕГО ПОКАЗАЛАСЬ ГРИВА...— неточная цитата из ст-ния В. Хлебникова «Были наполнены звуком трущобы...» (1910), напечатанного в «Студии импрессионистов».

«смехачи» — ст-ние В. Хлебникова «Заклятие смехом» (1908—1909), напечатанное в «Студии импрессионистов». Цитируется неточно.
борисяк — Андрей Алексеевич (1885—1962) — участник сборника «Студия импрессионистов» (ст-ние «Грозы», статья «О живописи музыки»), виолончелист, впоследствии профессор Харьковской консерватории.
«помада» — книга стихов А. Крученых с иллюстрациями М. Ларионова. (М., 1913). См. в анонимной рецензии круга «Цеха поэтов»: «„Помада“ издана богато и красиво» (Гиперборей. 1913. № 6. С. 28—29).
«засахаре кры» — альманах эго-футуристов (Спб., 1913).
«тайные пороки академиков» — книга А. Крученых, К. Малевича и И. Клюна (М., 1915).
душа — мысль — треугольник и т. д.— пародируется манифест Кульбина «Свободное искусство как основа жизни».
как я люблю беременных мужчин...— неточная цитата из ст-ния Д. Бурлюка «Плодоносящие» (Стрелец. Пг., 1915. Т. 1. С. 57).
бурлюк владимир давидович (1886—1917) — художник, сотрудник футуристических изданий.
крученых алексей елисеевич (1886—1968) — поэт-футурист.
лившиц бенедикт константинович (1886—1939) — поэт, примыкавший к футуристам. О своей книге «Флейта Марсия» (Киев, 1911), он писал В. Я. Брюсову 31 марта 1911 г.: «Книга моя конфискована (мне удалось сохранить только десять экземпляров) за богохульство...» (ГБЛ, ф. 386, карт. 92, ед. хр. 21, л. 1).
знаете — к⟨ульбин⟩ умер — см. некролог: Судейкин С. Смерть художника//Рус. воля. 1917. 8 марта. № 3.

III

Г. Иванов был членом ассоциации эго-футуристов, первая его книга была издана под маркой издательства «Ego», они с Северяниным обменивались посланиями, и очерк вызывает сравнительное доверие. Впрочем, Северянин откликнулся на него резкой рецензией «Шепелявая тень» (Игорь-Северянин. Уснувшие весны/Критика. Мемуары. Скитания. Том 28. Eesti, Toila, 1931//ЦГАЛИ, ф. 1152, оп. 1, ед. хр. 13. Л. 94—101; по указанию автора статья была опубликована в 1927 г. в варшавской газете «За свободу». Проверить это указание нам не удалось). См. также его отклик «Новая простота...» (Там же, л. 102—105; было опубликовано там же).
знаменитая обмолвка толстого — см.: Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого, 1891—1910. М., 1960. С. 738.
игорем северянином заинтересовались сологуб, позднее брюсов — Ф. К. Сологуб написал предисловие к первому большому сборнику стихов

Северянина «Громокипящий кубок». Об обстоятельствах вхождения Северянина в литературу и роли в этом Сологуба см. воспоминания «Беспечно путь свершая» и «Салон Сологуба» (Игорь-Северянин. Уснувшие весны. Л. 45—49, 50—60). В. Я. Брюсов много писал о Северянине, итогом была большая статья «Игорь Северянин» (Брюсов В. Я. Собр. соч.: В 7 т. М., 1975. Т. 6. С. 444—458). См. также воспоминания Северянина «Встречи с Брюсовым» (Игорь-Северянин. Уснувшие весны. Л. 37—44).

БРОШЮРА — о какой именно из многочисленных брошюр Северянина, вышедших в 1904—1912 гг., идет речь, установить не удалось.

ЦЕНЗОР Дмитрий Михайлович (1879—1948) — поэт. В его архиве сохранилась подборка самых ранних стихов Иванова (ЦГАЛИ, ф. 543, оп. 1, ед. хр. 253).

Я ОТПРАВИЛСЯ К ИГОРЮ СЕВЕРЯНИНУ — по воспоминаниям Северянина, знакомство произошло в мае 1911 г. (Северянин И. Успехи Жоржа// За свободу. 1925. 8 нояб. № 285).

ЭТО БЫЛА НЕ ПЕРЕДНЯЯ, А КУХНЯ — ср.: «Северянин жил на Средней Подъяческой ⟨...⟩ Чтобы попасть к нему, надо было пройти не то через прачечную, не то через кухню, в которой занимались стиркой несколько женщин» (Лившиц Б. К. Полутораглазый стрелец. Л., 1933. С. 195).

«ПРИНЦ ФИАЛОК И СИРЕНИ» — принцем сирени называли в те годы поэта Б. Е. Башкирова-Верина, а не Северянина.

«ВЕНА», «ЧЕРЕПЕННИКОВ», «ДАВИДКА» — известные петербургские рестораны. Литераторы чаще всего собирались в «Вене».

ДИРЕКТОРИАТ — на самом деле именовался «Ректориатом Академии Эго-поэзии».

ОЛИМПОВ (Фофанов) Константин Константинович (1889—1940) — поэт, автор нескольких стихотворных брошюр и листовок.

ГРААЛЬ АРЕЛЬСКИЙ (С. С. Петров, 1889—?) в качестве эго-футуриста выпустил книгу «Голубой ажур» (Спб., 1911). Впоследствии вместе с Ивановым отошел от эго-футуризма, стал членом «Цеха поэтов». Позже вернулся к своей основной профессии — астронома.

ИГНАТЬЕВ (КАЗАНСКИЙ) ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (1892—1914) — автор сборника стихов «Эшафот» (Спб., 1914), манифеста «Эго-футуризм» (Н. Новгород, 1913). См. о нем: Северянин И. Газета ребенка//За свободу. 1925. 9 февр. № 38; Харджиев Н. И. Памяти Ивана Игнатьева//Харджиев Н. И., Тренин В. В. Поэтическая культура Маяковского. М., 1970. С. 219—222.

«ПРИЗМА СТИЛЯ — РЕСТАВРАЦИЯ СПЕКТРА МЫСЛИ» — точная цитата из манифеста эго-футуристов «Скрижали» (в январе 1912 г. был издан отдельной листовкой. Перепечатан в статье: Казанский. Первый год эгофутуризма//Орлы над пропастью. Спб., 1912. С. 2).

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГЛАШАТАЙ» — газета, выходившая в Петербурге в 1912 г. с периодичностью раз в две недели (фактически непериодично; всего вышло 4 номера). Осенью 1913 г. намечалось не состоявшееся ее возобновление (см.: ЛН. 1983. Т. 92, кн. 3. С. 421). Под тем же названием существовало издательство.

«НИЖЕГОРОДЕЦ» — газета, выходившая в 1911—1914 гг., в которой действительно очень активно сотрудничали эго-футуристы. Однако, судя по воспоминаниям Северянина, ее издатель вовсе не был дядюшкой Игнатьева (см.: Северянин И. Газета ребенка).

ЛАРИОНОВ ПЕТР — см.: «Поэту-народнику Петру Ларионову в 1911 году шел не сорок пятый год, а лишь двадцать третий. Он был заведующим не Царскосельским птичником, а Гатчинским. Никакого отношения к футуризму вообще не имел» (Игорь-Северянин. Уснувшие весны. Л. 99).

ОЧЕНЬ СТРАШНО ПОГИБ — см.: «Люба принесла известие из студии, что «директор Петербургского глашатая», бедный Игнатьев, хотел зарезать свою жену и зарезался сам» (Блок А. А. Записные книжки. М., 1965. С. 203). См. также: Крючков Дм. Памяти Ивана Васильевича Игнатьева//Очарованный странник. [Спб., 1914]. Вып. 3. С. 15.

Я ДАЖЕ ПЫТАЛСЯ СБЛИЗИТЬ ЕГО С ГУМИЛЕВЫМ — см.: Не покоряясь магии имен. Н. Гумилев-критик. Новые страницы (коммент. А. В. Лаврова и Р. Д. Тименчика)//Лит. обозрение. 1987. № 7. С. 107—108.

IV

О композиторе Н. К. Цыбульском сохранилось очень мало сведений, неизвестны даже точные даты его жизни (см.: Парнис и Тименчик. С. 238). Поэтому, при всей очевидной беллетризации, очерк Иванова может помочь составить представление об этом незаурядном композиторе.

«НИ НА ЧТО НЕ ПРОМЕНЯЕМ ПЫШНЫЙ...» — неточная цитата из ст-ния А. Ахматовой «Ведь где-то есть простая жизнь и свет...» (1915).

«НЕВЫ ДЕРЖАВНОЕ ТЕЧЕНЬЕ» — из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник».

«В СЕРЫЙ ЦВЕТ ОКРАШЕННЫЕ СТЕНЫ...» — из ст-ния И. Одоевцевой «Этот дом совсем обыкновенный...» (Литературная мысль. Пг., 1922. Альм. 1. С. 12).

КУРБАТОВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ (1878—1957) — историк Петербурга, автор книги «Петербург. Художественно-исторический очерк и обзор художественного богатства столицы» (Спб., 1913).

КЮИ ЦЕЗАРЬ АНТОНОВИЧ (1835—1918) — композитор.

ЮРГЕНСОН — нотоиздательская фирма.

«В МЕРТВОМ, БЕСПОЩАДНОМ СВЕТЕ ДНЯ» — неточная цитата из ст-ния А. А. Блока «Перед судом» (1915).

разные бывают импровизации — ср. описание импровизации Цыбульского с описанием импровизации Лямшина в «Бесах» Ф. М. Достоевского.
«все исчезает — остается...» — из ст-ния О. Мандельштама «Отравлен хлеб и воздух выпит...» (1913).
этаблисма́н (фр.) — заведение.
диск вспыхнул — помимо общеизвестных идей Скрябина о цветомузыке, см.: Светланов Вс. Символическая Симфония//Бей!..— но выслушай/Эго-футуристы. [Спб., 1913]. С. 6—8.

V

Реальная деятельность «Бродячей собаки» в недавнее время тщательно описана (см.: Парнис и Тименчик), так что читатель имеет возможность сравнить воспоминания с действительностью. О Б. К. Пронине (1875—1946) и его жене В. А. Лишневской см.: Там же. С. 162—165 и 246.
«петербургское художественное общество» — официальным названием «Бродячей собаки» было «Художественное общество Интимного театра».
мейерхольд всеволод эмильевич (1874—1940) — режиссер, близкий знакомый Пронина. О его роли в «Бродячей собаке» см.: Парнис и Тименчик. С. 169—170.
рубинштейн ида львовна (1880—1960) — актриса, балерина, известная своей эксцентричностью.
верхарн эмиль (1855—1916) — бельгийский поэт, популярный в России.
судейкин — см. примеч. к ст-нию «Пушкина, двадцатые годы...». Был автором росписей в «Бродячей собаке». См.: Коган Д. З. Сергей Юрьевич Судейкин. М., 1974. С. 80—90; Парнис и Тименчик. С. 172—173.
штраус рихард (1864—1949) — немецкий композитор. В «Бродячей собаке» его музыке был посвящен целый вечер 26 ноября 1912 г.
«дом интермедий» — театральное предприятие В. Э. Мейерхольда (1910), в котором активно сотрудничал Пронин. См.: Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. М., 1969. С. 129—130, 140—141.
«привал комедиантов» — кабаре, сменившее «Бродячую собаку» в 1915—1919 гг.
григорьев борис дмитриевич (1886—1939) — художник, автор росписей «Привала комедиантов».
танни франческо — см.: Парнис и Тименчик. С. 241.
сомов константин андреевич (1869—1939) — художник, автор многих портретов, часто стилизованных.
в петербург приехал верхарн — 23—26 ноября 1913 г. Банкет в его честь состоялся в гостинице «Франция».
фор поль (1872—1960) — французский поэт, «король поэтов». Выступал в «Бродячей собаке» в марте 1914 г. (Парнис и Тименчик. С. 229—231). Женой Пронина В. А. Лишневская стала осенью 1914 г.

андерсоновская ундина — героиня сказки Х.-К. Андерсена «Русалочка».

борджиа лукреция (1480—1520) — сестра Цезаря Борджиа (1474—1507), знаменита своей красотой, богатством и преступлениями.

тереза эмбер — героиня скандального процесса во Франции в 1902—1903 гг., выдававшая себя за наследницу американского мультимиллионера Кроуфорда.

«каблучком молоточа паркет» — неточная цитата из ст-ния И. Северянина «Эксцессерка» (Северянин И. Громокипящий кубок. 4-е изд. М., 1914. С. 65).

яковлев александр евгеньевич (1887—1938) — художник.

судейкина о. а.— см. примеч. к ст-нию «Январьский день. На берегу Невы...»

идет репетиция «зеленого попугая» — эта пьеса А. Шницлера планировалась к постановке в «Привале комедиантов» в 1918 г., но поставлена не была.

лурье артур сергеевич (Артур-Винцент, 1892—1966) — композитор, в десятые годы примыкавший к футуристам (Парнис и Тименчик. С. 224).

«и все стоит в „привале“...» — из ст-ния Иванова «Оттепель. Похоже...»

VI

Очерк Иванова об А. Ахматовой вызвал резкое неприятие поэтессы, писавшей: «...я предупреждаю Вас, что писаниями Георгия Иванова и Л. Страховского пользоваться нельзя. В них нет ни одного слова правды» (Ахматова А. Соч. Нью-Йорк, 1968. Т. 2. С. 304). Однако многие эпизоды очерка Иванова подтверждаются другими источниками. Для Ахматовой, по всей видимости, было неприемлемо даже малейшее искажение истины, которых у Иванова все же немало, а также тот несколько развязный тон, в каком ведется повествование, особенно в той его части, где рассказывается о событиях, свидетелем которых Иванов никак не мог быть.

«ротонда» — парижское кафе, излюбленное русской литературной богемой.

с⟨удейкина⟩ последнее время перед отъездом за границу жила в одной квартире с Ахматовой.

спадает с плеч твоих, о федра...— неточная цитата из ст-ния О. Мандельштама «Вполоборота, о печаль...» (1914; печаталось также под загл. «Ахматова»).

подала ане копейку — см.: «Показала мне раз копейку, хранимую ею: старушка ей подала на улице, приняв за нищенку» (Вейдле В. О поэтах и поэзии. Paris, [1973]. С. 59).

1911 год.— дебют Ахматовой на «Башне» Вяч. Иванова состоялся 13 июня 1910 г. См.: «Вячеслав очень сурово прослушал ее стихи, одобрил несколько одно, об остальн⟨ых⟩ промолчал, одно раскритиковал»; «Вяч. Иванов равнодушно и иронично произнес: „Какой чистый романтизм..."» (письмо М. М. Замятниной к В. К. Шварсалон и запись Ахматовой цит. по: Superfin G., Timenčik R. A propos de deux lettres de A. A. Ahmatova à V. Brjusov//Cahiers du Monde russe et soviètique. 1974. Vol. 15, № 1—2. P. 190. Ср. также: Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой. Paris, [1976]. Т. 1. С. 64).

и для кого эти бледные губы...— неточная цитата из ст-ния Ахматовой «Старый портрет».

гумилев, действительно, раздражается — по записям Л. К. Чуковской, Ахматова в 1940 г. ответила на ее вопрос: «Любил ли Николай Степанович ее стихи?» — так: «Сначала терпеть не мог. Он выслушивал их внимательно, потому что это была я, но очень осуждал ⟨...⟩ В сентябре (1910 г.— *Н. Б.*) он уехал в Африку и пробыл там несколько месяцев. За это время я много писала и пережила свою первую славу ⟨...⟩ Он вернулся (25 марта 1911 г.— *Н. Б.*). Я ему ничего не говорю. Потом он спрашивает: «Писала стихи?» — «Писала». И прочла ему. Это были стихи из книги «Вечер». Он ахнул. С тех пор он мои стихи всегда очень любил» (Чуковская Л. К. Указ. соч. С. 119—120).

так беспомощно грудь холодела...— из ст-ния «Песня последней встречи» (написано 29 сентября 1911 г.).

руманов аркадий вениаминович (1878—1960) — с 1911 г. возглавлял петербургское отделение газеты «Русское слово» и был доверенным лицом ее издателя И. Д. Сытина.

большое полотно альтмана — об этом портрете см.: Ельшевская Г. В. Модель и образ в русском портрете начала XX века//Панорама искусств. М., 1981. Т. 4. С. 45—46; Молок Ю. Ахматова и Мандельштам (К биографии ранних портретов)//Творчество, 1988. № 6. С. 3—5.

...в океане первозданной мглы...— неточная цитата из ст-ния Н. С. Гумилева «Больной» (Гумилев Н. С. Колчан. Пг., 1916. С. 91).

да, я любила их, те сборища ночные...— полностью процитировано ст-ние Ахматовой (1917).

навсегда забиты окошки...— из ст-ния Ахматовой «Все мы бражники здесь, блудницы...» (1913).

здесь цепи многие развязаны...— четверостишие М. Кузмина (Аргус, 1913, № 2; печаталось на программах «Бродячей собаки»).

все мы грешники здесь, блудницы...— неточная цитата из ст-ния Ахматовой «Все мы бражники здесь, блудницы...» (1913).

это чахотка — Ахматова действительно была больна туберкулезом.

а теперь я игрушечной стала...— из ст-ния Ахматовой «По аллее проводят лошадок...» (1911).

в париже Ахматова и Гумилев были весной 1910 и весной 1911 г.
я ведь плаваю как рыба — см.: «...Я получила прозвище «дикая девочка», потому что ходила босиком, бродила без шляпы и т. д., бросалась с лодки в открытое море, купалась во время шторма...» (Ахматова А. А. Соч. М., 1986. Т. 2. С. 243).
спи, мой тихий, спи, мой мальчик...— из ст-ния Ахматовой «Колыбельная» (1915).
пушкинский вечер — 13 февраля 1921 г. в «Доме литераторов», где Блок читал речь «О назначении поэта». Во фраке на этом вечере был Гумилев.
смоленское кладбище — похороны Блока состоялись 10 августа 1921 г. на Смоленском кладбище в Петрограде. См.: «Вдали от себя, в толпе, я вдруг увидала горько плачущую и молящуюся молодую женщину. Лицо ее было так необыкновенно и притягивающе, что я не могла оторвать взгляда от нее. Лицо прекрасное, очень красиво — но совсем необыкновенной, не светской красотой, и я почувствовала, кто это, узнала ее — которую никогда не видала. Это была Анна Ахматова» (Письмо В. С. Люблинской к Т. С. Люблинской//ЛН. 1983. Т. 92, кн. 3. С. 535.)

VII

Г. Иванов имел возможность близко наблюдать Сергея Митрофановича Городецкого (1884—1967) ряд лет, и потому, насколько можно судить, в его очерке при всегдашних карикатурных преувеличениях есть достаточно верная оценка личности и литературной деятельности Городецкого, очень обидчивого, часто ссорившегося со своими ближайшими друзьями, резко и непредсказуемо менявшего свою литературную ориентацию.
шутя — прославился — быстрота и «случайность» славы Городецкого Ивановым преувеличены. Когда «Ярь» вышла осенью 1906 г., Городецкий был уже очень известен в кругу петербургских поэтов.
стоны, звоны, перезвоны...— неточная цитата из ст-ния Городецкого «Весна (Монастырская)» (1906).
«нимфа» — Анна Алексеевна (а не Александровна!) Городецкая (урожд. Козельская, 1889(?)—1945). См.: Переписка Блока с С. М. и А. А. Городецкими//ЛН. 1981. Т. 92, кн. 2. С. 5—62. Ей была посвящена книга Городецкого «Цветущий посох» (Спб., 1914).
«разговоры в ресторане за бутылкой вина» — неточная цитата из ст-ния А. Блока «Из хрустального тумана...» (1909).
в италии Городецкий был весной 1913 г. (см. письмо В. А. Юнгера к Б. А. Садовскому от 9/10 марта 1913//ЦГАЛИ, ф. 464, оп. 1, ед. хр. 151. Л. 2 об).

«СРЕТЕНЬЕ ЦАРЯ» — ст-ние Городецкого (Нива. 1914. № 35).

ОДА БУДЕННОМУ — среди стихов Городецкого не обнаружена. Возможно, Иванов имеет в виду «Марш Буденного» Н. Асеева (1923).

ОПИСАНИЯ ВЕНЕЦИИ — см. ст-ние Городецкого «Венеция ночью» (Новый сатирикон, 1913, № 7).

«ЧАЙНАЯ РУССКОГО НАРОДА» — одна из черносотенных организаций именовалась «Союз русского народа».

ПРИЕЗЖАЕТ В ПЕТЕРБУРГ ЕСЕНИН — см.: Городецкий С. М. Воспоминания о С. А. Есенине//Городецкий С. М. Жизнь неукротимая. М., 1984. С. 37—51.

«БЫЛО ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО, БЫЛО ВСЕ ОЧЕНЬ МИЛО» — из ст-ния И. Северянина «Это было у моря».

ГОРОДЕЦКИЙ УСТРАИВАЛ И ОТКРЫТЫЕ ВЕЧЕРА — по всей видимости, Иванов имеет в виду вечера литературного общества «Краса» (см.: Вдовин В. Есенин и литературная группа «Краса»//Науч. докл. высш. шк. Филол. науки. 1968. № 5. С. 66—80). Из многочисленных выступлений Городецкого о крестьянской поэзии назовем статью «Поэты из деревни» (Кавказское слово. 1917. 29 сент.).

КЛЫЧКОВ СЕРГЕЙ АНТОНОВИЧ (1889—1940) — поэт и прозаик. Учился в Московском университете. См.: Солнцева Н. О Сергее Клычкове//Клычков С. А. Чертухинский балакирь. М., 1988. С. 641—666.

КЛЮЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (а не Васильевич!) (1887—1937) — поэт, один из лидеров «новокрестьянского направления». О раннем периоде его творчества и об отношениях с Городецким и Ивановым см.: Азадовский К. М. Н. А. Клюев и «Цех поэтов»//Вопр. лит. 1987. № 4. С. 269—278. Общее впечатление Иванова от личности Клюева подтверждается воспоминаниями В. Ф. Ходасевича (см.: Ходасевич В. Некрополь. Bruxelles, 1939. С. 186—188) и более поздними — И. Бахтерева (Воспоминания о Заболоцком. 2-е изд. М., 1984. С. 81—82).

АХ ТЫ, ПТИЦА, ПТИЦА РАЙСКАЯ... — неточная цитата из ст-ния Клюева «Песня о соколе и о трех птицах Божиих» (Клюев Н. Песнослов. Пг., 1919. Кн. 1. С. 243—246).

ОТКРЫЛ КЛЮЕВА «БЕЗДУШНЫЙ» БРЮСОВ — на самом деле «открыл» Клюева Блок (см.: Письма Н. А. Клюева к Блоку//ЛН. 1987. Т. 92, кн. 4. С. 427—523). Брюсов написал предисловие к первой книге стихов Клюева «Сосен перезвон» (М., 1912; вышла в октябре 1911 г.). Тогда же, осенью 1911 г., с Клюевым познакомился и Городецкий.

ЧИТАЛ ГЕЙНЕ В ПОДЛИННИКЕ — Клюев тщательно стилизовал себя под поэта «чисто народного», независимого от «городской культуры». Однако сохранились свидетельства о том, что он владел иностранными языками; несомненна высокая степень образованности поэта, проявившаяся в его стихах.

АЛЬБЕРТ — «Альбер», один из роскошных петербургских ресторанов.

на юге где-то — в годы гражданской войны Городецкий жил в Тифлисе и в Баку, т. е. у белых не находился, хотя местные литераторы и упрекали его в сотрудничестве с интервентами (см.: Путешествие Сергея Городецкого в Батум. Тифлис, 1919).

весной 1920 года городецкий приехал в петроград — Городецкий вернулся в Петроград летом 1920 г. Вечер его и Ларисы Михайловны Рейснер (1895—1926) состоялся 3 августа 1920 г. См.: Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6. С. 435—438. Совсем иначе описано выступление Рейснер в мемуарах Н. С. Тихонова (Тихонов Н. Устная книга//Вопр. лит. 1980. № 6. С. 116—120).

раскольников федор федорович (1892—1939) командовал Каспийской флотилией, затем Балтийским флотом.

«осваг» — Осведомительское агентство Добровольческой армии, идеологический центр белогвардейцев на юге России. Городецкий в Осваге не служил, а с Рейснер встретился в Баку уже после того, как там была установлена Советская власть.

«речь» — популярная либеральная газета (1906—1918).

бедный гумилев — на смерть Гумилева Городецкий откликнулся ст-ем «Друзья ушедшие. Николай Гумилев» (Стык. М., 1925).

VIII

Поэт Алексей Константинович Лозина-Лозинский (1886—1916) практически забыт сейчас. Наиболее подробные биографические сведения о нем содержатся в «Материалах для биографии поэта А. К. Лозина-Лозинского», составленных его братом В. К. Лозина-Лозинским (ЦГАЛИ, ф. 233, оп. 1, ед. хр. 101). Вероятно, в текст очерка Иванова вкралась неточность, которую доступными нам материалами исправить не удалось: получается, что Иванов говорил с Лозина-Лозинским уже после того, как тот покончил самоубийством. Настроенность Лозина-Лозинского на самоубийство подтверждается его биографией: «Узнав о его покушении на самоубийство, одна молодая девушка-курсистка, Надя К., которая увлекалась братом, в отчаянии приняла яд и умерла ⟨...⟩ у брата была способность как-то заражать людей мыслью о самоубийстве» и т. д.

закат золотой. снега...— начальная строфа ст-ния Иванова (сб. «Вереск»), обращенного к мужчине.

любяр — псевдоним, образованный из первых букв полной фамилии поэта: Любич-Ярмолович-Лозина-Лозинский.

несколько раз неудачно кончал с собой — первый раз 2 ноября 1909 г., второй раз — 31 января 1914. Об этом писалось в газетах.

с каким-то оттенком сумасшествия — у Лозина-Лозинского на самом деле бывали припадки безумия.

ОНА СЛАДКО СПИТ — аллюзия на строки А. А. Фета: «На заре ты ее не буди,//На заре она сладко так спит...», перекликающиеся со строками И. Анненского, неточно цитируемыми далее (из ст-ния «Струя резеды в темном вагоне», 1908).

САМОУБИЙЦА-НЕУДАЧНИК СВОЕГО ДОБИЛСЯ — см.: Пильский П. История одного самоубийства//Рус. воля. 1917. 20 февр. № 49. Лозина-Лозинский покончил с собой 5 ноября 1916 г., приняв яд и записывая предсмертные ощущения (ЦГАЛИ, ф. 233, оп. 1, ед. хр. 101. Л. 39 об.— 40).

С⟨ВЯТЛОВСКИЙ⟩ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (1869—1927) — экономист и социолог, профессор Петербургского университета и Психоневрологического института, поэт. См.: Рейснер Л. Автобиографический роман//ЛН. 1983. Т. 93. С. 253—254. Одно из его стихотворений посвящено Лозина-Лозинскому (Святловский В. В. Седые города. Пг., 1917. С. 104).

«МЕДНЫЙ ВСАДНИК» — поэтическое общество, возникшее в начале 1914 г. См.: Тименчик Р. Д. «Медный всадник» в литературном сознании начала XX века//Проблемы пушкиноведения. Рига, 1983. С. 82; Осповат А. Л., Тименчик Р. Д. «Печальну повесть сохранить...». М., 1987. С. 156; Рубанов Лев. Клуб «Медный всадник»//Мосты. Кн. 12. Мюнхен. 1966. С. 376—384.

ЛОЗИНСКИЙ МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ (1886—1955) — поэт, переводчик. Подробнее о нем Иванов пишет в воспоминаниях о Мандельштаме.

ЯВОРСКАЯ ЛИДИЯ БОРИСОВНА (1871—1921) — актриса.

...И ЮНОШИ НАГИЕ...— из ст-ния Святловского (не сонета!) «М. А. Кузьмин» ⟨так!⟩ (Святловский В. В. Седые города. С. 100).

ЛАРИСА РЕЙСНЕР была близко знакома с Лозина-Лозинским.

IX

Г. Иванов был хорошо знаком с Борисом Александровичем Садовским (1881—1952), хотя их отношения были далеко не столь идиллическими (см. письмо В. А. Пяста к Садовскому от 20 декабря 1926 г.//ЦГАЛИ, ф. 464, оп. 1, ед. хр. 109. Л. 4). Описание внешней стороны жизни Садовского сделано Ивановым близко к истине. Наиболее важный источник сведений о жизни Садовского — его «Записки» (ЦГАЛИ, ф. 464, оп. 1, ед. хр. 1) и «„Весы". Воспоминания сотрудника» (Там же, ед. хр. 3).

«ВЕСЫ» — московский журнал (1904—1909), центр символизма.

ЖУРНАЛ «АПОЛЛОН» был основан в 1909 г., еще до закрытия «Весов».

ЧУЛКОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ (1879—1939) — поэт, критик, литературовед. После закрытия «Весов» напечатал в «Аполлоне» резко критическую статью о журнале (1910, № 7).

делать заговоры — очевидно, имеется в виду намерение издавать альманах (или журнал) «Галатея», направленный против «Цеха поэтов» (см.: ЛН. 1983. Т. 92, кн. 3. С. 414).

к.— видимо, поэт Александр Конге (1891—1915).

если б кончить с жизнью тяжкой...— из ст-ния Б. Садовского «Страшно жить без самовара...» (Садовской Б. А. Самовар. Пг., 1914. Страницы не нумерованы).

рукавишников иван сергеевич (1877—1929) — поэт и прозаик, близкий к символистам.

«покрывало изиды» — книга критических статей Г. И. Чулкова (СПб., 1909).

подагрическая ножка — Садовской был тяжело болен, к концу десятых годов болезнь вылилась в прогрессивный паралич.

«озимь» (пг., 1915) и «ледоход» (пг., 1916) — книги критических статей Садовского. Статья «Юбилей безвременья», в которой утверждалось: «Как Вильгельм, создал Брюсов по образу и подобию своему целую армию лейтенантов и фельдфебелей поэзии, от Волошина до Лифшица, с кронпринцем — Гумилевым во главе» (Садовской Б. А. Озимь. С. 38), вызвала литературный скандал: «Я не понимаю, какая муха укусила Б. А. Садовского и почему он ополчился на Вас 〈...〉 Но еще более обидно мне за Вас стало, когда на защиту Вашу в «Дне» ополчился и принял Вас и Н. С. Гумилева под свое покровительство Сергей Абрамович Ауслендер. Словно Вы нуждаетесь в чьей-нибудь защите?!» (Письмо А. А. Кондратьева к В. Я. Брюсову от 22 марта 1915 г.//ГБЛ, ф. 386, карт. 90, ед. хр. 10. Л. 1; речь идет о статье: Ауслендер С. Литературные заметки. Книга злости//День. 1915. 22 марта. № 79).

«хутор борисовка, садовской тож» — см. в письме Садовского к К. И. Чуковскому от 2 октября 1914 г.: «„Романовка“ называться теперь будет иначе, а именно: „Хутор Борисовка, Садовской тож“» (ГБЛ, ф. 620, карт. 70, ед. хр. 62. Л. 11—12).

удивительная статья о лермонтове — см.: Садовской Б. А. Ледоход. Пг., 1915. С. 9—30. Неточно цитируемая фраза находится на с. 30.

тиняков-одинокий александр иванович (1886—1934) — поэт и критик. О нем Иванов написал специальные мемуары (см. в разделе «Китайские тени»).

любо мне, плевку-плевочку...— неточная цитата из ст-ния Тинякова «Плевочек» (Тиняков А. Navis Nigra. М., 1912. С. 80).

мандат какой-то из провинциальных чк — в 1920 г. Тиняков приехал в Петербург из Казани. По-видимому, слух о его причастности к ЧК (см. также: Ходасевич В. Избр. проза: В 2 т. Нью-Йорк, 1982. Т. 1. С. 131) был неверен.

Иванов и Осип Эмильевич Мандельштам (1891—1938) были близкими друзьями, однако в воспоминаниях Иванова велик элемент беллетризации. Данная глава страдает им в меньшей степени, чем более поздний очерк (см. в разделе «Китайские тени»), вызвавший резкую критику М. Цветаевой в воспоминаниях «История одного посвящения» (Цветаева М. И. Соч. М., 1980. Т. 2. С. 159—189).

ОСЕНЬЮ 1910 ГОДА — см. запись, сделанную 24 октября 1910 г.: «Сегодня был у меня И. Е. Мандельштам, после долгих странствий с приключениями достигший отечества в середине октября (одно из приключений — потеря кошелька с железнодорожным билетом в Двинске и путешествие до Петербурга «зайцем» в «кондукторском» купэ за 3 р. 50 к., уплаченных в Петербурге)» (Мандельштам в записях дневника С. П. Каблукова//Вестн. рус. христианского движения. 1979. № 129. С. 137).

БЕРГСОН — см.: Поляков М. Критическая проза О. Мандельштама// Мандельштам О. Э. Слово и культура. М., 1987. С. 20—21.

ОТЕЦ — Эмилий Вениаминович Мандельштам (1856—1939). См.: Осип Мандельштам. Последние творческие годы//Новый мир. 1987. № 10. С. 201—207. О детстве Мандельштама см. также его воспоминания «Шум времени» (Л., 1925) и публикацию «Мандельштам и Латвия» (Даугава. 1988. № 2. С. 94—114).

ФИШЕР КУНО (1824—1907) — немецкий историк философии, автор популярной в России начала века книги «История новой философии» (Спб., 1901—1909. Т. 1—8), где т. 4 и 5 посвящены философии И. Канта.

ОБРАЗ ТВОЙ, МУЧИТЕЛЬНЫЙ И ЗЫБКИЙ...— полностью процитировано ст-ние Мандельштама (1912).

НАМ ЛИ, БРОШЕННЫМ В ПРОСТРАНСТВЕ...— из ст-ния Мандельштама «О свободе небывалой...» (1915).

В ШВЕЙЦАРИИ ИЛИ ГЕЙДЕЛЬБЕРГЕ — Мандельштам учился в Гейдельбергском университете в 1909 г., оттуда на краткий срок ездил в Швейцарию.

ДАНО МНЕ ТЕЛО. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ С НИМ...— начало ст-ния Мандельштама, напечатанного в № 9 (август, а не ноябрь!) журнала «Аполлон» за 1909 г.

«СРЕБРОЛУКИЙ» — традиционный эпитет бога Аполлона.

НА СТЕКЛА ВЕЧНОСТИ УЖЕ ЛЕГЛО...— из ст-ния Мандельштама «Дано мне тело. Что мне делать с ним...» (1909).

ОН ТОЖЕ ПЕЛ И ПОДВЫВАЛ — о чтении Мандельштамом своих стихов см.: Бернштейн С. И. Стих и декламация//Русская речь. Новая серия. Л., 1927. Т. 1. С. 27—34.

ПОД КРАСНЫМИ ВЕКАМИ БЕЗ РЕСНИЦ — см.: «У Осипа были ресницы пушистые, в полщеки» (Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой. Paris, [1980]. Т. 2. С. 179).

«НАД ЖЕЛТИЗНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ» — первая строка ст-ния Мандельштама «Петербургские строфы» (1913).

ЛЕТИТ В ТУМАН МОТОРОВ ВЕРЕНИЦА...— последняя строфа этого же ст-ния.

И В МОКРОМ АСФАЛЬТЕ ПОЭТ...— из ст-ния И. Анненского «Дождик» (1909).

ВРАНГЕЛЬ Н. Н.— см. примеч. к ст-нию «Бредет старик на рыбный рынок...». Был уполномоченным санитарного поезда им. великой княжны Ольги Николаевны. См.: Зубов В. П. Барон Николай Николаевич Врангель// Русская мысль. 1965. 1 июля. № 2328. Мандельштам был в Варшаве около недели в декабре 1914 г., попытавшись стать санитаром по протекции уполномоченного другого санитарного поезда — Д. В. Кузьмина-Караваева. См.: Мандельштам в записях дневника С. П. Каблукова. С. 146—147.

НЕ УНЫВАЙ...— в других воспоминаниях Иванова (см. в разделе «Китайские тени») рассказана иная история создания экспромта.

МАНДЕЛЬШТАМ ОКАЗАЛСЯ «НА ТОЙ СТОРОНЕ» — отношения Мандельштама к революции и событиям 1918 г. у Иванова чрезвычайно упрощены и действительности не соответствуют.

КАКИЕ ГРЯЗНЫЕ НЕ ПОЖИМАЛ Я РУКИ...— неточная цитата из ст-ния И. Анненского «Ямбы».

«БЕЛЫЙ КОРИДОР» — помещение в Кремле, где в годы гражданской войны жили члены Советского правительства. См. одноименный очерк В. Ф. Ходасевича (Ходасевич В. Ф. Избр. проза: В 2 т. Т. 1. С. 76—102).

МИРБАХ ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН (1871—1918) — посол Германии в России, убитый 6 июля 1918 г.

КАМЕНЕВА ОЛЬГА ДАВИДОВНА (1883—1941) — жена Л. Б. Каменева, сестра Л. Д. Троцкого. В 1918—1919 гг. заведовала Театральным отделом Наркомпроса.

БЛЮМКИН ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ (1898—1929) — левый эсер, сотрудник ВЧК, убийца гр. Мирбаха. Об описанном Ивановым эпизоде см.: Из истории ВЧК. 1917—1921 гг. Сб. документов. М., 1958. С. 154—155. По воспоминаниям Н. Я. Мандельштам, Блюмкин приглашал Мандельштама сотрудничать в ВЧК. Описанный Ивановым инцидент произошел не в «реквизированном особняке», а в одном из поэтических кафе (по предположению А. А. Морозова, в «Музыкальной табакерке»), никакого ордера, подписанного Дзержинским, у Блюмкина не было и не могло быть; к Дзержинскому Мандельштама привела не О. Д. Каменева, а Л. М. Рейснер. Впоследствии, в 1926 г., Блюмкин и Мандельштам примирились (см.: Мандельштам Н. Я. Воспоминания. Нью-Йорк, 1970. С. 108—115). Вскоре после стычки с Блюмкиным Мандельштам уехал в Петроград.

ОНА МОЛЧАЛА, И ОН МОЛЧАЛ...— неточная цитата из ст-ния В. Ходасевича «Сквозь ненастный зимний денек...» (1927).

оказался в грузии — Мандельштам был в Грузии в 1920 и 1921 гг. См.: Нерлер П. «Из Крыма пустился в Грузию...»//Лит. Грузия. 1987. № 9. С. 197—200.

кафе поэтов — таких кафе существовало несколько, и какое имеется в виду, сказать невозможно. См.: Литературные кафе двадцатых годов: Из воспоминаний И. В. Грузинова «Маяковский и литературная Москва»//Встречи с прошлым. М., 1986. Вып. 3. С. 164—181.

XI

Духовный облик Михаила Алексеевича Кузмина (1872—1936) Ивановым решительно искажен. Он, познакомившись с Кузминым еще в те годы, когда учился в кадетском корпусе (см. его письмо к Кузмину и посвященный ему акростих «Моя поэзия»//ЦГАЛИ, ф. 2571, оп. 1, ед. хр. 166), воспринимал его только со стороны «прекрасной ясности», не будучи в состоянии понять ту сложность и утонченность, которые за этим таились. Впрочем, следует отметить, что в 1913—1915 гг. в поэзии Кузмина действительно чувствуется «опрощение». Концепция творческого развития Кузмина у Иванова совпадает с изложенной в статье: Адамович Г. Об М. Кузмине//Звено. 1924. 13 окт. № 89.

подбор пестрый — о пестроте вкусов Кузмина см.: Шмаков Г. Блок и Кузмин. Новые материалы//Блоковский сб. Тарту, 1972. Вып. 2. С. 343—345.

комнаты кузмина в квартире вячеслава иванова — Кузмин жил на «Башне» Вяч. Иванова в 1907—1912 гг.

леконт де лиль шарль-мари (1818—1894) — французский поэт, глава школы «парнасцев».

вилье де лиль адан филипп огюст матье (1838—1889) — французский поэт, близкий к символизму. Каламбур в тексте основан не только на созвучии фамилий, но и на том, что Вилье де Лиль Адан был графом.

волынский (флексер) аким львович (1863—1926) — литературовед, искусствовед, критик. Автор книги «Леонардо да Винчи» (1900).

клевер юлий юльевич (1850—1924) — русский художник, для артистической среды 1910-х гг.— символ безвкусицы. В издании «Петербургских зим» 1928 г. вместо Клевера назван Макс Клингер (1857—1920), немецкий художник, популярный в символистской среде.

роджерс генриетта — артистка французской труппы в Петербурге.

перестал запечатывать письма...— ранние письма Кузмина, действительно, запечатаны разноцветным сургучом, но не с оттиском герба, а с изображением Антиноя.

маркизы — см. ст-ние Кузмина «Разговор» (Кузмин М. А. Сети. М., 1908. С. 71—72).

мушки носил некоторое время сам Кузмин: «Мушки черные я имел вырезанные Сомовым, потом сам вырезал по трафаретам его и Сапунова. Золотые были не мушки, а просто раскраска на щеке по этим трафаретам. Формы: сердце, бабочка, полумесяц, звезда, солнце и фаллос. На боку большой сомовский чертик» (Письмо к В. В. Руслову от 20 января 1908 г.//ИМЛИ, ф. 192, оп. 1, ед. хр. 21).

подвиги великого александра — повесть Кузмина (1908). См.: Кузмин М. А. Вторая книга рассказов. М., 1910. С. 1—80.

«прекрасный иосиф» — повесть Кузмина «Нежный Иосиф» (1908—1909). См.: Там же. С. 133—186.

«осенние озера» — второй сборник стихов Кузмина (М., 1912).

«глиняные голубки» — сборник стихов Кузмина (Спб., 1914).

«мечтатели» — повесть Кузмина (1912). См.: Кузмин М. А. Третья книга рассказов. М., 1913. С. 209—433.

«прекрасная ясность» — отсылка к статье Кузмина «О прекрасной ясности» (Аполлон. 1910. № 4).

н⟨агродская⟩ евдокия аполлоновна (1866—1930) — автор скандально известного романа «Гнев Диониса», выдержавшего в 1910—1916 гг. десять изданий.

стихи о сивилле, явившейся поэту — «Мне снился сон: в глухих лугах иду я...» (Кузмин М. А. Глиняные голубки. Спб., 1914. С. 66—67).

как радостна весна в апреле — слегка неточно процитированная первая строфа ст-ния Кузмина (Кузмин М. А. Осенние озера. М., 1912. С. 49).

сестры — тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...— первая строка ст-ния О. Мандельштама (1920).

какая затейливая жизнь — в изложении биографии Кузмина Иванов допускает значительные ошибки: в Кузмине не было еврейской крови; бегства из дому в 16 лет также не было; в Италии Кузмин побывал в 1897 г. и общение с каноником Мори происходило не в «захолустном монастыре», а во Флоренции; он начал учиться в Петербургской консерватории в 1891 г., а увлечение старообрядчеством относится к самому концу XIX в. и т. д. Подробнее см.: Malmstad J. Mixail Kuzmin: a chronicle of his life and times//Кузмин М. А. Собрание стихов. Мюнхен, 1977. Т. III. С. 8—319 и записи самого Кузмина в дневнике, озаглавленные "Histoire de mes commencements" (ЦГАЛИ, ф. 232, оп. 1, ед. хр. 52. Л. 198—214 об.).

каратыгин вячеслав гаврилович (1875—1925) — музыкальный критик, один из организаторов кружка «Вечера современной музыки», в котором участвовал Кузмин.

стихам кузмина «учил» брюсов — на самом деле Брюсов познакомился с Кузминым уже после выхода в свет «Зеленого сборника» (декабрь 1904 г.), где были впервые напечатаны стихи Кузмина.

РАТГАУЗ ДАНИИЛ МАКСИМОВИЧ (1878—1937) — поэт, популярный в конце XIX в. На его стихи написано множество романсов.

ДИТЯ, НЕ ТЯНИСЯ ВЕСНОЮ ЗА РОЗОЙ...— из романса Кузмина «Дитя и роза» (отд. изд. с нотами — Спб., 1913, 1915).

МНЕ МАТУШКА СКАЗАЛА...— неточная цитата из песенки «Утешение пастушкам» (Кузмин М. А. Глиняные голубки. С. 128).

ПЕРВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ ЕГО ПЕРВОЙ КНИГИ — неточность автора, повторенная вслед за Г. Адамовичем (Звено. 1924. 13 окт.). «Сети» открываются ст-нием «Мои предки».

ПОТОМ К МАЯКОВСКОМУ — В. Маяковскому посвящено ст-ние Кузмина «Враждебное море» (1917).

XII

В изложении биографии Владимира Ивановича Нарбута (1888—1938?) Иванов допускает много ошибок.

НА ТУЧКОВОМ — Гумилев снимал комнату на Тучковом пер., д. 17.

МЕДВЕЖЬИМ УГЛОМ ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ — в книге Нарбута «Стихи» (Спб., 1910) места написания ст-ний не обозначены. Нарбут был родом из Черниговской губ., где у его родителей был хутор. С 1906 г. жил в Петербурге. В Воронежской губ. Нарбут был в годы гражданской войны.

БРЮСОВ И ГУМИЛЕВ ОЧЕНЬ СОЧУВСТВЕННО О НЕЙ ОТОЗВАЛИСЬ — см.: Брюсов В. Новые сборники стихов//Рус. мысль. 1911. № 2. С. 232 второй пагинации; Гумилев Н. Письма о русской поэзии//Аполлон. 1911. № 4. С. 75.

НАРБУТ ЕГОР (ГЕОРГИЙ) ИВАНОВИЧ (1886—1920) — художник. См.: Белецкий П. А. Георгий Иванович Нарбут. Л., 1985.

СЕКРЕТАРЬ «АПОЛЛОНА» — в 1909—1912 гг. им был Евгений Александрович Зноско-Боровский (1884—1954).

И НЕ ПРОСТЫМ, А КАКИМ-ТО ОТБОРНЫМ — «Клише для книги изготовлены цинкографией Голике, причем контуры букв заимствованы из Псалтыри, относящейся по времени к началу 18 века и принадлежащей Ф. М. Лазаренко» (Нарбут В. И. Аллилуиа. Спб., 1912. С. [47]). Печаталась она в типографии «Наш век». См. о книге заметку Р. Д. Тименчика (Памятные книжные даты, 1988. М., 1988. С. 159—162).

Д'АННУНЦИО ГАБРИЭЛЬ (1863—1938) — итальянский писатель-модернист, очень популярный в России начала века.

КНИГА БЫЛА АРЕСТОВАНА — на основании цензурного дела (ЛГИА, ф. 706, оп. 1, д. 595) история сборника изложена И. Ф. Мартыновым (Гумилевские чтения. Wien, 1984. С. 148—149).

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ВСЕХ» Нарбут редактировал в апреле-мае 1913 г. См. объявление «Вниманию подписчиков» (Новый журнал для всех. 1913. № 5. 2-я с. обложки).

ЧИРИКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1864—1932) — писатель-«знаньевец».

МУЙЖЕЛЬ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ (1880—1924) — прозаик, тяготевший к натурализму.

ПРЕМИЯ... ЗАМЕНЯЕТСЯ НОВОЙ — такого объявления не было.

НАДСОН СЕМЕН ЯКОВЛЕВИЧ (1862—1887) — поэт, близкий к народникам. В начале века его имя стало символом банальности.

ИВАНОВ-РАЗУМНИК (Разумник Васильевич Иванов, 1878—1946) — историк литературы и культуры, критик.

ГАРЯЗИН АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ (ум. 1918) — крайне правый общественный деятель, издатель «Нового журнала для всех».

ДУБРОВИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1855—1922) — основатель черносотенного «Союза русского народа».

НАРБУТ ИСЧЕЗ ИЗ ПЕТЕРБУРГА — он ездил в Абиссинию вскоре после скандала с «Аллилуиа», опасаясь суда (уехал в октябре 1912, вернулся в Петербург в феврале 1913 г.). После же истории с переходом «Нового журнала для всех» в руки А. Л. Гарязина Нарбут уехал в деревню.

ВЕНГЕРОВ СЕМЕН АФАНАСЬЕВИЧ (1855—1920) — литературовед, инициатор многих справочно-библиографических и биографических изданий.

ДА И О САМОМ МЕНЕЛИКЕ ЕСТЬ СЛУХ — см. статью Н. Гумилева «Умер ли Менелик?» (Нива. 1914. № 5).

ШИНЕЛЬ ПРАПОРЩИКА — Нарбут был освобожден от военной службы и жил в деревне.

ПОШЕЛ СЛУХ, ЧТО НАРБУТ УБИТ — осенью 1917 г. во время нападения на их хутор банды брат Нарбута Павел был убит, а сам он лишился кисти руки (см.: Чертков Л. Судьба Владимира Нарбута//Нарбут В. И. Избранные стихи. Paris, [1983]).

ВЛ. НАРБУТ. КРАСНЫЙ ЗВОН — такой книги у Нарбута не было (ср., однако, название его книги «Красноармейские стихи» [Ростов Н/Д., 1920]). «Красные звоны и песни» называлась книга В. Князева (Пг., 1918).

XIII

О жизни гр. Василия Алексеевича Комаровского (1880—1914) известно немного, и воспоминания Иванова этим сведениям не противоречат (см.: Топоров В. Н. Две главы из истории поэзии начала века. I. В. А. Комаровский. II. В. К. Шилейко//Russian Literature. 1979. № 4). О Рюрике Ивневе (Михаил Александрович Ковалев, 1891—1981) Иванов вспоминал еще в нескольких газетных очерках, упоминая, как в 1918 г. видел Ивнева молящимся за упокой души Николая II и его семьи. Истории эти верифицировать трудно, т. к. сам Ивнев в воспоминаниях (ЦГАЛИ, ф. 226, оп. 2, ед. хр. 19, 20, и многие печатные источники, указанные в кн.: Русские советские писатели: Поэты. М., 1986. Т. 9. С. 327—330) также стилизовал свою биографию и

творческий путь. См. также: Пастухов В. Страна воспоминаний// Опыты. Нью-Йорк, 1955. Кн. 5. С. 81—90.

последняя зима перед войной — из ст-ния А. Ахматовой «Тот голос, с тишиной великой споря...» (1917).

«испепеленный» — к Блоку применено название речи В. Я. Брюсова о Гоголе (Весы. 1909. № 4).

«коль славен...» — старинный гимн (ст. М. Хераскова, муз. Д. Бортнянского). Его играли куранты Петропавловской крепости.

еще два «акмеиста» — Нарбут и Михаил Александрович Зенкевич (1891—1973).

на этой скамейке застрелился? — реплика восстановлена по первому изданию книги.

иду неспешною походкою...— неточная цитата из ст-ния Комаровского «Как древле — к селам Анатолии...» (Комаровский В. А. Первая пристань. Спб., 1913. С. 65—66).

...в провалы туч, в сияющий излом...— неточная цитата из ст-ния Комаровского «Вечер» (Там же. С. 41).

нет, оказалось, не обморок, а смерть — Комаровский умер 8 сентября 1914 г. См.: «Начало войны нанесло такой удар по его нервной системе, что она не вынесла, и все силы хаоса снова хлынули на него и затопили уже навсегда» (Святополк-Мирский Д. Памяти гр. В. А. Комаровского//Звено. 1924. 22 сент. № 86).

в крови до пят мы бьемся с мертвецами...— из ст-ния Ф. И. Тютчева «Ужасный сон отяготел над нами...» (1863).

сказал он, улыбнувшись кротко...— неточная цитата из ст-ния Ивнева «Все было, точно в разговорах...» (Зеленый цветок. Пг., [1915]. С. 26).

моего дяди х.— государственный контролер П. А. Харитонов приходился двоюродным братом матери Ивнева.

был тихий вечер, вечер бала...— неточная цитата из ст-ния В. Гофмана «Летний бал» (Гофман В. В. Собр. соч. М., 1917. Т. 2. С. 170—171).

от крови был ал платочек...— из ст-ния Ивнева «Ветерочек, святой ветерочек...» (Ивнев Р. Золото смерти. М., 1916. . 51).

от этой трезвости, от этой мерзости...— первые две строки не разысканы. Третья — из ст-ния Ивнева «Господи! Господи! Господи! Темный свод небес...» (Ивнев Р. Самосожжение. Пг., 1917. С. 50).

от службы в войсках он отказывается — неоднократно в разных вариантах приводимое Ивановым воспоминание противоречит изданной в 1915 г. брошюре Ивнева «Как победить Германию?».

иматра — водопад на р. Вуоксе, популярное место отдыха петербуржцев.

голубоглазый есенин — см.: Ивнев Р. Об Есенине//Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. М.; Л., 1926; Он же. Правда и мифы о Сергее Есенине//Волга. 1967. № 5 и др.

циммервальд — международная социалистическая конференция 5—8 сентября 1915 г., выступившая против войны.

анатолий васильевич луначарский — см.: Ивнев Р. Вместе с Луначарским//Ивнев Р. У подножия Мтацминды. М., 1973. С. 5—24.

хотите служить у нас? — В 1918 г. Ивнев был секретарем А. В. Луначарского.

XIV

Иванов был мало знаком с Федором Кузьмичом Сологубом (Тетерниковым, 1863—1927), и воспоминания его могут быть признаны точными только в очерке внешнего впечатления от облика поэта.

«кирпич в сюртуке» — см.: «Со всеми интимничающий Розанов знал, что к Сологубу не очень подъедешь: «Кирпич в сертуке!» (Гиппиус З. О Сологубе//Звено. 1924. 14 апр. № 68).

лила, лила, лила, качала... — из ст-ния Сологуба «Любовью легкою играя...» (1901).

молодой поэт — ср. в очерке «Мандельштам» (раздел «Китайские тени»).

сологуб – инспектор какой-то школы — с 1899 г. был учителем, а впоследствии инспектором Андреевского училища.

годам к тридцати пяти — ср.: «Писать Сологуб начал рано. Его первые стихотворные опыты относятся к 1875 году» (Дикман М. И. Поэтическое творчество Федора Сологуба//Сологуб Ф. К. Стихотворения. Л., 1979. С. 9). Первое ст-ние он опубликовал в 21 год.

«критика чистого разума» — основное сочинение И. Канта (1781).

о страхе перед жизнью — ср. запись в дневнике Блока: «Женившись и обрившись, Сологуб разучился по-сологубовски любить Смерть и ненавидеть Жизнь» (Блок А. А. Собр. соч. Т. 7. С. 185).

чеботаревская анастасия николаевна (1876—1921) — литератор, переводчица. См. также версию ее гибели, изложенную А. Ахматовой: Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. С. 119.

отъезд за границу — об обстоятельствах, связанных с разрешением Сологубу и Чеботаревской уехать за границу см.: Ходасевич В. Некрополь. С. 176—178.

бержеретты (от фр. berger — пастух) — жанр буколической поэзии (см. кн. Сологуба: Свирель. Русские бержеретты. Пб., 1922).

готье, верлена — переводы Сологуба из Верлена были изданы в 1908 и (в переработанном виде) 1923 г. Готье он, насколько нам известно, не переводил.

с позволенья вашей чести — из ст-ния Сологуба «За кустами шорох слышен...» (Сологуб Ф. К. Небо голубое. Ревель, 1921. С. 84—85).

зачем ему они? — в эти годы Сологуб писал учебник математики (см.: Последние новости. 1922. 6 мая. № 630).

МНОГО БЫЛО ВЕСЕН...— полностью процитировано ст-ние Сологуба (Сологуб Ф. К. Собрание стихов 1897—1903. М., 1904. С. 172).
УМЕР В ПОЛНОМ ОДИНОЧЕСТВЕ — о смерти Сологуба см.: Неопубликованное письмо Иванова-Разумника к Андрею Белому//Russian Literature Triquaterly, 1978, № 15.

XV

Эта глава воспоминаний была написана уже после войны (Возрождение. 1949. № 6) и представляет интерес не с точки зрения мемуарной (в этом смысле гораздо информативнее и точнее очерки, включенные в раздел «Китайские тени»), а как представление о жизненном и творческом пути Блока и Гумилева, сложившееся у Иванова к концу жизни. С его оценками и анализами можно спорить, но в качестве одной из точек зрения они имеют полное право на существование, тем более что опираются не только на опубликованные тексты, но и на собственные впечатления автора от личности поэтов. Следует отметить, что эти воспоминания — источник многих легенд о Блоке и Гумилеве.
«ЛЕВЫЙ ЭСЕР» БЛОК — сам Блок всегда отрицал свою принадлежность к партии левых эсеров.
ВСЕ В СЕБЕ ВМЕЩАЕТ ЧЕЛОВЕК...— из ст-ния Гумилева «Фра Беато Анжелико» (Гумилев Н. Колчан. Пг., 1916. С. 16—17).
БЫЛ ОН ТОЛЬКО ЛИТЕРАТОР МОДНЫЙ...— из ст-ния Блока «За гробом» (1908).
«О ДУШЕ» — статьи с таким названием у Блока нет. Очевидно, речь идет о статье «Без божества, без вдохновенья», впервые напечатанной в 1925 г. Никакого ответа Гумилева на эту статью не существует.
ОСЕНЬЮ 1909 ГОДА — вероятнее всего, знакомство Иванова с Блоком произошло весной 1911 г. (см.: ЛН. 1983. Т. 92, кн. 3. С. 386).
БЛОК ЖИЛ ТОГДА НА МАЛОЙ МОНЕТНОЙ — Блок поселился на Малой Монетной поздней осенью 1910 г.
НОМЕР БЛОКОВСКОГО ТЕЛЕФОНА (в квартире на Офицерской, где Блок жил с 1912 г.) Иванов называет верно.
КАЖДОЕ ПИСЬМО ОТМЕЧАЕТСЯ БЛОКОМ В ОСОБОЙ КНИЖКЕ — это утверждение Иванова неверно. См.: Орлов Вл. Переписка Александра Блока//Александр Блок. Переписка: Аннотир. каталог. М., 1975. Вып. 1. С. 3—19.
С НАДПИСЬЮ — о блоковских инскриптах Г. Иванову см.: ЛН. Т. 92, кн. 3. С. 20.
О ЧЕМ БЛОК МНЕ ПИСАЛ? — письма Блока не сохранились. См.: Там же. С. 386.
КОНВЕРТЫ НА КАРМИННОЙ ПОДКЛАДКЕ — см. ст-ние Иванова «Письмо в конверте с красной прокладкой...».
КОДА К СОНЕТУ — дополнительная строка (реже — терцет) в конце сонета.

в дневнике блока 1909 г.— см. эту запись (сделанную 18 ноября 1911 г.) в послесловии.

пяст (пестовский) владимир алексеевич (1886—1940) — поэт. См.: Пяст Вл. Воспоминания о Блоке. Письма Блока. Пг., 1923; Переписка ⟨Блока⟩ с Вл. Пястом//ЛН. Т. 92, кн. 2.

иванов евгений павлович (1879—1942) — близкий друг Блока. См.: Письма Ал. Блока к Е. П. Иванову. М.; Л., 1936; Воспоминания и записи Евгения Иванова об Александре Блоке//Блоковский сб. Тарту, 1972. Вып. 2. С. 344—424.

зоргенфрей вильгельм александрович (1882—1938) — поэт, переводчик. См.: Зоргенфрей В. А. Александр Александрович Блок//Александр Блок в воспоминаниях современников. М., 1980. Т. 2. С. 7—39; Блок А. А. Письма к В. А. Зоргенфрею//Рус. лит. 1979. № 1; Чертков Л. Н. В. А. Зоргенфрей — спутник Блока//Рус. филология. Тарту, 1967. Вып. 2. С. 113—139.

«у насыпи во рву некошенном» (правильно: «Под насыпью...») посвящено не Е. П. Иванову, а его сестре, М. П. Ивановой.

ксендз пранайтис иустин (ум. 1917) — эксперт по делу Бейлиса, поддерживавший обвинение. См.: Тагер А. С. Царская Россия и дело Бейлиса. М., 1933. С. 246—266.

почему эти люди близки блоку? — Блок записывал: «Мои действительные друзья: Женя (Иванов), А. В. Гиппиус, Пяст (Пестовский), Зоргенфрей» (Блок А. А. Записные книжки. С. 309). О природе дружеских отношений Блока см. вступ. статью З. Г. Минц к публикации переписки Блока с Пястом (ЛН. Т. 92, кн. 2. С. 175—176).

«страшный мир» — заглавие цикла стихов Блока.

лопе де вега — Вега Карпьо Лопе Феликс де (1562—1635) — испанский драматург, пьесы которого переводил Пяст.

блок забыт по циркуляру политбюро — хотя в 1940-е гг. Блок и не пользовался официальным признанием, но никаких «циркуляров Политбюро» по этому поводу не было.

...был весь дитя добра и света...— неточная цитата из ст-ния Блока «Да, я хочу безумно жить...» (1914).

«в снежном венчике из роз» — у Блока: «В белом венчике из роз».

я не прощу. душа твоя невинна...— из ст-ния З. Гиппиус «А. Блоку» (Гиппиус З. Стихи. Дневник 1911—1921. Берлин, 1922. С. 96; ЛН. Т. 92, кн. 3. С. 562).

чем он, собственно, был болен — это утверждение неверно. См.: Щерба М. М., Батурина Л. А. История болезни Блока//ЛН. Т. 92, кн. 4. С. 732—733.

«поэт умирает...» — неточная цитата из речи Блока «О назначении поэта» (Блок А. А. Собр. соч. Т. 6. С. 167).

БЛОК СОШЕЛ С УМА — о предсмертном помешательстве Блока см. указ. ст. М. М. Щербы и Л. А. Батуриной. С. 733.

ИОНОВ (БЕРНШТЕЙН) ИЛЬЯ ИОНОВИЧ (1887—1942) — поэт, заведовал петроградским Госиздатом, умер в заключении. Его посещение Блока невероятно, т. к. они были в плохих отношениях, а во время предсмертной болезни Блока к нему, кроме родных, приходил лишь С. М. Алянский.

ВСЕ ЛИ ЭКЗЕМПЛЯРЫ «ДВЕНАДЦАТИ» УНИЧТОЖЕНЫ? — известия такого рода нередко появлялись в эмигрантской печати. Однако вряд ли они соответствуют действительности. По воспоминаниям К. А. Федина, после пушкинского вечера в феврале 1921 г. Блок сказал: «Я сейчас думаю так же, как думал, когда писал „Двенадцать"» (Александр Блок в воспоминаниях современников. М., 1980. Т. 2. С. 417). В марте 1921 г., во время Кронштадтского восстания, Блок подарил экземпляр «Двенадцати» поэту Владимиру Познеру (Познер В. «Наши страстные печали Над таинственной Невой»/Предисл. А. Е. Парниса//Лит. обозрение. 1987. № 12. С. 92).

ВОТ ЛЕЖИТ ОН, ЛЕНИН, ЛЕНИН...— неточная цитата из «Реквиема» В. Я. Брюсова (1924).

ПИЛЬНЯК (ВОГАУ) БОРИС АНДРЕЕВИЧ (1894—1937) — советский писатель.

НЕМИЦ (НЕМИТЦ) АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (1879—1967) — в 1920—1921 гг.— командующий морскими силами России.

ТАГАНЦЕВСКИЙ ЗАГОВОР — официальная версия изложена в кн.: Голинков Д. Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. М., 1986. Кн. 2. С. 109—115. Причастность Гумилева к заговору остается проблематичной. По свидетельству Г. А. Терехова, бывшего старшим помощником Генерального прокурора СССР и имевшего возможность ознакомиться с делом Гумилева, в этом деле содержались лишь материалы, свидетельствующие, что Гумилеву предлагали вступить в контрреволюционную организацию, он категорически отказался от этого, но не донес о готовящемся заговоре (Терехов Г. А. Возвращаясь к делу Н. С. Гумилева//Новый мир. 1987. № 12. С. 257—258). Это свидетельство, не имея юридической силы, пока остается единственным сколько-нибудь достоверным источником. См. также: Фельдман Д. Дело Гумилева//«Новый мир». 1989. № 4.

ПРОВОКАТОР — Иванов имеет в виду В. А. Павлова, автора сборника стихов «Снежный путь» (М., 1921). О роли провокации в деле Гумилева говорит также В. Ф. Ходасевич (Ходасевич В. Ф. Некрополь. С. 136—137). Однако никаких достоверных доказательств его провокаторской деятельности не существует, о чем пишут И. В. Одоевцева и Н. Я. Мандельштам (Мандельштам Н. Я. Вторая книга. Paris, [1972]. С. 115—116).

РАССТРЕЛА В КАМЕРЕ НА ШПАЛЕРНОЙ — А. Ахматова рассказывала Л. К. Чу-

ковской: «Я про Колю знаю 〈...〉 их расстреляли близ Бернгардовки, по Ирининской дороге 〈...〉 я узнала через девять лет и туда поехала. Поляна; кривая маленькая сосна; рядом другая, мощная, но с вывороченными корнями. Это и была стенка. Земля запала, понизилась, потому что там не насыпали могил. Ямы. Две братские ямы на шестьдесят человек 〈...〉 Приговоренных везли на ветхом грузовике, везли долго, грузовик останавливался» (Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. С. 432).

ГУМИЛЕВ В ДЕНЬ АРЕСТА...— история, рассказанная Ивановым, противоречит мемуарам Ходасевича, который рассказывает, что 3 августа 1921 г. он провел с Гумилевым вечер с 10 часов и до 2 часов ночи, а утром узнал, что Гумилев арестован (Ходасевич В. Некрополь. С. 137—139). Спор с Ходасевичем см.: Одоевцева И. На берегах Невы. Вашингтон, 1967. С. 440—441.

...УМРУ Я НЕ НА ПОСТЕЛИ...— из ст-ния Гумилева «Я и Вы» (Гумилев Н. Костер. Спб., 1918. С. 17).

БОБРОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ (1889—1971) — поэт, литературовед. Книга «Лира лир» вышла в 1917 г.

«ЦЕНТРОФУГА» («Центрифуга») — литературная группа, ориентированная на футуризм, издававшая одноименные альманахи.

ВРЯД ЛИ НЕ ЧЕКИСТ САМ — это предположение неосновательно.

Я ВЕЖЛИВ С ЖИЗНЬЮ СОВРЕМЕННОЮ...— неточно и с пропуском одной строфы процитировано ст-ние Гумилева (Гумилев Н. Колчан. Пг., 1916. С. 61—62).

...В ЕВАНГЕЛИИ ОТ ИОАННА... — из ст-ния Гумилева «Слово» (Гумилев Н. Огненный столп. Пг., 1921. С. 16—17).

ГУМИЛЕВ ОСОБЕННО ОСУЖДАЛ БЛОКА ЗА «ДВЕНАДЦАТЬ» — согласно другим воспоминаниям, Гумилев высоко ценил «Двенадцать» именно как произведение искусства, не будучи согласным с идейным смыслом поэмы.

БЛОК СЧИТАЛ ПОЭЗИЮ ГУМИЛЕВА ИСКУССТВЕННОЙ — это не вполне верно, хотя подтверждено и другими мемуаристами: «К поэзии Гумилева относился он отрицательно до конца...» (Зоргенфрей В.//Александр Блок в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 33). Об обратном свидетельствует инскрипт Блока: «Дорогому Николаю Степановичу Гумилеву — автору «Костра», читанного не только «днем», когда я «не понимаю» стихов, но и ночью, когда понимаю» (ЛН. Т. 92, кн. 3. С. 57), сделанный в 1919 г.

〈XVI〉

Воспоминания о поэте Алексее Дмитриевиче Скалдине (1885—1943), с которым Иванов был близко знаком (его письма к Скалдину с большим количеством стихов — ЦГАЛИ, ф. 487, оп. 1, ед. хр. 52), публикуются по первому изданию «Петербургских зим».

КИТАЙСКИЕ ТЕНИ

Под этим условным заглавием объединены очерки, печатавшиеся Г. Ивановым в газетах Д и ПН под заглавиями или индивидуальными или же серийными — «Китайские тени», «Петербургские зимы», «Невский проспект». Отобрана лишь небольшая часть этих очерков (они печатались также в газетах «Звено» и «Сегодня», в журналах «Современные записки» и «Иллюстрированная Россия», а также, возможно, и в других изданиях), связанных с реальными деятелями культуры и не повторяющих тех описаний, которые вошли в книгу «Петербургские зимы». Названия, данные составителем, отмечены в комментарии.

БЛОК

ПН, 1926, 12 августа, № 1968. Об отношениях Г. Иванова к Блоку см. примечания к гл. XV «Петербургских зим».

ВЕСНОЙ 1921 ГОДА — вечер Блока в Большом драматическом (бывшем Малом) театре состоялся 25 апреля 1921 г.

ЧУКОВСКИЙ ЧИТАЛ ДОКЛАД — произнесенный К. И. Чуковским доклад он и сам считал неудачным (см.: Письма Блока к К. И. Чуковскому и отрывки из дневника К. И. Чуковского//ЛН. Т. 92, кн. 2. С. 255).

ВСЕ БЫ ЭТО БЫЛО ЗРЯ...— из ст-ния Блока «Вновь богатый зол и рад...» (1914).

ПОСТАНОВКА МЕЙЕРХОЛЬДОМ «БАЛАГАНЧИКА» — имеется в виду постановка Мейерхольдом в своей студии блоковского спектакля (премьера — 7 апреля 1914 г.), в который входили «Незнакомка» и «Балаганчик» (второй сценический вариант), в Тенишевском зале, холодно встреченного публикой (сводка отзывов — ЛН. Т. 92, кн. 3. С. 431—432).

НОЧЬ. УЛИЦА. ФОНАРЬ. АПТЕКА...— ст-ние Блока (1912).

«МИСТИЧЕСКИЙ АНАРХИЗМ» — теория, разрабатывавшаяся Г. И. Чулковым в 1905—1907 гг.

ЗАЧИТАЛ ЧТО-ТО ПРО ТАЙГУ — Чулков несколько лет провел в ссылке в Якутии и много об этом писал. Одна из его драм называется «Тайга».

САРАТОВСКОГО ШАХМАТОВА — имение Шахматово находилось не в Саратовской, а в Московской губернии.

ДНИ СОЧТЕНЫ. УТРАТ НЕ ПЕРЕЧЕСТЬ...— из ст-ния Ф. И. Тютчева «Брат, столько лет сопутствовавший мне...» (1870), печатавшегося под загл. «На кончину брата».

НЕДАВНО УМЕР ФОФАНОВ — 17 мая 1911 г.

МЕДЛЕННО ПРОЙДЯ МЕЖ ПЬЯНЫМИ...— из ст-ния Блока «Незнакомка» (1906).

ТАК — ДВИЖЕНЬЕ ЧУТЬ ВИДНОЕ ГУБ — из ст-ния А. Ахматовой «У меня есть улыбка одна...» (1913).

ЕСТЬ В НАПЕВАХ ТВОИХ СОКРОВЕННЫХ...— из ст-ния Блока «К Музе» (1912).

ГДЕ ДЕНЬГИ ТВОИ? СНЕС В КАБАК...— из ст-ния Блока «Пристал ко мне нищий дурак...» (1913; цикл «Жизнь моего приятеля»).

ГУМИЛЕВ

Д. 1925. 11, 18 окт., № 824, 830. Этот вариант воспоминаний фактически повторен: СЗ. 1931. № 47. Опущены фрагменты, вошедшие в «Петербургские зимы».

ВЕЧЕР В ЧЕСТЬ БАЛЬМОНТА В «БРОДЯЧЕЙ СОБАКЕ» состоялся 8 ноября 1913 г., так что очевидно, что знакомство Иванова с Гумилевым произошло не там.

МОРАВСКАЯ — см. примеч. к ст-нию «Актерка».

ЧТО БЫЛО ОБЩЕГО МЕЖДУ НИМИ — об отношениях Гумилева и Городецкого см.: Неизвестные письма Н. С. Гумилева//Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1987. Т. 46. № 1. С. 70—71.

ГУМИЛЕВ ТРИЖДЫ ЕЗДИЛ В АФРИКУ — в 1909—1910, 1910—1911 и 1912 г., если не считать краткого пребывания в Каире в 1908 г. и возможной поездки в 1907 г. См. также заметку А. Ахматовой «Гумилев и Африка», приведенную в статье: Лямкина Е. Вдохновение, мастерство, труд: Записные книжки А. А. Ахматовой//Встречи с прошлым. М., 1986. Вып. 3. С. 390; Давидсон А. Муза Дальних Странствий//Африка Лит. альманах. Вып. 9. М., 1988. С. 642—716.

последняя его экспедиция — см.: Гумилев Н. Африканский дневник// Огонек. 1987. № 14, 15; Бронгулеев Вадим. Африканский дневник Н. Гумилева//Наше наследие. 1988. № 1. С. 79—87.

за день до отъезда гумилев заболел — см.: «Я так измучился, что накануне отъезда весь день лежал в жару» (Огонек. 1987. № 14. С. 20).

сообщил, что поступает в армию — о своей армейской службе Гумилев писал в очерках «Записки кавалериста». См. также: Тименчик Р. «Над седою, вспененной Двиной...»//Даугава. 1986. № 8.

знал он муки голода и жажды...— неточная цитата из ст-ния Гумилева «Память» (Гумилев Н. Огненный столп. Пг., 1921. С. 9—12).

как гурия в магометанском...— под заглавием «Мадригал полковой даме» экспромт Гумилева опубликован: Гумилев Н. Стихотворения. Посмертный сборник. Пг., 1923. С. 50.

и как сладко рядить победу...— из ст-ния Гумилева «Наступление» (Гумилев Н. Колчан. Пг., 1916. С. 55—58).

в гордую нашу столицу...— неточная цитата из ст-ния Гумилева «Мужик» (Гумилев Н. Костер. Спб., 1918. С. 20—21).

а теперь я игрушечной стала...— неточная цитата из ст-ния А. Ахматовой «По аллее проводят лошадок...» (1911).

уехал в командировку в салоники — уже 30 мая 1917 г. Гумилев отправил с дороги открытку Л. М. Рейснер (см.: «Лишь для тебя на земле я живу». Из переписки Н. Гумилева и Л. Рейснер//В мире книг. 1987. № 4. С. 76).

он остался в париже — о пребывании Гумилева за границей см.: Струве Г. Н. С. Гумилев. Жизнь и творчество//Гумилев Н. С. Собр. соч. Вашингтон, 1962. Т. 1. Гумилев прибыл в Лондон, оттуда отправился в Париж, в начале 1918 г. снова был в Лондоне, а в мае 1918 г. вернулся в Россию.

энгельгардт анна николаевна (1895—1942) — дочь известного публициста Н. А. Энгельгардта, вторая жена Н. С. Гумилева. О ее судьбе см.: Флейшман Л. Из архива Гуверовского института: Письма Ю. Г. Оксмана к Г. П. Струве//Stanford Slavic studies. Stanford, 1987. Vol. I. P. 28.

«я монархист» — ср. рассказ хорошо знавшего Гумилева Вс. Рождественского, записанный М. М. Шкапской: «Гумилева спросили о его политических убеждениях.— «Я монархист». И потом добавил: «Но при условии, чтобы на престоле сидела женщина, и притом хорошенькая. Все удачи екатерининских войн можно приписать влюбленности в нее офицеров» (ЦГАЛИ, ф. 2182, оп. 1, ед. хр. 140, л. 67).

я бельгийский ему подарил пистолет...— из ст-ния Гумилева «Галла» (Гумилев Н. Шатер. Севастополь, 1921. С. 26—28).

сменовеховцев — явный анахронизм. Сборник «Смена вех» вышел в Праге летом 1921 г. Полемика со сменовеховцами была актуальна для Г. Иванова в 1923—1925 гг.

п. — очевидно, поэт Анатолий Пучков-Серебряный (см. о нем очерк Г. Иванова: ПН: 1927. 20 нояб., № 2433).

готье — Гумилев перевел на русский язык книгу ст-ний Т. Готье «Эмали и камеи» (Спб., 1914).

блэк — английский поэт Уильям Блейк (1757—1827). О чтении Гумилевым Блейка см.: Одоевцева И. На берегах Невы. С. 70.

«мир приключений» — популярный дореволюционный журнал.

натурфилософия карра — какая книга имеется в виду, установить не удалось. По изложению этого эпизода в воспоминаниях И. Одоевцевой (Одоевцева И. На берегах Невы. С. 18—19) можно думать, что Гумилев и не имел в виду конкретного труда.

б⟨раудо⟩ евгений максимович (1882—1940) — музыкальный и художественный критик, профессор Института истории искусств.

метнер николай карлович (1879—1951) — известный в начале века композитор и пианист.

вряд ли он был церковно верующим человеком — ср. в воспоминаниях В. Ф. Ходасевича: «Гумилев не забывал креститься на все церкви, но я редко видал людей, до такой степени не подозревающих о том, что такое религия» (Ходасевич В. Некрополь. С. 118).

«дворцовый переворот» — см. о нем: Рождественский Вс. Как это начиналось//День поэзии, 1966. Л., 1966. С. 89; Ходасевич В. Некрополь. С. 127—133.

«приглашение в путешествие» — см.: Гумилев Н. Стихотворения. Посмертный сборник. Пг., 1923. С. 31—33.

МАНДЕЛЬШТАМ

1 — ПН, 1930, 22 февраля, № 3258, под загл. «Китайские тени».
2 — Д, 1926, 4 апреля, № 972, под загл. «Петербургские зимы», с опущением первой части, практически совпадающей с вариантом 1930 года. О многочисленных неточностях первого из этих очерков см.: Цветаева М. История одного посвящения//Цветаева М. Соч. М., 1980. Т. 2. С. 159—189.

по случаю взятия скутари — турецкий город Скутари был взят войсками Балканского союза 10 апреля 1913 г., и на следующий день по этому

поводу была организована массовая манифестация у Казанского собора, разогнанная полицией.

«ПОСЛЕДНИЕ ТУЧИ РАССЕЯННОЙ БУРИ» — из ст-ния А. С. Пушкина «Туча» (1835).

ДЖУНКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ (1865—?) — генерал, товарищ министра внутренних дел, в 1913—1915 — командир корпуса жандармов.

ВЫХОДИТ МИХАИЛ ЛОЗИНСКИЙ...— см.: «Так описал этот выход в шуточном стихотворении «По пятницам в Гиперборее» Василий Гиппиус, тогда студ⟨ент⟩ и начинающий поэт. Его опыты в этом роде были не особенно блестящи, но с них началась целая антология «несерьезных» стихов, среди которых есть образцы почти классические» (Иванов Г. Китайские тени: Лит. Петербург 1912—1922 гг.//Звено. 1924. 7 июля. № 75). О М. Л. Лозинском в десятые годы см.: «Я, петербуржец». Переписка А. А. Блока и М. Л. Лозинского//Лит. обозрение. 1986. № 7. С. 109—112.

«СИРИУС» — «двухнедельный журнал искусства и литературы», издававшийся в Париже в 1907 г. (вышло три номера).

СБОРНИКИ СОЮЗА МОЛОДЫХ ПОЭТОВ — имеется в виду: Сборник стихов. Париж: Изд. Союза молодых поэтов и писателей, 1929—1931. Вып. 1—5.

НЕВЕДОМАЯ ПОЭТЕССА АННА ГОРЕНКО — ст-ние Ахматовой «На руке его много блестящих колец...» (неточно процитированное Ивановым далее) было напечатано с подписью «Анна Г.».

СОБИРАЛИСЬ В КАФЕ — по сведениям Ю. Терапиано, «штаб-квартира» Гумилева в Париже находилась в кафе «Клозри де лила» (Терапиано Ю. Встречи. Нью-Йорк, 1953. С. 93).

ГРАФ А. НИК. ТОЛСТОЙ — А. Н. Толстой действительно был знаком с Гумилевым в Париже. 7 марта 1908 г. Гумилев писал В. Я. Брюсову: «Не так давно я познакомился с новым поэтом, мистиком и народником Алексеем Н. Толстым (он посылал Вам свои стихи). Кажется, это типичный «петербургский» поэт, из тех, которыми столько занимается Андрей Белый. По собственному признанию, он пишет стихи всего один год, а уже считает себя maître'ом...» (Гумилев Н. Неизданные стихи и письма. Paris, [1980]. С. 41; оригинал — ГБЛ, ф. 386, карт. 84. ед. хр. 19. Л. 18 об.). См. также воспоминания Толстого о Гумилеве (ПН. 1921. 23 и 25 окт. № 467, 468).

«ОСТРОВ» — «ежемесячный журнал стихов», выходивший в Петербурге в 1909 г. Вышло два номера, но второй не был выкуплен из типографии (известно лишь несколько экземпляров).

ПРАКТИЧЕСКИЙ Б. ЭЙХЕНБАУМ — Борис Михайлович Эйхенбаум (1886—1959), известный литературовед, был в те годы также поэтом, близким к акмеистам. См.: «Н. Гумилев звал меня в акмеисты и напечатал два моих стихотворения в „Гиперборее"» (Эйхенбаум Б. М. Мой временник. Л., 1929. С. 40; стихи см.: Гиперборей. 1913. № 4. С. 25).

ДОБРОЛЮБОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (1876—1944?) — поэт, один из первых русских декадентов, в конце XIX в. ушедший «в народ» и ставший основателем секты «добролюбовцев». См.: Азадовский К. М. Путь Александра Добролюбова//Блоковский сб. Тарту, 1979. Вып. 3. С. 121—146.

«ИЗ КНИГИ НЕВИДИМОЙ» — сборник произведений Добролюбова (М., 1905), созданных им в годы своего «ухода».

ИЗ НЕЖИВОГО ТУМАНА...— очень неточная цитата из ст-ния Блока «А. М. Добролюбов» (1903) с эпиграфом из Пушкина, верно истолкованным Ивановым.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА: «ГЕОРГИЙ ИВАНОВ И О. МАНДЕЛЬШТАМ» — ни одного экземпляра такой карточки не найдено.

...ГДЕ ОБРЫВАЕТСЯ РОССИЯ...— неточная цитата из ст-ния О. Мандельштама «Не веря воскресенья чуду...» (1916), обращенного к М. И. Цветаевой. Вся дальнейшая история — вымысел Г. Иванова.

МАНДЕЛЬШТАМ ЖИЛ В КОКТЕБЕЛЕ — летом 1916 г. Мандельштам жил в Коктебеле (ныне Планерское) в доме М. А. Волошина.

«СВИНОЕ УХО» — оскорбительный для евреев жест, сопровождавшийся дразнилкой: «Жид, жид, ешь свиное ухо».

В ПЕТЕРБУРГЕ МЫ СОЙДЕМСЯ СНОВА...— первые две строки из ст-ния О. Мандельштама (1920).

МИМО ЗДАНИЙ, ГДЕ МЫ КОГДА-ТО...— из ст-ния А. Ахматовой «Побег» (1914).

БЫЛ В КРЫМУ, ОТТУДА ВЫСЛАЛИ В ГРУЗИЮ...— см. выше примеч. к гл. X «Петербургских зим».

ИХ ПРИВЕТСТВОВАЛ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ — см. запись в дневнике С. П. Каблукова со слов Мандельштама: «Его стихи были приветствуемы Вяч. Ивановым» (Письма О. Э. Мандельштама к В. И. Иванову//Зап. Отд. рукописей/ГБЛ. М., 1973. Вып. 34. С. 258).

ВЫСМЕЯЛ БУРЕНИН — Буренин Виктор Павлович (1841—1926), консервативный публицист, поэт и пародист. Очевидно, Иванов имеет в виду пародию на ст-ние Мандельштама «Истончается тонкий тлен...» (Биржевые ведомости. Веч. вып. 1910. 28 окт.), принадлежащую А. А. Измайлову (подп.— Аякс).

ОН УЧИЛСЯ В ПАРИЖЕ — Мандельштам слушал лекции в Сорбонне в 1907—1908 гг. Осенью 1910 г. он вернулся в Петербург после лечения в Германии.

РЕШИЛСЯ ПОЗВОНИТЬ СОЛОГУБУ ПО ТЕЛЕФОНУ — этот разговор описан также: Игнатьев И. В. Литературные тени. XIII//Нижегородец. 1913. 19 февр. № 216.

В 1916 ГОДУ Я БЫЛ У БРЮСОВА — в 1916 г. Брюсов уже не публиковал обзоров русской поэзии в журнале «Русская мысль», второе издание «Камня» он не рецензировал. Его отзывы о позднейших стихах Ман-

дельштама недружелюбны (см.: Брюсов В. Среди стихов//Печать и революция. 1923. № 6. С. 63—64).

так. но прощаясь с римской славой...— неточная цитата из ст-ния Ф. И. Тютчева «Цицерон» (1829).

«я опоздал на празднество расина» — имеется в виду ст-ние Мандельштама «Я не увижу знаменитой „Федры“...» (1915).

ФОФАНОВ

ПН. 1929. 17 окт. № 3130 под загл. «Китайские тени». Иванов, очевидно, был знаком с Фофановым через его сына, входившего в «Ректориат Академии Эго-поэзии» вместе с Ивановым.

его портрет в молодости — приложен к книге Фофанова «Иллюзии» (Спб., 1900).

младший фофанов был футуристом — К. К. Фофанов (Конст. Олимпов) входил в группу эго-футуристов.

символизм он ненавидит — в начале XX века Фофанов был близок к символистам, печатался в их изданиях. Сами символисты считали его одним из предшественников символизма (см.: Брюсов В. Я. Собр. соч.: В 7 т. М., 1975. Т. 6. С. 618).

был или есть пробочный завод — дед В. Я. Брюсова торговал пробкой.

«лиловые ноги» — очевидно, имеется в виду моностих Брюсова «О, закрой свои бледные ноги».

непечатное слово — о привычке Фофанова к такого рода речи см.: Брюсов В. Дневники. М., 1927. С. 65.

мраморная муха — известное в начале века определение, прилагавшееся к О. Мандельштаму. См.: Шкловский В. Б. Сентиментальное путешествие. Воспоминания 1918—1923. Л., 1924. С. 137.

афанасьев леонид николаевич (1863—1920) — поэт, участвовавший, между прочим, и в сборниках эго-футуристов «Дары Адонису» (Спб., 1913) и «Стеклянные цепи» (Спб., 1912).

«петр силыч» — имеется в виду, очевидно, поэт П. Ларионов (см. выше, примеч. к гл. III «Петербургских зим»). В воспоминаниях Северянина «Газета ребенка» (отрывок, не вошедший в печатный текст) описано, как он, «косноязычный от рождения и не выговаривавший половину букв алфавита, приобретал вдруг способность потрясающе и захватывающе читать стихи Фофанова» (Игорь-Северянин. Уснувшие весны. Л. 109).

ТЫ — НЕБО ЯСНОЕ В СВЕТИЛАХ...— неточная цитата из ст-ния Фофанова «Небо и море» (1886).
Я И САМ ХОЧУ В МОГИЛУ...— из ст-ния Фофанова «На меня клевещут много...» (Фофанов К. М. Иллюзии. Спб., 1900. С. 102).
В МАЕ 1911 ГОДА — Фофанов умер 17 мая 1911 г. См.: Игорь-Северянин. Уснувшие весны. Л. 9—14.

АЛЕКСАНДР ТИНЯКОВ

Об А. Тинякове см. выше, в «Петербургских зимах». Многое в его биографии передано Ивановым верно: беспробудное пьянство вплоть до пребывания в психиатрической больнице, жуткая нищета (в последние годы жизни Тиняков был профессиональным нищим), преклонение перед Брюсовым, черносотенство и т. д. Впервые опубликовано: ПН. 1927. 17 февр. № 2157, под загл. «Невский проспект».
ПОЛДЮЖИНЫ КАЛИНКИНСКОГО — ср. в письме В. А. Юнгера к Б. А. Садовскому от 9/10 марта 1913 г.: «Вопрос твой о Тинякове уместен, ибо он пьет ежедневно не менее 10 бут⟨ылок⟩ пива ⟨...⟩ Сидя в пивной, он пишет стихи (à la Верлэн)» (ЦГАЛИ, ф. 464, оп. 1, ед. хр. 151, л. 3—3 об.).
ДОЛЖНО БЫТЬ, СКВОЗЬ СВИНЦОВЫЙ МРАК...— из ст-ния Г. Иванова «В тринадцатом году, еще не понимая...».
ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ ИДЕТ ПО ВОДАМ...— эпизод, очевидно, заимствован из воспоминаний В. Ф. Ходасевича: «Гумилев мне рассказывал, как тот же Тиняков, сидя с ним в Петербурге на «поплавке» и глядя на Неву, вскричал в порыве священного ясновидения: «Смотрите, смотрите! Валерий Яковлевич Брюсов шествует с того берега по водам!» (Ходасевич В. Некрополь. С. 37; впервые опубликовано: СЗ. 1925. № 23).
ЧЛЕНА СОЮЗА МИХАИЛА АРХАНГЕЛА — «Союз Михаила Архангела» — черносотенная организация. С 1913 г. Тиняков сотрудничал в черносотенной газете «Земщина».
«ФИЗОЙ» ЗВАЛСЯ ГЕРОЙ ПОЭМЫ — о поэме Б. В. Анрепа «Физа» см.: К истории русской литературы 1910-х годов. Письма Н. В. Недоброво к Б. В. Анрепу//Slavica Hierosolymitana. Vol. V—VI. Jerusalem, 1981. P. 452.
ЕЕ НАСТОЯЩИМ ИМЕНЕМ — на самом деле «Физа» называлась «Обществом поэтов». См. о нем в письме В. А. Юнгера к Б. А. Садовскому от 25 апреля 1913 г.: «Открылось здесь еще одно литературное общество — «Общество поэтов». В центре его Недоброво, Скалдин.

Близкое участие в нем принимают Вяч. Иванов, Блок, Пяст и др. Бывают у них на собраниях и цеховики и футуристы. Общество хочет быть беспартийио, потому ие будет замыкаться в рамках каких-либо программ» (ЦГАЛИ, ф. 464, оп. 1, ед. хр. 151, л. 6 об.— 7).

о тукультипалишера...— неточная цитата из ст-иия Тинякова «Тукультипалешарра I (Царь Ассирии около 1130 г. до Р. Х.)» (Тиняков А. Navis Nigra. М., 1912. С. 72—73).

А⟨нреп⟩ Борис Васильевич (1883—1969) — поэт и художник-мозаичист.

одииокий — псевдоиим Тинякова.

«весы», «золотое руио» — книга стихов издаиа «Грифом» — стихи Тинякова действительно печатались в журналах «Весы» (1906. № 6; 1907. № 11 и 1909. № 7) и «Золотое руно» (1906. № 7—9), а киига стихов «Navis Nigra» была издаиа в издательстве «Гриф».

ученейший человек... ассириологии — в своих статьях и стихах Тиняков действительно демоистрировал немалую начитаиность, а ассирология постоянно его иитересовала.

в связи с революционерами — см. ст-иие Тиияков «Мой ответ» с посвящеиием «бывшим товарищам, социал-демократам» (ГБЛ, ф. 386, карт. 104, ед. хр. 47, л. 4 об.— 5).

пришел одинокий — Тиняков был завсегдатаем «Бродячей собаки». См. шуточное ст-ние Б. А. Садовского «Прекрасен поздний час в собачьем душиом крове...» (Парнис и Тименчик. С. 207).

особенно в сибири — см.: «Мои предки со стороны отца — государствеиные крестьяне. О прадеде моем — Александре Дмитриевиче — я иаписал стихотворение, иапечатаниое в «Новом журнале для всех» (1913, № 10). Дед мой — Максим Александрович, умерший в 1903 г., был человеком поистиие замечательиым. Ои выбился из крестьянского положения и уже в 1868 г. купил имение при с⟨еле⟩ Вишневце Орловской губ. (300 десятин земли)» (Тиняков А. Отрывки из моей биографии//ИРЛИ, ф. 273, оп. 2, № 29, л. 1).

любо мне плевку-плевочку — иеточная цитата из ст-иия Тинякова «Плевочек» (Тиняков А. Navis Nigra. С. 80).

я до коица презираю...— слегка неточно процитироваио ст-ние Тинякова «Искренняя песеика» (1914) (Тиияков А. Треугольник. Пг., 1922. С. 48).

блаватская елена петровна (1831—1891) — русская писательиица, основательница Теософического общества.

это раскрылось — см.: Журнал журиалов. 1916. № 11, 13, 15, 18, 19.

ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИВАНОВ

Редактор Т. В. Громова

Художественный редактор Е. Родионова

Технический редактор И. С. Вититина

Корректор Н. И. Скворцова

ИБ 1859. Сдаио в иабор 27.10.88. Подписано к печати 13.03.89. А01536. Формат 60×90/16. Бум. офсетиая № 1. Гвриитура Таймс. Печать офсетиая. Усл. печ. л. 36,0. Усл. кр.-отт. 38,0. Уч.-изд. л. 27,73. Тираж 30 000 экз. Изд. № 4733. Зак. № 7850. Цеиа 7 р.

Издательство «Киига»

125047, Москва, ул. Горького, 50

Экспериментальиая типография ВНИИ
полиграфии при Госкомиздвте СССР
103051, Москва, Цветиой бульвар, 30

Иванов Г. В.

Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени.— М.: Книга, 1989.— 574 с.

ББК 8АР
И 20

В книге представлены основные произведения русского поэта Георгия Иванова. Он умер в эмиграции, и этот сборник, по существу, первое знакомство современного читателя с творческим наследием Г. Иванова. В книге собраны все его лучшие стихотворения, а также мемуарные произведения и литературные портреты. Книга снабжена послесловием и комментариями. В сборнике представлены фотографии поэта и его литературного окружения.

Для широкого круга читателей.

И $\frac{4702010106\text{-}055}{002(01)\text{-}89}$ Без объявл.






ИЗ
ЛИТЕРАТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ